

АЙСЕДОРА ДУНКАН



МОЯ ЖИЗНЬ
МОЯ РОССИЯ
МОЙ ЕСЕНИН



Небо сломанной обморожено

И всячь как сиротный кусок

полюк. меленного слезом

Сердце, большой уловки.

Имена. я не в да не жтого

это как мушкетер. Но, зыду

и я, я все равно светлого

как по меду сяду.

Итак же моланя и моланя

до зы до лоня и лоня,

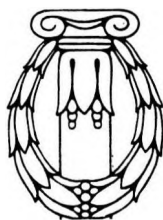
Но и на проем и на лоня

Сквозь м. криво криво.

Итак. 16.

Сергей Сенин.

АЙСЕДОРА ДУНКАН



МОЯ ЖИЗНЬ МОЯ РОССИЯ МОЙ ЕСЕНИН

ВОСПОМИНАНИЯ

Айседора Дункан. Моя жизнь

Мэри Дести. Нерассказанная история

Перевод с английского

Москва
Издательство
политической литературы
1992

ББК 85.335.42
Д83

Составитель *И. М. Краснов*

Иллюстративный материал представлен
в издательство *И. М. Красновым*

Д $\frac{0503030000 - 283}{079(02) - 92}$ 137 — 92

ISBN 5—250—01599—9

© Составление И. М. Краснова, 1992
Перевод Н. А. Краснова.
З. В. Рахлиной, Я. Яковлева, 1992

АЙСЕДОРА ДУНКАН
МОЯ
ЖИЗНЬ



Перевод с английского Н. Краснова, Я. Яковлева

ISADORA DUNCAN
MY LIFE
New York, 1927

ВСТУПЛЕНИЕ

Признаюсь, я испытала страх, когда мне впервые предложили написать эту книгу. Я не хочу этим сказать, что, если мою жизнь действительно хорошо описать, она не открыла бы новой эпохи, была бы не так интересна, как роман, или в ней было бы меньше приключений, чем в самом захватывающем кинофильме. Но ведь ее надо написать — вот в чем загвоздка!

У меня ушли годы борьбы, упорного труда и поисков, чтобы научиться исполнять один простой жест, и я знаю достаточно о мастерстве писателя для понимания того, что мне потребовалось бы столько же лет сосредоточенного труда, чтобы написать одну простую красивую фразу. Сколько раз я доказывала, что один может добраться до самого экватора и, охотясь на тигров и львов, совершить героические подвиги, но потом потерпеть неудачу при попытке описать их. Другой же способен, не сходя с веранды, изобразить убийство львов в джунглях так, что у читателей создается впечатление, что он в самом деле был там, и они сопереживают его тревожнения и страхи, чуют запах львов и слышат устрашающее приближение гремучей змеи. Воображение, пожалуй, не имеет границ, и все то чудесное, что было в моей жизни, может утратить интерес, потому что я не обладаю пером Сервантеса или даже Казановы.

Еще одно. В состоянии ли мы написать правду о самих себе? Знаем ли мы ее вообще? Существует представление наших друзей о нас, наше представление о нас самих и представление нашего возлюбленного о нас. Есть также представление наших врагов о нас — и все эти представления различны. Я это знаю доподлинно, так как вместе с утренним кофе мне подавали газеты с отзывами обо мне. Одни авторы заявляли, что я гениальна и красива, как богиня, но не успевала у меня с губ сойти доволь-

ная улыбка, как я, взяв следующую газету, узнавала, что у меня нет ни фигуры, ни таланта и что я сущая гарпия.

Я скоро перестала читать отзывы о своей работе. Я не могла обеспечить только хорошие рецензии, а плохие вызывали раздражение и наводили смертельную тоску. В Берлине был критик, который досаждал мне оскорблениями. Он, в частности, говорил, что я совершенно лишена музыкального слуха. Однажды я пригласила его к себе, добавив в письме, что он сможет убедиться в своей неправоте. Критик сидел за чайным столиком, а я горячо и страстно в течение полутора часов говорила о своей теории движения, созданного на основе восприятия музыки. Я заметила, что у него в это время был очень скучный и флегматичный вид. Каково же было мое смятение, когда он вытащил из кармана слуховой аппарат и сказал, что он совершенно глухой и еле слышит звучание оркестра даже с помощью своего прибора, хотя и сидит в первом ряду партера. Таков был человек, чье мнение обо мне вызывало у меня бессонницу!

Всякий, кто изложит свою жизнь правдиво, напишет великолепную книгу. Но никто еще не осмелился написать правду, и только Жан Жак Руссо принес эту высшую жертву человечеству, раскрыв правду своей души, своих самых интимных поступков и мыслей. Итогом явилась великая книга. Уолт Уитмен изобразил правду перед Америкой. Одно время почти запрещали принимать его книгу к пересылке как «аморальную». Подобная оценка сейчас кажется нам нелепой. Ни одна женщина еще не рассказала правду о своей жизни. Автобиографии большинства женщин представляют собой изложение видимого существования, мелких подробностей и эпизодов, которые не отражают их настоящей жизни. О важнейших моментах радости и страданий авторы, как ни странно, хранят молчание.

Мое искусство — это стремление выразить правду моего существа в жестах и движениях. Мне потребовались долгие годы, чтобы найти только одно абсолютно верное движение. Слова имеют иной смысл. Перед публикой, которая толпами сходилась на мои спектакли, я не испытывала колебаний. Я раскрывала перед ней самые сокровенные порывы своей души. С самого начала я отражала в танце только свою жизнь. В детстве я танцевала произвольную радость растущего существа. Когда я немного подросла, я танцевала с радостью, переходя затем к предчувствию первых трагедий, скрытых от нас

завесой времени,— предчувствию безжалостной жестокости и сокрушительных ударов жизни.

В шестнадцатилетнем возрасте я танцевала перед зрителями без музыки. В конце одного спектакля кто-то из зрителей крикнул: «Это девушка и смерть», и после этого танец стал называться «Девушка и смерть». Но мое намерение было иным: я всего лишь пыталась внешне радостными проявлениями жизни выразить свое первое знание скрытой временем трагедии. Согласно моему пониманию, танец следовало бы назвать «Девушка и жизнь».

Позднее я танцевала свою борьбу с этой жизнью, которую зрители называли смертью, и свое отвоевывание у нее эфемерных радостей.

Ничто не отстоит так далеко от правды жизни, как образ героя или героини посредственных кинофильмов или романов. Они обычно наделены всеми добродетелями, и совершение ими неверных поступков немыслимо. Он — благороден, смел, отважен и т. д. Она — чиста, мягкого нрава и т. д. Все отрицательные черты характера и грехи отданы злодею и «плохой женщине», хотя мы знаем, что в действительности нет человека, который был бы только хорошим или только плохим. Не все мы, быть может, нарушаем десять заповедей, но каждый, несомненно, способен на это. Внутри нас таится нарушитель всех законов, готовый выскочить наружу при первой возможности. Добропорядочные люди — это попросту те, кто не подвергался достаточно сильному искушению, потому что одни из них ведут растительную жизнь, а другие настолько целеустремленны, что у них не остается времени бросить взгляд вокруг себя.

Перевод с английского
Н. А. Краснова

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Характер ребенка выявляется еще в чреве матери. Перед моим появлением на свет моя мать испытывала большие страдания и находилась в подавленном состоянии. Она не могла ничего есть, кроме замороженных устриц и охлажденного шампанского. Если меня спрашивали, когда я начала танцевать, я отвечаю: «В чреве матери, вероятно, в результате того, что она питалась устрицами и шампанским — пищей богини Афродиты».

Мучения матери были так велики, что она часто говорила: «Ребенок родится, конечно, ненормальным», ожидая увидеть чудовище. И действительно, едва родившись, я начала двигать руками и ногами с такой яростью, что мать воскликнула: «Видите, я была совершенно права, ребенок помешанный!» Но позднее, одетая в комбинезончик, я забавляла всю семью и гостей, танцуя на середине стола под какую угодно музыку.

Мои первые воспоминания связаны с пожаром. Я помню, как меня выбросили из верхнего окна в объятия полисмена. Мне, должно быть, было около двух или трех лет, но я отчетливо помню успокоительное ощущение — среди всеобщего возбуждения, визга и пламени — надежности полисмена, шею которого я обвила ручонками. Я слышу безумный крик своей матери «Мои мальчики, мои мальчики!» и вижу, как толпа удерживает ее, не пуская броситься в здание, в котором, как мать думала, остались двое моих братьев. Затем у меня в памяти сохраняется то, что я вижу обоих мальчиков сидящими на полу в каком-то баре и надевающими носки и ботинки, далее — внутренность кареты и, наконец, то, что я сижу на прилавке и пью горячий шоколад.

Я родилась у моря и заметила, что все крупные события моей жизни происходили у моря. Мое первое понятие о движении, о танце, несомненно, вызвано ритмом волн.

Я должна быть признательна за то, что в течение всей

нашей молодости мать оставалась бедной. Она была не в состоянии содержать прислугу либо гувернанток для детей, и именно этому обстоятельству я обязана своей непосредственностью, которую мне не мешали выражать в детстве и которую я никогда не утратила.

Моя мать была музыкантшей и обучала музыке ради заработка. Давая уроки на квартирах у своих учеников, она не бывала дома целыми днями и значительную часть вечеров. Если мне удавалось убежать из школы-тюрьмы, я была свободна. Я могла блуждать одна у моря и предаваться собственным фантазиям. Меня никогда не одергивали постоянными окриками: «Нельзя», которые, мне кажется, превращают детскую жизнь в напасть.

Я поступила в общественную школу рано, в возрасте пяти лет. Думаю, что моя мать дала неверные сведения о моем возрасте. Ей было необходимо найти какое-либо место, где меня можно было бы оставлять. Я полагаю, что в детстве ясно проявляется все то, что каждому предстоит делать потом в жизни. Я всегда была танцовщицей, никогда не мирилась с канонам и с обычаем. Моя мать, крещенная и выросшая в ирландской католической семье, оставалась набожной католичкой вплоть до того времени, когда обнаружила, что мой отец не был тем образцом совершенства, каким она себе его всегда представляла. Она развелась с ним и, оставшись с четырьмя детьми, оказалась лицом к лицу с миром. С этого времени она отреклась от своей веры в католическую религию, стала законченной атеисткой, последовательницей Боба Ингерсолла¹, чьи произведения она обычно нам читала.

Между прочим она решила, что всякая сентиментальность является нелепостью, и когда я была еще ребенком, она открыла нам тайну Санта Клауса. Это привело к тому, что, когда на школьном рождественском празднике учительница, раздавая конфеты и пирожные, сказала: «Поглядите, дети, что вам принес Санта Клаус», я встала и торжественно ответила:

— Я вам не верю, никакого Санта Клауса нет.

Учительница была сильно расстроена.

— Конфеты предназначаются только тем девочкам, которые верят в Санта Клауса,— сказала она.

— Тогда я не хочу ваших конфет,— ответила я.

¹ *Ингерсолл Роберт Грин* (1833—1899) — американский адвокат и лектор, выступавший против христианства и Библии, что помешало ему сделать политическую карьеру. (Здесь и далее примечания переводчиков и редактора.)

Учительница неблагоразумно потеряла терпение и в назидание другим велела мне выйти вперед и сесть на пол. Я вышла и, повернувшись к классу, произнесла первую из своих знаменитых речей.

— Я не верю врачам! — воскликнула я. — Моя мать сказала мне, что она слишком бедна, чтобы быть Санта Клаусом. Это только богатые матери могут притворяться Санта Клаусом и делать подарки.

Тут учительница схватила меня и попыталась силой усадить на пол, но я, напрягая ноги, не далась. Она достигла только того, что мои каблукки ударялись о паркет. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол; но, даже стоя там, я повернула голову через плечо и воскликнула: «Никакого Санта Клауса нет, никакого Санта Клауса нет», пока наконец она не оказалась вынужденной отослать меня домой. Я пошла домой, твердя всю дорогу: «Никакого Санта Клауса нет». Но я никогда не избавилась от ощущения несправедливости, которую учительница учинила надо мной, лишив конфет и наказав за то, что я говорила правду. Когда я рассказала о случившемся матери, спросив ее: «Разве я не права? Ведь никакого Санта Клауса нет?», она ответила: «Никакого Санта Клауса нет, и нет Бога. Лишь твой собственный разум может помочь тебе». И вечером, когда я села на ковер у ее ног, она прочла нам лекции Боба Ингерсолла.

Мне кажется, что общее образование, получаемое ребенком в школе, является абсолютно бесполезным. Я помню, что в классе меня считали либо изумительно понятливой и идущей впереди всего класса, либо же бестолковой и отставшей от него. Все зависело от капризов памяти и от того, позаботилась ли я запечатлеть в памяти заданный нам урок.

Настоящее воспитание я получала в течение тех вечеров, когда мать играла нам Бетховена, Шумана, Шуберта, Моцарта, Шопена и читала нам вслух Шекспира, Китса или Бёрнса. Эти часы очаровывали нас. Моя мать знала большинство стихов наизусть, и я, подражая ей, однажды, когда мне было шесть лет, на школьном празднике наэлектризовала своих слушателей чтением стихотворения Уильяма Литла «Обращение Антония к Клеопатре».

Я умираю, Египет, — я умираю.
Быстро спадают алые волны жизни.

В другой раз, когда учительница потребовала, чтобы каждый из учеников написал историю своей жизни, моя история была изложена приблизительно в таком виде:

«Когда мне было пять лет, у нас был коттедж на 23-й улице. Так как мы были не в состоянии платить квартирную плату, мы не могли в нем остаться и переехали на 17-ю улицу, а вскоре, так как у нас не было денег, домовладелец отказал нам, поэтому мы и переехали на 22-ю улицу, где нам не дали жить мирно, а заставили переехать на 10-ю улицу».

Рассказ продолжался в этом роде с несметным множеством переездов. Когда я встала, чтобы прочесть его классу, учительница очень рассердилась. Она решила, что я разыгрываю скверную шутку, и отправила меня к начальнице, которая послала за моей матерью. Прочтя рукопись, моя бедная мать разразилась слезами и поклялась, что это — чистейшая правда. Таково было наше кочевое существование.

Я надеюсь, что школы переменялись с тех пор, как я была маленькой девочкой. По моим воспоминаниям, преподавание в общественных школах проявляло скотское непонимание детей. Я также вспоминаю страдания от необходимости смиренно сидеть на жесткой скамье с пустым желудком, с озябшими ногами в промокших ботинках. Учительница казалась мне бесчеловечным чудовищем, созданным, чтобы мучить нас. И об этих страданиях дети никогда не расскажут.

Я решительно не помню, чтобы мы страдали от нашей бедности дома: там мы воспринимали ее как нечто естественное. Страдала я только в школе. Для гордого и чувствительного ребенка система общественной школы, какой я ее помню, являлась такой же унижительной, как исправительный дом. Я всегда восставала против нее.

Когда мне было около шести лет, мать однажды, вернувшись домой, обнаружила, что я собрала полдюжины соседских ребят, рассадила их перед собой на полу и принялась учить их плавно размахивать руками. Когда она потребовала у меня объяснения, я сообщила ей, что это моя школа танца. Ей это показалось забавным, и, сев за пианино, она начала играть для меня.

Школа продолжала свои занятия и стала очень популярной. Некоторое время спустя в нее поступили маленькие девочки, жившие по соседству, а родители их платили мне за учение небольшую сумму. Так было положено начало тому, что впоследствии оказалось очень доходным занятием.

Когда мне исполнилось десять лет, классы настолько разрослись, что я заявила матери, что мне бесполезно дальше ходить в школу, так как это напрасная трата времени, в то время когда я могла зарабатывать, что я считала гораздо более важным. Я зачесала волосы на макушку и говорила, что мне шестнадцать лет. Так как я была очень высокой для своего возраста, мне все верили. Моя сестра Элизабет, которую воспитывала бабушка, позднее переехала жить к нам и стала мне помогать в работе. Наши классы приобрели известность, и мы стали давать уроки во многих домах состоятельнейших жителей Сан-Франциско.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Моя мать развелась с отцом, когда я была грудным ребенком, и я никогда не видела его. Как-то, когда я спросила одну из своих теток, был ли у меня когда-нибудь отец, она ответила:

— Твой отец был дьяволом, погубившим жизнь твоей матери.

После этого я всегда представляла его себе дьяволом из книги с картинками, с рогами и хвостом, и когда остальные дети в школе говорили о своих отцах, я хранила молчание.

Когда мне было семь лет, мы жили в двух совершенно необставленных комнатах на третьем этаже. Однажды я услышала звонок у входных дверей и, выйдя в переднюю, чтобы открыть дверь, увидела очень благообразного господина в высокой шляпе, который спросил:

— Не можете ли вы мне указать, как пройти в квартиру миссис Дункан?

— Я дочь миссис Дункан,— ответила я.

— Так ты моя Принцесса Мартышка? — сказал незнакомец. (Так называл меня отец, когда я была ребенком.)

И внезапно, подняв меня на руки, он покрыл меня слезами и поцелуями. Я была крайне изумлена его поступком и спросила его, кто он такой. Со слезами он ответил:

— Я твой отец.

Я пришла в восторг от этой замечательной вести и бросилась в комнаты, чтобы сообщить ее своей семье.

— Тут пришел человек, который говорит, что он мой отец.

Моя мать встала очень бледная и взволнованная и, пройдя в следующую комнату, заперла за собой дверь.

Один из моих братьев спрятался под кровать, а другой укрылся за буфетом, между тем как с сестрой приключился жестокий припадок истерики.

— Скажи ему, чтобы он ушел, скажи ему, чтобы он ушел,— кричала она.

Я сильно удивилась, но, будучи очень вежливой девочкой, вышла в переднюю и сказала:

— Все нездоровы и не могут вас сегодня принять.

Тогда незнакомец взял меня за руку и попросил пойти с ним погулять.

Мы спустились по лестнице на улицу. Я бежала рысцей возле него в растерянности и восхищении от мысли, что этот красивый господин — мой отец и что у него нет рогов и хвоста, каким я себе всегда его рисовала.

Он привел меня в кондитерскую и до отвала накормил мороженым и пирожными. Я вернулась домой в состоянии неистовейшего возбуждения, но застала всю семью ужасно подавленной.

— Он прелестный человек и придет завтра, чтобы угостить меня еще раз мороженым,— сообщила я.

Но вся семья отказалась встретиться с ним, и вскоре он вернулся к своей второй семье в Лос-Анджелесе.

После этого я не видела отца в течение нескольких лет, но внезапно он опять появился. На этот раз мать достаточно смягчилась, чтобы встретиться с ним, а он подарил нам красивый дом с большими танцевальными залами, теннисной площадкой, гумном и ветряной мельницей. Мы были обязаны этим тому, что отец в четвертый раз нажил состояние. В своей жизни он трижды наживал состояние и целиком терял его. Четвертое состояние также иссякло с течением времени, и вместе с ним исчез дом и все остальное. Но несколько лет мы прожили в нем, и он был для нас тихой пристанью между двумя бурными путешествиями.

Я рассказываю кое-какие факты из истории моего отца, так как эти ранние впечатления оказали ужасное воздействие на мою последующую жизнь. С одной стороны, я читала и перечитывала сентиментальные романы, с другой — перед моими глазами был практический пример брака. Все мое детство, казалось, прошло под мрачной тенью этого таинственного отца, о котором никто не заговаривал, и ужасное слово «развод» запечатлелось на

чувствительной поверхности моего разума. Не имея возможности ни у кого спросить объяснения этих вопросов, я пыталась разрешить их сама. Большинство прочитанных мной романов кончались браком и блаженным благополучием, о котором не стоило больше писать. Но в некоторых из этих книг, особенно в романе Джорджа Элиота ¹ «Адам Бид», была выведена девушка, которая не выходит замуж, ребенок, появляющийся, когда его не хотят, и ужасное бесчестие, падающее на бедную мать. На меня произвела глубокое впечатление несправедливость этого положения вещей для женщин, и, сопоставив ее с историей моих родителей, я решила раз и навсегда, что буду бороться против брака, за освобождение женщины, за право каждой женщины иметь ребенка или нескольких детей, когда ей этого захочется. Может показаться странным, что маленькая двенадцатилетняя девочка разрешает такие вопросы, но обстоятельства моей жизни сделали меня не по летам развитым ребенком. Я изучила законы о браке и пришла в негодование, узнав о рабском положении женщины. Я принялась пытливо вглядываться в лица замужних женщин, подруг моей матери, и заметила, что на каждом виднелись печать зеленоглазого чудовища ревности и клеймо рабыни. Я дала обет на всю жизнь, что никогда не опущусь до этого унижительного состояния. Я всегда хранила его, даже когда он стоил мне отчуждения моей матери и превратного понимания всего света. Одной из наилучших мер Советского правительства была отмена брака ². Там двое людей расписываются в книге, а под подписью напечатано: «Эта подпись не возлагает никакой ответственности ни на одну из сторон и может быть аннулирована по желанию каждой из них» ³. Такой брак является единственным соглашением, на которое может пойти всякая свободолубивая женщина, и единственной формой брака, под которой я когда-либо поставила бы свою

¹ *Элиот Джордж* — псевдоним английской писательницы Анн Мэри Эванс (1819—1880). Упомянутый Айседорой Дункан роман «Адам Бид» посвящен деревенскому быту.

² В декрете о гражданском браке от 29 декабря 1917 г. говорится, что «Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки». — *Прим. ред.*

³ В первые годы Советской власти в Книге записей браков Отдела записей актов гражданского состояния над подписями жениха, невесты и должностных лиц значилось: «Заявляем о добровольном вступлении в брак». — *Прим. ред.*

подпись. В настоящее время, я полагаю, мои идеи более или менее присущи каждой женщине со свободным разумом, но двадцать лет назад мой отказ выйти замуж и борьба за право женщины рожать детей вне брака, продемонстрированная на личном примере, создали значительные недоразумения.

* * *

Благодаря матери вся наша жизнь в детстве была проникнута музыкой и поэзией. По вечерам она усаживалась за пианино и играла часами, забывая обо всем окружающем. Одна из ее сестер, наша тетка Августа, тоже была замечательно талантлива. Она была очень красива, с черными глазами и черными как уголь волосами. У нее был прекрасный голос, и она могла бы сделать блестящую карьеру певицы, если бы ее родители не полагали, что все, что относится к театру, связано с дьяволом. Теперь я отдаю себе отчет, что вся ее жизнь была погублена тем, что в наши дни с трудом объяснимо,— пуританским духом Америки.

Думаю, мы нашей ирландской крови обязаны тем, что детьми всегда восставали против тирании пуританизма.

Одним из первых последствий нашего переезда в большой дом, подаренный нам отцом, было открытие театра на гумне в сарае моим братом Августином. Я помню, как он вырезал кусок из мехового ковра в гостиной, чтобы использовать его в качестве бороды для роли Рипа Ван Винкля¹, которую он исполнил настолько реалистически, что я разразилась слезами.

Театрик разросся и стал знаменитым в окрестностях. Позднее это подало нам мысль проделать турне по побережью. Я танцевала, Августин декламировал стихи, а затем мы исполняли комедию, в которой принимали также участие Элизабет и Реймонд. Хотя мне было тогда всего двенадцать лет, а остальные еще не вышли из второго десятка, наши турне вдоль побережья в Санта-Кларе, Санта-Розе, Санта-Барбаре прошли с большим успехом.

Господствующим в моем детстве был постоянный протест против узости общества, в котором мы жили,

¹ Театральный персонаж, появляющийся на сцене после долгого отсутствия и находящий всю обстановку переменившейся. Заимствован из легенды о Рипе Ван Винкле, проспавшем 20 лет, рассказанной американским писателем Уошингтоном Ирвингом (1783—1859) в его «Книге эскизов».

против ограниченности жизни и все растущее желание убежать на восток [страны], к чему-то, что представлялось мне более просторным. Как часто я разглагольствовала перед семьей и моими родственниками и всегда заканчивала словами: «Мы должны покинуть эти места, мы никогда здесь ничего не добьемся».

* * *

Из всей семьи я была самой отважной, и когда в доме совершенно нечего было есть, я добровольно вызывалась отправиться к мяснику и хитростью убедить его отпустить мне в долг бараньи котлеты. Обольщать булочника, чтобы он продолжил нам кредит, посылали тоже только меня. Это было очень полезной школой: научившись ублажать свирепых мясников, я приобрела прием, который помогал мне впоследствии отстаивать свои позиции перед свирепыми импресарио.

Помню, как однажды, когда я была еще ребенком, я застала мать плачущей над несколькими вещами, которые она связала для продажи в магазин, но где их отказались принять. Я отняла у нее корзину и, надев на голову одну из вязаных шапок, а на руки пару вязаных митенок, отправилась в обход квартир, продавая вещи. Я распродала все и принесла домой вдвое больше денег, чем мать получила бы из магазина.

Когда отцы семейства говорят, что они работают для того, чтобы оставить своим чадам много денег, я задаюсь вопросом, осознают ли они, что тем самым лишают жизнь своих детей волнующего духа предприимчивости. Ибо каждый доллар, завещаемый детям, делает их на столько же слабее. Самое прекрасное наследство, которое вы можете оставить своему чаду,—это дать ему возможность самому пробиться в жизни, стоять полностью на собственных ногах. Преподавание приводило нас с сестрой в богатейшие дома Сан-Франциско. Я не завидовала богатым детям, а, напротив, жалела их. Я поражалась мелочности и вздорности их жизни, и по сравнению с детьми миллионеров я, казалось, была в тысячу раз богаче всем, что делает жизнь достойной.

Тем временем слава о нас как об учительницах увеличивалась. Мы называли наше преподавание новой системой танца, но в действительности в нем не было никакой системы. Я следовала своей фантазии и импровизировала обучая всему, что приходило мне в голову. Один из моих первых танцев был посвящен стихотворению Лонгфелло

«Я пустил стрелу в воздух»¹. Я декламировала стихотворение и учила детей следовать смыслу жестами и движениями. По вечерам мать играла нам, между тем как я сочиняла танцы. Одна милая старая дама, наш друг, очень часто приходившая к нам, чтобы провести с нами вечер, в свое время жила в Вене. Она говорила, что я напоминаю ей Фанни Эльслер², и рассказывала нам о ее триумфах.

— Айседора будет второй Фанни Эльслер,— говорила она, и это поощряло мои честолюбивые мечты.

Она посоветовала моей матери определить меня к знаменитому балетному преподавателю в Сан-Франциско, но его уроки мне не понравились. Когда преподаватель велел мне стать на пальцы ног, я спросила его, к чему это.

После его ответа («Так как это красиво») я заявила, что это безобразно и противно природе, а после третьего урока я покинула его класс, чтобы никогда туда не возвращаться. Чопорная и пошлая гимнастика, которую он называл танцем, лишь смущала мою мечту. Я мечтала об ином танце. Я не знала точно, каким он будет, но я стремилась к неведомому миру, в который, я предчувствовала, смогу попасть, если найду к нему ключ. Мое искусство уже заключалось во мне, когда я была маленькой девочкой, и тем, что оно не заглохло, оно обязано героическому и предприимчивому духу моей матери.

У моей матери было четверо детей. Может быть, системой принуждения и воспитания ей удалось бы превратить нас в практических граждан, и иногда она сетовала:

— Отчего все четверо должны быть артистами и ни один — практическим человеком.

Но именно ее собственный прекрасный и беспокойный дух сделал нас артистами. Мать совершенно не заботилась о материальных вопросах, и она-то научила нас великолепному презрению и пренебрежению к обладанию домами, мебелью, всякой утварью. Благодаря ее примеру я никогда в жизни не носила ни одной дра-

¹ Первая строфа одного из наиболее известных стихотворений американского поэта Генри Лонгфелло (1807—1822), «Стрела и песня», в котором проводится аналогия между полетом выпущенной стрелы и пропетой песнью.

² Эльслер Фанни (настоящее имя Франциска) (1810—1884) — австрийская артистка балета. Обладала пантомимическим даром, темпераментом, обаянием. Страстная «языческая» (по словам Т. Готье) танцовщица. — *Прим. ред.*

гоценности. Она научила нас, что все эти вещи оказываются путями.

Покинув школу, я стала страстным читателем. В Окленде, где мы тогда жили, имелась публичная библиотека. Библиотекарем была чудесная и красивая женщина, поэтесса из Калифорнии, Ина Кулбрит. Она поощряла мое чтение и всегда казалась довольной, когда я просила хорошие книги. У нее были очень красивые глаза, пылавшие огнем и страстью. Впоследствии я узнала, что мой отец одно время был в нее очень влюблен. Она, очевидно, была в его жизни сильным увлечением.

Я прочла к этому времени все произведения Диккенса, Тэкерея, Шекспира, а кроме того тысячи романов, хороших и скверных, вдохновенные книги и пустяки. Я поглощала все. Обычно я бодрствовала ночью, читая до рассвета при свете свечных огарков, собранных мною в течение дня. Я принялась писать роман и одновременно издавала газету, которую писала всю сама — передовицы, хронику и короткие рассказы. В придачу я вела дневник, для которого изобрела секретный язык, так как у меня в это время появилась великая тайна. Я была влюблена.

Кроме детских классов мы с сестрой приняли нескольких учеников постарше, которым она преподавала то, что тогда называли «светскими танцами»: вальс, мазурку, польку и другие.

Среди этих учеников было двое молодых людей. Один был молодой доктор, второй — химик. Химик был изумительно красив и носил восхитительное имя — Вернон. Мне было тогда одиннадцать лет, но, зачесывая волосы вверх и нося длинные платья, я выглядела старше. Я записала в свой дневник, что безумно, страстно влюблена, и полагаю, что со мной это действительно было. Сознал ли это Вернон или нет, не знаю. В том возрасте я была слишком стыдлива, чтобы открыть свое увлечение. Мы ходили на балы и танцы, где почти каждый танец он танцевал со мной, а затем я бодрствовала до раннего утра, рассказывая своему дневнику об ужасающей дрожи, которую испытала, «носясь», как я это излагала, «в его объятиях». Днем он работал в аптеке на главной улице, и я исхаживала целые мили, чтобы лишь раз пройти мимо него. Иногда я набиралась достаточно храбрости, входила и спрашивала: «Как вы поживаете?» Я разыскала дом, в котором он жил, и обычно убегала вечером посмотреть на свет в его окне. Это

увлечение продолжалось два года, и я считала, что страдаю очень сильно. К концу второго года он объявил о своей предстоящей женитьбе на одной молодой девушке из оклендского общества. Я излила свое мучительное отчаяние на страницы дневника. Помню день свадьбы и свои чувства, когда увидела, как Вернон спускается из церковного придела с некрасивой девушкой под белым покрывалом. После этого я больше его не видела.

Когда я недавно в последний раз танцевала в Сан-Франциско, в мою уборную вошел какой-то мужчина с белоснежными волосами, но кажущийся совершенно молодым и чрезвычайно красивым. Я узнала его сразу. Это был Вернон. Я решила, что после всех минувших лет могу рассказать ему об увлечении своей молодости. Я думала, что это его позабавит, но он чрезвычайно испугался и заговорил о своей жене, неинтересной девушке, которая, оказывается, еще была жива и любовь к которой у него никогда не прекращалась. Как бесхитростно может протекать жизнь некоторых людей!

Такова была моя первая любовь. Я была безумно влюблена и полагаю, что с тех пор никогда не переставала быть безумной влюбленной.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Под влиянием прочитанных книг я задумала покинуть Сан-Франциско и уехать за границу. У меня было намерение уехать с какой-либо большой театральной труппой. Однажды я отправилась к директору странствующей труппы, которая в течение недели давала спектакли в Сан-Франциско, и попросила у него разрешения протанцевать перед ним. Испытание проходило утром на большой, темной, необставленной сцене. Моя мать аккомпанировала мне. Я танцевала в короткой белой тунике на некоторые мотивы «Песен без слов» Мендельсона.

Когда музыка замолкла, директор хранил молчание в течение нескольких минут, а затем, повернувшись к моей матери, сказал:

— Подобная вещь непригодна для театра. Она подходит скорее для церкви. Я советую вам отвести вашу девочку домой.

Разочарованная, но не убежденная, я составила другие планы отъезда. Я созвала всю семью и в часовой речи привела им все доводы, доказывавшие, что жизнь в Сан-

Франциско невозможна. Мать была несколько ошеломлена, но готова следовать за мной повсюду, и мы вдвоем отправились первыми, взяв два билета до Чикаго. Сестра и двое братьев остались в Сан-Франциско, предполагая последовать за нами, когда мне улыбнется судьба.

Мы прибыли в Чикаго в жаркий июньский день с небольшим сундуком, несколькими старинными драгоценностями моей бабушки и двадцатью пятью долларами. Я надеялась, что немедленно получу ангажемент и все пойдет очень гладко и просто. Но все обернулось по-другому. Захватив с собою свою короткую греческую тунику, я обошла всех директоров, одного за другим, танцуя перед ними. Но их мнение всегда совпадало с мнением первого! Это очень красиво, говорили они, но не для театра.

Протекали недели, и наши деньги иссякли. Заклад бабушкиных драгоценностей многого не принес. Неизбежное случилось. Мы не могли внести платы за комнату, все наши пожитки удержали, и однажды мы очутились без гроша на улице.

Но у меня еще сохранился небольшой воротничок из настоящих кружев к моему платью, и весь день я ходила под палящим солнцем, стараясь продать его. Наконец, под самый вечер, я достигла успеха. (Кажется, я продала его за десять долларов.) Это был очень красивый кусок ирландских кружев, и я выручила за него достаточную сумму, чтобы заплатить за комнату. На оставшиеся деньги я решила купить коробку томатов, и в течение недели мы питались этими томатами без хлеба и соли. Моя бедная мать настолько ослабела, что уже не могла вставать. Я каждое утро в ранний час пускалась в путь, стараясь встретиться с директорами, но наконец решила взяться за любую работу, какую смогу найти, и обратилась в бюро по найму.

— Что вы умеете делать? — спросила женщина, сидевшая за конторкой.

— Все, что угодно, — ответила я.

— Ну, у вас такой вид, словно вы ничего не умеете делать.

В отчаянии я однажды обратилась к директору сада, расположенного на крыше Мэйсоник Темпл. С большой сигарой во рту и шляпе, надвинутой на один глаз, он с высокомерным видом смотрел, как я танцую, носясь взад и вперед под звуки «Весенней песни» Мендельсона.

— Так, вы очень миловидны и грациозны, — сказал

он.— И если вы все это изменили бы и танцевали что-нибудь побойчей, «с перцем», я бы принял вас.

Я подумала о своей бедной матери, теряющей силы дома над остатками томатов, и спросила у него, что он считает «чем-нибудь с перцем».

— Ну,— сказал он,— не то, что вы танцуете. Что-нибудь с юбками, оборками и прыжками. Вы могли бы сначала исполнить греческую штуку, а затем сменить ее на оборки и прыжки — получилась бы интересная перемена.

Но где мне было достать оборки? Я понимала, что попросить займы или аванс было бы бесполезно, и сказала лишь, что вернусь на следующий день с оборками, прыжками и «перцем». Я ушла. Стоял жаркий день — обычная чикагская погода. Я бродила вдоль улицы, усталая и ослабевшая от голода, когда увидела впереди один из больших магазинов Маршалла Филда. Я вошла и попросила управляющего. Меня провели в контору, где я увидела молодого человека, сидящего за конторкой. У него было любезное выражение лица, и я объяснила ему, что мне нужна к следующему утру юбка с оборками и, если он предоставит мне кредит, я легко расплачусь с ним из ангажемента. Не знаю, что побудило этого молодого человека удовлетворить мою просьбу, но он это сделал. Несколько лет спустя я встретила его уже как мультимиллионера — мистера Гордона Селфриджа.

Я купила материал: белый и красный для юбки и кружевную оборку. С узелком под мышкой я пришла домой, где нашла мать почти при последнем издыхании. Но она, сидя в постели, все же сшила мне костюм. Она работала всю ночь и утром пришила последнюю оборку. Я вернулась с костюмом к директору сада на крыше. Оркестр был наготове для испытания.

— Какая вам нужна музыка? — спросил директор.

Я еще не обдумывала этого, но попросила «Вашингтонскую почту», мотив которой был в то время популярен. Музыка заиграла, и я сделала все, что было в моих силах, чтобы показать директору танец «с перцем», импровизируя каждое движение. Он был просто очарован, вынул сигарету изо рта и сказал:

— Прекрасно. Вы можете начать завтра вечером, а я выпущу специальный анонс.

Он уплатил мне пятьдесят долларов за неделю и оказался достаточно любезным, дав их мне авансом.

Я имела в этом крытом саду большой успех, выступая

под вымышленной фамилией, но все это внушало мне отвращение, и когда в конце недели директор предложил продолжить ангажемент либо даже совершить турне, я отказалась. Мы были спасены от голодной смерти, и я не желала больше забавлять публику тем, что противоречило моим идеалам. То был первый и последний раз.

Я считаю, что то лето было одним из самых горестных эпизодов в моей жизни, и с тех пор каждый раз, когда я оказывалась в Чикаго, вид улиц вызывал во мне болезненное ощущение голода.

Но в течение всех тех ужасных испытаний моя мужественная мать ни разу не намекнула мне, что нам следовало бы вернуться домой.

Однажды кто-то дал мне рекомендательную карточку к некой журналистке по фамилии Амбер, которая была помощником редактора одной из больших чикагских газет. Я пошла встретиться с нею. Она оказалась высокой сухощавой женщиной, приблизительно пятидесяти пяти лет, с рыжими волосами. Я изложила ей свои идеи о танце. Она выслушала меня очень любезно и пригласила прийти вместе с матерью в «Богему», где, по ее словам, мы встретим артистов и литераторов. Мы пошли в клуб в тот же вечер. Он находился на самом верху высокого здания и состоял из нескольких неукрашенных комнат, уставленных столами и стульями и переполненных самыми необычайными людьми, каких я когда-либо встречала. Среди них была Амбер, выкрикивавшая голосом, похожим на мужской:

— Собирайтесь, добрые богемцы! Собирайтесь, добрые богемцы!

И каждый раз, когда она призывала богемцев к сбору, они поднимали пивные кружки и отвечали рукоплесканиями и песнями.

Посреди всего этого я выступила со своим танцем. Богемцы стали в тупик. Они не знали, как его понять. Но, несмотря на это, решили, что я славная девушка, и пригласили меня приходить каждый вечер на собрания настоящих богемцев.

Богемцы представляли собой удивительнейшую группу людей — поэтов, артистов и актеров всех национальностей. Их, казалось, объединяло лишь одно: все они не имели ни единого цента. И я подозреваю, что многим из богемцев, как и нам самим, совершенно нечего было есть, если бы не сэндвичи и пиво, которые они находили в клубе, доставленные главным образом благодаря великодушию Амбер.

Среди богемцев был один поляк по фамилии Мироцкий. Ему было около сорока пяти лет. У него была копна рыжих курчавых волос, рыжая борода и пронизательные голубые глаза. Он по большей части сидел в углу, курил трубку и с слегка иронической улыбкой глядел на «дивертисменты» богемцев. Он один из всей толпы, перед которой я танцевала в те дни, понимал мои танцы и мое творчество. Он тоже был очень беден. Все же часто приглашал меня с матерью пойти в какой-нибудь ресторанчик пообедать либо отвозил нас в трамвае за город, где мы завтракали в лесу. У Мироцкого была страсть к золотарнику. Всякий раз, приходя ко мне, он приносил целые охапки золотарника, и с тех пор золотисто-красные цветы этого растения всегда напоминали мне о рыжих волосах и бороде Мироцкого.

Он был очень странным человеком — поэтом и художником — и пытался зарабатывать себе на жизнь, занимаясь какими-то делами в Чикаго. Но он никогда не мог справиться с ними и почти умирал здесь от голода.

Я была тогда только молоденькой девушкой, слишком молодой, чтобы понимать его трагедию или его любовь. Мое представление о жизни являлось чисто лирическим и романтическим. Тогда я еще не соприкасалась ни с каким из физических воздействий любви, и прошло много времени, прежде чем я узнала о той страсти, которую я внушала Мироцкому. Этот человек лет сорока пяти влюбился бешено, безумно в наивную невинную девочку, какой я тогда была. Моя мать, очевидно, ничего не подозревала и не мешала нам подолгу оставаться наедине. Свидания и долгие прогулки по лесу оказали свое психологическое воздействие. Когда наконец он не смог больше противиться искушению поцеловать меня и попросил выйти за него замуж, я верила, что он окажется единственной великой любовью в моей жизни. Но лето подходило к концу, а у нас совершенно не было капиталов. Я решила, что в Чикаго нам не на что надеяться и мы должны уехать в Нью-Йорк. Но как? Однажды я прочла в газете, что великий Огастин Дэйли ¹ со своей труппой и Адой Реган ² в качестве примадонны находятся

¹ Дэйли Огастин (1838—1899) — американский драматург, режиссер и антрепренер. Его постановки пьес Шекспира приобрели международную известность.

² Реган Ада (настоящая фамилия Криен) (1860—1916) — американская актриса. Обладала комедийным даром, ее игра отличалась тонким юмором, жизнерадостностью, задором, лукавством. — *Прим. ред.*

в городе. Я решила, что должна встретиться с этим великим человеком, который имел репутацию самого горячего приверженца искусства и эстетики среди театральных директоров Америки. Я простаивала многие дни и вечера у артистического входа, многократно прося передать Огастину Дэйли мою просьбу принять меня. Мне отвечали, что он слишком занят и я должна обратиться к его помощнику. Но последнее я отвергала, говоря, что должна увидеть самого Огастина Дэйли по очень важному делу. Наконец, как-то вечером, в сумерки, я предстала перед лицом монарха. Огастин Дэйли был замечательно красивым мужчиной, но при виде незнакомых людей он умел напускать на свое лицо свирепейшее выражение. Я была напугана, но набралась мужества и произнесла длинную и необыкновенную речь.

— У меня есть великая идея, которую я изложу вам, мистер Дэйли, и вы, вероятно, единственный человек в стране, который может понять ее. Я открыла секрет танца. Я открыла искусство, которое утрачено уже две тысячи лет. Вы — высочайший артист театра, но вашему театру не хватает одного, что сделало великим античный греческий театр, — это искусство танца, трагического хора. Я принесла вам танец. Я принесла вам идею, которая произведет переворот во всей нашей эпохе. Где я открыла ее? У Тихого океана, в сосновых лесах Сьерры-Невады. Я вижу идеальную фигуру юной Америки, танцующей на вершине Скалистых гор. Я открыла танец, достойный поэмы Уолта Уитмена¹. Высочайшим поэтом нашей страны является Уолт Уитмен. Я создам для детей Америки новый танец, который изобразит Америку. Я принесла вашему театру живую душу, которой ему не хватает, душу танцовщицы. Вы же знаете, — продолжала я, повышая голос и стараясь не обращать внимания на нетерпеливые восклицания великого менеджера («Достаточно! Этого вполне достаточно!»), — что театр родился из танца, что первым актером был танцор. Он плясал и пел. Так возникла трагедия, и до тех пор, пока танцор не возвратится в театр со своим непринужденным замечательным искусством, в вашем театре не будет правды жизни!

Огастин Дэйли не вполне понимал, что ему делать с этим худым, странным ребенком, у которого хватило

¹ Уитмен Уолт — американский поэт (1819—1892). В главном его произведении — сборнике стихов «Листья травы» — любой человек и любая вещь восприняты на фоне бесконечной во времени и пространстве вселенной. — *Прим. ред.*

отваги обратиться к нему с подобной речью. Но весь его ответ гласил:

— Ладно, у меня имеется небольшая роль в пантомиме, которую я ставлю в Нью-Йорке. Приходите на репетицию первого октября, и если вы подойдете, вы будете ангажированы. Как ваше имя?

— Мое имя Айседора,— отвечала я.

— Айседора! Красивое имя,— сказал он.— Итак, Айседора, я встречусь с вами первого октября в Нью-Йорке. Полная восторга, я ринулась домой к матери.

— Наконец,— сказала я,— кто-то оценил меня, мама. Я ангажирована великим Огастином Дэйли. Мы должны быть к первому октября в Нью-Йорке.

— Да,— сказала мать,— но как нам достать железнодорожные билеты?

Это был трудный вопрос, но тут у меня возникла идея. Я послала одному другу в Сан-Франциско следующую телеграмму:

«Триумфальный ангажемент. Огастин Дэйли. Должна добраться до Нью-Йорка первого октября. Переведите телеграфно сто долларов на проезд».

И чудесное случилось. Деньги прибыли. Деньги были, а с ними моя сестра Элизабет и брат Августин, которые, воодушевившись моей телеграммой, решили, что наше благополучие достигнуто. Все же нам всем, обезумевшим от возбуждения и счастливым от надежд, удалось сесть на поезд, идущий в Нью-Йорк. Наконец, думала я, мир признает меня. Если бы я знала, сколько мытарств меня ждет впереди, прежде чем это наступит, я потеряла бы мужество.

Иван Мироцкий был в отчаянии, огорченный мыслью о разлуке. Но мы поклялись в вечной любви, и я объяснила ему, как легко нам будет пожениться, когда я достигну в Нью-Йорке удачи. Не потому, что я верила в брак, но я считала в то время это необходимым, чтобы доставить удовольствие своей матери. Я еще не вполне взялась за оружие для защиты свободной любви, за которую сражалась впоследствии.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Моим первым впечатлением от Нью-Йорка было, что он гораздо красивее и живописнее Чикаго. Кроме того, я была рада опять очутиться у моря. Я всегда чувствова-

ла себя подавленной в городах, находящихся внутри страны.

Мы остановились в пансионе, находившемся на одной из боковых улиц возле Шестой авеню. Пансион населяло странное сборище людей. Им, подобно богемцам, казалось, было присуще только одно общее свойство: никто из них не был в состоянии оплачивать счета и все жили постоянно накануне изгнания.

Однажды утром я пришла к артистическому входу театра Дэйли. Опять я предстала перед великим человеком. Я снова хотела объяснить ему свои идеи, но он казался очень занятым и утомленным.

— Мы переманили из Парижа великую звезду пантомимы Джейн Мэй,— сказал он.— Для вас имеется роль, если вы умеете играть в пантомиме.

Пантомима никогда не была для меня искусством. Однако мне ничего не оставалось, как принять роль. Я захватила ее разучить домой, но вся вещь целиком показалась мне очень глупой. Первая репетиция принесла мне ужасное разочарование. Джейн Мэй оказалась небольшого роста особой с крайне буйным характером, пользовавшейся каждым случаем, чтобы разразиться гневом. Когда мне сказали, что я должна при слове «вы» указать на нее, при слове «любите» прижать руки к сердцу, а затем яростно бить себя по груди при слове «меня», все это показалось мне слишком смешным. И, не вложив никакого чувства, я проделала это так скверно, что Джейн Мэй нашла меня отвратительной. Она обратилась к мистеру Дэйли и заявила, что я не обладаю никаким талантом и никоим образом не могу исполнять роль. Когда я услышала ее слова, то ясно представила себе, что для нас всех это означает быть брошенными в ужасном пансионе во власть безжалостной хозяйки. Я вспомнила все, что пришлось пережить моей матери в Чикаго. При мысли обо всем этом у меня на глаза навернулись слезы и покатались по щекам. Я полагаю, что у меня был очень трагический и несчастный вид, ибо лицо мистера Дэйли приняло более ласковое выражение. Он похлопал меня по плечу и сказал Джейн Мэй:

— Видите, она очень выразительно плачет. Она научится.

Но репетиции были для меня мукой. Мне приказывали делать движения, которые я считала очень пошлыми и глупыми и которые не состояли ни в какой действительной связи с музыкой, под которую они проделывались.

Но молодость легко приспосаблиется, и мне удалось войти в дух роли.

Джейн Мэй исполняла роль Пьерро. В одной сцене я должна была объясняться в любви к Пьерро. Под три различных музыкальных такта я должна была приблизиться и поцеловать Пьерро в щеку три раза. На генеральной репетиции я провела это с такой энергией, что оставила отпечаток своих красных губ на белой щеке Пьерро. Тут Пьерро превратился в Джейн Мэй, совершенно рассвирепевшую, и дал мне пощечину. Восхитительное вступление в театральную жизнь!

И все же, по мере того как репетиция продвигалась вперед, я не могла сдержать восхищения перед необыкновенной выразительностью этой мимической артистки. Если бы ее не поработили ложные и выдохнувшиеся формы пантомимы, она могла бы стать великой танцовщицей. Но формы были слишком ограничены.

Наступил вечер премьеры. На мне был костюм времен Директории¹ из синего шелка, белокурый парик и большая соломенная шляпа. Я приняла совершенно иную личину и перестала быть самой собой. Дорогая моя мать сидела в первом ряду и пришла в некоторое замешательство. Но даже тут она не подала и намека, что нам следовало бы вернуться в Сан-Франциско, однако я заметила, что она ужасно разочарована. После стольких усилий достигнуть такого жалкого результата.

Пока шли репетиции этой пантомимы, у нас совсем не было денег. Нас выставили из пансиона, и мы заняли две необставленные комнаты, в которых ровно ничего не было, на 180-й улице. На плату за проезд не было денег, и часто мне приходилось идти пешком до театра Огастина Дэйли на 29-й улице. Я пробегала по грязи, мчалась вприпрыжку по тротуару или шла по мостовой из торца — такой путь казался мне короче. Так как я не завтракала за неимением денег, я обычно пряталась, когда наступало время завтрака, в ложу у самой сцены и засыпала от истощения, а после полудня, ничего не съев, вновь приступала к репетиции. Я репетировала таким образом шесть недель до начала спектаклей, а затем участвовала в них в течение одной недели до первой получки.

После трехнедельного пребывания в Нью-Йорке группа отправилась на гастроли, давая в каждом месте по

¹ Директория — правительство Французской республики, существовавшее с 4 ноября 1795 по 10 ноября 1799 г. — *Прим. ред.*

одному спектаклю. Я получала пятнадцать долларов в неделю на все свои расходы и половину отсылала домой матери на жизнь. Когда мы высаживались на вокзале, я направлялась не в гостиницу, а брала свой чемодан и шла пешком разыскивать пансион подешевле. Моим пределом являлось пятьдесят центов в день, включая все в эту плату, и иногда мне приходилось тащиться до изнеможения несколько миль, прежде чем я находила что-нибудь подходящее. Иногда поиски приводили меня к очень странному соседству. Помню, как в одном месте мне дали комнату без ключа, и обитатели дома, в большинстве своем пьяные, делали беспрестанные попытки войти в мою комнату. Я пришла в ужас и, перетаскив через всю комнату тяжелый платяной шкаф, забаррикадировала им дверь. Но даже после этого я не посмела лечь спать, а просидела всю ночь настороже. Я не могу себе представить более безбожного существования, чем так называемые «гастроли» театральной труппы.

Джейн Мэй была неумоима. Она ежедневно назначала репетиции и никогда ее ничто не удовлетворяло. Я имела с собой несколько книг и непрерывно читала.

Каждый день я писала длинные письма Ивану Мирощкому; не думаю, чтобы я полностью ему рассказывала о том, как я несчастна.

После двух месяцев скитаний пантомима вернулась в Нью-Йорк. Вся эта затея кончилась для мистера Дэйли прискорбной финансовой неудачей, и Джейн Мэй вернулась в Париж.

Что мне было делать? Я опять встретила с мистром Дэйли и попыталась заинтересовать его своим искусством. Но он казался совершенно глухим и равнодушным ко всему, что я могла ему предложить.

— Я посылаю труппу со «Сном в летнюю ночь». Если хотите, можете танцевать в сцене с феями.

Мои идеи танца заключались в изображении чувства и эмоций человека. Я совершенно не интересовалась феями. Но я согласилась, предложив танцевать под музыку «Скерцо» Мендельсона в сцене в лесу перед выходом Титании и Оберона ¹.

Когда «Сон в летнюю ночь» начался, я была одета в длинную узкую тунику из белого и золотого газа с двумя мишурными крыльями. Я бурно возражала про-

¹ Персонажи средневекового мифа, использованного У. Шекспиром для пьесы «Сон в летнюю ночь». Оберон — король фей и муж Титании.

тив крыльев. Мне казалось, что они смешны. Я пыталась доказать мистеру Дэйли, что смогу изобразить крылья, не навешивая на себя сделанные из папье-маше, но он остался неумолимым. В первый вечер я вышла одна танцевать на сцену. Я была в восторге. Наконец-то я очутилась одна на большой сцене перед многочисленной публикой и могла танцевать. И вот я протанцевала — настолько хорошо, что публика непроизвольно разразилась аплодисментами. Я произвела, что называется, фурор. Когда я вернулась со сцены в своих крыльях, я надеялась найти мистера Дэйли в восхищении и принять его поздравления. Но вместо этого он был неудержимо взбешен.

— Здесь не мюзик-холл! — загремел он. — Неслыханно, чтобы публика аплодировала танцу!

Выйдя танцевать на следующий вечер, я обнаружила, что все лампы вывинчены. И каждый раз, танцуя в «Сне в летнюю ночь», я танцевала во мраке. Ничего нельзя было разглядеть, кроме белой, порхающей фигуры.

После двухнедельного пребывания в Нью-Йорке «Сон в летнюю ночь» тоже отправился на гастроли, и снова началось мое унылое путешествие и охота за отелями. Единственным результатом было то, что мне увеличили жалованье до двадцати пяти долларов в неделю.

Так прошел год.

Я была крайне несчастна. Мои мечты, мои идеалы, мое честолюбие — все казалось ничтожным. Среди труппы я приобрела очень мало друзей. Меня считали чудачкой. Я обычно ходила за кулисами с томом Марка Аврелия¹. Я старалась усвоить стоическую философию, чтобы смягчить непрерывные невзгоды, испытываемые мной. Тем не менее в эту поездку я нашла одного друга — молодую девушку по имени Мод Уинтер, которая исполняла роль королевы Титании. Она была очень мила и симпатична. Но у нее была странная мания питаться лишь апельсинами, и от другой пищи она отказывалась.

Звездой труппы Огастина Дэйли являлась Ада Реган — великая актриса, хотя она и была для своих подчиненных в высшей степени несимпатичной личностью. В труппе я испытывала радость лишь в те минуты, когда наблюдала за ее игрой. Она редко ездила в турне с груп-

¹ *Аврелий Марк* (121—180) — римский император (с 161 г.) и философ. В сочинении «Наедине с собой» выражал стремление к моральному самоусовершенствованию. — *Прим. ред.*

пой, в которой была я, но по возвращении в Нью-Йорк я часто смотрела, как Ада Реган исполняет роли Розалинды, Беатриче или Порции. Она была одной из самых великих актрис мира, но в жизни вовсе не стремилась завоевать любовь участников труппы. Она отличалась сдержанностью и чрезвычайной надменностью и, видимо, находила затруднительным прощаться с нами, потому что однажды за кулисами было вывешено следующее объявление: «К сведению участников труппы: прощаться с мисс Реган не обязательно».

И в самом деле, на протяжении двух лет, которые я провела в труппе Огастина Дэйли, я ни разу не имела удовольствия поговорить с мисс Реган. Она, очевидно, считала всех второстепенных актеров труппы недостойными ее внимания. Помнится, как-то ей пришлось ждать одну из групп Дэйли, и она, махнув рукой над головами всех нас, воскликнула: «О, хозяин, почему вы заставляете меня ждать этих ничтожеств?» (Будучи одной из ничтожеств, я не чувствовала признательности за такую оценку!) Я не понимаю, как Ада Реган — такая замечательная артистка и очаровательная женщина — могла совершить эту ошибку. Я могу дать лишь одно объяснение: в то время артистке было около 50 лет. Она давно являлась предметом обожания со стороны Огастина Дэйли, и, возможно, ее возмущало, когда Дэйли возвышал какую-нибудь хорошенькую девушку из труппы, доверяя ей ведущую роль без всяких, казалось, на то оснований, а возможно, и по причине, которая была не по сердцу мисс Реган. Как артистка, я была преисполнена восхищения Адой Реган, и если бы она хоть немножко любезно поддержала меня, это очень много значило бы в моей жизни. Но за эти два года она ни разу не взглянула на меня. Когда однажды я танцевала в конце «Бури» ради удовольствия Фердинанда и Миранды на их свадьбе, она на протяжении всего танца демонстративно смотрела в сторону, что очень смутило меня, и я еле закончила танец. Продолжая наше турне со «Сном в летнюю ночь», мы в заключение прибыли в Чикаго. Я была чрезвычайно обрадована встречей с моим предполагаемым нареченным. Опять стояло лето, и каждый день, свободный от репетиций, мы уезжали в лес и совершали длинные прогулки. Я научалась все больше ценить ум Ивана Мироцкого. Когда несколько недель спустя я уехала в Нью-Йорк, мы условились, что он последует за мной и мы

поженимся. Мой брат, прослышав об этом, к счастью, навел справки и выяснил, что у Мироцкого уже есть жена в Лондоне. Моя мать, придя в ужас, настояла на нашей разлуке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Теперь наша семья находилась в Нью-Йорке. Нам удалось нанять студию, и так как я хотела, чтобы она оставалась свободной от всякой мебели, которая мешала бы танцам, то мы купили пять пружинных матрасов. Мы развесили занавесы по всем стенам комнаты. В дневное время матрасы ставились стоймя. Мы спали на матрасах без всякой постели, прикрываясь лишь одним стеганым одеялом. В этой студии Элизабет открывала школу, как в Сан-Франциско. Августин успел поступить в театральную труппу и редко бывал дома. Он преимущественно уезжал на гастроли. Реймонд пробовал силы в журналистике. Чтобы покрыть расходы, мы сдавали студию по часам преподавателям красноречия, музыки, пения и т. д. Но поскольку она состояла лишь из одной комнаты, это принуждало мою семью уходить на прогулку, и я помню, как мы в снегу тащились по Центральному парку, стараясь не околеть. Затем мы возвращались домой и слушали у двери, как шли уроки. Один из учителей красноречия обучал декламировать только одно стихотворение «Мейбл, крошка Мейбл, прислонив лицо к окну...», всякий раз повторяя его с неестественно преувеличенным пафосом. Ученик повторял стихотворение невыразительным голосом, и учитель восклицал: «Где же у вас пафос? Неужели вы не чувствуете пафоса?» В это время у Огастина Дэйли возникла мысль поставить «Гейшу». Он включил меня в число участников, чтобы я пела в квартете. А ведь в течение всей своей жизни я не умела пропеть хотя бы одну ноту. Остальные трое участников заявляли, что я все время сбиваю их с тона. Поэтому обычно я мирно стояла рядом, раскрывая рот, но не издавая ни единого звука. Мать находила удивительным, что остальные во время пения делают страшные лица, между тем как я никогда не теряю приятного выражения.

Нелепость «Гейши» явилась последней каплей, переполнившей чашу в моих отношениях с Огастином Дэйли.

Помню, как однажды он прошел через неосвещенный театр и нашел меня лежащей и плачущей на полу ложи. Он наклонился и спросил, в чем дело. Я заявила ему, что

не могу дольше переносить скудоумия вещей, идущих в его театре. Он ответил, что ему «Гейша» нравится ничуть не больше, чем мне, но ему приходится думать о финансовой стороне дела. Затем, желая меня утешить, Дэйли просунул сзади руку за ворот моего платья, но его жест просто рассердил меня.

— Зачем вы меня тут держите,— спросила я,— когда вы совершенно не используете моего гения?

Дэйли лишь ошеломленно взглянул на меня и, сказав «гм!», ушел.

То был последний раз, когда я видела Огастина Дэйли, ибо несколько дней спустя, собрав всю свою отвагу, я покинула его труппу.

Я научилась чувствовать к театру подлинное отвращение.

Я оставила Дэйли и вернулась в студию в Карнеги-холле. У нас было очень мало денег, но я опять надела свою короткую белую тунику, а мать играла мне.

В это время я была очень увлечена музыкой Энгельгарта Невина¹. Я сочинила танцы к его «Нарциссу», «Офелии», «Русалкам» и другим произведениям. Однажды, когда я упражнялась в студии, дверь отворилась и ворвался молодой человек со свирепыми глазами и волосами, стоящими дыбом. Несмотря на свою крайнюю молодость, он казался уже подверженным той ужасной болезни, которая впоследствии послужила причиной его смерти. Он бросился ко мне, восклицая:

— Я слышу, что вы танцуете под мою музыку. Я запрещаю это, запрещаю. Моя музыка не предназначена для танцев. Никто не должен под нее танцевать.

Я взяла его за руку и подвела к стулу.

— Сядьте,— сказала я,— а я станцую под вашу музыку. Если вам не понравится, то клянусь, что никогда больше не буду под нее танцевать.

И я протанцевала перед Невином его «Нарцисса». Едва замерла последняя нота, как он вскочил со стула, бросился ко мне и стремительно обнял. Он взглянул на меня глазами, полными слез.

— Вы ангел,— сказал он.— Вы ясновидица. Именно эти движения я представлял себе, когда я сочинял музыку.

Затем я протанцевала перед ним «Офелию», а после «Русалок». Его восторженное исступление все росло. Под

¹ Невин Энгельгарт (1862—1901) — американский композитор.

конец он сам сел за пианино и тут же сочинил для меня прекрасный танец, который назвал «Весна». Я всегда испытывала сожаление, что этот танец, несмотря на то что Невин играл его для меня множество раз, никогда не был записан. Невин был очень увлечен мною и немедленно предложил дать несколько совместных концертов в малом зале Карнеги-холла. Он сам станет играть для меня.

Невин сам устроил концерт, наняв помещение, пустив рекламу и т. д. Каждый вечер он приходил репетировать со мной. Я всегда считала, что Энгельгарт Невин обладал всеми задатками великого композитора. Он мог бы стать Шопеном Америки, но ужасная борьба, которую ему приходилось вести для поддержания жизни в жесточайших условиях, явилась, вероятно, причиной страшного недуга, вызвавшего его раннюю смерть.

Первый концерт увенчался огромным успехом, за ним последовали другие, которые вызвали в Нью-Йорке полную сенсацию, и, вероятно, если бы мы были достаточно практичны, чтобы найти в эту минуту хорошего импресарио, я начала бы успешную карьеру. Но мы были на диво простодушны.

В числе зрителей присутствовало много светских женщин, и мой успех повлек за собой приглашения в различные салоны Нью-Йорка. На этот раз я сочинила танец по поэме Омара Хайяма¹ в переводе Фицджеральда². Августин, а иногда и моя сестра Элизабет читали ее вслух, когда я танцевала.

Приближалось лето. Я была приглашена миссис Астор танцевать в ее вилле в Ньюпорте. Мать, Элизабет и я поехали в Ньюпорт, который в то время являлся наимоднейшим курортом. Миссис Астор была в Америке тем же, чем королева в Англии. Люди, находившиеся в ее присутствии, испытывали больше благоговения и страха, чем если бы они приблизились к особе королевского достоинства. Но со мной она всегда была очень приветлива. Она устраивала спектакль на своей площадке, и самое избранное общество Ньюпорта смотрело, как я танцую. У меня есть снимок, на котором запечатлен этот спектакль: достопочтенная миссис Астор сидит возле Гарри Лера, а вокруг нее рядами Вандербильды, Бель-

¹ Омар Хайям Гиясаддин Абу-ль-Фатх ибн Ибрахим (ок. 1048 — после 1122) — персидский и таджикский поэт, математик и философ.

² Фицджеральд Фрэнсис Скотт (1896—1940) — американский писатель.

монты, Фиши и т. д. В дальнейшем я танцевала и в других виллах Ньюпорта, но владелицы их так экономили на гонораре, что нам едва хватало на расходы по поездке и на стол. Притом, хотя они любовались моими танцами и считали их восхитительными, никто из них не имел ни малейшего понятия о том, что я делаю. В общем же наше посещение Ньюпорта оставило отпечаток разочарования. Эти люди, казалось, настолько погрязли в снобизме и чванстве своим богатством, что у них не осталось никакого чувства искусства.

В те дни артистов считали низшим сословием — вроде старших слуг. Это отношение с тех пор сильно переменилось, в особенности после того, как Падеревский¹ стал премьер-министром Польской республики.

Так как меня никоим образом не удовлетворяла жизнь в Калифорнии, у меня появилось сильное желание найти более благоприятную атмосферу, чем в Нью-Йорке. Я мечтала о Лондоне, о писателях и художниках, которых там можно встретить: о Джордже Мередите², Генри Джеймсе³, Уоттсе⁴, Суинберне⁵, Бёрн-Джонсе⁶, Уистлере⁷... Это были магические имена, а говоря по правде, в течение всех своих нью-йоркских испытаний я не нашла разумного сочувствия либо помощи моим идеям.

Между тем школа Элизабет разрослась и мы переехали из студии в Карнеги-холле в две большие комнаты на нижнем этаже отеля «Виндзор». Стоимость этих комнат достигала девяноста долларов в неделю, и нам скоро стало ясно, что при тех ценах, которые платят за уроки танцев, невозможно собрать такую сумму на квартирную плату, так же как и на другие расходы. Действительно, несмотря на наш внешний успех, наш банковский счет показывал дефицит. «Виндзор» был мрачным отелем,

¹ *Падеревский Игнацы Ян* (1860—1941) — польский пианист, композитор и политический деятель. В январе — ноябре 1919 г. — премьер-министр и министр иностранных дел Польши. — *Прим. ред.*

² *Меридит Джордж* (1828—1909) — английский писатель и поэт.

³ *Джеймс Генри* (1843—1916) — американский писатель, натурализовавшийся в Англии.

⁴ *Уоттс Фредерик* (1818—1904) — английский портретист.

⁵ *Суинберн Алджернон Чарльз* (1837—1909) — английский поэт, драматург, критик.

⁶ *Бёрн-Джонс Эдуард Коли* (1833—1898) — английский художник.

⁷ *Уистлер Джеймс Эббот Мак-Нейл* (1834—1903) — американский живописец и график.

и нам доставляло очень мало радости жить в нем, пытаюсь оплачивать эти тяжкие расходы.

Однажды вечером мы с сестрой сидели у камина, размышляя, что нам следует предпринять, чтобы раздобыть сумму, необходимую для погашения счета. Вдруг я воскликнула: «Нас может спасти только одно: если отель сгорит дотла!»

На третьем этаже, в комнатах, заставленных старинной мебелью и картинами, жила очень богатая старая дама. У нее была привычка каждое утро, в восемь часов спускаться вниз для завтрака в столовую. Мы составили план, что я встречу с ней на следующее утро и попрошу у нее денег взаймы. Так я и поступила. Но старая дама находилась в отвратительном расположении духа и, отказав в займе, принялась жаловаться на кофе.

— Я живу в этом отеле много лет,— сказала она.— но если мне не дадут лучшего кофе, я немедленно выеду отсюда.

Она действительно «выехала» в тот же день, когда весь отель охватило пламя. и эта дама превратилась в кучку пепла. Элизабет, благодаря присутствию духа, героически спасла своих учеников, гуськом выводя их из здания. Но мы ничего не смогли спасти и потеряли все наши пожитки, включая семейные портреты, которые были нам очень дороги. Мы нашли пристанище в Букингемском отеле, на той же авеню, и через несколько дней очутились в таком же положении, в каком мы прибыли в Нью-Йорк, то есть без единого гроша.

— Это судьба,— сказала я.— Мы должны уехать в Лондон.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Все эти несчастья выбросили нас на мель в Нью-Йорке в конце сезона. Именно тогда у меня возникла мысль уехать в Лондон. После пожара в отеле «Виндзор» мы остались без пожитков, даже без необходимой смены платья. Мой ангажемент у Огастина Дэйли и опыт, извлеченный из танцев перед нарядным обществом в Ньюпорте и «четырёхстами»¹ Нью-Йорка, повергли меня в состояние горького разочарования. Я чувствовала, что если это все, что Америка может дать, то бесполезно дольше

¹ Прозвище крупнейших богачей Нью-Йорка.

стучать в двери, которые так плотно заперты. У меня было страстное желание добраться до Лондона.

Семья наша уменьшилась до четырех человек. Августин, находясь в одной из своих поездок с небольшой странствующей труппой и исполняя роль Ромео, влюбился в шестнадцатилетнюю девочку, исполнившую роль Джульетты. Однажды, вернувшись домой, он объявил о своей женитьбе. Его слова были восприняты как изменнический поступок. По какой-то причине, которую я никогда не могла уяснить, мать пришла в ярость. Она вела себя совершенно так же, как при первом визите отца, который я уже описала. Она вышла в другую комнату и хлопнула дверью. Элизабет замкнулась в молчании, а Реймонд впал в истерику. Я единственная высказала некоторое сочувствие. Я сказала Августину, бледному от страдания, что хочу пойти с ним, чтобы повидать его жену.

Он привел меня в мрачные меблированные комнаты на боковой улице; там мы взобрались на пятый этаж в комнату, где нашли Джульетту. Она была миловидной и хрупкой и казалась больной. Они признались мне, что ждут ребенка.

Таким образом, Августин был по необходимости исключен из наших лондонских планов.

И вновь в начале лета мы очутились без всяких средств в пустой студии. И тут у меня возникла блестящая идея ходатайствовать перед богатыми дамами, в чьих салонах я раньше танцевала, о предоставлении мне суммы, достаточной для проезда в Лондон. Прежде всего я посетила даму, которая жила в пышном дворце на 59-й улице, из которого открывался вид на Центральный парк. Я рассказала ей о пожаре в отеле «Виндзор», во время которого мы потеряли все наши вещи, о том, что меня недостаточно оценили в Нью-Йорке, и о своей уверенности, что я найду признание в Лондоне.

Наконец она подошла к конторке и, вынув перо, выписала чек. Она сложила его и передала мне. Я ушла от нее в слезах и поспешила выбраться из дома. Но увы! достигнув Пятой авеню, я обнаружила, что чек был всего лишь на пятьдесят долларов — сумму совершенно недостаточную для переезда семьи в Лондон.

Следующий опыт я произвела с женой другого миллионера, которая жила в конце Пятой авеню. Я прошла пешком пятьдесят кварталов между 59-й улицей и ее дворцом. Здесь меня еще холоднее встретила пожилая

женщина и подчеркнула мне всю неисполнимость моей просьбы. Было четыре часа дня, а я еще не завтракала. Когда я пыталась уговорить ее, со мной произошел обморок, и я свалилась набок. Это, кажется, встревожило даму значительно сильнее, она позвонила великолепному дворецкому, который принес мне чашку шоколада и поджаренный хлеб. Мои слезы падали в шоколад и на поджаренный хлеб, но я все же пыталась убедить даму в абсолютной необходимости нашего переезда в Лондон.

— Я стану когда-нибудь знаменитой, — сказала я ей, — и для вас будет честью, что вы оценили американский талант.

Наконец эта обладательница приблизительно шестидесяти миллионов тоже подарила мне чек — опять на пятьдесят долларов. Но она прибавила:

— Когда вы разживетесь, вы мне их вернете.

Я никогда их не вернула, предпочитая лучше отдать их бедняку.

Таким образом я перебрала большинство жен миллионеров Нью-Йорка, и в результате у нас оказался целый капитал в триста долларов на поездку в Лондон. Этой суммы не хватало даже на билеты второго класса на обыкновенном пароходе, если мы хотели прибыть в Лондон хоть с какими-нибудь деньгами.

У Реймонда возникла блестящая идея поискать подходящее судно на пристани, и вскоре он нашел небольшое скотопромышленное судно, направляющееся в Гулль, Капитан его был настолько тронут рассказом Реймонда, что согласился принять нас как пассажиров, хотя это и противоречило уставу его судна. Однажды утром мы вступили на его борт лишь с несколькими ручными сумками, так как все наши чемоданы сгорели при пожаре в отеле «Виндзор». Я считаю, что именно эта поездка оказала большое влияние на превращение Реймонда в вегетарианца, ибо вид нескольких сотен жалких животных в трюме, испытывающих муки на пути от равнин Среднего Запада в Лондон, бодающих друг друга и стенающих самым жалобным образом, произвел на нас глубокое впечатление.

Об этом путешествии на скотопромышленном судне я часто вспоминала впоследствии в своей роскошной каюте на одном из крупных пароходов, совершающих регулярные рейсы. Вспоминая о нашей неукротимой веселости и восторге, я задавалась вопросом, не вызывает ли

постоянная атмосфера роскоши в конце концов неврастению.

Все наше питание состояло из соленой говядины и чая, имевшего вкус соломы. Койки были жесткими, каюты маленькими, а стол скудным, но мы были очень счастливы в течение двухнедельного путешествия в Гулль. Ехать на таком судне под собственной фамилией нам казалось стыдным, поэтому мы записались под фамилией моей бабушки по матери — О'Горман. Я назвалась Мэгги О'Горман.

Первым штурманом был ирландец, с которым я проводила лунные вечера. Он часто говорил мне:

— Наверняка, Мэгги О'Горман, я оказался бы для вас хорошим мужем, если бы вы пошли на это.

Однажды майским утром семья О'Горман сошла на берег в Гулле, села в поезд и несколько часов спустя в Лондон прибыла семья Дункан. Помнится, что мы нашли квартиру вблизи Мраморной арки по объявлению в «Таймсе». Первые дни пребывания в Лондоне целиком ушли на разъезды по городу на пенсовых омнибусах в состоянии полного экстаза. Удивляясь и восхищаясь всем, что нас окружало, мы совершенно забыли о том, насколько ограничены были наши ресурсы. Мы пустились осматривать достопримечательности, проводя часы в Вестминстерском аббатстве, Британском музее, Южно-Кенсингтонском музее, лондонском Тауэре, посещая сады Кью, Ричмондский парк и Гэмптонский дворец, возвращаясь домой возбужденными и усталыми. Действительно, мы вели себя так, словно были туристами, которым отец присылает деньги из Америки. Должно было пройти несколько недель, прежде чем мы очнулись от наших туристских грез, разбуженные раздраженной хозяйкой, требующей оплаты счета.

И наступил день, когда, вернувшись из Национальной галереи, где мы прослушали интереснейшую лекцию о «Венере и Адонисе» Корреджо¹, мы нашли дверь захлопнувшейся перед нашим носом. Все наши скудные пожитки остались внутри, меж тем как мы находились на пороге. Проверив свои карманы, мы обнаружили, что у нас у всех осталось около шести шиллингов. Мы повернули к Мраморной арке и Кенсингтонским садам, где уселись на скамье, чтобы обдумать ближайшие шаги.

¹ *Корреджо* (настоящее имя Антонио Аллегри) (1489—1534) — итальянский художник периода Высокого Возрождения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Если бы мы могли просмотреть в житейском кинематографе нашу собственную жизнь, разве мы не изумились бы и не воскликнули: «Неужели это было со мной?!» Разумеется, четверо людей, которых я вспоминаю шагающими вдоль лондонских улиц, могли бы с таким же успехом существовать в воображении Чарлза Диккенса, и в настоящую минуту я едва могу поверить в их реальность. Неудивительно, что мы, молодежь, сохранили веселость при такой цепи несчастий, но то, что моя мать, успевшая испытать столько тягостей и злоключений в своей жизни и уже немолодая, могла воспринимать их как обычный ход вещей, кажется мне невероятным, когда я оглядываюсь на те дни.

Мы шли по лондонским улицам, не имея ни денег, ни друзей, ни надежды найти убежище на ночь. Мы покусились на два или три отеля, но владельцы их оказались твердыми как гранит в своих требованиях уплаты аванса ввиду отсутствия у нас багажа. Затем мы поговорили с двумя-тремя хозяйками меблированных комнат, но они оказались такими же бессердечными. Под конец мы опустились до садовой скамьи в Грин-парке, но даже тут появился огромный полисмен и велел нам убираться.

Так продолжалось трое суток. Мы питались грошевыми лепешками, и все же наша изумительная жизненная сила была такова, что мы проводили целые дни в Британском музее. Помню, как я читала английский перевод «Путешествия в Афины» Винкельмана¹ и, совсем позабыв о нашем странном положении, заплакала — не над нашими собственными мытарствами, а над трагической смертью Винкельмана.

Но на рассвете четвертого дня я решила, что нужно что-нибудь предпринять. Предупредив свою мать, Реймонда и Элизабет, чтобы они шли со мной не произнося ни слова, я направилась прямо в один из лучших лондонских отелей. Я сказала ночному полусонному швейцару, что мы только что приехали с ночным поездом, что наш багаж должен прибыть из Ливерпуля и чтобы он отвел нам пока комнаты и заказал завтрак, состоящий из кофе, гречневых пирогов и прочих американских деликатесов.

¹ *Винкельман Эдуард* (1838—1896) — немецкий историк средних веков.

Весь день мы проспали в роскошных постелях. Время от времени я телефонировала вниз швейцару, горько жалуясь, что наш багаж еще не прибыл.

— Нам ни в коем случае нельзя выйти, не переменяв платья,— заявила я, и в этот вечер мы обедали в наших комнатах.

На рассвете следующего дня, рассудив, что хитрость достигла своего предела, мы выбрались точно тем же путем, каким и проникли, но на этот раз стараясь не разбудить ночного швейцара.

Мы очутились на улице весьма подкрепленные и готовые снова стать лицом к лицу с миром. В это утро мы добрались до Челси и сидели на кладбище старой церкви, когда я заметила газету, валявшуюся на дорожке. Подняв ее, я наткнулась взглядом на заметку, сообщающую, что известная леди, в доме которой я танцевала в Нью-Йорке, наняла дом в Гросвеноре и дает большие приемы. Меня осенило внезапное вдохновение.

— Подождите здесь,— сказала я остальным.

Я одна нашла дорогу на Гросвенорскую площадь и застала даму дома. Она приняла меня очень ласково, и я рассказала ей, что приехала в Лондон и танцую в гостиных.

— Это как раз подходит для моего приема с обедом в пятницу вечером,— сказала она.— Не могли бы вы исполнить после обеда некоторые из ваших интерпретаций?

Я согласилась и деликатно намекнула, что мне необходим небольшой аванс, чтобы закрепить ангажемент. Она была в высшей степени любезна и немедленно выписала чек на десять фунтов, с которым я помчалась впускать на кладбище в Челси, где застала Реймонда рассуждающим о платоновской идее души.

— Я буду танцевать в пятницу вечером в доме миссис Х. на Гросвенорской площади. Вероятно, будет присутствовать принц Уэльский. Мы разбогатели! — и я показала им чек.

Реймонд сказал:

— Мы должны взять эти деньги, найти студию и заплатить за нее вперед за месяц, так как мы никогда не должны больше подвергаться оскорблениям со стороны этих низких, пошлых хозяек меблированных комнат.

Мы пустились в поиски и нашли небольшую студию как раз у Кингс Род в Челси. Эту ночь мы проспали в студии. В ней не было кроватей, и мы спали на полу, но

чувствовалось, что вновь живем как артисты, и соглашались с Реймондом, что больше никогда не поселимся в таких буржуазных жилищах, как меблированные комнаты. На деньги, оставшиеся после уплаты арендной платы за студию, мы купили консервов, приготавливая запасы для будущего, а я купила также несколько ярдов вуали, в которой появилась в пятницу вечером на приеме миссис Х. Я протанцевала «Нарцисса» Невина, в котором изображала слабого отрока, влюбленного в свое отображение в воде. Я протанцевала также «Офелию» Невина и слышала, как шептались: «Откуда у этого ребенка такое трагическое выражение?»

К концу вечера я танцевала «Весеннюю песню» Мендельсона.

Моя мать играла мне, Элизабет прочла несколько стихов Теокрита¹, переведенных Эндрю Лангом², а Реймонд дал краткое пояснение о предмете танца и его возможном влиянии на психологию грядущего человечества. Это было несколько выше понимания раскормленных зрителей, но в то же время снискало большой успех, и хозяйка была в восторге.

Собралось типичное английское благовоспитанное общество, где никто не заметил, что я танцевала в сандалиях и с обнаженными ногами под прозрачным покрывалом, хотя несколько лет спустя простое появление в таком виде в Германии порождало массу сплетен. Но англичане настолько удивительно воспитанные люди, что ни один из них даже не подумал сделать замечание об оригинальности моего костюма, но в то же время никто — увы! — не сделал также замечаний и об оригинальности моего танца. Все говорили: «Как красиво! Очень весело! Я вам так благодарен!» — или что-нибудь в этом же роде, и этим все ограничивалось.

Однако, начиная с этого вечера, я стала получать множество приглашений танцевать во многих известных домах. Сегодня я танцевала перед особами королевской крови или же в саду у леди Лаутер, а завтра мне нечего было есть. Ибо иногда мне платили, но гораздо чаще не платили. Хозяйки имели склонность говорить:

— Вы будете танцевать перед герцогиней такой-то и такой-то и графиней такой-то и такой-то, и вас увидят

¹ *Теокрит* (260 г. до н. э. — дата смерти неизвестна) — греческий поэт из Сиракуз. Автор 30 идиллий, 22 эпиграмм.

² *Ланг Эндрю* (1844—1912) — шотландский писатель, фольклорист, историк. — *Прим. ред.*

столько выдающихся людей, что ваша фамилия станет известной в Лондоне.

Помню, как однажды я танцевала в течение четырех часов на благотворительном спектакле, и единственной наградой мне явилось то, что титулованная дама собственной рукой налила мне чаю и дала клубники; однако я так ослабела от недоедания в течение нескольких дней, что клубника и густые сливки заставили меня действительно почувствовать себя очень несчастной. А другая дама подняла огромный кошелек, наполненный золотыми соверенами, и сказала:

— Взгляните на кучу золота, которое вы заработали для нашего приюта для слепых девушек.

Мы с матерью были слишком деликатны, чтобы сказать этим людям, в какой неслыханной жестокости они повинны. Напротив, мы отказывали себе в еде, чтобы сберечь на наряды и казаться преуспевающими.

Мы купили для студии несколько коек и взяли напрокат пианино; но большую часть времени мы проводили в Британском музее и в его библиотеке, а завтракали в закусочной грошовыми булочками и кофе с молоком.

Мы бредили красотою Лондона.

Миновал год с тех пор, как мы покинули Нью-Йорк и я в последний раз видела Ивана Мироцкого.

Однажды я получила письмо из Чикаго от одного друга, сообщавшего мне, что Мироцкий пошел добровольцем на Испанскую войну¹, добрался до лагеря во Флориде, заболел там тифозной горячкой и умер. Письмо явилось для меня страшным ударом. Я не могла поверить в истинность известия. Однажды днем я отправилась в Куперовский институт и, проглядев груды старых газет, нашла там среди сотен других фамилию Мироцкого, напечатанную очень мелким шрифтом в списке умерших.

Письмо сообщало мне также имя и адрес его жены в Лондоне. Я наняла кеб и поехала искать госпожу Мироцкую. Она жила очень далеко, где-то в Хаммерсмите. Я все еще отчасти находилась под пуританским влиянием Америки и считала ужасным, что Иван Мироцкий покинул в Лондоне жену, о которой он никогда мне не говорил; поэтому я никому не сообщила о своем намерении. Назвав кебмену адрес, я проехала много миль, почти до

¹ Испано-американская война 1898 г. (апрель — август) — первая империалистическая война за передел колониальных владений. Закончилась поражением Испании.

предмestья Лондона. Здесь шли бесконечные ряды маленьких серых домов, в точности похожих друг на друга. Я позвонила у одного из них. Дверь отворила угрюмая служанка. Я спросила госпожу Мироцкую, и меня провела в затхлую гостиную.

Я слышала топанье ног над головой и пронзительный ясный голос, произносящий: «Стройтесь, девочки, стройтесь!» В доме помещалась школа для девочек. Меня угнетало тревожное, смешанное чувство страха и ревности, несмотря на трагическую смерть Ивана. Внезапно в комнату вошла одна из самых странных фигур, какую я когда-либо видела в своей жизни: не более четырех футов росту, худая до истощения, с сияющими серыми глазами и редкими седыми волосами, с белым личиком и тонкими сжатыми бледными губами.

Ее приветствие звучало не особенно радушно. Я попыталась объяснить, кто я такая.

— Я знаю,— сказала она.— Вы Айседора. Иван писал мне о вас во многих письмах.

— Мне так жаль,— запинаясь, произнесла я.— Он никогда не говорил мне о вас.

— Нет,— сказала она,— он и не стал бы говорить, но я должна была поехать к нему, а сейчас — он умер.

Она произнесла это с таким выражением в голосе, что я заплакала. Заплакала и она, и после этого мы почувствовали себя старыми друзьями.

Она провела меня в свою комнату, стены которой были увешаны портретами Ивана Мироцкого. Среди них имелись его портреты в молодости — лицо необыкновенной красоты и силы и один его портрет в мундире, который он прислал ей, став солдатом. Она обвила этот портрет крепом. Она рассказала мне историю их жизни, рассказала о том, как он один отправился искать удачи в Америку: у них не было денег, достаточных для совместного переезда.

— Я должна была потом приехать к нему,— сказала она.— Он всегда писал мне: «Очень скоро у меня будут деньги, и ты приедешь».

Проходили годы, и она все еще продолжала служить воспитательницей в школе для девочек, ее волосы поседели, а Иван так и не прислал ей денег на отъезд в Америку.

Я противопоставила судьбу этой терпеливой старой женщины — ибо она казалась мне очень старой — моим собственным смелым путешествиям и не могла ее понять.

Если она была женой Ивана Мироцкого, то почему же она не поехала к нему, если ей этого хотелось? Хотя бы палубной пассажиркой! Ибо я никогда не могла понять, ни тогда, ни впоследствии, почему, если кто-нибудь хочет что-то сделать, он не должен делать этого. Ибо я никогда не хотела ждать осуществления того, чего добивалась. Это часто приводило меня к мытарствам и невзгодам, но, по крайней мере, я чувствовала удовлетворение, что иду своим собственным путем.

Я сидела в ее комнате, окруженная портретами Ивана. Она крепко сжимала мне руки и, не умолкая, говорила о нем, пока я не сообразила, что темнеет.

Она взяла с меня обещание прийти еще раз. Я попросила ее прийти повидаться с нами, но она сказала, что у нее нет ни одной свободной минуты, так как ей приходится работать с раннего утра до позднего вечера, давая уроки и исправляя упражнения учеников.

Так как я раньше отпустила кеб, я вернулась домой на верху омнибуса. Помню, что всю обратную дорогу я проплакала над судьбой Ивана Мироцкого и его бедной женой; но в то же время я испытывала странное, ликующее чувство силы и презрения к людям, которых постигают неудачи либо которые проводят свою жизнь в ожидании. Такова бесчеловечность ранней молодости.

До сих пор я хранила фотографию и письма Ивана Мироцкого у себя под подушкой, но с этого дня я спрятала их, запечатав в пачку, в свой чемодан.

* * *

Первый месяц аренды нашей студии в Челси истек. Стояла очень жаркая погода, и мы наняли меблированную студию, которая сдавалась внаем в Кенсингтоне. У меня было пианино, был простор для работы. Но очень скоро, в конце июля, лондонский «сезон» закрылся, и мы остались с ничтожной суммой, отложенной за время сезона, и с перспективой безденежного августа. Мы провели весь август в Кенсингтонском музее и библиотеке Британского музея. Однажды вечером, к моему изумлению, появилась госпожа Мироцкая и пригласила меня на обед. Она была очень взволнованна. Этот визит был очень важным событием для нее. Она даже заказала бутылку бургундского к обеду. Она попросила меня рассказать, каким выглядел Иван в Чикаго и что он говорил. Я рассказала ей, как он любил собирать золотарник в лесу, как мне особенно запомнился момент, когда

солнце освещало его рыжую бороду, а в руках он держал золотарник, и он всегда ассоциируется у меня с этим цветком. Она плакала, и я тоже роняла слезы. Мы выпили еще бутылку бургундского, и началась настоящая оргия воспоминаний. Затем она покинула меня, чтобы, разобравшись в лабиринте omnibuses, вернуться домой.

Наступил сентябрь. Элизабет, которая вела переписку с матерями наших бывших учеников в Нью-Йорке, получила от одной из них чек на обратный переезд и решила, что она должна вернуться в Америку, чтобы подработать немного денег.

— Если я заработаю, — сказала она, — то смогу посылать вам кое-что, а как только вы разбогатеете и прославитесь, я немедленно вернусь к вам.

Веселая и кроткая Элизабет уехала. Мы втроем провели в студии несколько дней в полном унынии.

Начался октябрь, холодный и угрюмый. Мы впервые испытали лондонский туман, а меню из дешевых супов, видимо, сделало нас малокровными. Даже Британский музей утратил свою прелесть. Бывали долгие дни, когда у нас не хватало бодрости даже выйти из дому. Мы просиживали эти дни в студии, завернувшись в одеяла и играя в шашки кусками картона на самодельной шахматной доске.

Мы пребывали в полном упадке духа. В иные дни у нас утром не хватало мужества встать, и мы спали в течение целого дня.

Наконец от Элизабет прибыло письмо с приложением денежного перевода. Она прибыла в Нью-Йорк и остановилась в Букингемском отеле на Пятой авеню, открыла школу, и дела ее шли отлично. Это нас приободрило. Срок аренды нашей студии истек, и мы наняли небольшой меблированный дом на Кенсингтонской площади.

Однажды вечером, когда стояла прекрасная погода и мы с Реймондом танцевали в саду, появилась необыкновенно красивая женщина в большой черной шляпе и спросила:

— С какого места земли вы появились?

— Вовсе не с земли, — возразила я, — а с луны.

— Отлично, — сказала она, — с земли или с луны, вы мне очень нравитесь. Не хотите ли вы меня навестить?

Мы последовали за ней в ее красивый дом на Кенсингтонской площади, в котором на чудесных портретах ки-

сти Бёрн-Джонса, Россети ¹ и Уильяма Морриса ² была изображена она. Это была миссис Патрик Кэмпбелл ³. Она села за пианино, начала играть и петь нам старые английские песни, а затем прочла стихи. В заключение я протанцевала ей. Она была величественно прекрасна — с роскошными черными волосами, огромными черными глазами, молочным цветом лица и шеей богини.

Она заставила нас всех влюбиться в себя. и эта встреча явно избавила нас от мрачности и уныния, в которые мы впали; она начала собой эпоху перемен в нашей судьбе, ибо миссис Патрик Кэмпбелл выразила такое восхищение моими танцами, что дала мне рекомендательное письмо к миссис Джордж Уиндем. Она рассказала нам, что молодой девушкой дебютировала в доме миссис Уиндем в роли Джульетты. Миссис Уиндем оказала мне восхитительный прием, и я впервые приняла участие в английском чаепитии днем перед горящим камином.

В доме царил атмосфера беззаботности и уюта, культуры и довольства. Я почувствовала себя здесь как рыба, брошенная в воду. Прекрасная библиотека также меня очень прельщала. Именно в этом доме я впервые заметила необычное поведение добропорядочных английских слуг, которые своей уверенной манерой держаться чем-то напоминают аристократов. Они не только не возражают против пребывания в должности слуги и не стремятся, в отличие от слуг в Америке, занять более высокое положение в обществе, а, напротив, гордятся работой «в лучших семьях». Их отцы были слугами до них, и их дети будут слугами после них. Это обеспечивает спокойное существование и уверенность в будущем.

Миссис Уиндем устроила для меня в своей гостиной вечер танца, на котором присутствовал почти весь артистический и литературный Лондон. Здесь я встретила человека, которому суждено было глубоко запечатлеться в моей жизни. Ему было около пятидесяти лет. Его голова принадлежала к числу самых красивых, какие

¹ *Россети Данте Габриел* (настоящее имя Габриел Чарлз) (1828—1882) — английский живописец и поэт.

² *Моррис Уильям* (1834—1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства, общественный деятель.

³ *Кэмпбелл, миссис Патрик* (настоящее имя Беатрис Стелла Таннер) (1865—1940) — английская актриса. Ее игра отличалась филигранным рисунком, высокой техникой. Среди лучших ролей — Джульетта, Офелия, Гедда Габлер, леди Макбет. — *Прим. ред.*

я когда-либо видела. Прекрасные глаза под выпуклым лбом, классический нос и изящный рот, высокая, гибкая фигура с легкой сутуловатостью, седые волосы, разделенные пробором посередине и отброшенные за уши, замечательно приятное выражение лица. Таков был Чарлз Галле ¹, сын знаменитого пианиста. Казалось странным, что из всех встреченных мною молодых людей, готовых охотно ухаживать за мной, ни один не привлек меня; я действительно даже не замечала их существования и однако же с первого взгляда пылко привязалась к этому пятидесятилетнему мужчине.

Он был большим другом Мэри Андерсон ² в годы ее юности и пригласил меня на чашку чая в свою студию, где показал мне тунику, которую та надевала, играя роль Виргилии в «Кориолане», и которую он хранил. После первого посещения наша дружба стала очень тесной, почти не было дня, когда я не приходила бы в его студию. Он много рассказывал мне о Бёрн-Джонсе, который был в свое время его душевным другом, о Россети, Уильяме Моррисе и всей школе прерафаэлитов ³, об Уистлере и Теннисоне ⁴ — всех их он отлично знал. В его студии я проводила долгие часы, и отчасти дружбе этого артиста я обязана своим проникновением в искусство старых мастеров.

Чарлз Галле в это время был директором Новой галереи, где были представлены все современные художники. Это была небольшая галерея с центральной залой и фонтаном. Чарлзу Галле пришла мысль, чтобы я дала здесь вечер. Он познакомил меня со своими друзьями: художником сэром Уильямом Ричмондом, мистером Эндрю Лангом и композитором сэром Губертом Парри, и каждый из них согласился выступить с пояснительным словом: сэр Уильям Ричмонд об отношении танца к живописи, Эндрю Ланг об отношении танца к греческим мифам, а сэр Губерт Парри об отношении танца к музыке. Я танцевала в центральном зале возле фонтана, окруженная редкими растениями, цветами и пальмами. Мое исполнение сопровождалось огромным успехом. Газеты

¹ Галле Чарлз (1819—1895) — английский дирижер и пианист (по национальности немец, сын известного немецкого пианиста и композитора Генриха Галле).

² Андерсон Мэри (1859—1940) — американская актриса, переселившаяся в Англию.

³ Прерафаэлиты (от латинского *prae* — перед и *Raphael*) — группа английских художников и писателей XIX в., избравшая своим идеалом «наивное» искусство средних веков и раннего Возрождения.

⁴ Теннисон Альфред (1809—1892) — английский поэт-романтик.

были в восторге, а Чарлз Галле ликовав по поводу моего успеха. Все известные в Лондоне лица приглашали меня на чашку чая или на обед, и на короткий промежуток времени судьба нам улыбнулась.

Однажды на многолюдном приеме в небольшом доме миссис Рональд я была представлена принцу Уэльскому, впоследствии королю Эдуарду ¹. Он сказал, что я красавица кисти Гейнсборо ², и это прозвище укрепилось за мной.

Наше положение улучшилось, и мы наняли большую студию на Уорвикской площади, где я проводила свои дни.

В это время в мою жизнь вторгся один молодой поэт с нежным голосом и мечтательными глазами, только что окончивший Оксфордский университет. Он происходил из рода Стюартов, и его имя было Дуглас Эйнслай. Каждый вечер с наступлением сумерек он появлялся в студии с тремя или четырьмя томами под мышкой и декламировал мне стихи Суинберна, Китса, Броунинга ³, Россети и Оскара Уайльда ⁴. Он любил читать вслух, а я обожала его слушать. Моя бедная мать, считавшая совершенно необходимым в таких случаях присутствовать с целью надзора, несмотря на то что знала и любила эти стихи, не могла постигнуть оксфордской манеры их декламировать. Прослушав около часа, в особенности Уильяма Морриса, она обычно засыпала, и в эту минуту молодой поэт наклонялся и слегка целовал меня в щеку.

Я была очень довольна новой дружбой и, находясь между Эйнслаем и Чарлзом Галле, не желала никаких иных друзей. Заурядные молодые люди в высшей степени надоели мне, и хотя многие, увидав мои танцы в лондонских гостиных, были бы очень рады навестить меня или куда-нибудь пригласить, я держала себя так высокомерно, что они совершенно остывали.

Чарлз Галле жил в небольшом старом доме на улице Кадоган с очаровательной незамужней сестрой. Мисс

¹ *Эдуард VII* (1841—1910) — английский король с 1901 г. Первый из Саксен-Кобург-Готской династии (с 1917 г. — Виндзорская династия). — *Прим. ред.*

² *Гейнсборо Томас* (1727—1788) — английский живописец и рисовальщик. Портреты его кисти наполнены одухотворенностью и лиризмом. — *Прим. ред.*

³ *Броунинг Роберт* (1812—1889) — английский поэт.

⁴ *Уайльд Оскар* (1854—1900) — английский писатель, автор известного романа «Портрет Дориана Грея», комедий «Идеальный муж». «Как важно быть серьезным» и др. — *Прим. ред.*

Галле тоже была в высшей степени ласкова со мной и часто приглашала меня на скромные обеды, на которых мы присутствовали только вдвоем. С ними же я впервые отправилась посмотреть Генри Ирвинга¹ и Эллен Терри². В первый раз я увидела Ирвинга в «Колоколах», и его огромное искусство возбудило во мне такой восторг и восхищение, что я долго жила под их впечатлением и несколько недель не могла спать. А Эллен Терри сделалась тогда идеалом моей жизни и осталась им навсегда. Тот, кто никогда не видал Ирвинга, не сможет понять всей красоты и благородства его исполнения. Невозможно описать силу его интеллектуальной и драматической мощи. Он был артистом с таким талантом, что даже крупные недостатки становились у него качествами, вызывавшими восхищение. В его осанке было нечто от гения и величия Данте.

Однажды, тем же летом, Чарлз Галле повел меня к великому художнику Уоттсу, и я танцевала перед ним в его саду. В его доме я увидела дивное лицо Эллен Терри, многократно воспроизведенное Уоттсом в портретах.

Эллен Терри находилась тогда в полном расцвете своей великолепной женственности. Она не была уже больше высокой, гибкой девушкой, которая пленяла некогда воображение Уоттса, но была женщиной с высоким бюстом, выпуклыми бедрами и величественной осанкой, очень далекой от нынешнего идеала красоты.

Зима проходила, и число салонов стало меньше, чем во время сезона. Я вступила на время в труппу Бенсона, но так и не пошла дальше исполнения роли первой феи в пьесе «Сон в летнюю ночь». Оказалось, что театральные режиссеры не в состоянии были понять, насколько полезными для их постановок могли бы явиться мои идеи. Это покажется поразительным, если принять во внимание, сколько скверных подражаний моей школе появилось с тех пор в постановках Рейнгардта, Жемье и других людей театрального авангарда.

¹ Ирвинг Генри (настоящее имя и фамилия Джон Генри Бродрибб) (1838—1905) — английский актер и режиссер. Широко известен как исполнитель главных ролей в пьесах Шекспира и яркими постановками этих пьес. — *Прим. ред.*

² Терри Эллен Алис (1877—1928) — английская актриса. Образы, созданные ею, отличались эмоциональностью и трепетностью. — *Прим. ред.*

Однажды меня познакомили с леди (тогда мисс) Три. Я поднялась во время репетиции к ней в уборную и была встречена радушнейшим образом. Следуя ее указаниям, я надела свою танцевальную тунику, и она провела меня на сцену, чтобы я протанцевала перед Бирбомом Три¹. Однако в то время, как я танцевала ему «Весеннюю песню» Мендельсона, он едва глядел на меня, с рассеянным видом уставившись на пролетающих мух. Впоследствии я рассказала ему об этом случае в Москве, когда он на одном банкете предложил за меня тост как за одну из величайших артисток мира.

— Как,— воскликнул он,— я видел ваш танец, вашу красоту, вашу молодость и не оценил их! Ах, каким дураком я был!

Действительно, тогда мне было трудно постигнуть почему, в то время как я возбуждала бешеный энтузиазм и восхищение в таких людях, как Эндрю Лэнг, Уоттс, сэр Эдвин Арнолд², Остин Добсон³, Чарлз Галле, и во всех художниках и поэтах, которых я встретила в Лондоне; театральные режиссеры оставались безучастными, словно мое искусство было слишком одухотворенным для их грубого материалистического понимания театра.

Весь день я работала в своей студии, а к вечеру ко мне приходил поэт или художник. Они уговорились никогда не приходить вместе, так как возымели друг к другу яростную антипатию. Поэт говорил, что он не в силах уразуметь, как я могу проводить столько времени с этим старцем, а художник говорил, что он не может понять, как это умная девушка может найти что-нибудь в этом щеголе. Но я была вполне довольна обоими друзьями и в самом деле не могла бы сказать, которого я люблю больше. За Галле были все же закреплены все воскресенья, когда мы завтракали в его студии.

Однажды он позволил мне надеть знаменитую тунику Мэри Андерсон, в которой я позировала ему для многих эскизов.

Так прошла зима.

¹ Три Герберт Дрейнер Бирбом (1853—1917) — английский актер, антрепренер, режиссер. Поставил около 20 пьес Шекспира. Постановки Три изобиловали феериями, музыкальными вставками, шумными массовыми сценами. В 1904 г. основал в Лондоне драматическую школу искусства, позже преобразованную в Королевскую академию.

² Арнолд Эдвин (1832—1904) — английский поэт и журналист.

³ Добсон Остин (1840—1921) — английский поэт и писатель.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Наши расходы и заработки всегда сводились с дефицитом, но это был период мира. Однако мирная атмосфера сделала Реймонда непоседливым. Он уехал в Париж и весной стал нас бомбардировать телеграммами, умоляя приехать в Париж. И вот однажды мы с матерью упаковали наши вещи и сели на судно, пересекавшее Ла-Манш.

После лондонских туманов весенним утром мы прибыли в Шербур. Франция показалась нам похожей на сад; от Шербура до Парижа мы все время высовывались из окна нашего вагона третьего класса. Реймонд встретил нас на вокзале. Он отпустил себе длинные волосы до ушей и носил отложной воротник и свободно ниспадающий галстук. Мы несколько удивились этой метаморфозе, но он объяснил нам, что такова мода Латинского квартала, в котором он жил. Реймонд привел нас в свою квартиру, где мы встретили маленькую мидинетку, сбегавшую по лестнице, и попотчевал нас бутылкой красного вина, стоившего, по его словам, тридцать сантимов. Выпив вино, мы отправились на поиски студии.

Наконец только в сумерки мы нашли студию с мебелью, расположенную во дворе, за необычайную цену в пятьдесят франков в месяц. Мы пришли в восторг и заплатили за месяц вперед. Мы не могли понять, почему цена была так дешева, но причина выяснилась в ту же ночь. Лишь только мы расположились на отдых, ужасное землетрясение, казалось, потрясло студию и вся она подскочила в воздух, а затем рухнула вниз. Это повторялось бесконечно. Реймонд спустился вниз, чтобы исследовать причину, и убедился, что мы нашли себе убежище над ночной типографией, чем и объяснялась дешевизна студии. Наше настроение несколько омрачилось, но так как в те дни пятьдесят франков были для нас большой суммой, то я заявила, что шум напоминает морской прибой и мы должны вообразить, что находимся на морском берегу. Консьержка доставляла нам еду, считая тридцать пять центов за завтрак и один франк с души за обед, включая вино.

Реймонд отказался от мидинетки и посвятил себя мне.

Наше возбуждение от пребывания в Париже было таково, что мы обычно вставали в пять часов утра и начинали день танцами в Люксембургских садах, затем исхаживали целые мили по всему Парижу и часами нахо-

дились в Лувре. Реймонд уже собрал целый портфель рисунков со всех греческих ваз. Мы проводили столько времени в зале греческих ваз, что надзиратель стал относиться к нам с подозрением. Но когда я, не зная языка, объяснила ему пантомимой, что я прихожу туда только танцевать, он решил, что ему приходится иметь дело с безвредными безумцами, и оставил нас в покое.

Кроме Лувра мы посетили музей Клюни, музей Карнавале, собор Парижской Богоматери и все остальные музеи Парижа.

Весна перешла в лето, и открылась Всемирная выставка 1900 года, когда, к моей великой радости, но к неудовольствию Реймонда, однажды утром в нашей студии на рю-де ля Гайете появился Чарлз Галле. Он приехал на выставку, и я стала его постоянной спутницей. Я не могла бы найти более восхитительного и умного гида. Целый день мы бродили по павильонам, а вечером обедали на Эйфелевой башне. Я часто уставала, но чувствовала себя вполне счастливой, ибо я обожала Париж и обожала Чарлза Галле.

По воскресеньям мы садились в поезд и уезжали за город, блуждая по садам Версаля либо по Сен-Жерменскому лесу. Я танцевала перед Галле в лесу, а он делал с меня наброски. Так прошло лето. Для моей матери и Реймонда оно, разумеется, не было таким счастливым.

Величайшее впечатление от выставки 1900 года оставили во мне танцы Сада Якко — великой трагической японской танцовщицы¹. Много вечеров подряд меня и Чарлза Галле заставляло трепетать чудесное искусство этой великой артистки. Другое, даже большее впечатление, оставшееся у меня на всю жизнь, оказал на меня «Павильон Родена», в котором полное собрание произведений замечательного скульптора было впервые показано публике. Когда я в первый раз вошла в этот павильон, я застыла в благоговении перед творением великого мастера. Не зная в то время Родена, я чувствовала, что попала в новый мир. Приближалась осень, а с нею последние дни выставки. Чарлз Галле должен был возвратиться в Лондон, но перед отъездом он познакомил меня со своим племянником Чарлзом Нуффларом.

— Я оставляю Айседору на твое попечение, — сказал он, уезжая.

¹ Сада Якко (1872—1946) — японская актриса. Одна из первых драматических актрис японского театра. — *Прим. ред.*

Нуффлар был молодым человеком около двадцати пяти лет, но уже более или менее пресыщенным. Он совершенно пленился наивностью юной американской девушки, которую доверили его попечению. Он взялся пополнить мое образование в области французского искусства, рассказывая мне подробно о готическом стиле, и заставил меня в первый раз оценить эпохи Людовиков XIII, XIV, XV и XVI.

Мы покинули студию на рю-де ля Гайете и на остатки наших сбережений наняли большую студию на авеню де Виллье.

Здесь моя мать воскресила свою музыку и, как в дни нашего детства, в течение долгих часов играла Шопена, Шумана и Бетховена. В студии у нас не было ни спальни, ни ванной. Реймонд нарисовал на стенах греческие колонны, а матрасы мы хранили в нескольких резных ящиках. Ночью мы вытаскивали их и спали на них.

К этому времени Реймонд изобрел свои знаменитые сандалии, найдя, что всякая обувь приносит вред. У него была склонность к изобретательству, и три четверти ночи он проводил, разрабатывая свои изобретения и стуча молотком.

Чарлз Нуффлар стал у меня завсегдатаем. Однажды он привел в нашу студию двух своих товарищей — красивого юношу Жака Боньи и молодого литератора Андре Бонье. Чарлз Нуффлар очень гордился мной и был рад продемонстрировать меня своим друзьям. Естественно, я танцевала перед ними. Я изучала тогда музыку прелюдий, вальсов и мазурок Шопена. И тут у Жака Боньи возникла мысль попросить свою мать, мадам де Сан-Марсо, супругу скульптора, пригласить меня как-нибудь вечером протанцевать перед ее друзьями.

У мадам де Сан-Марсо был один из самых артистических и шикарных салонов в Париже. Репетиция была устроена в студии ее мужа. За пианино сидел замечательнейший человек с пальцами чародея. Он привлек меня к себе с первого взгляда.

— Замечательно! — воскликнул он. — Какая прелесть! Какой красивый ребенок!

И, обняв меня, он поцеловал меня по французскому обыкновению в обе щеки. Это был Мессаже, замечательный композитор.

Наступил вечер моего дебюта. Я танцевала перед группой людей, любезность и энтузиазм которых меня совершенно пленили. Едва дождавшись конца танца, они

закричали: «Браво! Браво! Как она изящна!» А в конце первого танца поднялся высокий человек с сверлящим взором и обнял меня.

— Как твое имя, девочка? — спросил он.

— Айседора, — ответила я.

— А твое сокращенное имя?

— Когда я была маленькой девочкой, меня называли Доритой.

— О, Дорита, — воскликнул он, целуя меня в глаза, в щеки и губы, — ты восхитительна!

А затем мадам де Сан-Марсо взяла меня за руку и сказала: «Это великий Сарду»¹.

Действительно, эта комната вмещала в себя всех, кто имел какой-нибудь вес в Париже, и когда я покинула ее, осыпанная цветами и комплиментами, трое молодых моих кавалеров, Нуффлар, Жак Боньи и Андре Бонье, эскортировали меня домой, сияя от гордости и удовольствия, что их феномен имел такой успех.

Из этих трех юношей моим лучшим другом стал не высокий и веселый Чарлз Нуффлар и не привлекательный Жак Боньи, а низкорослый, бледнолицый Андре Бонье. Он был бледным и круглолицым, носил очки, но какой же он был умница! Я всегда жила больше рассудком, и, хотя этому не поверят, мои многочисленные любовные приключения, руководимые рассудком, были мне так же дороги, как и сердечные. Андре, в это время писавший свою первую книгу «Петрарка», ежедневно навещал меня, и благодаря ему я познакомилась со всем, что есть лучшего во французской литературе.

Каждый день после полудня у дверей студии раздавался робкий стук. Это был Андре Бонье, всегда с новой книжкой или журналом под мышкой. Моя мать не могла понять моего восторга перед этим человеком, не соответствовавшим ее идеалу совершенного любовника, ибо, как я уже говорила, он был жирный и маленький, с маленькими глазками, и надо было обладать проницательностью, чтобы понять, что эти глаза искрились острым умом и сметливостью. Часто мы шли с ним гулять при лунном свете, и я чувствовала на своей руке робкое пожатие пальцев Андре.

Я полагаю, что имя Андре Бонье, одного из самых изысканных писателей своего времени, — не пропадет в веках. Однажды Андре Бонье пришел в большом душе-

¹ Сарду Викторьен (1831—1908) — французский драматург.

вном смятении. Оно было вызвано смертью Оскара Уайльда. Он пришел ко мне бледный и дрожащий, в совершенно подавленном состоянии. Я уже читала и смутно слышала об Оскаре Уайльде, но знала о нем очень мало. Я прочла некоторые из его стихов, они мне понравились, а Андре рассказал мне кое-что из его жизни. Но когда я спросила, за что Оскара Уайльда заключили в тюрьму, Андре покраснел до корней волос и отказался ответить.

Эта наша причудливая и пылкая дружба продолжалась уже свыше года, когда в невинности своей души я задумала придать ей иное выражение. Как-то вечером я решила отослать мать и Реймонда в оперу и остаться одной; днем я тайком купила бутылку шампанского. Вечером я расставила на маленьком столике цветы, шампанское, два стакана, надела прозрачную тунику, вплела в волосы розы и в таком виде ожидала Андре, чувствуя себя совершенно Таис. Придя, он, видимо, очень удивился и пришел в ужасное замешательство — он едва прикоснулся к шампанскому. Я протанцевала перед ним, но он казался рассеянным и наконец внезапно ушел, сказав, что должен в этот вечер еще много написать. Я осталась одна с розами и шампанским и горько заплакала.

Если вспомнить, что я в то время была молода и замечательно миловидна, то трудно найти объяснение этому эпизоду; и в самом деле, я объяснения этому так и не нашла, но тогда я могла лишь в отчаянии думать: «Он меня не любит!..»

* * *

Долгие дни и ночи я проводила в студии, стараясь создать такой танец, который передавал бы движениями тела различные эмоции человека. В течение целых часов я простаивала совершенно безмолвно, скрестив руки на груди. Мою мать часто охватывала тревога при виде моей полной неподвижности в течение долгих часов, словно я была в трансе, но я старалась найти и наконец нашла первоначало всякого движения, источник движущей силы, единство, из которого рождены все разновидности движений, созидające танец, — из этого открытия родилась теория, на которой я основала свою школу. Балетная школа учила своих учеников, что это первоначало находится в центре спины у основания позвоночного столба. Вокруг этой оси, говорит балетный учитель, руки, ноги и туловище должны свободно двигаться, создавая впечатление движущейся марионетки. Этот метод поро-
ж-

дает искусственное механическое движение, недостойное подлинного танца. Я же, напротив, искала такой источник танцевального движения, который проникал бы во все поры тела. По прошествии многих месяцев, научившись сосредоточивать всю свою силу в этом единственном центре, я обнаружила, что, когда я слушаю музыку, вибрации ее устремляются потоком к этому единственному источнику танца, находящемуся как бы внутри меня. Вслушиваясь в эти вибрации, я могла претворять их в танце. Я часто пыталась объяснить артистам эту первую основную теорию своего искусства. Станиславский упоминает о моем рассказе в своей книге «Моя жизнь в искусстве».

В это время «королевой общества» была графиня Греффуль. Я получила приглашение танцевать в ее салоне, где собралась фешенебельная толпа, включавшая всех знаменитостей парижского общества.

Графиня соорудила в своей гостиной небольшую сцену, поддерживаемую решеткой, и в каждое отверстие решетки была вдета красная роза. Этот фон красных роз отнюдь не подходил к простоте моей туники.

Поэтому в этот вечер в доме графини Греффуль среди дивно одетых и украшенных драгоценностями женщин я чувствовала себя, задыхаясь от запаха тысяч красных роз, крайне несчастной и считала, что все идет неудачно. Но на следующее утро я получила от графини благодарную записку, выражавшую благодарность и предлагавшую зайти в швейцарскую к консьержке за получением гонорара. Мне было не по душе заходить в швейцарскую, ибо я была сверхщепетильна в денежных вопросах, но в конце концов эта сумма погасила арендную плату за студию.

Более приятным явился вечер в студии знаменитой мадам Мадлен Лемарр, где я танцевала под музыку Орфея. Среди зрителей я впервые увидела вдохновенное лицо французской Сафо¹, графини де Ноайль. Присутствовал также Жан Лорен. Он описал свои впечатления в «Journal».

Как-то в один пасмурный день у дверей студии раздался стук. Вошла женщина.

— Я — княгиня де Полиньяк, — сказала она, — подру-

¹ *Сафо* (*Safo*) — древнегреческая поэтесса VII — VI вв. до н. э., дошедшие до нас ее эпиграммы, гимны и стихотворения отличаются тонким лиризмом, чистотой чувства и совершенством формы. — *Прим. ред.*

га графини Греффуль. Когда я увидела, как вы танцуете, ваше искусство заинтересовало меня и в особенности моего мужа-композитора.

У нее было прекрасное лицо, которое несколько искажали слишком тяжелая, выступающая вперед нижняя челюсть и властный подбородок. Когда она заговорила, ее металлический голос зазвучал резко.

Я рассказала ей о своем искусстве и надеждах, и княгиня сразу же предложила устроить мой концерт в своей студии. Она рисовала и в то же время была прекрасной музыкантшей, играла на пианино и на органе. Княгиню, по-видимому, поразила бедность нашей пустой, холодной студии и наши исхудалые лица, ибо при своем внезапном уходе она тайком положила на стол конверт, в котором мы нашли две тысячи франков.

На следующий день я отправилась к ней на дом, где встретила князя де Полиньяка, прекрасного музыканта, обладавшего значительным талантом,— хилого господина, который всегда носил черную бархатную шапочку, оттенявшую его тонкое, красивое лицо. Я надела свою тунику и протанцевала перед ним в концертном зале. Он пришел в восторг и приветствовал меня как долгожданную мечту. Моя теория отношения движения к звукам глубоко его заинтересовала, как и все мои надежды на возрождение танца как искусства. Концерт прошел с большим успехом, и у княгини возникла великодушная мысль открыть свою студию для публики, не ограничивая аудиторию своими личными друзьями. После этого интерес к моему искусству стал всеобщим; мы устроили несколько концертов по подписке также и в нашей студии, которые собирали аудиторию от двадцати до тридцати человек. Князь и княгиня де Полиньяк являлись на все эти концерты, и помню, как однажды князь, придя в восхищение, снял бархатную шапочку и, размахивая ею в воздухе, закричал:

— Да здравствует Айседора!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Несмотря на то что мои танцы были известны и оценены множеством влиятельных людей, мое финансовое положение продолжало зависеть от случая, и мы часто терзались, не зная чем уплатить за студию. Не имея подчас угля для печи, мы страдали от холода. И все же среди этой бедности и лишений я вспоминаю, как проста-

ивала в течение часов одна в нашей холодной, мрачной студии, ожидая минуты, когда меня посетит вдохновение и я смогу отобразить себя в движениях.

Однажды, когда я вот так стояла, нас посетил какой-то господин цветущего вида, в шубе с дорогим меховым воротником и с брильянтовым кольцом. Он сказал:

— Я приехал из Берлина. Мы слышали о ваших танцах босиком. (Как вы можете себе представить, это определение моего искусства меня ужасно возмутило!) Я представитель самого крупного мюзик-холла и приехал, чтобы немедленно предложить вам ангажемент.

Он потирал руки и сиял, словно принес мне удивительное счастье, но я сухо ответила:

— О, благодарю вас. Я никогда не соглашусь ввести свое искусство в мюзик-холл.

— Но вы не понимаете,— воскликнул он.— Величайшие артисты появляются в нашем холле и получают много денег. Я предлагаю вам пятьсот марок за вечер. Впоследствии гонорар увеличится. Вы будете великолепно преподнесены как «первая босая танцовщица в мире». (Die Erste Barfuss Tänzerin. Kolossal, kolossal! Das ist so ein Erfolg!) Разумеется, вы согласны.

— Конечно нет. Конечно нет,— твердила я гневно.— Ни на каких условиях.

— Но это невозможно. Unmöglich! Unmöglich! Я не могу принять отрицательного ответа. У меня с собой готовый контракт.

— Нет,— сказала я,— мое искусство не для мюзик-холла. Когда-нибудь я приеду в Берлин и надеюсь там танцевать, но не в холле вместе с акробатами и дрессированными животными. Какой ужас! Нет, ни на каких условиях. Желаю вам всего хорошего — и прощайте!

Глядя на нашу обстановку и убогую одежду, этот импресарио из Германии едва верил своим ушам. Он пришел на следующий день и на третий и наконец предложил мне по тысяче марок в вечер в течение одного месяца. Рассердившись, он назвал меня «глупой девчонкой» (Dumme Mädchen!). Я с криком накинулась на него, заявив, что я приехала в Европу осуществить великое возрождение танца, привить сознание красоты человеческого тела, а не танцевать для развлечения разжиревшей буржуазии.

— Уйдите, пожалуйста! Уйдите!

— Вы отказываетесь от тысячи марок за вечер? — разинул он рот.

— Конечно,— непреклонно ответила я,— и я от-

казалась бы и от десяти тысяч, от ста тысяч. Я ищу нечто, чего вы не понимаете.— И когда он уходил, я добавила: — Когда-нибудь я приеду в Берлин. Я буду танцевать перед соотечественниками Гете и Вагнера, но в театре, который будет их достоин, и, вероятно, больше чем за тысячу марок.

Мое пророчество исполнилось: три года спустя тот же самый импресарио учтиво принес мне цветы в Оперный театр Кроля, где для меня играл оркестр Берлинской филармонии, а спектакль был продан больше чем за двадцать пять тысяч марок. Он признал свою ошибку с дружескими словами:

— Вы были правы, милостивая фрау. Целую вашу руку!

Однако пока мы были очень стеснены в средствах. Ни высокая оценка князей, ни моя растущая слава не доставляли нам их в количестве, нужном для пропитания. В нашу студию часто приходила какая-то тщедушная дама, напоминавшая собой египетскую принцессу. Она пела, как волшебница. Я заметила, что в ранние утренние часы под дверь часто просовывались пахнувшие фиалкой записочки, вслед за которыми Реймонд тайком исчезал. Так как у него не было в обыкновении совершать прогулки перед завтраком, я сопоставила все факты и сделала из них свое заключение. А затем Реймонд однажды объявил нам, что он ангажирован в качестве кого-то в концертное турне по Америке. Итак, мы с матерью остались одни в Париже. Матери нездоровилось, и мы переехали в маленькую гостиницу на рю Маргерит, где мать наконец могла заснуть в постели, не продуваемой сквозняком от холодного пола, как в нашей студии, и где она могла правильно принимать пищу, так как мы были на полном пансионе. За столом пансиона я увидела чету, которая привлекла к себе всеобщее внимание. Она женщина около тридцати лет, с большими глазами — таких чудесных глаз я никогда не видывала: мягкие, глубокие, привлекательные глаза, полные огня и в то же время с каким-то выражением кроткой покорности, напоминающим большого ньюфаундленда. У нее были каштановые волосы, обрамлявшие лицо. Помню, как я подумала, что когда смотришь в ее глаза, то кажется, чтоходишь в кратер вулкана.

Он — тщедушный, с прекрасным лбом и слишком усталым для такого молодого человека лицом. Обычно их сопровождало еще третье лицо. Они всегда были настолько поглощены живой беседой, что, каза-

лось, это трио не знает ни одной минуты отдыха или скуки, свойственной обыкновенным людям.

Однажды утром молодая женщина подошла к моему столу и сказала:

— Это мой друг Анри Батайль. А это Жан Лорен, который написал о вашем искусстве, а я Берти Бэди. Мы бы хотели как-нибудь вечером прийти к вам в студию, если вы протанцуете перед нами.

Конечно, меня охватила дрожь восторга. В самом деле, я никогда не слышала прежде и даже впоследствии голоса такой теплоты, как голос Берти Бэди. Как я любовалась ее красотой! В те дни, когда женские моды были так неэстетичны, она всегда появлялась одетой в чудесное отливающее платье в обтяжку, увешанное блестящими цехинами. Однажды я видела ее в таком платье, голова ее была увенчана пурпуровыми цветами. Берти Бэди выступала на вечере, где должна была читать стихи Батайля. Я подумала, что, наверное, ни у одного поэта никогда не было более прекрасной музыки.

После этой встречи они часто приходили в нашу студию, и однажды Батайль прочел нам свои стихи. Таким образом, я, юная и необразованная американская девушка, нашла каким-то таинственным путем ключ, открывший мне сердце и разум интеллектуальных и артистических сливок Парижа, являющегося в наши дни тем же, чем Афины были в эпоху расцвета античной Греции.

Мы с Реймондом имели обыкновение совершать длинные прогулки по Парижу. Во время таких прогулок часто попадали в интереснейшие места. Например, как-то мы нашли в округе парка Монсо Китайский музей, созданный эксцентричным французским миллионером.

Во время наших скитаний мы пришли однажды в «Трокадеро»¹. Наш взгляд привлекла афиша, возвещающая о выступлении в этот день Муне-Сюлли² в трагедии Софокла «Царь Эдип». Имя Муне-Сюлли было нам тогда не известно, но нас охватило страстное желание посмотреть спектакль. Мы взглянули на цены внизу афиши и сопоставили их с содержимым наших карманов.

¹ «Трокадеро» — дворец, построенный архитектором Давью и его коллегой Бурде к Всемирной выставке 1878 г. — *Прим. ред.*

² Муне-Сюлли Жан (1841—1916) — французский актер. Играл роли в романтических драмах Гюго, создал образы Гамлета, Отелло, Эдипа, Нерона и др. Виртуозное мастерство, могучий темперамент, высокий художественный вкус Муне-Сюлли способствовали всемирному признанию актера. — *Прим. ред.*

У нас было ровно три франка, а самые дешевые цены на верхних трибунах равнялись семидесяти пяти сантимам. Это означало остаться без обеда, но мы вскарабкались на места для стояния позади трибун.

Сцена «Трокадеро» не имела занавеса. Она была обставлена той жалкой имитацией, которую иные современники считают греческим искусством. Появился хор, скверно одетый в тот вид одежды, который некоторые книги по истории костюма описывают как греческий. Из оркестра лилась посредственная музыка, сладкий, пошлый мотив. Мы с Реймондом обменялись взглядами. Мы считали, что потеря нами обеда являлась бесполезной жертвой, когда из портика слева, представлявшего собой дворец, появилась мужская фигура.

Ах, как мне описать волнение, вызванное первыми звуками его голоса! Я сомневалась, существовал ли такой голос в прославленные дни древности. И, начиная с этого момента, образ Муне-Сюлли и голос Муне-Сюлле, все усиливаясь, покрывая собой все слова, все искусства, все пляски, достигли такой силы и объема, что весь «Трокадеро» и в высоту и в ширину казался слишком малым для этого гиганта искусства. Мы с Реймондом затаили дыхание на наших местах на трибуне. Мы побледнели. Мы оробели. Слезы текли у нас из глаз и когда наконец первый акт закончился, мы смогли лишь обняться в нашем восторженном исступлении.

Начался второй акт, и великая трагедия развернулась перед нами.

К уверенности победоносного молодого царя примешались первые признаки беспокойства. Страстное желание узнать истину любой ценой — и наступил наивысший момент. Муне-Сюлли начал танцевать.

Опять антракт. Я взглянула на Реймонда. Он был бледен, глаза его горели. Нас шатало. Третий акт. Его нельзя описать. Только тот, кто видел его, видел великого Муне-Сюлли, может понять наши чувства.

Мы с Реймондом спускались по длинной лестнице так медленно и неохотно, что сторожам наконец пришлось нас выставить. Именно тогда я осознала, что мне было дано великое зрелище подлинного искусства. Отныне я знала свой путь. Мы шли пешком домой, пьяные от вдохновения. В продолжение многих недель мы жили под этим впечатлением. Мечтала ли я когда-нибудь, что наступит день, когда я буду стоять на той же самой сцене рядом с великим Муне-Сюлли.

С тех пор как я увидела на Всемирной выставке работы Родена, меня преследовала мысль о его гении. Однажды я проникла в его студию на рю де л'Юниверсите.

Роден был небольшого роста, коренастый, сильный, с гладкой, стриженной головой и пышной бородой. Он показал свои работы с простотой истинно великого человека. Иногда он бормотал названия своих статуй, но чувствовалось, что названия значат для него немного. Под конец он взял небольшой кусок глины и сжал его между ладонями. Работая, он тяжело дышал. От него полыхало жаром, как от пылающего горна. В несколько минут он вылепил женскую грудь, которая трепетала под его пальцами.

Он взял меня под руку, нанял извозчика, и мы поехали в мою студию. Там я проворно переоделась в свою тунику и протанцевала перед ним идиллию Теокрита, которую Андре Бонье перевел для меня следующими словами:

Пан любил нимфу Эхо,
Эхо любила Сатира... и т. д.

Затем я остановилась, чтобы объяснить ему мои теории нового танца; но вскоре ясно поняла, что он меня не слушает. Он пристально смотрел на меня сверкающими глазами из-под полуопущенных век, а затем с тем же выражением, которое было на его лице, когда он стоял перед своими работами, он подошел ко мне. Его руки скользили по моей шее, груди, погладили мои плечи скользнули по бедрам, по обнаженным коленям и ступням. Он начал мять все мое тело, словно оно было из глины. Из него излучался жар, опалявший и разжигавший меня. Меня охватило желание покориться ему всем своим существом, и, действительно, я бы поступила так, если бы меня не остановил испуг, вызванный моим нелепым воспитанием. Я отступила, набросила платье поверх туники и, придя в замешательство, прогнала его. Как жаль! Как часто я раскаивалась в этом ребяческом ложном понимании, которое лишило меня случая отдать свою девственность самому великому Пану, могучему Родену.

Я встретила с Роденом лишь спустя два года, когда вернулась из Берлина в Париж. Впоследствии в течение многих лет он был моим другом и учителем.

Совершенно иной, но не менее радостной была встреча с другим великим художником — Эженом Каррьером. Меня привела в его студию жена писателя Кайзера ¹, которая часто жалела нас за наше одиночество и приглашала за свой семейный стол, за которым ее маленькая дочка, обучавшаяся игре на скрипке, и талантливый сын Луи, ныне широко известный молодой композитор, сидя по вечерам вокруг зажженной лампы, создавали совершенную гармонию. Я заметила на стене причудливый, очаровательный, темный портрет. Мадам Кайзер сказала:

— Это мой портрет кисти Каррьеера.

Однажды она повела меня в дом Каррьеера на рю Эжезип Моро. Мы взобрались в мастерскую на верхнем этаже, где Каррьеера окружали его книги, семья и друзья. Великая нежность ко всему была в нем. Вся красота, сила, чудесность его картин были просто непосредственным выражением его возвышенной души. Спустя многие годы мадам Йорская, так описывала эту встречу:

«Я прекрасно помню тот день, когда я встретила ее в студии Эжена Каррьеера. Лицо и имя запали мне в душу. Как всегда, я постучала у дверей Каррьеера с бьющимся сердцем. Всегда, приближаясь к этому святилищу нищеты, я делала отчаянное усилие, чтобы заглушить волнение.

Айседора стояла между скромным маэстро и его другом, невозмутимым Мечниковым ² из Пастеровского института. Она казалась еще более спокойной, чем они оба. Исключая Лилиан Гиш ³, я никогда не встречала американской девушки, которая выглядела бы такой же застенчивой, как в тот день Айседора. Взяв меня за руку, как берут ребенка, чтобы подвести его поближе к чему-либо, чем он мог бы полюбоваться, Эжен Каррьер сказал: «Это Айседора Дункан!» Затем он замолчал, чтобы подчеркнуть это имя.

Внезапно Каррьер, который всегда говорил очень тихо, провозгласил глубоким громким голосом: «Эта молодая американка произведет революцию в мире!»

Я никогда не могу без слез пройти мимо семейного портрета Каррьеера в Люксембургском дворце, вспоми-

¹ Кайзер Георг (1878—1945) — немецкий драматург.

² Мечников Илья Ильич (1845—1916) — русский биолог и патолог. — *Прим. ред.*

³ Гиш Лилиан (г. р. 1896—) — американская актриса, звезда немого кино.

ная эту студию, где я вскоре стала частой гостьей. Это одно из самых дорогих воспоминаний моей молодости.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Соловей Запада однажды сказала мне:

— Какая жалость, моя дорогая, что такую великую артистку, как Сара Бернар¹, нельзя назвать хорошей женщиной. Но ведь есть Лои Фуллер². Она не только великая артистка, но и безупречный человек. Ее имя никогда не было связано ни с каким скандалом.

Как-то вечером она привела Лои Фуллер ко мне в студию. Естественно, я протанцевала перед ней и объяснила ей все свои теории, как объясняла каждому. Лои Фуллер выразила свое полное восхищение и, сообщив, что на следующий день уезжает в Берлин, предложила мне присоединиться к ней в Берлине. Она сама была не только великой артисткой, но также импресарио Сада Якко, искусством которой я так восхищалась. Она предложила мне давать концерты по Германии вместе с Сада Якко. Конечно, я с восторгом согласилась.

Итак, было решено, что я должна присоединиться в Берлине к Лои Фуллер.

Перед отъездом пришел проститься Андре Бонье. Мы совершили последнее паломничество в собор Парижской богородицы, и он провожал меня на вокзале. На прощание он поцеловал меня со своей обычной изысканностью, но мне показалось, что я уловила за стеклами его очков проблеск страдания.

Я приехала в берлинский «Бристоль», где в роскошной комнате застала Лои Фуллер с ее антуражем. Около десятка красивых девушек толпились возле нее, поочередно глядя ей руки и целуя ее. Тут царил атмосфера такой сердечной теплоты, какой я никогда еще не встречала.

Щедрость Лои Фуллер не имела границ. Она позвонила и заказала такой обед, что я не могла удержаться от мысли, сколько же он стоит. Она должна была танцевать

¹ *Бернар Сара* (1844—1923) — французская актриса. Станиславский считал искусство Бернар примером технического совершенства.— *Прим. ред.*

² *Фуллер Лои* (настоящее имя Мария Луиза) (1862—1928) — американская танцовщица. Выступала с танцевальной импровизацией классической музыки. Ее танцы получили развитие в искусстве Айседоры Дункан.— *Прим. ред.*

в этот вечер в зимнем саду, но, наблюдая за ней, я недоумевала, как она может выполнять ангажемент, ибо она, казалось, страдала ужасными болями в позвоночнике. Время от времени красивые девушки из ее антуража приносили пузыри со льдом и клали их между ее спиной и спинкой стула...

— Еще один пузырь со льдом,— говорила она.— Кажется, от них боль проходит.

Вечером мы все расселись в ложе, чтобы посмотреть, как танцует Лои Фуллер. Неужели светлое видение, представшее перед нами, имело что-либо общее со страдающей больной, которую мы видели за несколько минут до этого? На наших глазах чародейством Мерлина¹ она превращалась в разноцветные сияющие орхидеи, в качающийся и развевающийся морской цветок и, наконец, в спиралевидную лилию, в волшебстве света, красок, мелькающего образа. Какой необычайный талант! Ни одной из подражательниц Лои Фуллер никогда не удавалось дать даже намек на ее талант. На глазах зрителей она претворялась в тысячу цветистых образов. Нельзя было поверить! Нельзя повторить или описать! Я вернулась ослепленная, увлеченная этой чудесной артисткой.

На следующее утро я отправилась в первый раз осмотреть Берлин. Сперва я, столько мечтавшая о Греции и греческом искусстве, мгновенно поддалась впечатлению, производимому архитектурой Берлина.

— Но ведь это Греция! — воскликнула я.

Однако, приглядевшись внимательнее, я поняла, что у Берлина нет сходства с Грецией. Он был северным отображением Греции. Эти колонны не были дорическими колоннами, вздымающимися высоко в лазурные небеса над Олимпом. Они выражали представление о Греции германских педантов, профессоров археологии.

Мы пробыли в Берлине несколько дней, а затем покинули отель «Бристоль», последовав за труппой Лои Фуллер в Лейпциг. Мы уехали без чемоданов, и даже скромный чемодан, привезенный мной из Парижа, остался. Я не могла тогда понять, почему это случилось с преуспевающей артисткой мюзик-холла. После роскошной жизни с обедами, с шампанским в пышных хоромах отеля я не могла постигнуть, почему мы были вынуждены уехать без чемоданов. Позднее я выяснила, что

¹ Мерлин — волшебник и провидец, герой средневековых сказаний, помощник легендарного короля Артура.

причина лежала в Сада Якко, чьей импресарио являлась Лои Фуллер. Ее постигли неудачи, и касса Лои Фуллер была опустошена покрытием убытков.

Среди этих nereид, нимф, радужных привидений находилась одна причудливая особа в черном, строгого покроя платье. Она была застенчива, молчалива, ее лицо прекрасно очерчено и все же энергично, черные волосы гладко зачесаны назад, умные глаза печальны. Она всегда держала руки в карманах платья. Интересовалась искусством и особенно красноречиво говорила об искусстве Лои Фуллер. Она вращалась вокруг сборища ярко раскрашенных бабочек, как какой-то скарабей Древнего Египта. Меня сразу же потянуло к этой особе, но я почувствовала, что восхищение перед Лои Фуллер целиком владеет ее душевными силами и для меня у нее ничего не остается.

В Лейпциге я опять-таки каждый вечер отправлялась в театр, чтобы посмотреть из ложи на Лои Фуллер, и наполнялась все большим восторгом перед ее дивным искусством.

Помню, как в Лейпциге меня однажды в два часа ночи разбудили доносившиеся откуда-то голоса. Они казались невнятными, но я узнала один, принадлежащий рыжеволосой девушке, которую мы называли Нянюшкой, ибо она всегда была готова нежить и нянчить всякого, кто страдал от головной боли. Из обрывков возбужденного шепота я смогла понять, что Нянюшка говорит, что она вернется в Берлин посоветоваться кое с кем, чтобы раздобыть денег, которых хватило бы на переезд нас всех в Мюнхен. А затем, среди ночи, эта рыжеволосая девушка подошла ко мне и, страстно меня поцеловав, сказала пылким тоном:

— Я уезжаю в Берлин.

Все её путешествие должно было продолжаться лишь два часа, и я не могла понять, почему она была так возбуждена и потрясена тем, что покидает нас. Она скоро вернулась с деньгами на проезд в Мюнхен.

Из Мюнхена мы хотели поехать в Вену. Опять у нас не хватало денег, и так как на этот раз казалось совсем невозможно раздобыть что-нибудь, я добровольно вызвалась обратиться к американскому консулу за помощью. Я заявила, что он должен снабдить нас билетами в Вену, и только благодаря тому, что мне удалось его убедить, мы наконец приехали туда. В отеле «Бристоль» нас устроили в роскошнейшем помещении, несмотря на

то что мы прибыли без всякого багажа. К этому времени, вопреки моему преклонению перед искусством Лои Фуллер, я начала спрашивать себя, зачем я оставила свою мать одну в Париже и что я, собственно, делаю в этой труппе прекрасных, но рехнувшихся дам. Я оставалась до сих пор лишь беспомощной и сочувствующей зрительницей всех этих драматических событий в пути.

В отеле «Бристоль», в Вене, меня поместили вместе с рыжеволосой девушкой, Нянюшкой. Как-то в четыре часа ночи Нянюшка встала, зажгла свечу и, двинувшись к моей постели, объявила:

— Бог велел мне задушить вас!

В свое время я слышала, что, если человек сходит с ума, никогда не нужно вступать с ним в пререкания. При всем моем ужасе мне удалось овладеть собой достаточно, чтобы ответить:

— Отлично. Но дайте мне сначала помолиться.

— Хорошо,— согласилась она и поставила свечку на столик возле моей постели.

Я выскользнула из постели и, словно за мной гнался дьявол, распахнула дверь, промчалась по длинным коридорам, по широкой лестнице, ворвалась в контору отельного клерка в том виде, в каком была, в ночной одежде, с развевающимися кудрями, и воскликнула:

— Дама рехнулась!

Нянюшка следовала за мной по пятам. На нее бросились шесть клерков и удерживали ее в тисках, пока не прибыли врачи. Результат их консультаций привел меня в такое замешательство, что я решила телеграфировать матери, чтобы она приехала из Парижа, что она и сделала. Я рассказала ей все, что мне приходится испытывать среди этой обстановки, и мы с матерью решили покинуть Вену.

Случилось так, что, когда я находилась в Вене с Лои Фуллер, я однажды вечером танцевала в Доме искусств перед артистами. Каждый из них пришел с букетом красных роз, и когда я танцевала «Вакханалию», меня всю забросали красными розами. Среди публики присутствовал венгерский импресарио Александр Гросс. Он подошел ко мне и сказал:

— Если вы пожелаете создать себе будущее, отыщите меня в Будапеште.

Вот потому в ту минуту, когда я была до смерти напугана окружающей меня обстановкой и стремилась вырваться с матерью из Вены, я, естественно, вспомнила

о предложении мистера Гросса, и мы направились в Будапешт в надежде на лучшее будущее. Он предложил мне заключить контракт на тридцать вечеров танцев, одной, в театре «Урания».

Это был первый мой контракт на танцы перед публикой в театре, и я заколебалась. Я сказала:

— Мои танцы предназначены для избранных — артистов, скульпторов, художников, музыкантов, но не для обыкновенной публики.

Но Александр Гросс возразил, что артисты самые требовательные зрители, и если им нравятся мои танцы, то публике они понравятся в сто раз больше. Меня убедили подписать контракт, и пророчество Александра Гросса сбылось. Первый же вечер в театре «Урания» сопровождался неопишуемым триумфом. В течение тридцати вечеров я танцевала в Будапеште при аншлаговых сборах.

О Будапешт! Стоял апрель. Была весна. Однажды вечером, вскоре после первого представления, Александр Гросс пригласил нас поужинать в ресторане, где была цыганская музыка. О цыганская музыка! Она оказалась первым призывом к пробуждению моих юных чувств. Помню, спустя годы я беседовала с Джоном Венемекером. Мы находились в отделе граммофонов его магазина, и он обратил мое внимание на дивную музыку, которую воспроизводили его механизмы. Я сказала ему:

— Из всех этих прекрасно сконструированных механизмов — произведений искусных изобретателей — ни один не может заменить цыганскую музыку одного-единственного венгерского крестьянина, играющего на пыльных дорогах Венгрии. Один венгерский цыган стоит всех граммофонов в мире.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Прекрасный город Будапешт внезапно украсился цветами. За рекой на холмах сирень зацвела в каждом саду. Каждый вечер бурная венгерская публика бешено аплодировала мне, бросая шапки на сцену.

Однажды вечером, под впечатлением быстро скользящей и подернутой рябью реки, какой я видела ее в то утро, я написала записку дирижеру оркестра и в конце представления симпровизировала «Голубой Дунай» Штрауса. Эффект получился, как от электрического разряда. Публика вскочила на ноги, охваченная исступлен-

ным восторгом, и мне пришлось многократно повторять вальс, прежде чем зрители перестали походить на толпу сумасшедших.

В этот вечер среди публики, громко вызывая меня вместе с другими на бис, находился молодой венгр, которому предстояло превратить целомудренную нимфу, какой я была, в вакханку. Все способствовало перевороту: весна, нежные лунные ночи, а когда мы покидали театр — благоухание, носившееся в воздухе, отяжелевшем от запаха сирени. Необузданный энтузиазм зрителей и первые ужины, в которых я когда-либо участвовала в обществе совершенно безмятежных людей; музыка цыган, венгерский гуляш и крепкие венгерские вина — в самом деле, впервые в своей жизни я была сыта, перекормлена и возбуждена изобилием пищи — все приводило меня к новому сознанию, что мое тело не только инструмент для выражения музыки, но и нечто иное.

Как-то днем в дружеской компании за стаканом токайского я столкнулась с взглядом больших черных глаз, сверкавших таким безграничным поклонением и такой венгерской страстью, будто в одном нем таился весь смысл весны в Будапеште. Человек, который смотрел на меня, был высок, великолепно сложен, черноволос. Действительно, он мог бы позировать в качестве Давида для самого Микеланджело. Когда он улыбался, между его красными губами блестели крепкие белые зубы.

С первого же взгляда мы были в объятиях друг друга, и не было силы на земле, которая могла бы этому помешать.

Он передал мне небольшой клочок бумаги, на котором было написано: «Ложа в Королевский национальный театр». В этот вечер мы с матерью пошли, чтобы увидеть его в роли Ромео. Он был прекрасным актером и стал величайшим в Венгрии. Его изображение Ромео завершило его победу надо мной. Позднее я зашла к нему в уборную, чтобы встретиться с ним. Вся компания следила за мной с улыбкой любопытства. Казалось, что все уже знали и были рады. Лишь одна из них, актриса, совсем не казалась довольной. Он проводил мою мать и меня в отель, где мы перекусили, ибо актеры никогда не обедают перед спектаклем.

Затем, когда мать думала, что я сплю, я вернулась и встретила со своим Ромео в гостиной нашего помещения, отделенной от спальни длинным коридором. Он рассказал мне, что в ту ночь изменил свою интерпрета-

цию роли Ромео. «Раньше я наклонялся к стене и сразу же начинал декламировать обычным голосом:

Над шрамом шутит тот, кто не был ранен.
Но тише! Что за свет блеснул в окне?
О, там восток! Джульетта — это солнце ¹.

Но сегодня вечером, как вы помните, я прошептал эти слова так, как если бы задыхался, потому что после встречи с вами я знаю, что сделала бы любовь с голосом Ромео. Айседора, благодаря вам я впервые осознал, какая была любовь Ромео. Теперь я буду играть всю роль по-иному». Он встал и повторил для меня сцену за сценой всю роль, часто прерывая декламацию словами: «Да, я понимаю сейчас, что, если Ромео действительно любил, он сказал бы это так-то и так-то, совсем по-другому, чем я воображал, когда начал исполнять роль. Обожаемая девушка с лицом цветка, вы воодушевили меня. Благодаря этой любви я в самом деле стану великим артистом». Так он продекламировал передо мной сцену за сценой, всю роль Ромео, пока рассвет не прокрался через окно. Я смотрела и слушала с упоением. Время от времени я даже отваживалась подавать ему реплику или делать жест, а в сцене перед монахом мы оба преклонили колена и поклялись в верности до гроба.

О молодость и весна. Будапешт и Ромео! Когда я вспоминаю вас, мне кажется, что все произошло не в давние времена, а прошлой ночью.

Однажды вечером после окончания наших спектаклей мы зашли в гостиную без ведома матери, полагавшей, что я мирно сплю. Сначала Ромео довольствовался лишь декламированием своей роли или рассказами о своем искусстве в театре, а я чувствовала себя вполне счастливой, слушая его, но постепенно я стала замечать, что он волнуется, а временами совершенно теряется и утрачивает дар речи.

Он сжимал кулаки и казался совершенно больным; к его красивому лицу прилиwała кровь, взгляд пылал, губы набухали, и он кусал их, пока не выступила кровь. Я тоже чувствовала себя больной, голова кружилась, и нарастало неодолимое желание прижиматься к нему все крепче и крепче. Наконец, потеряв всякое самообладание, он внес меня в комнату. В испуге и в то же время в упоении я поняла, что все свершилось. Признаюсь, моим первым впечатлением был ужасный испуг.

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Утром, на рассвете, мы вместе вышли из отеля, наняв запоздалого извозчика, которого мы отыскиали на улице, и поехали на много миль прочь, в деревню. Мы остановились в лачуге крестьянина, в которой его жена оставила нам комнату со старомодной кроватью с балдахином. Весь этот день мы оставались в деревне. Ромео несколько раз успокаивал меня и осушал мои слезы, когда я начинала плакать.

Боюсь, что в тот вечер я показала публике очень слабое исполнение, так как чувствовала себя очень несчастной. Когда, однако, по окончании представления я встретилась в гостиной с Ромео, он находился в состоянии такой радости и гордости, что я была вознаграждена за все мои страдания.

У Ромео был прекрасный голос, и он пел мне все песни своей страны и цыганские песни, объясняя мне их смысл. Однажды вечером, когда Александр Гросс устроил мой парадный спектакль в Будапештском оперном театре, мне захотелось после программы из музыки Глюка вывести на сцену простой венгерский оркестр из цыган и протанцевать цыганские песни. В особенности одна звучала как песня любви. Она пелась так:

В мире есть молодая девушка,
Милый голубь мой.
Любит, видно, меня Господь,
Если он дал мне ее.

Нежный мотив, полный страсти, желания, слез преклонения. Я танцевала с таким одушевлением, что вызвала слезы у многочисленной публики, а закончила маршем Раковского, который я протанцевала в красной тунике как революционный гимн героям Венгрии. Парадный спектакль заключил сезон в Будапеште, и на следующий день мы с Ромео убежали на несколько дней в деревню, поселившись в крестьянской лачуге. Мы впервые познали наслаждение спать всю ночь в объятиях друг друга, и я испытала непревзойденную радость, проснувшись на рассвете, увидеть, что мои волосы запутались в его черных душистых кудрях, и чувствовать вокруг своего тела его руки. Мы вернулись в Будапешт, и первым облаком, омрачившим наше блаженство, было сокрушение моей матери и возвращение из Нью-Йорка Элизабет, которая, казалось, считала, что я совершила преступление. Душевное беспокойство их обоих было настолько невыносимо, что я наконец убедила их предпринять небольшую поездку по Тиролю.

Александр Гросс организовал мое турне по Венгрии. Я давала спектакли во многих городах, включая Зибен-Кирхен, где на меня произвел большое впечатление рассказ о семерых повешенных революционных генералах. На большом открытом поле за городом я сложила марш в честь этих генералов на героическую мрачную музыку Листа.

В течение всей поездки публика встречала меня во всех маленьких венгерских городках небывалыми овациями. В каждом из них меня ожидала карета с белыми лошадьми в упряжи, наполненная белыми цветами. Среди приветствий и криков меня, одетую во все белое, провозили через весь город. Но, несмотря на восторги, которые давало мне мое искусство, и на лесть публики, я бесконечно страдала от тоски по Ромео. Я чувствовала, что отдала бы весь этот успех и даже все свое искусство за одну минуту, вновь проведенную в его объятиях, и я томила в ожидании того дня, когда вернусь в Будапешт. Этот день наступил. Ромео, конечно, с пылкой радостью встретил меня на вокзале, но я заметила в нем какую-то странную перемену, а затем он рассказал мне, что репетирует роль Марка Антония и дебютирует в ней. Неужели перемена роли так повлияла на его артистически сильный темперамент? Не знаю, но что действительно я знаю, это что первая наивная страсть и любовь Ромео изменилась. Он говорил о нашей женитьбе, словно она являлась уже окончательно решенным делом. Он даже повел меня смотреть квартиры, чтобы выбрать одну, в которой мы поселимся.

— Что станем мы делать, живя в Будапеште? — попыталась я.

— Как, — ответил он, — у тебя каждый вечер будет ложа, из которой ты станешь смотреть на мою игру, а затем ты научишься подавать мне все мои реплики и помогать мне при разучивании ролей.

Он прочел мне роль Марка Антония, но сейчас все его интересы сосредоточивались на римской черни, а я, его Джульетта, уже оставалась в стороне.

Однажды, во время долгой прогулки по деревне, сидя возле скирды сена, он наконец спросил меня, думаю ли я, что поступлю правильно, если буду продолжать свою карьеру, а его предоставлю самому себе. Это неточные его слова, но таков был их смысл. Я до сих пор помню скирду сена, расстилавшееся перед нами поле и холодный озноб, пронзивший мою грудь. В тот же день я подписала контракт с Александром Гроссом на Вену, Берлин и все города Германии.

Я видела дебют Ромео в роли Марка Антония. Последнее, что я видела, был бешеный энтузиазм зрительного зала, в то время как я сидела в ложе, глотая слезы и чувствуя себя, словно глотаю груды битого стекла. На следующий день я уехала в Вену. Ромео уже исчез.

Я попрощалась с Марком Антонием, который казался настолько суровым и озабоченным, что путешествие из Будапешта в Вену было для меня самым горестным и печальным, какое я когда-либо испытывала. Вся радость, казалось, внезапно покинула вселенную.

В Вене я заболела, и Александр Гросс поместил меня в клинику.

Я провела несколько недель в состоянии крайнего упадка и в ужасных страданиях. Ромео приехал из Будапешта. Он даже устроился на кровати в моей комнате. Он был нежен и внимателен, но, проснувшись однажды на рассвете и увидав лицо сиделки, закутанной в черное католической монахини, отделяющее меня от образа моего Ромео, спавшего на кровати у противоположной стены, я услышала погребальный звон над нашей любовью.

Я выздоравливала долго, и Александр Гросс отвез меня на поправку в Франценсбад. Я была вялой и грустной, не проявляя интереса ни к прекрасной местности, ни к окружавшим меня добрым друзьям. Приехала жена Гросса и ласково ухаживала за мной в течение бессонных ночей. Вероятно, на мое счастье, дорогие доктора и сиделки истощили счет в банке, и Гросс организовал мои концерты в Франценсбаде, Мариенбаде и Карлсбаде.

Итак, я снова открыла свой чемодан и вытащила танцевальные туники. Помню, я разразилась слезами, целуя свою короткую красную тунику, в которой я танцевала все свои революционные танцы, и поклялась никогда больше не покидать искусства ради любви. К этому времени мое имя стало в стране магическим, и помню, как однажды вечером, когда я обедала со своим директором и его женой, перед зеркальным окном ресторана сгрудилась такая многочисленная толпа, что она разбила огромное окно, к отчаянию управляющего отелем.

Скорбь, муку и разочарование любви я претворила в свое искусство. Я создала историю Ифигении¹, ее прощание с жизнью на алтаре смерти. Наконец Алек-

¹ *Ифигения* — в греческой мифологии дочь царя Аргоса Агамемнона. По мифу, ее должны были принести в жертву, но богиня Луны, покровительница животных Артемида, спасла ее, заменив ланью.—
Прим. ред.

сандр Гросс подготовил все для моего выступления в Мюнхене, где я встретила со своей матерью и Элизабет. Они были в восторге, увидав меня без Ромео, но нашли, что я переменялась и стала грустной.

В эти дни вся жизнь Мюнхена сосредоточилась вокруг Дома искусств, где группа таких мастеров, как Карлбах, Лембах, Штук¹ и т. д., собиралась каждый вечер, чтобы насосаться прекрасным мюнхенским пивом и потолковать о философии и искусстве. Гросс захотел устроить мой дебют в Доме искусств. Лембах и Карлбах были согласны на это; лишь Штук утверждал, что танцы не соответствуют храму искусства, подобному мюнхенскому Дому искусств. Однажды я направила к Штуку на дом, чтобы убедить его в достоинствах своего искусства. Я сняла в его студии платье, надела тунику и протанцевала перед ним, а затем мы беседовали с ним четыре часа без перерыва о возможности танца как искусства. Впоследствии он часто рассказывал своим друзьям, что никогда в своей жизни не был так удивлен. Он говорил, что чувствовал себя, словно внезапно явилась дриада Олимпа. Он дал свое согласие, и мой дебют в мюнхенском Доме искусств явился величайшим артистическим событием и сенсацией, которые город не видел много лет. Затем я танцевала в Кайм-заале. Студенты просто сходили с ума. Каждый вечер они выпрягали лошадей из моей кареты и везли меня по улицам, распевая студенческие песни и прыгая по обеим сторонам с зажженными факелами. Часто в продолжение нескольких часов они простаивали под окном отеля и пели, пока я не бросала им цветы и свои носовые платки, которые они разрывали на части, причем каждый прикреплял свою долю к кепке.

Как-то вечером они отнесли меня в свое студенческое кафе, где я танцевала на столах, переходя с одного на другой. Всю ночь они пели, и часто раздавался припев:

— Айседора, Айседора, ах как жизнь хороша!

Отчет об этой ночи, появившийся в «Симплицисимусе», возмутил некоторых благонравных людей, но в действительности он являлся невиннейшей «оргией», вопреки даже тому факту, что студенты разодрали мое платье и шаль на полосы, которыми они обвязали свои кепки, когда на рассвете уносили меня домой.

Мюнхен в то время являлся настоящим центром артистической и интеллектуальной жизни. Улицы были пе-

¹ Штук Франц (1863—1928) — немецкий художник.

реполнены студентами. Каждая молодая девушка несла под мышкой портфель либо сверток нот. Каждая магазинная витрина была настоящей сокровищницей редких книг, старинных гравюр и восхитительных новых изданий. Все это в сочетании с чудесными коллекциями музеев, с бодрящим осенним ветром, дующим с солнечных гор, с посещениями студии седовласого мастера, Лембаха, частыми приездами мастеров философии, таких, как Карвельгорн и других, побудило меня вернуться к своему прерванному было интеллектуальному развитию. Я приступила к изучению немецкого языка, к чтению в подлинниках Шопенгауэра, Канта и вскоре могла с огромным наслаждением следить за долгими дискуссиями артистов, философов и музыкантов, собиравшихся каждый вечер в Доме искусств. Я научилась также пить отличное мюнхенское пиво. Недавнее потрясение чувств немного сгладилось.

Однажды вечером на специальном парадном представлении для артистов в Доме искусств я обратила внимание на силуэт человека, сидевшего в первом ряду и аплодировавшего. Он напомнил мне силуэт великого мастера, произведения которого тогда впервые мне открылись. Тот же выдающийся лоб, выступающий нос. Только рот казался мягче и выражал меньшую силу. После представления я узнала, что это был Зигфрид Вагнер, сын Рихарда Вагнера. Он присоединился к нашему кружку, и я имела удовольствие в первый раз встретить и восхищаться человеком, который с того времени стал числиться среди самых дорогих мне друзей.

Я тогда еще впервые читала Шопенгауэра, и меня увлекало философское освещение отношения музыки к воле, явившееся для меня откровением.

Замечательные творения итальянских мастеров, находившиеся в мюнхенских музеях, также явились для меня новостью, и, сообразив, как близко мы от границы, моя мать, Элизабет и я, следуя непреодолимому порыву, сели в поезд, направлявшийся во Флоренцию.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я никогда не забуду изумительных впечатлений от переезда через Тироль и спуска по солнечной стороне гор на Умбрийскую равнину.

Мы вышли из поезда во Флоренции и провели несколько недель, блуждая по галереям, садам, оливковым

рошам. На этот раз мое воображение пленил Боттичелли. Я просидела несколько дней перед знаменитой картиной Боттичелли «Примавера». Вдохновившись ею, я создала танец, в который старалась воплотить нежные побуждения, внушаемые ею.

Я думала: «Протанцую эту картину и пошлю всем весть о любви, о весне, о рождении жизни, с которыми я познакомилась в таких страданиях».

Таковы были мои размышления перед «Примаверой» Боттичелли, которую я впоследствии пыталась претворить в танец, названный мной «Танцем будущего».

Во Флоренции, в залах старого дворца, я танцевала перед артистическим обществом города под музыку Монтеверди¹ и некоторые мотивы ранних неизвестных мастеров.

Благодаря нашему обычному беззаботному пренебрежению к практическим вопросам, наши деньги опять подошли к концу, и мы оказались вынужденными телеграфировать Александру Гроссу, чтобы он выслал нам необходимую сумму на переезд к нему в Берлин, где он готовил мой дебют.

Приехав в Берлин, я пришла в замешательство, видя, что все улицы представляли собой сплошной сверкающий плакат с моим именем. Объявление извещало о моем дебюте в Оперном театре Кроля в сопровождении оркестра филармонии. Александр Гросс доставил нас в прекрасные апартаменты отеля «Бристоль» на Унтер-ден-Линден, куда явилась вся германская пресса в ожидании моего первого интервью. После моих мюнхенских размышлений и флорентийских опытов я находилась в такой задумчивости, что крайне удивила этих представителей прессы, изложив им, на своем американско-немецком языке, наивное и пышное толкование искусства танца как «величайшего, серьезного искусства», которое принесет всем остальным видам искусства новое пробуждение.

Насколько иначе слушали меня немецкие журналисты, чем те, которым я впоследствии объясняла свои теории в Америке! Они слушали меня с почтительнейшим вниманием и интересом, и на следующий день в германских газетах появились длинные статьи, придававшие моим танцам серьезное, философское значение.

¹ Монтеверди Клаудио (1567—1643) — итальянский композитор, основоположник итальянской оперы.

Александр Гросс был отважным пионером. Он рискнул всем своим капиталом ради моего концерта в Берлине. Он не пожалел никаких расходов на рекламу, наняв лучший оперный театр и прекрасного дирижера. Поэтому, если бы при поднятии занавеса, открывшего скромные голубые занавесы, служившие декорациями, и одинокую тонкую фигурку на огромной сцене, мне не удалось бы вызвать в первую же минуту аплодисментов пришедшей в недоумение берлинской публики, это означало бы для Гросса полное разорение. Но он был хорошим проком: я совершила то, что он предсказывал.

Я взяла Берлин штурмом. После того как я танцевала свыше двух часов, публика отказалась покинуть оперный театр, требуя бесконечных повторений, пока наконец в порыве иступления зрители не взобрались на рампу. Сотни молодых студентов в самом деле вскарабкались на сцену, и мне начала грозить опасность быть раздавленной насмерть слишком пылким преклонением. В течение многих последующих вечеров они выпрягали лошадей из моей кареты и с триумфом везли меня по улицам к моему отелю.

К одному из моих вечеров внезапно вернулся из Америки Реймонд. Он слишком истосковался по нас и заявил, что больше не может жить отдельно. Затем мы воскресили проект, который уже давно лелеяли: съездить в Афины. Я чувствовала, что нахожусь лишь у порога изучения своего искусства, и после непродолжительного сезона в Берлине я настояла, несмотря на просьбы и сетования Александра Гросса, на отъезде из Германии.

С сияющими глазами и бьющимися сердцами мы снова сели в поезд, направляющийся в Италию, чтобы совместно совершить через Венецию долгожданную поездку в Афины.

Мы остановились в Венеции на несколько недель, осматривая церкви и галереи, но, естественно, Венеция в это время не могла нам слишком понравиться.

Я горела от нетерпения сесть на пароход и направиться в Афины. Реймонд решил, что наша поездка в Грецию должна проходить как можно скромнее. Поэтому, отказавшись от больших, комфортабельных пассажирских пароходов, мы сели на борт почтового парохода — небольшого судна, совершавшего рейсы между Бриндизи и Санта-Маурой. В Санта-Мауре мы сошли на берег, ибо тут находилось местоположение античной Итаки, а также скала, с которой Сафо в отчаянии бросилась в море.

В Санта-Мауре мы на рассвете сели на небольшое парусное судно с экипажем, состоявшим лишь из двух человек, и знойным июльским днем пересекли синее Ионическое море. Мы вошли в залив Амвракикос и высадились в городке Карвазарасе.

Нет более изменчивого моря, чем Ионическое. Мы рисковали жизнью, предпринимая путешествие на утлом суденышке.

Обитатели городка сбежались к берегу к моменту нашей высадки. Первая высадка Христофора Колумба в Америке не вызвала, наверное, такого удивления среди туземцев. С немым любопытством они смотрели, как мы с Реймондом преклонили колени и поцеловали землю.

Действительно мы почти обезумели от радости.

В Карвазарасе не было ни отеля, ни железной дороги.

Ночь мы провели в одной комнате, — единственной, которую нам смогли предоставить на постоялом дворе. Мы спали не слишком много. Во-первых, потому, что Реймонд всю ночь рассуждал о мудрости Сократа, а во-вторых, потому, что кровати состояли из голых досок, притом очень жестких, а Эллада заключала в себе много тысяч крошечных обитателей, которые хотели попировать нами.

На рассвете мы выехали из деревни. Мать сидела в экипаже, в котором находились наши четыре чемодана, а мы эскортировали ее, успев нарезать палок из лаврового дерева. Вся деревня сопровождала нас добрую часть пути. Мы проехали по древней дороге, которую две тысячи лет назад протоптал Филипп Македонский со своей армией.

* * *

К вечеру мы подъехали к древнему городу Стратосу, построенному на трех холмах. Мы впервые очутились среди греческих развалин. Вид дорических колонн поверг нас в экстаз.

На следующее утро мы спустились в дилижансе к Миссолунгам, где воздали должное Байрону, погребенному под останками этого героического города, почва которого пропитана кровью мучеников.

Город все еще целиком сохранял трагическую атмосферу знаменитой картины Делакруа «Вылазка из Миссолунгов», когда почти все жители — мужчины, женщины и дети — были перебиты при своей отчаянной попытке прорвать турецкие позиции. Байрон умер в Мис-

солунгах в апреле 1824 года. Два года спустя, тоже в апреле, почти в день смерти Байрона, эти мученики присоединились в царстве теней к нему, горевшему желанием всем пожертвовать ради их освобождения. Существует ли что-нибудь более трогательное, чем смерть Байрона в храбром городе Миссолунги? Его сердце погребено там рядом с сердцами мучеников, которые погибли для того, чтобы мир вновь мог убедиться в бессмертной красоте Эллады. Ибо всякое мученичество поистине плодотворно.

С тяжелым сердцем покинули мы Миссолунги, наблюдая, как в угасающем свете город убежал от маленького парохода, направлявшегося в Патрас.

Прибыв в Патрас, мы не могли решить — ехать нам в Олимпию или в Афины, но великое, страстное нетерпение поскорее увидеть Парфенон наконец восторжествовало, и мы сели в поезд на Афины. Поезд мчался через сверкающую Элладу. На минуту мы мельком увидели Олимп со снежной вершиной. Наш восторг не знал пределов. На маленьких станциях нас с удивлением разглядывали крестьяне. Они, вероятно, считали, что мы пьяны или помешаны.

В тот же вечер мы прибыли в Афины. Утренняя заря застала нас поднимающимися по ступеням храмов. Когда мы всходили по ним, мне показалось, что вся моя жизнь до этой минуты спала, подобно тому как спадает шутовской наряд.

Мы перешагнули последнюю ступеньку Пропилеев и увидели храм, сиявший в утреннем свете. Мы хранили молчание, ибо пред нами возникла красота, святая и бесценная. Красота эта вселила странное смятение в наши сердца. В течение нескольких часов мы пребывали в созерцании.

Когда мы разглядывали Парфенон, нам казалось, что мы достигли вершины совершенства. Мы спрашивали себя, зачем нам покидать Грецию, если мы нашли в Афинах все, что удовлетворяет наше эстетическое чувство. Может показаться удивительным, что после выпавшего мне публичного успеха и пламенной интермедии в Будапеште я не чувствовала никакого влечения вернуться обратно ни к тому, ни к другому. Истина заключается в том, что, пускаясь в это паломничество, я не жаждала ни славы, ни денег.

Итак, мы решили, что семья Дункан должна остаться навеки в Афинах и выстроить здесь храм, который подходил бы нашему характеру.

После моих берлинских концертов в банке хранилась некоторая сумма, казавшаяся мне неистощимой. Мы принялись за поиски подходящего для нашего дома места. Единственно, кто остался не совсем доволен, был Августин. Он долго не решался высказаться, но наконец признался, что чувствует себя очень одиноким без жены и ребенка. Мы приняли его слова как проявление большого малодушия, но, поскольку он уже был женат и имел ребенка, признали, что нам ничего не остается делать, как послать за ними.

Его жена приехала с маленькой девочкой. Она была одета по моде и носила ботинки на французских каблучках. Мы косо глядели на ее каблучки, так как надели сандалии, чтобы не осквернять белого мраморного пола Парфенона. Но она энергично возражала против ношения сандалий. Мы же еще раньше решили, что даже мои платья времен Директории и короткие штаны, отложные воротники и развевающиеся галстуки Реймонда являются признаками нашего вырождения и мы должны вернуться к тунике античных греков, что мы и сделали к вящему изумлению современных греков.

Обзаведясь туникой, хламидой и пеплумом ¹ и надев на волосы повязку, мы приступили к поискам места для нашего храма. Мы исследовали Колонос, Фалерон и все долины Аттики, но не могли найти ничего, что оказалось бы достойным нашего дома. Наконец однажды, когда мы пересекали какое-то возвышение почвы, Реймонд внезапно положил свою палку на землю и воскликнул:

— Взгляни, мы находимся на одном уровне с Акрополем.

И действительно, поглядев на запад, мы увидели храм Афины в поразительной от нас близости, хотя на самом деле находились от него на расстоянии четырех километров.

Но с местом возникли затруднения. Прежде всего никто не знал, кому принадлежит земля. Место было расположено очень далеко от Афин и посещалось лишь пастухами. Мы потеряли много времени, прежде чем выяснили, что земля принадлежит пяти семьям крестьян, владеющим ею свыше ста лет. После долгих поисков мы нашли старшин этих пяти семейств и спросили их, не продадут ли они землю. Это вызвало большое удивление

¹ *Хламида* — у древних греков плащ из плотной шерстяной материи. *Пеплум* (*пеплос*) — в Древней Греции и Древнем Риме женская верхняя одежда из легкой ткани со складками, без рукавов. — *Прим. ред.*

у крестьян, ибо никто никогда не выказывал никакого интереса к этой земле. Она представляла собой каменистую почву, на которой рос лишь чертополох. Кроме того, нигде близ холма не было воды. До этого времени никто не полагал, что эта земля имеет какую-нибудь ценность. Теперь крестьяне, владевшие ею, собрались вместе и решили, что земля эта бесценна. Они запросили совершенно непомерную сумму. Тем не менее семья Дункан пришла к решению купить эту местность, и мы продолжали вести переговоры об этом с крестьянами. Мы пригласили пять семей на обед, состоявший из ягненка, зажаренного на вертеле, и прочих заманчивых съестных вещей. Мы также приготовили много раки — местного коньяку. Во время пиршества с помощью одного мелкого афинского адвоката мы подсунули купчую, на которой крестьяне, не умея писать, поставили кресты. Хотя мы и заплатили за землю дороговато, считали, что наш обед увенчался большим успехом. Бесплодный пригорок, находившийся на одном уровне с Акрополем и известный с древних времен под названием Копаноса, отныне принадлежал семейству Дункан.

Следующим шагом было раздобыть бумагу и чертежные принадлежности, составить план дома. Реймонд отыскал точную модель того, к чему мы стремились в плане дворца Агамемнона. Он пренебрег помощью архитекторов и сам нанял рабочих и перевозчиков камня. Мы решили, что единственным камнем, достойным нашего дома, является камень добытый на горе Пентелик, из сверкающих склонов которой были вытесаны великолепные колонны Парфенона.

Наконец наступил знаменательный день, когда должен быть заложен первый камень нашего дома. Мы чувствовали, что это великое событие должно быть соответственно отпраздновано достойной церемонией. Никто из нас не имел религиозного склада мыслей, все мы совершенно освободились от него. Все же мы сочли более красивым и подходящим, чтобы первый камень был заложен по греческому обычаю с церемонией, которую проведет греческий священник. Мы пригласили принять в ней участие все крестьянство округа. Явился старый священник в черной рясе и в черной шляпе, с черным покрывалом, развевающимся у ее широкой тульи. Священник попросил у нас черного петуха, чтобы принести его в жертву. Этот обряд существовал во времена храма Аполлона и сохранился благодаря византийским священ-

никам. С некоторым трудом мы нашли черного петуха и преподнесли его священнику, вооружившемуся жертвенным ножом. Тем временем со всех концов округа прибыли толпы крестьян. Вдобавок из Афин явилось несколько аристократических лиц. К заходу солнца на Копаносе собралась огромная толпа.

Старый священник с впечатляющей торжественностью приступил к церемонии. Он попросил нас указать точную границу фундамента дома. Мы исполнили его просьбу, протанцевав вдоль нее по четырехугольнику, который Реймонд еще раньше начертил на земле. Затем священник отыскал ближайший к дому камень, и как раз в ту минуту, когда заходило огромное красное солнце, он перерезал горло черному петуху и его алая кровь брызнула струей на камень. Держа в одной руке нож, а в другой зарезанную птицу, священник торжественно прошелся три раза вокруг четырехугольника фасада. Затем последовали молитвы и заклинания. Священник благословил все камни дома, спросил наши имена и прочел молитву, в которой мы часто улавливали имена Айседоры Дункан (моей матери), Августина, Реймонда, Элизабет и младшей Айседоры (мое собственное). Многократно он увещевал нас жить благочестиво и мирно в этом доме. Он молился, чтобы наши потомки также жили благочестиво и мирно в этом доме. Когда он покончил с молитвой, появились музыканты со своими местными простейшими инструментами. Были вскрыты большие бочки вина и раки. На горе разожгли праздничный костер, он разбушевался и мы вместе с нашими соседями и крестьянами танцевали, пили и веселились всю ночь напролет.

Мы решили навсегда остаться в Греции. Мало того, мы поклялись, что никто из нас больше не вступит в брак. Состоящие уже в браке в нем останутся.

Мы приняли жену Августина с плохо скрытой сдержанностью. Но для нас самих мы выработали правила жизни на Копаносе. Было решено вставать с восходом солнца. Мы должны были приветствовать восходящее солнце песнями и танцами. Затем подкрепляться скромной чашей козьего молока. Утра посвящались обучению жителей танцам и пению. Их надо было заставить чувствовать греческих богов и отказаться от ужасных современных костюмов. Затем после легкого завтрака из сырых овощей, ибо решили отказаться от мяса и стать вегетарианцами, намевались мы проводить дни в раз-

мышлении, а вечера отдавать языческим церемониям под соответствующую музыку.

Постройка в Копаносе началась. Стены дворца Агамемнона имели в толщину около двух футов, следовательно, стены Копаноса тоже должны были иметь в толщину два фута. Лишь когда уже воздвигали стены, я сообразила, сколько же понадобится красного камня из Пентелика и сколько же будет стоять каждая телега! Несколько дней спустя мы решили расположиться на месте лагерем на ночь. И тут внезапно и явственно в наше сознание проникла мысль, что ведь на многие мили вокруг не достать ни единой капли воды. Мы взглянули на вершины Гиметта, и перед нашими глазами предстало множество источников и быстрых речек. Мы перевели взгляд на Пентикул, из вечных снегов которого по склону горы изливались водопады. Увы! Мы ясно поняли, что Копанос совершенно безводен и сух.

Но Реймонд, ничуть не уstraшившись, нанял новых рабочих и заставил их рыть артезианский колодец. Во время земляных работ Реймонд наткнулся на различные останки людей и настаивал на том, что на этих высотах находилась некогда античная деревня; но у меня имелись свои основания полагать, что тут было лишь кладбище, ибо, чем глубже становился артезианский колодец, тем почва становилась все суше и суше. Наконец, после нескольких недель бесплодных поисков воды на Копаносе, мы вернулись в Афины, чтобы спросить совета у пророческих духов, которые, как мы верили, населяли Акрополь. Мы запаслись специальным разрешением от города, благодаря чему могли отправляться туда в лунные вечера. У нас вошло в привычку сидеть в амфитеатре Диониса, где Августин декламировал отрывки из греческих трагедий, а мы часто танцевали.

Наша семья нас совершенно удовлетворяла. Мы совсем не смешивались с жителями Афин. Даже когда однажды услышали от крестьян, что греческий король выехал осмотреть наш храм, мы остались равнодушными. Ибо мы жили в царстве других королей: Агамемнона, Менелая и Приама!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Однажды, когда мы сидели лунным вечером в театре Диониса, мы услышали пронзительный детский голос, разносящийся в воздухе. Внезапно к нему присоединился

второй голос и третий. Они пели какие-то старинные местные греческие песни. Мы сидели очарованные. На следующий вечер концерт повторился. Мы раздали множество драхм, благодаря чему на третий вечер хор увеличился, и постепенно все афинские мальчишки создали себе сборное место, являясь в лунные вечера в театр Диониса, чтобы петь нам. В это время нас очень интересовала тема византийской музыки, исполняемой в греческой церкви. Мы посетили греческую церковь и послушали печальное песнопение в чудесном исполнении регента. Побывали в семинарии для молодых священников, расположенной близ Афин. Как и многие выдающиеся эллинисты, мы придерживались мнения, что гимны в честь Аполлона, Афродиты и других языческих богов, постепенно видоизменяясь, стали ритуалом греческой церкви.

Тогда у нас зародилась мысль воскресить подлинный греческий хор из этих греческих мальчиков. Каждый вечер мы проводили состязания в театре Диониса и давали призы тем, кто умел исполнять древнегреческие песни. Мы также завербовали на службу профессора византийской музыки — юного семинариста. Таким образом мы создали хор из десяти мальчиков, обладавших самыми красивыми голосами во всех Афинах.

Так, изучая Акрополь, строя Копанос и танцуя хоры Эсхила, мы целиком погрузились в нашу работу. За исключением случайных экскурсий в отдаленные деревни, мы ничего больше не хотели.

Каждая заря заставляла нас входящими на Пропилон. Мы приходили знакомиться с историей холма последовательно во все эпохи. Мы приносили с собой книги и исследовали историю каждого камня. Изучали все теории выдающихся археологов о происхождении и значении некоторых знаков и предзнаменований.

В Афинской библиотеке мы отыскиали в различных книгах, посвященных античной греческой музыке, гармонические гимны Зевсу — богу-отцу, громовержцу и защитнику. Мы жили в состоянии лихорадочного возбуждения. Наконец-то по прошествии двух тысяч лет мы могли преподнести миру эти утраченные сокровища.

Отель «Англетер», где мы остановились, великодушно предоставил в мое распоряжение большую залу, где я могла ежедневно работать. Я проводила целые часы, приспособляя к хору движения и жесты, внушенные ритмом греческой церковной музыки. Мы были так увлече-

ны, что нам никогда не приходило на ум обратить внимание на комическое смешение различных религий.

Афины находились в то время, как и обычно, в состоянии революции. На этот раз причиной революции являлось несходство мнений королевского дома и студентов о том, какое наречие греческого языка должно применяться на сцене — античное или современное. Толпы студентов дефилировали по улицам со знаменами в честь древнегреческого языка. В день нашего возвращения из Копаноса они окружили наш экипаж и, приветствуя одобрениями наши эллинские туники, попросили примкнуть к их демонстрации в честь античной Эллады, на что мы охотно согласились. Благодаря этой встрече студенты устроили мой концерт в Общественном театре. Десять греческих мальчиков и византийский семинарист, все наряженные в разноцветные развевающиеся туники, пели хоры Эсхила на древнегреческом языке, а я танцевала. Это вызвало у студентов неистовый восторг.

Король Георг, услышав про эту манифестацию, выразил желание, чтобы представление повторилось в королевском театре. Но представлению, данному в королевском театре перед королевской фамилией и всеми посольствами Афин, недоставало огня и энтузиазма, которые сопровождали его в народном театре перед студентами. Аплодисменты руками, затынутыми в белые перчатки, не воодушевляли. Когда король Георг пришел за кулисы в мою уборную и попросил посетить королеву в ее ложе, я все же сознавала, что, хотя они и вполне, казалось, мне рады, у них не было любви к моему искусству и понимания его.

Эти события совпали с тем, что я вдруг обнаружила, что нас счет в банке иссяк. Помню, как ночью после королевского представления в королевском театре я не могла заснуть и на рассвете отправилась совсем одна в Акрополь. Я вошла в театр Диониса и начала танцевать. Я чувствовала, что танцую здесь в последний раз. Затем я поднялась по Пропилеям и остановилась перед Парфеноном. И внезапно мне показалось, словно все наши мечты рассеялись, как прекрасная химера, и мы ничем не отличаемся, да никогда и не могли бы отличаться от современников. Нам несвойственны чувства древних греков. Храм Афины, перед которым я стояла, знал в иные времена иные краски. В конце концов, во мне лишь смешалась кровь шотландки, ирландки и американки, а может быть, я была ближе по своему родству

к краснокожим индейцам, чем к грекам. Прекрасная иллюзия, тянувшаяся весь год, проведенный в Элладе, внезапно, казалось, рухнула. Звуки византийской греческой музыки становились все слабее и слабее, и вместо них мой слух затопляли мощные аккорды смерти Изольды.

Спустя три дня, сопровождаемые огромной толпой энтузиастов и плачущих родителей десяти греческих мальчиков, мы сели в Афинах на поезд, идущий в Вену.

Итак, мы покинули Элладу и утром прибыли в Вену с нашим хором из греческих мальчиков и их византийским духовным профессором.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Наше желание воскресить греческое хоровое пение и античный трагический танец было безусловно старанием очень похвальным и в то же время совершенно невыполнимым. Но после финансовых успехов, достигнутых мною в Будапеште и Берлине, я не испытывала никакого желания совершить кругосветное турне и лишь истратила все заработанные мною деньги на постройку греческого храма и возвращение к жизни греческого хора. Оглядываясь сейчас назад, я вижу, что наши юношеские стремления были действительно любопытны.

Итак, однажды утром мы прибыли в Вену и преподнесли удивленной австрийской публике хоровое пение «Просителей» Эсхила в исполнении наших греческих мальчиков, под которое я танцевала.

Вена находится всего лишь в четырех часах пути от Будапешта, но, может быть, покажется необыкновенным то, что год, проведенный возле Парфенона, настолько разлучил меня с Будапештом, что я не находила ничего странного в том, что Ромео ни разу не совершил этой четырехчасовой поездки, чтобы повидаться со мной. В самом деле, я и не считала, что он должен был это сделать. Я была полностью увлечена греческим хором, и моя приверженность к нему поглощала всю мою энергию и эмоции. Говоря по правде, я никогда не вспоминала о Ромео. Напротив, всем моим существом овладела дружба, возникшая у меня в это время с человеком, который превыше всего был человеком интеллекта, — Германом Баром ¹.

¹ *Бар Герман* (1863—1934) — австрийский писатель, драматург и критик. — *Прим. ред.*

Герман Бар видел мои танцы два года назад, когда я выступала в венском Доме искусств перед артистами. После моего возвращения в Вену с хором из греческих мальчиков он очень заинтересовался мной. И написал чудесные рецензии в венской «Нойе прессе».

Герману Бару в то время было, вероятно, около тридцати лет. У него была великолепная голова с густыми темными волосами, и темная же борода. Несмотря на то, что он не раз приходил ко мне после представления в отель «Бристоль» и вел со мной беседы до рассвета и что я часто танцевала, чтобы иллюстрировать свои мысли, все же между нами не было ни малейшего намека на какое-либо чувство сентиментального либо эмоционального порядка. Вероятно, скептики поверят с трудом, однако это истинная правда, что после моего будапештского опыта все мои эмоциональные реакции претерпели такое изменение, что мне на самом деле в течение многих лет казалось, будто я покончила с этой фазой и отныне стану отдаваться лишь своему искусству. Вся моя жизнь сосредоточилась в моем искусстве.

В Вене мои выступления в театре Карла снова прошли с успехом. Зрители, встречавшие вначале довольно холодно хор «Просителей», воспринимали с истинным энтузиазмом «Голубой Дунай», который я танцевала в конце представления. После представления я произносила речь, разъясняя, что это отнюдь не то, чего я добивалась, а что мне хотелось бы выразить дух греческой трагедии. Мы должны воскресить красоту хора, заявляла я. Однако зрители разражались криками:

— Нет. Не нужно! Танцуйте! Протанцуйте прекрасный «Голубой Дунай». Протанцуйте еще раз!

И они принимались бесконечно аплодировать.

Итак, нагруженные новым запасом золота, мы покинули Вену и вновь посетили Мюнхен. Прибытие моего греческого хора в Мюнхен вызвало большое волнение в профессиональных и интеллектуальных кругах. Профессор Фуртвенглер прочел соответствующую лекцию о греческих гимнах.

Студенты университета пришли в крайнее возбуждение.

Берлин отнесся к нашему греческому хору с меньшим восторгом, и, несмотря на то что известный мюнхенский профессор Корнелиус приехал читать доклады о нем, берлинцы, подобно венцам, кричали:

— Протанцуйте прекрасный «Голубой Дунай» и бросьте воссоздавать греческие хоры!

Между тем маленькие греческие мальчики сами тяготились непривычной для них обстановкой. Ко мне поступило несколько жалоб от достойного владельца нашей гостиницы на их дурные манеры и необузданность нрава. Кажется, они беспрерывно требовали черного хлеба, черных спелых маслин и сырого лука, и если эти приправы не входили в их ежедневное меню, они приходили в ярость против официантов, доходя до того, что бросали им в голову бифштексы и нападали на них с ножами. После того как мальчиков выгнали из нескольких первоклассных отелей, я оказалась вынужденной оборудовать гостинные комнаты своего помещения в Берлине десятью койками и поместить их вместе с нами.

Все еще считая их детьми, мы обычно торжественно водили их на прогулку в Тиргартен обутыми в сандалии и выряженными, как античные греки. Элизабет и я возглавляли эту странную процессию. Однажды утром мы встретили супругу кайзера, ехавшую верхом. Она была так поражена и изумлена, что на первом же повороте упала с лошади, ибо прекрасный прусский конь тоже никогда не видывал ничего подобного и, испугавшись, шарахнулся в сторону.

Прелестные греческие дети оставались с нами лишь в течение шести месяцев. Мы не могли не заметить сами, что их небесные голоса становятся фальшивыми, и даже преклоняющаяся передо мной берлинская публика начала в смущении переговариваться. Я мужественно продолжала танцевать перед алтарем Зевса, но это становилось делать все трудней, в особенности когда греческие мальчики фальшивили более обычного, а их византийский профессор приходил все в большее беспокойство.

Кульминационная минута наступила, когда полицейские власти сообщили нам, что наши греческие мальчики тайком удирали ночью через окно, и в то время как мы полагали, что они мирно спят, они навещали дешевые кафе и заводили знакомства с подонками из среды своих соотечественников, живущих в городе.

Кроме того, с тех пор как они оказались в Берлине, они совсем утратили свое простодушное и небесное ребяческое выражение, которое было свойственно им на вечерах в театре Диониса, и каждый успел вырасти на полфута. Каждый вечер в театре хор «Просителей» фальшивил все сильнее. Нельзя было дольше извинять подобное пение под тем предлогом, что это византийская песня. Оно было просто ужасным, неприятным шумом.

Итак, однажды, после многих тревожных совещаний, мы пришли к решению повести весь наш греческий хор в универсальный магазин Вертгейма. Мы купили им всем изящные готовые штанишки для низкорослых мальчиков и длинные брюки для высоких, затем сели с ними в такси, поехали на вокзал и, посадив их всех в вагон второго класса и дав каждому билет до Афин, нежно попрощались с ними. После их отъезда мы отложили воскрешение античной греческой музыки до другого времени и вернулись к изучению «Ифигении и Орфея» Христора Глюка.

Еженедельные приемы в нашем доме на Викториа-штрассе стали центром артистического и литературного мира. Здесь происходили ученые дискуссии о танце как об изящном искусстве, ибо немцы каждую дискуссию об искусстве воспринимают самым серьезным образом и относятся к ней с глубочайшим вниманием. Мои танцы стали предметом ожесточенных, даже яростных споров. Во всех газетах постоянно появлялись целые столбцы, в которых меня иногда приветствовали как гения вновь открытого искусства, а иногда провозглашали разрушительницей подлинно классического танца, то есть балета. Вернувшись со спектаклей, где публика от восторга приходила в исступление, я просиживала с поставленным возле меня стаканом молока до глубокой ночи в своей белой тунике, изучая страницы Кантовой «Критики чистого разума», откуда Бог знает почему я рассчитывала почерпнуть вдохновение для выражения чистой красоты.

Среди артистов и писателей, навещавших наш дом, был молодой человек в очках с высоким лбом и пронзительными глазами, который решил, что на него возложена миссия открыть мне гений Ницше. Лишь при помощи Ницше, говорил он, придете вы к полному пониманию танца, которое ищете. Он приходил ко мне каждый день и читал мне по-немецки «Заратустру»¹, объясняя все те слова и фразы, которые мне оставались непонятными. Философия Ницше захватила меня, и те часы, которые каждый день мне посвящал Карл Федерн, таили в себе столько очарования, что лишь с величайшей неохотой я поддавалась убеждениям своего импресарио совершать

¹ Произведение Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Заратустра (иран.), Зороастр (греч.) (годы жизни предположительно между X и первой половиной VI в. до н. э.) — пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей название зороастризм. — *Прим. сост.*

хотя бы краткие турне в Гамбург, Ганновер, Лейпциг и другие города, где моего прибытия дожидались возбужденная, любознательная публика и много тысяч марок. У меня не было ни малейшего желания отправиться в триумфальное всемирное турне, о котором он мне часто говорил. Я хотела учиться, продолжать свои искания, создать танец и движения, еще не существовавшие; все сильнее мной овладевала мечта о собственной школе, преследовавшая меня в течение всего моего детства. Это стремление оставаться в своей студии и учиться повергло моего импресарио в полное отчаяние. Он беспрерывно бомбардировал меня просьбами пуститься в путь и постоянно приходил сокрушенный и сетующий, показывая мне газеты, в которых говорилось, что в Лондоне и других местах получали копии моих занавесов, костюмов и танцев, которые успешно выдавали за подлинные. Но даже это не оказывало на меня никакого действия. Его раздражение достигло предела, когда с приближением лета я объявила о своем намерении провести его в Байрёйте¹, чтобы пить наконец из подлинного источника музыку Рихарда Вагнера. Мое решение окончательно утвердилось, когда однажды меня посетила не кто, иной как сама вдова Рихарда Вагнера.

Я никогда не встречала женщины, которая бы произвела на меня большее впечатление, нежели Козима Вагнер, ее высокая, величественная фигура, прекрасные глаза и лоб, дышащие умом. Она говорила о моем искусстве в самых одобрительных и прекрасных выражениях, а затем рассказала мне об отращивании Вагнера к балетной школе танца и костюму, о его мечте о вакханалии и о невозможности согласовать с мечтой Вагнера исполнение берлинского балета, ангажированного на этот сезон в Байрёйт. Она спросила меня, не соглашусь ли я танцевать в «Тангейзере», однако тут встретилось одно затруднение. Мой идеал делал для меня невозможным иметь что-либо общее с балетом, каждое движение которого оскорбляло мое чувство прекрасного и изобразительные средства которого казались мне механическими и вульгарными.

— О, почему у меня нет школы, о которой я мечтаю! — воскликнула я в ответ на ее просьбу. — Тогда

¹ *Байрёйт* — город в северной Баварии, где по преимуществу протекала музыкальная жизнь Рихарда Вагнера и где им был построен Театр Вагнера.

я могла бы привезти с собой в Байрёйт тех нимф, фавнов, сатиров и граций, о которых мечтал Вагнер. Между тем одна что я смогу сделать?

Тем не менее я обещала приехать.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Я прибыла в Байрёйт в погожий майский день и сняла номер в отеле «Черный орел». Одна из комнат была достаточно большой для работы, и я поставила в ней пианино. Ежедневно я получала записки от фрау Козимы, приглашающей меня позавтракать или пообедать, или провести вечер на вилле Ванфрид, где всем оказывали щедрое гостеприимство. Каждый раз там собиралось по крайней мере пятнадцать человек.

Сидя во главе стола, фрау Козима исполняла роль хозяйки с достоинством и тактом. Среди ее гостей бывали величайшие умы Германии, артисты и музыканты, великие князья и княгини, особы из королевских семей разных стран.

Могила Рихарда Вагнера находится в саду виллы Ванфрид и видна из окон библиотеки. После завтрака фрау Вагнер брала меня под руку, и мы выходили в сад на прогулку вокруг могилы.

Вечером часто выступали квартеты, в которых на каждом инструменте играл какой-либо знаменитый виртуоз. Огромная фигура Ханса Рихтера ¹, легкий силуэт Карла Мука ², обаятельный Мотль ³, Гумпердинк ⁴ и Генрих Тоде ⁵ — все современные артисты встречали равно любезный прием на вилле Ванфрид.

Я очень гордилась, что меня, в моей короткой, белой тунике, принимает такое избранное общество выдающихся и блестящих людей. Я приступила к изучению «Тангейзера».

¹ *Рихтер Ханс* (1843—1916) — австрийский дирижер. Вошел в историю исполнительского искусства как один из лучших интерпретаторов произведений Р. Вагнера, И. Брамса. — *Прим. ред.*

² *Мук Карл* (1859—1940) — немецкий дирижер. Получил известность как разносторонний концертный и оперный дирижер, первоклассный исполнитель опер Р. Вагнера. — *Прим. ред.*

³ *Мотль Феликс* (1856—1911) — австрийский дирижер и композитор. Основу его репертуара составляли произведения Р. Вагнера. — *Прим. ред.*

⁴ *Гумпердинк Энгельберт* (1854—1921) — немецкий композитор. В 1914 г. подписал манифест германской интеллигенции, направленный против войны.

⁵ *Тоде Генрих* (1857—1920) — немецкий историк искусств.

С утра до вечера в красном кирпичном доме на холме я присутствовала на всех репетициях, ожидая первого представления «Тангейзера», «Кольца Нибелунгов» и «Парсифаля», пока не пришла в состояние постоянного опьянения музыкой. Чтобы лучше ее понимать, я выучила наизусть весь текст опер, пропитав свое сознание этими легендами. Я достигла того состояния, когда весь внешний мир кажется чужим, бестелесным и нереальным; единственной действительностью для меня было то, что происходило в театре.

Действительно, я успела позабыть мудрую голубоглазую Афины и ее храм совершенной красоты на Афинском холме. Другой храм, на Байрёйтском холме, целиком сгладил воспоминания о храме Афины.

Отель «Черный орел» был переполнен и неудобен. Однажды, блуждая по садам Эрмитажа, построенного помещанным Людовиком Баварским, я наткнулась на ветхий каменный домик изысканной архитектуры. Прежде он был охотничьим домиком маркграфа. Он вмещал в себя очень большую и прекрасной планировки жилую комнату; ветхие мраморные ступени вели из нее вниз, в сад. Сад был в очень запущенном состоянии. Большая семья крестьян проживала тут уже около двадцати лет. Я предложила им большую сумму, чтобы они выехали, хотя бы на лето. Затем я привела маляров и плотников, велела им оштукатурить и выкрасить нежной светло-зеленой краской все внутренние стены и, помчавшись в Берлин, заказала там диваны, подушки, глубокие плетеные из ивы кресла и книги. И вот я оказалась обладательницей тихого пристанища.

В Байрёйте я была одна. Мать и Элизабет проводили лето в Швейцарии. Реймонд вернулся в свои возлюбленные Афины, чтобы продолжать постройку Копаноса. Он часто присылал мне телеграммы, гласившие: «Дело с артезианским колодцем движется. Обещают воду на следующей неделе. Шли денег». Так продолжалось до тех пор, пока сумма расходов на Копанос не возросла до размеров, которые меня потрясли.

В течение двух лет, прошедших после Будапешта, я жила целомудренно, вернувшись странным образом к тому состоянию, в котором находилась, когда была девственницей. Каждый атом моего существа, мозга и тела был поглощен энтузиазмом. Раньше я восхищалась Грецией, теперь — Рихардом Вагнером. Мой сон был легкий, и я просыпалась, напевая мотивы, заученные нака-

нуне вечером. Но любовь вновь проснулась во мне, хотя и совсем в ином виде.

Моя подруга Мэри и я жили в домике одни, так как в нем не было помещения для прислуги, а повар и слуги жили в небольшом отеле поблизости. Как-то вечером Мэри позвала меня:

— Айседора, я не хочу тебя пугать, но подойди к окну. Там, напротив, под деревом, каждую ночь после полуночи какой-то мужчина следит за нашими окнами. Боюсь, что это вор.

Действительно, невысокий сухощавый мужчина стоял под деревом и глядел на мое окно. Я задрожала от страха, но внезапно выглянула луна и осветила его лицо. Мэри обхватила меня руками. Мы обе узнали лицо Генриха Тоде. Мы отступили от окна. Признаюсь, нами овладел припадок типично ребяческой смешливости — может быть, как реакция после первоначального страха.

— Целую неделю он ежевечерне стоял тут, как сейчас,— прошептала Мэри.

Я велела Мэри подождать. Надев пальто поверх ночной рубашки, я бесшумно выбежала из дому прямо к тому месту, где стоял Генрих Тоде.

— Мой дорогой, верный друг,— сказала я,— неужели ты меня так любишь?

— Да, да,— запинаясь пробормотал он.— «Ты моя мечта. Ты моя святая Клара.»

Я тогда не знала, но, как Тоде мне сказал впоследствии, он в это время писал свою вторую большую работу — о жизни святого Франциска. Первой была «Жизнь Микеланджело». Как и все замечательные деятели искусств, Тоде в своем изображении часто представлял себя героем создаваемого произведения. В тот момент он воображал себя святым Франциском, а я была святой Кларой.

Я взяла его за руку и тихо повела по лестнице в виллу.

Внезапно Тоде наклонился и стал целовать меня в глаза, в лоб, но в его поцелуях не было ничего от земной страсти. Скептикам будет трудно поверить, но, однако, это правда, что ни этой ночью, когда мы расстались лишь на рассвете, ни в одну из следующих, когда Тоде приходил на виллу, он не сделал ни единого жеста грубого насилия.

Каждую ночь Тоде приходил в охотничий домик. Он никогда не ласкал меня как любовник, никогда не пытался даже расстегнуть мою тунику или коснуться груди

и тела, хотя и знал, что каждое биение моего пульса принадлежало только ему. Чувства, о существовании которых я прежде не знала, пробуждались под его взглядом. Он настолько завладел моим сердцем, что, казалось, только и можно было смотреть ему в глаза и желать себе смерти. Ибо тут не было удовлетворения или отдыха, какие бывают в земной любви, а лишь лихорадочная жажда момента, который мне требовался.

Я совсем потеряла аппетит и даже сон. И только музыка «Парсифаля» доводила меня до состояния, когда я начинала заливаться слезами, и это как будто приносило некоторое облегчение от утонченной и ужасной любви, охватившей меня.

Блеск тех часов, когда Тоде беседовал со мной об искусстве, я могу сравнить лишь с блеском бесед с одним человеком в мире, с Габриелле Д'Аннунцио¹. Тоде кое в чем походил на Габриелле Д'Аннунцио. Он был небольшого роста, с широким ртом и странными, зелеными глазами. По-видимому, именно в это время у фрау Козимы появилась мысль о том, чтобы я вышла замуж за Зигфрида и продолжила вместе с ним традицию Маэстро. Но хотя Зигфрид и смотрел на меня с братской симпатией и всегда дружил со мной, в его отношении ко мне не было и тени намека на любовь. Что касается меня, все мое существо было поглощено сверхчеловеческой любовью к Генриху Тоде, и я тогда не сознавала, какая могла быть для меня польза от такого брака.

Моя душа была полем битвы, где оспаривали победу Аполлон, Дионис, Христос, Ницше и Рихард Вагнер. В Байрёйте во мне боролись Венера и чаша Грааля². Меня подхватили и увлекли за собой потоки музыки Вагнера, тем не менее как-то за ланчем на вилле Ванфрид я спокойно заявила: «Маэстро совершил ошибку, такую же большую, как и его гений».

Фрау Козима уставилась на меня испуганным взглядом. Наступило ледяное молчание.

«Да,— продолжала я с чрезвычайной уверенностью, свойственной крайней молодости,— великий Маэстро совершил большую ошибку. Музыкальная драма — это бессмыслица». Молчание становилось все более тягостным. Я объяснила, что драма — это произносимое слово,

¹ Д'Аннунцио Габриелле (1863—1938) — итальянский писатель и политический деятель.— *Прим. ред.*

² В средневековых легендах чаша Грааля — чаша с кровью Христа.— *Прим. ред.*

которое рождается в мозгу человека, а музыка — лирический экстаз. Ожидать союза между ними немислимо.

Мои слова были пределом кощунства. Обедя невинным взглядом сидевших за столом, я встретила на лицах выражение полнейшего оцепенения. «Да-да,— продолжала я свою мысль,— человек сначала должен говорить, потом петь, потом танцевать. Говорит мозг, думающий человек. Пение — это чувство, а танец — исступленный восторг, все увлекающий за собой. Одно невозможно совместить с другим. Музыкальной драмы быть не может».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В бытность мою в Лондоне я прочитала в Британском музее произведения Эрнста Геккеля в английском переводе. На меня произвело глубокое впечатление прозрачная и ясная изобразительная его манера. Я написала ему письмо с изъявлением благодарности за впечатление, вынесенное мною от его книг. В этом письме, должно быть, содержалось нечто, что привлекло его внимание, ибо впоследствии, когда я танцевала в Берлине, он прислал мне ответ.

Эрнст Геккель за свои откровенные речи в то время был сослан кайзером и не мог приехать в Берлин, но наша переписка продолжалась, и когда я жила в Байрёйте, я написала ему письмо с просьбой навестить меня и присутствовать на премьере.

В одно дождливое утро я наняла парную открытую карету, ибо в те дни не было автомобилей, и поехала на вокзал встречать Эрнста Геккеля. Великий человек сошел с поезда. Несмотря на то что ему было свыше шестидесяти лет, он обладал великолепной атлетической фигурой. Его борода и волосы были седыми. На нем был странный, мешковатый костюм, а в руках он держал саквояж. Мы никогда раньше не встречались, но мгновенно узнали друг друга. Он сразу же обнял меня своими большими руками, и мое лицо зарылось в его бороде. Все его существо распространяло прекрасный аромат здоровья, силы и ума, если только можно говорить об аромате ума.

Он отправился со мной в охотничий домик, где мы заранее приготовили для него комнату, убрав ее цветами. Затем я кинулась в виллу Ванфрид, чтобы сообщить фрау Козиме приятную весть о приезде ко мне в гости Эрнста Геккеля, который придет слушать «Парсифаля». К моему

удивлению, эта новость была встречена в высшей степени холодно. Я не соображала, что распятие над постелью фрау Козимы и четки, висящие на ночном столике, являлись не только украшениями. В самом деле, она была католичкой, посещающей церковь и верующей. Человек, написавший «Историю Вселенной» и являвшийся величайшим иконоборцем со времен Чарлза Дарвина, теории которого он поддерживал, не мог встретить теплого приема на вилле Ванфрид. С простодушием и прямолинейностью я распространялась о величии Геккеля и моем преклонении перед ним. Фрау Козима с неохотой предоставила мне для него желанное место в вагнеровской ложе. Я была очень близким ее другом, и она не могла мне отказать.

В тот день я прогуливалась в антракте перед изумленными зрителями в своей греческой тунике, босиком, с обнаженными до колен ногами, рука об руку с Эрнстом Геккелем, седая голова которого возвышалась над толпой.

Геккель оставался вполне спокойным во время представления «Парсифаля». До самого третьего акта я не понимала, что все эти мистические страсти не доходят до него. Его ум был научного склада и не поддавался очарованию легенд.

Так как он не получил приглашения на обед или на чествование на вилле Ванфрид, я решила устроить праздник в честь Эрнста Геккеля. Пригласила изумительное собрание людей, начиная от болгарского короля Фердинанда¹, посетившего в то время Байрёйт, и принцессы Саксен-Мейнингенской, сестры кайзера, и кончая княгиней Анри Рейсс, Гумпердинком, Генрихом Тоде и другими.

Я произнесла речь, восхваляя величие Геккеля, а затем протанцевала в его честь. Геккель сделал замечания о моем танце, уподобляя его остальным универсальным истинам природы, и сказал, что он является выражением монизма, происходя от одного источника с ним и эволюционируя в одном направлении. Затем пел фон Барри, знаменитый тенор. Мы поужинали. Геккель вел себя с мальчишеской живостью. Мы пировали, пили и пели до утра.

Несмотря на это, Геккель на следующий день, как и каждое утро в течение своего пребывания в Байрёйте, встал с восходом солнца. Он обычно заходил ко мне в комнату и приглашал на прогулку с ним к вершине

¹ Фердинанд I Корбургский (1861—1948) — с 1887 г. князь, в 1908—1918 царь Болгарии, из немецкого княжеского рода.— *Прим. ред.*

горы, к чему, признаюсь, я не питала особой охоты. Но эти прогулки были чудесны. Геккель сопровождал комментариями каждый встречный камень, каждое дерево, каждый геологический пласт земли.

Наконец, добравшись до вершины, он застыл на ней, словно полубог, одобрительно осматривающий творения природы. На спине он носил мольберт и ящик с красками и сделал множество набросков с высокоствольных деревьев и каменных наслоений гор. Хотя он был прекрасным художником, его творчеству, естественно, недоставало воображения артиста. Я не хочу сказать, что Эрнст Геккель не умел ценить искусство, но для него оно являлось просто проявлением естественной эволюции. Когда я по обыкновению рассказывала ему о нашем восторге перед Парфеноном, его больше интересовало качество мрамора, из какого пласта и с какого склона горы Пентикул он был добыт, нежели мое восхваление творений Фидия¹.

На вилле Ванфрид я встретила нескольких молодых офицеров, которые пригласили меня совершать с ними по утрам прогулки верхом. Я садилась в седло в своей греческой тунике и сандалиях с обнаженными ногами, мои кудри развевались на ветру. Так как охотничий домик стоял на некотором расстоянии от Вагнеровского театра, я купила лошадь у одного из офицеров. Это была офицерская лошадь, привыкшая к шпорам, и ею было очень трудно управлять. Очутившись наедине со мной, она выказывала различнейшие причуды. Между прочим, она останавливалась по дороге возле каждого кабака, где обычно пьянствовали офицеры, и стояла как вкопанная, отказываясь сдвинуться с места, пока товарищи ее прежнего владельца со смехом не выходили из кабака.

При первом представлении «Тангейзера» моя прозрачная туника, выявлявшая все части моего пляшущего тела, вызвала некоторую суматоху среди одетых в телесное трико танцовщиц, и в последнюю минуту даже бедная фрау Козима потеряла мужество. Она прислала мне с одной из своих дочерей длинную белую рубашку и попросила надеть ее под неплотный шарф, служивший мне костюмом. Но я была тверда как гранит. Я оденусь и буду танцевать только по-своему или совсем не стану танцевать.

¹ *Фидий* (начало V в. до н. э.— около 432—431 до н. э.) — древнегреческий скульптор.— *Прим. ред.*

— Вы увидите, что пройдет немного лет, как все ваши вакханки и цветочницы станут одеваться, как я сейчас.

Пророчество сбылось.

Но тогда возникло много ссор и горячих споров о моих красивых ногах, о том, достаточно ли нравственным является вид моей собственной кожи, или ее должно прикрывать жуткое шелковое трико цвета сомон. Множество раз я до хрипоты ратовала, доказывая, как пошло и неблагопристойно это трико цвета сомон и как прекрасно и целомудренно нагое человеческое тело, когда его воодушевляют прекрасные помыслы.

Лето прошло. Наступили последние дни. Тоде уехал в лекционное турне. У меня тоже началось турне по Германии. Я покинула Байрёйт, но унесла с собой в крови могущественный яд. Я успела услышать призыв вагнеровской музыки. Беспокойная скорбь, угрызения совести, печальное жертвоприношение, тема любви, призывающей смерть,— все отныне должно было навсегда изгладить видения дорических колонн, рассудительную мудрость Сократа.

Первая остановка моего турне произошла в Гейдельберге. Там я услышала, как Тоде читает лекцию своим студентам. Голосом, попеременно переходившим от мягкости к резкости, он беседовал с ними об искусстве. Внезапно в середине лекции он произнес мое имя и принялся рассказывать этим мальчикам о новой эстетической форме, принесенной в Европу одной американкой. Его похвала заставила меня задрожать от счастья и гордости. Вечером я танцевала перед студентами, и они устроили торжественное шествие по улицам, после которого я очутилась стоящей на ступеньках отеля рядом с Тоде, разделяя с ним этот триумф. Вся молодежь Гейдельберга преклонялась перед ним, как и я. Любая витрина магазина содержала его портрет, и любой магазин был полон грудami моей небольшой книжки «Танец будущего». Наши имена постоянно связывали вместе.

Фрау Тоде устроила в честь меня прием. Она была милая женщина, но слишком практичная, чтобы быть духовным товарищем Тоде. И действительно, к концу жизни он ее покинул.

У фрау Тоде один глаз был коричневый, а другой серый, что придавало ей выражение постоянного беспокойства. Впоследствии в знаменитом процессе возник фамильный спор о том, была она дочерью Рихарда Ваг-

нера или фон Бюлова ¹. Так или иначе, она была очень любезна со мной, и если и питала какую-либо ревность, то не показывала ее.

Всякая женщина, которая ревновала бы Тоде, обречла бы себя на жизнь мученицы, ибо все, как женщины, так и юноши, обожали его. Он являлся центром всякого общества. Хотя я провела с Генрихом много ночей, между нами не было физической близости. Тем не менее его общение со мной сделало все мое существо настолько чувствительным, что достаточно было одного прикосновения, иногда только взгляда, чтобы вызвать у меня острейшее удовольствие любви, имевшее такое же отношение к фактическому удовольствию, какое бывает, например, во сне. Думается, что такое состояние было слишком ненормальным, чтобы оно могло длиться долго, ибо я в конце концов совсем потеряла аппетит и была охвачена странной слабостью, отчего мое исполнение танцев становилось все менее выразительным.

Во время этого турне, которое я совершала одна в сопровождении служанки, я пришла в такое состояние, что мне постоянно слышался голос Генриха, зовущего меня в ночи, и на следующий день я неизменно получала письмо. Люди начали беспокоиться обо мне и обсуждать мою необъяснимую худобу. Я ничего не ела и всю ночь не могла заснуть. В таких случаях, совершенно впад в отчаяние, я вставала и в два часа ночи садилась на поезд. Проехав пол-Германии, я проводила часок с Тоде, а затем возвращалась и продолжала турне в еще более жестоких муках. Духовный транс, который он внушил мне в Байрёйте, постепенно уступил место обостренному состоянию неукротимого вожделения.

Вскоре директор принес мне контракт на поездку в Россию. Петербург находится всего лишь в двух днях пути от Берлина, но с момента переезда границы попадаешь точно бы в совершенно иной мир. Начиная отсюда, страна погружена в великие снежные равнины и громадные леса. Снег такой холодный — сияющие, безмерные пространства, — казалось, охладил мой раскаленный мозг.

Генрих! Генрих! Он остался позади, там, в Гейдельберге. А я была здесь, удаляясь от него все дальше в страну безграничной холодной белизны, нарушаемой

¹ *Бюлов Ханс фон* (1830—1894) — немецкий пианист, дирижер, композитор. Входил в круг приверженцев Р. Вагнера. — *Прим. ред.*

лишь жалкими избами, в замерзших окнах которых мерцал тусклый свет. Я еще слышала его голос, но он ослабевал.

В ту ночь мне в вагоне снилось, что я голой выпрыгнула из окна в снег, покатилась и замерзла в его ледяных объятиях. Интересно, что сказал бы д-р Фрейд¹ об этом сне?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Поезд, который вез меня в Петербург, вместо того чтобы прибыть согласно расписанию в четыре часа дня, был задержан снежными заносами и прибыл в четыре часа на следующее утро, с опозданием на двенадцать часов. На вокзале меня никто не встречал. Когда я слезла с поезда, термометр показывал десять градусов ниже нуля. Я никогда еще не испытывала такого холода. Закутанные в ватные армяки русские кучера хлопали себя по плечам руками в перчатках, чтобы заставить кровь течь быстрее в жилах. Я оставила свою горничную возле багажа и, наняв извозчика, велела вознице ехать в гостиницу «Европа». Направляясь в гостиницу, я была совсем одна в пасмурном русском рассвете, когда внезапно я увидела зрелище, равносильное по своему ужасу любому, созданному воображением Эдгара Аллана По.

Я увидела на некотором расстоянии от себя длинную процессию. Мрачную и печальную. Она приближалась. Один за другим шли нагруженные люди, согнувшись под своим грузом — гробами. Кучер замедлил шаг лошади, нагнулся и перекрестился. В неотчетливом рассвете я глядела, пораженная ужасом. Я спросила у него, что это такое. Несмотря на то что я не знала русского языка, ему удалось дать мне понять, что это были рабочие, расстрелянные накануне перед Зимним дворцом — в роковой день пятого января 1905 года² — за то, что, невооруженные, они, находясь в нищенском положении, пришли просить у царя помощи — хлеба для своих жен и детей. Я велела кучеру остановиться. Слезы струились у меня по лицу и замерзали на щеках, пока печальная бесконечная процессия проходила мимо. Но отчего же их хоронили на рассвете? Оттого, что среди белого дня похороны могли бы вызвать революцию. Слезы сжимали

¹ Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский невропатолог, психиатр и психолог, основоположник психоанализа.

² Дункан ошиблась, надо 9 января 1905 г.

мне горло. С беспредельным негодованием я смотрела на несчастных, убитых горем рабочих, которые несли своих замученных товарищей. Если бы поезд не опоздал на двенадцать часов, я бы никогда этого не увидела.

Если бы я никогда не увидела этого, вся моя дальнейшая жизнь сложилась бы иначе. Там, перед этой казавшейся бесконечной процессией, перед этой трагедией, я поклялась посвятить себя и свои силы служению народу и угнетенным. О, какими же незначительными и напрасными казались мне сейчас все мои личные желания и страдания! Как бесполезно мое искусство, если оно не могло ничем здесь помочь.

Наконец последние печальные фигуры прошли мимо. Кучер обернулся и с удивлением увидел мои слезы. С терпеливым вздохом он опять перекрестился и погнал лошадей к гостинице.

Я поднялась в свои пышные комнаты и, скользнув в постель, плакала, пока не уснула. Но жалости и ярости, пережитым мною на рассвете, в будущем предстояло принести плоды.

Комната в гостинице «Европа» была огромной, с высоким потолком. Окна были замазаны и никогда не отворялись. Воздух проходил через вентиляторы, вделанные высоко в стене. Я проснулась поздно. Пришел мой директор и принес цветы.

Спустя два дня я выступала перед верхами петербургского общества в зале Дворянского собрания. Как странно, должно быть, было этим любителям пышного балета, с его расточительными декорациями и обстановкой, видеть, как молодая девушка, одетая в тунику из паутинки, появляется и танцует перед простым голубым занавесом под музыку Шопена. И все же даже после первого танца раздалась буря аплодисментов. Моя душа, которая скорбела и страдала от трагических звуков прелюдий, моя душа, которая плакала от праведного гнева, вспоминая о мучениках погребальной процессии на рассвете, моя душа пробудила в этой богатой, развращенной аристократической публике отклик в виде одобрительных аплодисментов. Как странно!

На следующий день меня посетила маленькая дама, закутанная в соболя, с брильянтами, свисающими с ушей, и в жемчужном ожерелье вокруг шеи. К моему изумлению, она объявила, что она танцовщица Кшесинская¹.

¹ *Кшесинская Матильда (Мария) Феликсовна (1872—1971) — русская балерина. Обладала яркой артистической индивидуальностью. — Прим. ред.*

Она пришла приветствовать меня от имени русского балета и пригласить на торжественный спектакль в опере в тот же вечер. Я успела привыкнуть в Байрёйте встречать со стороны балета лишь холодность и вражду. Танцовщицы балета доходили до того, что рассыпали гвозди на моем ковре, о которые я ранила себе ноги. Эта перемена отношения ко мне была одновременно и лестной, и удивительной.

Вечером великолепная карета, нагретая и полная дорогих мехов, отвезла меня в оперу, где для меня была приготовлена ложа в первом ярусе, а в ней — цветы и конфеты. Я все еще носила свою короткую белую тунику и сандалии и, должно быть, выглядела очень странно среди этого собрания всех богачей и аристократии Петербурга.

Я враг балета, который считаю фальшивым и нелепым искусством, стоящим вне лона всех искусств. Но нельзя было не аплодировать волшебной фигуре Кшесинской, когда она порхала по сцене, скорее похожая на птицу, чем на человеческое существо.

В антракте я осмотрелась и увидела прекраснейших в мире женщин в дивных декольтированных платьях, обвешанных драгоценностями и сопровождаемых мужчинами в ослепительных мундирах. Все это выставленное напоказ пышное величие так трудно было понять в его контрасте с погребальной процессией на рассвете минувшего дня!

После спектакля я была приглашена на ужин во дворец Кшесинской и там встретила великого князя Михаила, который с удивлением слушал, как я рассказывала о своем плане танцевальной школы для детей из народа. Я должна была показаться крайне непонятной личностью, однако все принимали меня с самым ласковым радушием и щедрым гостеприимством.

Несколько дней спустя меня посетила прекрасная Павлова¹, и опять мне предоставили ложу, чтобы видеть Павлову в восхитительном балете «Жизель». Несмотря на то что движения этих танцев противоречили моему артистическому и человеческому чувству, я не могла удержаться от горячих аплодисментов Павловой.

За ужином в доме Павловой, который был скромнее дворца Кшесинской, я сидела между художниками Бакс-

¹ Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881—1931) — русская балерина, классическая танцовщица, утвердившая далеко за пределами России мировую славу русского балета.— *Прим. ред.*

том и Бенуа и впервые встретила Сергея Дягилева, с которым вступила в горячий спор об искусстве танца, противостоящего, с моей точки зрения, балету.

Вечером, за ужином, художник Бакст сделал небольшой эскиз с меня, который теперь помещен в его книге и изображает мою крайне серьезную физиономию с кудряшками, сентиментально свисающими на одну сторону. Любопытно, что Бакст, обладавший некоторыми способностями ясновидца, читал в тот вечер мою руку. Он нашел там два креста. «Вы добьетесь великой славы,— говорил он,— но потеряете двух существ, которых Вы любите больше всего на свете». В то время это предсказание являлось для меня загадкой.

После ужина, к удовольствию своих друзей, неутомимая Павлова танцевала опять. Хотя мы разошлись лишь в пять часов утра, она пригласила меня приехать в половине девятого в то же утро, если я пожелаю посмотреть, как она работает. Я приехала, опоздав на три часа (признаюсь, я была сильно утомлена), и застала ее стоящей в тюлевом платье и упражняющейся у станка, совершая сложнейшую гимнастику. Старый господин со скрипкой отмечал время и уговаривал Павлову стараться. Это был знаменитый балетмейстер Петипа ¹.

В течение трех часов я сидела в напряжении и замешательстве, наблюдая изумительную ловкость Павловой. Она казалась эластичной и сделанной из стали. Ее прекрасное лицо приняло суровое выражение мученицы. Ни разу она не остановилась ни на минуту. Вся суть этой тренировки, по-видимому, состоит в том, что она полностью отделяет гимнастические движения тела от рассудка. От этой строгой мускульной дисциплины рассудок, оставаясь безучастным, может лишь пострадать. Такой подход прямо противоположен всем теоретическим основам моей школы, согласно которым тело становится прозрачным и является средством выражения ума и души.

Когда пробило двенадцать часов, был приготовлен завтрак, но за столом Павлова сидела белая и бледная и почти не прикасалась к пище и вину. Признаюсь, я успела проголодаться и съела много пожарских котлет. Павлова отвезла меня обратно в гостиницу, а затем поехала в Императорский театр на одну из бесконечных

¹ *Петипа Мариус Иванович* (1822—1910) — русский балетмейстер и педагог.— *Прим. ред.*

репетиций. Очень утомленная, я бросилась в кровать и заснула крепким сном, благословляя свою звезду, что милостивая судьба не наградила меня карьерой балетной танцовщицы.

На следующий день я проснулась в восемь часов утра, чтобы посетить Императорскую балетную школу. Там я увидела всех маленьких учеников, стоящих рядами и проделывающих все свои мучительные упражнения. Они стояли в течение часа на носках, похожие на жертв жестокой и бесполезной инквизиции. Огромные пустые танцевальные залы, лишённые всякой красоты, с большим портретом царя на стене походили на комнату пыток. В тот момент я сильнее, чем когда-либо, почувствовала убеждение, что Императорская балетная школа враждебна природе и искусству.

После недельного пребывания в Петербурге я поехала в Москву. Публика там вначале не проявляла такого энтузиазма, как в Петербурге, но я приведу отзыв великого Станиславского.

«Приблизительно в этот период, в 1908 или 1909 году, не помню точно даты, мне посчастливилось узнать два больших таланта того времени, которые произвели на меня сильное впечатление: это были Айседора Дункан и Гордон Крэг ¹.

Я попал на концерт Дункан случайно, ничего дотоле не слышав о ней и не прочтя ни одного из объявлений, возвещавших о ее приезде в Москву. Поэтому меня удивило, что в числе немногочисленных зрителей был большой процент скульпторов с С. И. Мамоновым во главе, много артисток и артистов балета, завсегдатаев премьер и любителей всего необычного в театре. Первое появление Дункан не произвело особого впечатления. Непривычка видеть на эстраде почти обнаженное тело мешала разглядеть и понять самое искусство артистки. Первый, начальный номер ее танцев был встречен наполовину жидкими хлопками, наполовину брюзжанием и робкими попытками к свисту. Но после нескольких номеров танцев, из которых один был особенно убедителен, я уже не мог оставаться хладнокровным к протестам рядовой публики и стал демонстративно аплодировать. Когда насту-

¹ Крэг Эдуард Гордон (1872—1966) — английский режиссер, художник, теоретик театра. Отрицал значение драматурга и актера, провозглашал единовластие режиссера. «Однако... отрицание актрис и актеров,— писал Станиславский,— не мешало Крэгу приходить в восторг от малейшего намёка на подлинный артистический талант». — *Прим. ред.*

пил антракт, я, как новокрещенный энтузиаст знаменитой артистки, бросился к рампе, чтобы хлопать. К моей радости, я очутился почти рядом с С. И. Мамонтовым, который проделывал то же, что и я, а рядом с ним был известный художник, потом скульптор, писатель и т. д... Когда рядовые зрители увидели, что среди аплодирующих находились известные в Москве художники и артисты, произошло *сильное* смущение. Шиканье прекратилось, но рукоплескать пока тоже еще не решались. Лишь только публика поняла, что хлопать можно, что хлопать не стыдно, начались сначала громкие аплодисменты, потом вызовы, а в заключение — оvationy.

После первого вечера я уже не пропускал ни одного концерта Дункан. Потребность видеть ее часто диктовалась изнутри артистическим чувством, *близко* родственным ее искусству. Впоследствии, познакомившись с ее методом, так же как с идеями ее гениального друга Крэга, я понял, что в разных концах мира, в силу неведомых нам условий, разные люди, в разных областях, с разных сторон ищут в искусстве одних и тех же очередных, естественно нарождающихся творческих принципов. Встречаясь, они поражаются общностью и родством своих идей. Именно это и случилось при описываемой мною встрече: мы с полуслова понимали друг друга.

Я не имел случая познакомиться с Дункан при первом ее приезде. При последующих ее наездах в Москву она была у нас на спектакле и я должен был приветствовать ее как почетную гостью. Это приветствие стало общим, так как ко мне присоединилась вся труппа, которая успела оценить и полюбить ее как артистку.

Дункан не умела говорить о своем искусстве последовательно, логично, систематично. Большие мысли приходили к ней случайно, по поводу самых неожиданных обыденных фактов. Так, например, когда ее спросили, у кого она училась танцам, она ответила:

«У Терпсихоры. Я танцевала с того момента, как научилась стоять на ногах. И всю жизнь танцевала. Человек, все люди, весь свет должны танцевать, это всегда было и будет так. Напрасно только этому мешают и не хотят понять естественной потребности, данной нам самой природой. Et voilà tout» ¹, — закончила артистка на своем *неподражаемом* американско-французском языке.

В другой раз, рассказывая о только что закончившемся

¹ Вот и все (*фр.*).

концерте, во время которого приходившие в уборную посетители мешали ей готовиться к ганцам, она объясняла:

«Я не могу так танцевать. Прежде чем идти на сцену, я должна положить себе в душу какой-то мотор; он начнет внутри работать, и тогда сами ноги, и руки, и тело помимо моей воли будут двигаться. Но раз мне не дают времени положить в душу мотор, я не могу танцевать...»

В то время я как раз искал этого творческого мотора, который должен уметь класть в свою душу актер перед тем, как выходить на сцену. Понятно, что, разбираясь в этом вопросе, я наблюдал за Дункан во время спектаклей, репетиций и исканий — когда она от зарождающегося чувства сначала менялась в лице, а потом со сверкающими глазами переходила к выявлению того, что вскрылось в ее душе. Резюмируя все наши случайные разговоры об искусстве, сравнивая то, что говорила она, с тем, что делал я сам, я понял, что мы ищем одного и того же, но лишь в разных отраслях искусства.

Во время наших разговоров *об искусстве* Дункан постоянно упоминала имя Гордона Крэга, которого она считала гением и одним из самых больших людей в современном театре.

«Он принадлежит не только своему отечеству, а всему свету,— говорила она,— он должен быть там, где всего лучше проявится его талант, где будут наиболее подходящие для него условия работы и наиболее благотворная для него *общая* атмосфера. Его место в *вашем* Художественном театре»,— заключила она свою фразу.

Я знаю, что она много писала ему обо мне и о нашем театре, убеждая его приехать в Россию. Я со своей стороны уговаривал дирекцию нашего театра выписать великого режиссера, чтобы тем дать толчок нашему искусству и влить в него новые духовные дрожжи для брожения как раз в то время, когда удалось как будто немного сдвинуть театр с мертвой точки. Должен отдать справедливость товарищам, они рассуждали как настоящие артисты и, чтобы двинуть наше искусство вперед, пошли на большой расход. Гордону Крэгу была заказана постановка «Гамлета», причем он должен был работать и как художник, и как режиссер, так как действительно он был и тем, и другим, а в молодых годах служил в лондонском театре Ирвинга и в качестве актера и пользовался большим сценическим успехом»¹.

¹ Курсивом в цитате выделены добавления и неточности, допущенные Айседорой Дункан.

Насколько балет привел меня в ужас, настолько театр Станиславского наполнил меня энтузиазмом, я отправлялась туда каждый вечер, когда не была занята в концерте, и вся труппа встречала меня с величайшей любовью. Станиславский очень часто приходил повидаться со мной и полагал, что, основательно расспросив меня, он сможет претворить все мои танцы в новой танцевальной школе при своем театре. Но я заявила ему, что это может быть достигнуто, если занятия будут начаты с детьми. Кстати, при моем следующем посещении Москвы я видела нескольких молодых красивых девушек из его труппы, которые пытались танцевать, но результат оказался плачевным.

Будучи чрезвычайно занятым на репетициях в своем театре, Станиславский имел обыкновение часто приходиться ко мне после спектакля. В своей книге он говорит о наших беседах:

«Думаю, что я должен был надоесть Дункан своими расспросами».

Нет, он не надоел мне. Я горела желанием делиться своими идеями. Резкий снежный воздух, русская пища, особенно икра действительно совершенно исцелили мой изнурительный недуг, вызванный бесплотной любовью к Тоде. И сейчас все мое существо жаждало общения с сильной личностью. Когда Станиславский стоял передо мной, я видела ее в нем.

Как-то вечером я взглянула на его прекрасную, статную фигуру, широкие плечи, черные волосы, лишь на висках тронутые сединой, и что-то восстало во мне против того, что я всегда исполняю роль Эгерии¹. Так как он собирался уходить, я положила руки ему на плечи и, притянув его голову к своей, поцеловала его в губы. Он с нежностью вернул мне поцелуй. Но он принял крайне удивленный вид, словно этого он менее всего ожидал.

Когда я попыталась привлечь его ближе, он отпрянул и, недоуменно глядя на меня, воскликнул:

— Но что мы станем делать с ребенком?!

— С каким ребенком? — спросила я.

— Да, разумеется, с нашим ребенком! Что мы станем с ним делать? Видите ли, — глубокомысленно продолжал он, — я никогда не соглашусь, чтобы кто-либо из моих детей воспитывался вне моего надзора, а это оказалось

¹ Эгерия — мифическая героиня. После смерти своего супруга царя Нумы Помпилия превратилась в источник. Римляне чтили Эгерию как родоразрешительницу.

бы затруднительным при моем настоящем семейном положении.

Его необычайную серьезность при упоминании об этом ребенке пересилило мое чувство юмора, и я раз-разилась смехом. Он со скорбью посмотрел на меня, вышел из комнаты и быстро зашагал по коридору гостиной. А меня ночью не раз разбирал смех. Но хотя мне и было смешно, я была раздосадована и даже рассержена.

Много лет спустя я рассказала про этот случай со Станиславским его жене. Она очень развеселилась и воскликнула:

— О, но это на него так похоже! Ведь он относится к жизни очень серьезно.

Сколько я его ни атаковала, я добилась лишь нескольких нежных поцелуев, а в остальном встретила твердое и упорное сопротивление, которого нельзя было преодолеть. Станиславский больше не рисковал заходить ко мне после спектакля, но однажды он доставил мне большое удовольствие, повезя меня в открытых санях в загородный ресторан, где мы позавтракали в отдельном кабинете. Мы пили водку и шампанское, вели разговор об искусстве, и я окончательно убедилась, что только Цирцея¹ могла бы разрушить твердыню добродетели Станиславского.

Я часто слышала об ужасных опасностях, которые подстерегают молодых девушек, вступающих в театральную жизнь, но, как читатели видят по моей жизни до сих пор, со мной было как раз наоборот. В действительности я страдала от чрезмерного благоговения, уважения и преклонения, которые я вселяла в своих поклонников.

* * *

Во время кратковременного посещения Киева после Москвы толпа студентов собралась на городской площади перед театром и не давала мне проехать, пока я не пообещала дать концерт специально для студентов, так как цены на мои спектакли были слишком высокими для них. Когда я уезжала из театра, они все еще не расходились, демонстрируя свой протест против моего директора. Я встала в санях и обратилась к ним, сказав, что я очень горда и счастлива, если мое искусство поможет

¹ Цирцея — в древнегреческой мифологии волшебница, властительница острова Эя, обратившая в свиней спутников Одиссея, а его самого удерживавшая на острове в течение года; в переносном смысле — коварная обольстительница. — *Прим. ред.*

воодушевить интеллектуальную молодежь России, что нигде в мире студенты так не интересуются танцем, как в России.

Мое первое посещение России было прервано предыдущими ангажементами, призывающими меня обратно в Берлин. Перед отъездом я подписала контракт на возвращение весной в Россию. Несмотря на кратковременность своего посещения, у меня осталось сильное впечатление. Произошло много ссор за и против моих идеалов, а одна даже завершилась дуэлью между фанатиком-балетоманом и почитателем Дункан. И с этой поры русский балет начал вводить Шопена и Шумана и выступать в греческом платье. Некоторые балетные танцовщицы дошли даже до того, что стали снимать обувь и чулки.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Я вернулась в Берлин с решимостью, не откладывая дольше, немедленно открыть свою школу, о которой давно мечтала. Я поверила свои планы матери, Элизабет, которые встретили их с одинаковым энтузиазмом. Мы безотлагательно принялись искать помещение для будущей школы, с поспешностью, отмечавшей все, что мы делали. В течение недели мы нашли виллу на Трауденштрассе в Грюневальде, постройка которой заканчивалась, и купили ее.

Мы действовали, точно в сказках Гримма. Отправившись в универсальный магазин Вертгейма, мы купили сорок кроваток. У каждой был белый кисейный полог, подобранный голубыми лентами. Мы принялись превращать нашу виллу в подлинный рай для детей. В центральном зале поставили копию героической фигуры Амазонки вдвое больше натуральной величины. В большом танцевальном зале — рельефы Луки делла Роббиа¹ и пляшущих детей Донателло². В спальне — большие голубые и белые куклы. Мадонна с младенцем, одетым также в голубое и белое, с инкрустациями в виде гирлянд фруктов работы Луки делла Роббиа. Я разместила также

¹ *Роббиа Лука делла* (1399—1482) — итальянский скульптор эпохи Возрождения.

² *Донателло* (настоящее имя *Дonato ди Николло ди Бетто Барди*) (1386—1466) — итальянский скульптор раннего Возрождения. Дункан имеет в виду рельефы с фигурами весело пляшущих детей для певческой трибуны флорентийского собора.— *Прим. ред.*

в своей школе изображения танцующих, бегающих, прыгающих молодых девушек Спарты, которых в гимназиях тренировали суровыми упражнениями, чтобы они могли стать матерями героических воинов — быстроногих бегунов, выигрывавших ежегодные призы. Это были изящные фигуры из терракоты с развевающимися покрывалами и одеждой.

Они воплощали будущий идеал, которого надлежало достигнуть. Ученики моей школы, научившись чувствовать любовь к этим образам, с каждым днем станут все же больше походить на них и с каждым днем постепенно пропитаются тайной этой гармонии, ибо я восторженно верила, что, только пробудив волю к красоте, можно ее достигнуть.

Чтобы воплотить ту гармонию, к которой я стремилась, ученикам моим надлежало также каждый день совершать определенные, специально отобранные упражнения. Но, дабы они выполняли их радостно и охотно, эти упражнения, как я понимала, должны были совпадать с собственными желаниями учеников. Каждое упражнение должно было быть не только средством для достижения цели, но и самоцелью, и эта самоцель делала бы каждый день жизни полным и счастливым.

Гимнастика должна являться основой всего физического воспитания; телу надо предоставлять много воздуха и света; необходимо методически направлять его развитие. Необходимо вызывать все жизненные силы тела к наиболее полному развитию. Таков долг профессора гимнастики; затем наступает очередь танца. В тело, гармонически развитое и доведенное до высшей своей силы, проникает дух танца. Для гимнаста движение и культура тела являются самоцелью, но для танца они служат лишь средством. Само тело должно быть забыто — оно представляет собой лишь инструмент, гармонизированный и приспособленный, и его движения не выражают, как в гимнастике, лишь движения тела, но пользуясь телом, выражают также чувства и помыслы человека.

Упражнения начинаются простой гимнастической подготовкой, развивающей в мышцах гибкость и силу. Лишь после этих гимнастических упражнений приходят первые шаги танца. Первые шаги заключаются в том, чтобы научить простой ритмической ходьбе или маршу, медленно подвигаясь под простой ритм, затем ходьбе или маршу побыстрее под ритмы более сложные, затем бегу, сперва медленному, и, наконец, медленным

прыжкам в определенный момент ритма. Такими упражнениями выучивают ноты звуковой гаммы, а мои ученики выучили бы и ноты гаммы движения. Эти ноты, следовательно, могут служить движущей силой для разнообразнейших положений тела. Упражнения, кроме того, являлись лишь частью занятий моих учеников. Дети были всегда одеты в свободные и изящные туники во время своих игр на площадке и на прогулках в лесу. Они непринужденно прыгали и бегали, привыкая изъясняться движениями так же легко, как остальные изъясняются речью или песней.

Их занятия и наблюдения не должны были замыкаться в ложных формах искусства. Необходимо было прежде всего исходить из движений в природе. Движения гонимых ветром облаков, качающихся деревьев, полет птицы и колыхание листьев — все должно было иметь для моих учеников первостепенное значение. Они должны были научиться замечать особенности, свойственные каждому движению. Все части их гибкого, тренированного тела откликались бы на мелодии природы и пели вместе с нею.

Чтобы набрать детей для нашей школы, мы объявили в главных газетах, что школа Айседоры Дункан открыта для приема талантливых детей, с тем чтобы они стали последователями того искусства, которому А. Дункан надеется обучить тысячи детей из народа. Конечно, внезапное открытие этой школы без соответствующего предварительного обсуждения и без капитала являлось в высшей степени опрометчивым начинанием, которое повергло моего директора в тревогу. Он беспрерывно замыслил для меня всемирное турне, а я упорно настаивала сперва на том, чтобы провести год в Греции, который он называл потерянным временем, а сейчас на полном прекращении своей карьеры ради приема и обучения детей тому, что он считал совершенно бесполезным. Но это находилось в полном соответствии со всеми нашими начинаниями, в высшей степени непрактичными, несвоевременными и импульсивными.

Из Копаноса Реймонд присылал нам все более тревожные вести. Стоимость колодца все увеличивалась. С каждой неделей надежды на появление в нем воды ослабевали. Расходы на сам дворец Агамемнона возросли до таких ужасающих размеров, что я наконец была вынуждена от него отказаться. Копанос остался навсегда красивыми развалинами на холме, и с тех пор греческие

революционеры пользуются ими, как крепостью. Он и сейчас стоит там, быть может, в чайнии лучших времен.

Я решила, что должна сосредоточить все свои средства на учреждение школы для молодежи всего мира, и избрала Германию, которая являлась, как я тогда полагала, центром философии и культуры.

На объявление отозвалось множество детей. Помнится, однажды, возвращаясь с утреннего концерта, я увидела, что улицу осаждают родители со своим потомством. Немецкий кучер обернулся ко мне и сказал:

— Одна сумасшедшая дама, которая живет в том доме, дала объявление в газете, что она охотно принимает к себе детей.

Я была этой «сумасшедшей дамой». До сих пор точно не знаю, как мы отобрали детей. Я так жаждала заполнить Грюневальд и сорок кроваток, что брала детей без разбора, просто за приятную улыбку и красивые глаза. Я не задавалась вопросом, способны они или нет стать будущими танцовщицами.

Так, например, однажды в Гамбурге в мою гостиную в отеле вошел мужчина в высокой шляпе и сюртуке, держа в руках узел, завернутый в шаль. Он положил узел на стол, и я, развернув его, увидела два больших внимательных глаза, глядящих на меня, — девочку приблизительно четырех лет, самого молчаливого ребенка, какого я когда-либо встречала. Она не издала ни единого звука, не произнесла ни одного слова. Сам господин, казалось, очень спешил. Он спросил меня, возьму ли я ребенка, и едва дождался ответа. Переведя взгляд с лица ребенка на его лицо, я уловила в них большое сходство, которое могло объяснить его поспешность и желание сохранить тайну.

Со свойственной мне непредусмотрительностью, я согласилась принять девочку на содержание, после чего он исчез и я никогда его больше не видела.

В поезде из Гамбурга в Берлин я обнаружила, что у девочки была сильная лихорадка — тяжелый случай воспаления миндалевидных желез. В Грюневальде в продолжение трех последующих недель мы отвоевывали ее у смерти с помощью двух сиделок и великолепного доктора Гоффы, знаменитого хирурга, который был полон такого восторга перед идеей моей школы, что оказывал свои услуги бесплатно.

Доктор Гоффа часто говорил мне:

— Это не школа. Это больница. Все эти дети несут

в себе наследственную заразу. Вы увидите, что Вам придется проявить максимальную заботу, чтобы сохранить их в живых, и уж тем более обучить их танцам.

Доктор Гоффа был величайшим благодетелем человечества. Знаменитый хирург, которому платили за его услуги баснословные деньги, он целиком тратил свое состояние на больницу для бедных детей, которую содержал на собственный счет. Со дня возникновения моей школы он сделался нашим врачом и хирургом. Без его неусыпной помощи я в действительности никогда не могла бы привести всех детей в то отличное состояние здоровья и гармонии, которого они впоследствии достигли. Он был высокий, дородный и привлекательный мужчина, с красными щеками и такой дружеской улыбкой, что все дети любили его не меньше, чем я. Отбор детей, организация школы, начало уроков и распорядок жизни учеников отнимали все наше время. Несмотря на предостережения моего директора, утверждавшего, что удачные подражатели моего творчества в танце составили целые состояния в Лондоне и повсюду, ничто не заставило бы меня уехать из Берлина. Ежедневно с пяти до семи я учила детей танцевать.

Дети показывали феноменальные успехи, и я полагаю, что своим хорошим здоровьем они были обязаны здоровой вегетарианской диете, рекомендованной доктором Гоффом.

* * *

К этому времени моя популярность в Берлине стала почти невероятной. Меня называли «божественной Айседорой». Я никогда не носила иной одежды, кроме короткой белой туники и сандалий, оставляя ноги обнаженными. Зрители приходили на моих представлениях в состоянии совершенного экстаза.

Однажды вечером, когда я возвращалась со спектакля, студенты выпрягли лошадей из моей кареты и повезли меня по знаменитой «Алее побед». На середине аллеи они потребовали, чтобы я произнесла речь. Я встала в карете — в те дни автомобилей еще не было — и обратилась к студентам со следующими словами:

— Нет высшего искусства, нежели искусство скульптора. Но почему же вы, любители искусства, допускаете это ужасное поругание над ним в самом центре вашего города? Взгляните на эти статуи. Вы изучаете искусство, но если бы вы в самом деле изучали искусство, вы

должны были бы сегодня же ночью вооружиться камнями и разрушить их. Разве они являются искусством? Они — и искусство! Нет! Они воплощают мечты кайзера.

Студенты разделяли мое мнение воем и выражали свое одобрение. Если бы не прибыла полиция, нам удалось бы выполнить мое желание и разрушить эти ужасные статуи города Берлина.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Однажды вечером, в 1905 году, я танцевала в Берлине. Хотя, как правило, я во время танца никогда не обращаю внимания на зрителей, в этот вечер я узнала человека, сидящего в первом ряду. Я не смотрела на него и не видела, кто он такой, но я физически чувствовала его присутствие. По окончании спектакля в мою уборную вошло прекрасное существо. Но прекрасное существо было очень сердито.

— Вы чудесны! — воскликнул он. — Вы удивительны! Но зачем вы украли мои идеи? Откуда вы достали мои декорации?

— О чем вы говорите? Это мои собственные голубые занавесы. Я придумала их, когда мне было пять лет, и с тех пор я всегда танцую перед ними.

— Нет! Они принадлежат мне! Это мои идеи. Но вы — то существо, которое я себе представлял перед моими декорациями. Вы воплотили в жизнь все мои мечты.

— Но кто вы такой?

Тут я услышала, как он произнес удивительные слова:

— Я сын Эллен Терри.

Эллен Терри, моего идеала совершеннейшей женщины! Эллен Терри!..

— Вы должны поехать с нами домой и поужинать у нас, — сказала моя мать по простоте душевной. — Раз вы питаете такой интерес к искусству Айседоры, вы должны поехать к нам домой ужинать.

И Крэг поехал к нам домой ужинать.

Он находился в состоянии необузданного возбуждения. Он желал объяснить все идеи своего искусства, свои честолюбивые мечты...

Я была чрезвычайно заинтересована. Крэг говорил и говорил о своем искусстве театра. Он разъяснял свое искусство жестами.

Внезапно в середине разговора он сказал:

— Но что вы делаете здесь? Вы великая артистка — и живете в семейной среде? Ведь это нелепо! Я единственный, кто увидел и изобрел вас. Вы принадлежите моим декорациям.

Крэг был высок и гибок, с лицом, напоминающим лицо его чуждой матери, но с еще более нежными чертами. Несмотря на его высокий рост, было нечто женственное в нем, в особенности в линиях губ, чувственных и тонких. Его глаза, очень близорукие, сверкали стальным огнем за стеклами очков. Он производил впечатление нежности, некоторой почти женственной слабости. Лишь его руки, с обезьяньими четырехугольными большими пальцами и широкими остальными, обнаруживали силу. Он всегда со смехом говорил о них как о пальцах убийцы, «годных, чтобы задушить тебя, моя дорогая!»

Словно загипнотизированная, я позволила ему надеть плащ поверх моей короткой белой туники. Он взял меня за руку, и мы сбежали вниз по лестнице на улицу. Он окликнул такси и сказал на прекрасном немецком языке:

— Эта дама и я, мы хотим поехать в Потсдам.

Несколько такси отказались повезти нас, но наконец мы нашли одно и помчались в Потсдам. Мы прибыли на рассвете и, остановившись в небольшом отеле, который только успел открыться, напились кофе. Затем, когда солнце поднялось высоко на небе, мы отправились обратно в Берлин.

Мы прибыли в Берлин около девяти часов, и тут нам пришла в голову мысль: что же мы станем делать? Мы не могли вернуться к моей матери и направились к одному другу, по имени Эльзи де Бругэр. Эльзи де Бругэр принадлежала к кругу богемы. Она встретила нас с деликатным сочувствием, дала нам позавтракать и уложила меня спать в своей спальне. Я заснула и не просыпалась до вечера.

Затем Крэг отвел меня в свою студию, расположенную на вышке высокого берлинского здания. В ней был черный навощенный пол, весь усыпанный лепестками роз, искусственными лепестками роз.

В лице Крэга я нашла сверкающую юность, красоту, гений. Вся воспламененная внезапной любовью, я кинулась в его объятия. Я нашла в Крэге ответную страсть, достойную моей. В нем я встретила плоть от плоти моей, кровь от моей крови. Часто он кричал мне:

— Ты моя сестра.

В его студии нельзя было найти ни дивана, ни глубокого кресла, ни обеда. В эту ночь мы спали на полу. У Крэга не было ни гроша, а я не отважилась пойти домой за деньгами. Я спала так в течение двух недель. Когда мы хотели пообедать, Крэг распоряжался, чтобы обед прислали наверх в кредит, я же пряталась на балконе, пока его не приносили, а затем прокрадывалась внутрь и получала свою долю.

Моя бедная мать обошла все полицейские участки, все посольства, рассказывая, что какой-то подлый соблазнитель убежал с ее дочерью, между тем как мой импресарио обезумел от беспокойства, вызванного моим внезапным исчезновением. Многочисленной публике, собиравшейся на концерт, отказывали, и никто не знал, что случилось. Однако в газетах благоразумно поместили объявление, что мисс Айседора Дункан серьезно заболела воспалением миндалевидных желез.

По прошествии двух недель мы вернулись в дом моей матери. Говоря по совести, мне, несмотря на мою неистовую страсть, немного надоело спать на жестком полу и ничего не есть, разве лишь то, что Крэгу удавалось доставать в гастрономе, или же мы делали вылазку с наступлением темноты.

Когда моя мать увидела Гордона Крэга, она закричала:

— Подлый соблазнитель, убирайтесь отсюда!

Она жестоко его ревновала.

Гордон Крэг — это один из необыкновеннейших гениев нашей эпохи. Он был вдохновителем целого направления в современном театре. Правда, он никогда не принимал активного участия в практической жизни подмостков. Он оставался в стороне и мечтал, но его мечты вдохновили все, что сейчас есть прекрасного в современном театре. Без него мы никогда бы не имели Рейнхардта¹, Жака Копо², Станиславского. Без него мы все еще оставались бы позади, при старых реалистических декорациях, где на деревьях колышится каждый листик, а двери в домах открываются и закрываются. Крэг был блестящим сотоварищем. Он был одним из тех немногих встреченных мною людей, которые с утра до вечера были в экзальтации.

Он всегда впадал в состояние неистового возбужде-

¹ *Рейнхардт Макс* (1873—1943) — немецкий режиссер, актер и театральный деятель.

² *Копо Жак* (1879—1949) — французский режиссер и актер.

ния, встречая на своем пути дерево, птицу или ребенка. С ним нельзя было провести ни одной скучной минуты. Нет, он всегда томился муками иступленного восторга, либо, в другой крайности, внезапным гневом, когда все небо казалось ему помрачневшим и внезапный страх заполнял все. И тогда жизнь медленно покидала тело и оставался лишь мрак тоски.

К несчастью, с течением времени эти мрачные настроения все учащались. Отчего? Преимущественно оттого, что всякий раз когда он говорил: «Моя работа! Моя работа!», что он часто делал, я осторожно возражала:

— О да, твоя работа. Удивительно! Ты — гений, но ведь ты знаешь, что существует и моя школа.

Его кулак опускался на стул.

— Да, но моя работа!

И я отвечала:

— Разумеется, она очень важна. Твоя работа сводится к постановке, но на первом месте стоит живое существо. Сперва — моя школа, лучезарное человеческое существо, движения которого прекрасны, а затем твоя работа, служащая ему совершенной оправой.

Наши споры часто заканчивались грозным и мрачным молчанием. Затем во мне просыпалась встревоженная женщина:

— О, дорогой, я обидела тебя!

Он отвечал:

— Обидела? О нет. Все женщины несносны, и ты тоже несносна, вмешиваясь в мою работу. Моя работа...

Он уходил, хлопнув дверью. Только стук захлопнувшейся двери пробуждал меня к ужасной развязке... Я ожидала его возвращения и, когда он не возвращался, проводила ночь в бурном плаче. Такова была трагедия. Эти сцены, часто повторяясь, привели к тому, что наша жизнь стала совершенно невозможной.

Моим уделом было вдохновить великую любовь этого гения, и моим же уделом оказалась попытка примирить продолжение моей собственной артистической деятельности с его любовью. Немыслимое сочетание. После первых нескольких недель необузданных страстных любовных ласк завязалась отчаянная битва между гением Гордона Крэга и моим искусством.

— Почему ты не бросишь театра? — говорил он. — Почему ты желаешь появляться на сцене и размахивать вокруг себя руками? Почему бы тебе не оставаться дома и не точить мне карандаши?

И все же Гордон Крэг ценил мое искусство, как никто другой его никогда не ценил. Но его самолюбие, его ревность как артиста не позволяли ему признать, что какая-нибудь женщина может действительно быть артисткой.

* * *

Моя сестра Элизабет образовала при грюневальдской школе комитет из высокопоставленных женщин, аристократок Берлина. Узнав о Крэге, они прислали мне длинное письмо, содержащее упреки, изложенные в величественных выражениях и гласившие, что они, члены приличного буржуазного общества, не могут оставаться больше патронессами школы, руководительница которой имеет такие смутные понятия о морали.

Фрау Мендельсон, жена крупного банкира, была избрана дамами для передачи мне письма. Придя со своим ужасным посланием, она с некоторой нерешительностью взглянула на меня и, внезапно разразившись слезами, кинула письмо на пол. Заключив меня в объятия, она воскликнула:

— Не думайте, что я подписала это гнусное письмо! Что же касается остальных, то с ними ничего нельзя поделаться. Они не хотят больше быть патронами этой школы. Они доверяют лишь вашей сестре Элизабет.

У Элизабет были свои собственные убеждения, но она не предавала их гласности. Я убедилась, что кредо этих дам заключалось в том, что все хорошо, если вы об этом не рассказываете. Эти женщины возбуждали во мне такое негодование, что я наняла зал филармонии и прочла специальную лекцию о танце как об искусстве освобождения, закончив беседой о праве женщины любить и рожать детей, как ей нравится. Разумеется, мне возразят: «Но что будет с детьми?» Отлично, я могу привести фамилии многих выдающихся людей, которые были рождены вне брака. Это не помешало им добиться славы и богатства. Но, оставляя это в стороне, я спрашивала себя, как может женщина вступить в брак с мужчиной, который, по ее мнению, настолько подл, что в случае размолвки не станет оказывать поддержку даже своим собственным детям. Если она считает, что он такой человек, зачем же ей выходить за него замуж? Я полагаю, что правда и взаимное доверие являются первыми принципами любви. Во всяком случае, я, как женщина, привыкшая к собственному заработку, думаю, что если я приношу в жертву

свои силы и здоровье и даже рискую жизнью, чтобы иметь ребенка, то я, конечно, не соглашусь на то, чтобы в один прекрасный день мужчина мог заявить, что ребенок по закону принадлежит ему и что он отбирает его у меня, а я буду видеться с ним только три раза в год.

Всякая интеллигентная женщина, которая, прочтя брачный контракт, затем подписывает его, заслуживает всех его последствий.

Моя лекция вызвала крупный скандал. Половина слушателей сочувствовала мне, но другая половина шикала и бросала на сцену все, что попадалось им под руку. Под конец несогласная половина покинула зал, а с остальными у меня были интересные дебаты о справедливых притязаниях и обидах женщин, которые значительно опередили нынешнее женское движение.

Я продолжала жить в нашей квартире на Викториа-штрассе, между тем как Элизабет переехала в школу. Моя мать жила то у меня, то у нее. С этого времени мать, которая при всех предыдущих лишениях и несчастьях переносила свои мытарства с необыкновенным мужеством, начала находить жизнь очень мрачной. Ее нрав стал в высшей степени неуравновешенным. Она часто пребывала в таком настроении, что ее ничто не радовало. Впервые со времени нашего выезда за границу она начала выражать тоску по Америке и говорить, насколько там все было лучше — пища и т. д.

Мне думается, что этой переменой своего характера мать, вероятно, была обязана своей всегдашней добродетели, в которой она жила в течение многих лет, посвятив себя лишь детям. Сейчас, когда поглощавшие нас интересы постоянно отрывали нас от нее, она ясно осознала, что в действительности лучшие годы своей жизни она растратила на нас, ничего не оставив для себя. Так, мне кажется, поступают многие матери, в особенности в Америке. Эти изменчивые настроения с ее стороны все усиливались, она постоянно выражала желание вернуться на родину и наконец вскоре так и поступила.

* * *

Мои мысли всегда были на вилле в Грюневальде с ее сорока кроватками. Какой необъяснимой кажется судьба, ибо, разумеется, повстречай я Крэга на несколько месяцев раньше, не было бы ни виллы, ни школы. В нем я нашла такое совершенство, что не чувствовала бы никакого стремления основывать школу. Но сейчас, ког-

да мечта моего детства начала действительно осуществляться, она превратилась в навязчивую идею.

Вскоре я обнаружила — и в этом не оставалось ни малейшего сомнения, — что я беременна. Но я продолжала танцевать перед публикой, преподавать в школе, любить своего Эндимиона¹.

Бедный Крэг казался беспокойным, нетерпеливым, несчастным, обкусывая ногти до мяса и часто восклицая:
— Моя работа! Моя работа! Моя работа!

* * *

Наступила весна. У меня был контракт на Данию, Швецию и Германию. В Копенгагене меня больше всего поразило необычайно интеллигентное и счастливое выражение на лицах молодых женщин, свободно идущих по улицам без спутников в своих студенческих шапочках, надетых на темные кудри. Я была удивлена. Я никогда еще не видела таких привлекательных девушек. Но мне объяснили, что Дания была первой страной, которая добилась избирательного права для женщин.

Мне пришлось предпринять это турне из-за расточительных расходов на школу. Я успела исчерпать свои денежные запасы, и у меня совершенно не осталось денег.

В Стокгольме публика встретила меня с большим вниманием, и после спектакля девушки из гимнастической школы проводили меня в отель, прыгая возле моей кареты, чтобы выразить свою радость при виде меня. Я посетила гимнастический институт, но мой визит не превратил меня в его пылкую поклонницу. Мне кажется, что шведская гимнастика подразумевает статическое неподвижное тело, но не придает никакого значения живому пластическому человеческому телу.

Она также рассматривает мышцы как самоцель, вместо того чтобы признавать их лишь механической оправой, неиссякающим источником развития. Шведская гимнастика является ложной системой телесной культуры, так как она не придает никакого значения воображению и мыслит о теле, как о вещи, а не как о жизненной кинетической энергии.

Я посетила школы и объяснила это ученикам по мере своих сил. Но, как я и ожидала, они поняли мало.

Во время своего пребывания в Стокгольме я послала

¹ Эндимион — в греческой мифологии юноша, за красоту взятый Зевсом на небо. Там он воспыал любовью к Гере, супруге Зевса, за что тот погрузил его в вечный сон. — *Прим. ред.*

приглашение Стриндбергу¹, которым я очень восхищалась, приехать посмотреть, как я танцую. Он ответил, что он никуда не выезжает и ненавидит людей. Я предложила ему место на сцене, но и тогда он не пришел.

После успешного сезона в Стокгольме мы вернулись в Германию морем. На пароходе я сильно расхворалась и поняла, что в дальнейшем мне лучше на время прекратить какие бы то ни было турне. Я чувствовала сильное влечение к одиночеству и желание скрыться подальше от людских взглядов.

В июне после непродолжительного посещения своей школы я почувствовала сильное желание очутиться возле моря. Я уехала сперва в Гаагу, а оттуда в маленькую деревушку Нордвик, на берегу Северного моря. Здесь я наняла небольшую белую виллу посреди дюн, называвшуюся «Вилла Мария».

Я была настолько неискушенна, что считала роды совершенно естественным процессом. Я поселилась в вилле, отстоявшей на сотню миль от ближайшего города, и наняла деревенского врача. В своем неведении я вполне довольствовалась этим деревенским врачом.

От Нордвика до ближайшей деревни Кадвик было расстояние около трех километров. Я жила здесь совсем одна. Ежедневно я гуляла от Нордвика до Кадвика и обратно. Неизменно меня влекло к морю, влекло к одиночеству в Нордвике, маленькой белой вилле, уединенной между песчаными дюнами, простирающимися на многие мили по обеим сторонам красивой деревушки. Я прожила в «Вилле Мария» в течение июня, июля и августа.

Тем временем я поддерживала деятельную переписку со своей сестрой Элизабет, которая в мое отсутствие заведовала грюневальдской школой. В течение июля я занесла в свой дневник правила преподавания в школе, выработав последовательное руководство танцами — серию из пятисот упражнений, которые привели бы учеников от простейших движений к самым сложным.

Моя маленькая племянница Темпл, воспитывавшаяся в грюневальдской школе, приехала провести со мной три недели. Она обычно танцевала у моря.

Крэг не мог усидеть на месте. Он то приезжал, то уезжал. Но я уже не была одинокой. Ребенок напоминал о себе все чаще и чаще. Казалось странным видеть, как

¹ *Стриндберг Август Юхан* (1849—1912) — шведский писатель. Оказал заметное влияние на европейскую драматургию.— *Прим. ред.*

мое тело расплывалось и увядало, распухало и обезображивалось. Я очень страдала. Бессонны были мучительные ночные часы. Но я переживала и радость. Неизмеримую, безграничную радость, когда каждый день я ходила по песку вдоль пустынного побережья от Нордвика к Кадвику. С одной стороны вздымались волны моря, с другой тянулись дюны.

Я стала страшиться всякого общества.

Я заперла свои двери перед всеми посетителями, исключая одного доброго и верного друга, который приезжал из Гааги на велосипеде и, привозя с собой книги и журналы, развлекал меня беседами о последних событиях в искусстве, музыке и литературе. Он женился к этому времени на великой поэтессе, о которой он часто рассказывал с благоговейной нежностью. Будучи пунктуальным человеком, он приезжал в определенные дни, и даже сильный шторм не мог бы удержать его от выполнения своего расписания. Если не считать его, я находилась по преимуществу наедине с морем, дюнами и ребенком, которому, казалось, уже сильно не терпелось поскорее появиться на свет.

Как долго и мучительно тянулись часы! Дни, недели, месяцы — как медленно они проходили!

Отчего моей матери не было со мной? Причина таилась в ее нелепом предрассудке, что я должна выйти замуж. Но ведь она сама была замужем, нашла брак невыносимым и развелась со своим мужем. Почему же она добивалась, чтобы я попала в тот же капкан, в котором она сама жестоко пострадала? Я сопротивлялась браку всеми силами своего существа. Я считала и продолжаю считать брак нелепым и порабошающим установлением, неизбежно приводящим, особенно у артистов, к искам о разводе и абсурдным и пошлым судебным процессам. Если кто-нибудь усомнится в моих словах, пусть он составит краткий список всех разводов среди артистов и всех связанных с ними скандалов по американским газетам за последние десять лет.

В августе ко мне приехала и осталась со мной в качестве няни женщина, которая впоследствии стала моим любимейшим другом, Мэри Кист. Я никогда не встречала более терпеливой, нежной и ласковой женщины. Она явилась для меня большим утешением. Признаюсь, что меня начали терзать различные страхи. Напрасно я уговаривала себя, что все женщины имеют детей. У моей бабушки их было восемь. У моей матери четверо. Все это

в порядке вещей. Тем не менее я испытывала страх. Перед чем? Конечно, не перед смертью и даже не перед муками — неведомый страх перед чем-то мне не известным.

Прошел август. Наступил сентябрь. Мое бремя стало очень тягостным. Часто вспоминала о своих танцах, и меня охватывало неистовое сожаление об искусстве.

Мое тело все сильнее и сильнее разбухало у меня на глазах. Мои маленькие упругие груди стали большими, мягкими и отвислыми. Куда девалось мое честолюбие? Слава? Часто, вопреки самой себе, я чувствовала себя несчастной и разбитой. Игра, которую я вела с жизнью, казалась непосильной. Но затем я вспоминала о будущем ребенке, и все мучительные мысли исчезали. Жестокие часы беспомощного ожидания по ночам: лежишь на левом боку, что-то давит на сердце; повернешься на правый — опять неудобно; наконец, ложишься на спину. То и дело становишься жертвой движений ребенка, пытаешься успокоить его нажатием рук на распухающее тело. Кажется, что таким ночам не будет конца. Какой же дорогой ценой мы оплачиваем славу материнства!

Однажды я получила приятнейший сюрприз. Из Парижа приехала моя задушевная подруга по имени Катлин, с которой я познакомилась в Париже, и заявила, что она намеревается остаться со мной. Она была человеком, полным жизни, здоровья и отваги. Впоследствии она вышла замуж за исследователя — капитана Скотта¹.

Как-то днем мы все сидели за чаем, когда я почувствовала гулкий удар, словно меня оглушили посередине спины, а затем ужасную боль, точно мне вонзили бурав в позвоночник и пытались его вскрыть. С этой минуты началась пытка, словно я была несчастной жертвой, попавшей в руки могучего и безжалостного палача. Не успела я оправиться от первого приступа, как наступил второй. Неумолимый, жестокий, не знающий ни прощения, ни жалости, ужасный, незримый дух душил меня своєю лапою и терзал непрерывными спазмами мои кости и сухожилия. Говорят, что такие страдания быстро забываются. На это я могу лишь ответить, что стоит мне закрыть глаза, и я вновь слышу, как тогда, свои вопли и стоны.

Неслыханным, грубым варварством является то, что

¹ *Скотт Роберт Фолкон* (1868—1912) — английский исследователь Антарктики. Достиг с четырьмя спутниками Южного полюса 18 января 1912 г. На обратном пути все пятеро погибли. — *Прим. ред.*

женщина все еще вынуждена переносить такую чудовищную пытку. Нужно исправить это. Нужно положить этому конец! Просто нелепо, что при нынешнем уровне нашей науки безболезненность родов не стала еще в порядке вещей. Это так же непростительно, как если бы врачи оперировали аппендицит без обезболивания.

В течение двух дней и двух ночей длился этот неописываемый ужас. А на третье утро мой нелепый врач принес пару огромных щипцов и без всякого анестезирующего средства довершил бойню. Думается, ничто не может даже приблизительно сравниться с моими страданиями, разве если бы я попала под поезд.

Я не желаю слышать ни о каком женском или суфражистском движении, пока женщины не положат конец этим мукам, которые я считаю совершенно ненужными, и не настоят, чтобы операция родов, как и всякая иная, стала бы безболезненной и легко переносимой.

Но ведь я не умерла от них. Да, не умерла — как не умирает несчастная жертва, вовремя снятая с орудия пыток. Мне могут возразить, что, увидев ребенка, я была вознаграждена за все. Да, конечно, я испытала высшую радость, но, несмотря на это, я даже сейчас дрожу от негодования, когда вспоминаю о том, что я перенесла, и о том, что переносит множество жертв из-за невыразимого эгоизма и слепоты ученых, допускающих такие жестокости, в то время как они могут быть искоренены.

О, но ребенок! Ребенок родился удивительный, сложный, как Купидон, с голубыми глазами и длинными темными волосами, которые затем сменились золотистыми кудрями. И, чудо из чудес, ротик искал мою грудь и, кусая и дергая ее беззубыми деснами, пил хлынувшее молоко.

О, женщины, что толку от того, что мы учимся на адвокатов, художников или скульпторов, когда существует это чудо. Теперь я знала всепоглощающую любовь, перед которой бледнеет любовь к мужчине. Было такое чувство, что меня, кровоточащую и беспомощную, терзают на дыбе и разрывают на части, а маленькое существо тем временем сосало грудь и пищало. Жизнь, жизнь, жизнь! Дайте мне жизнь! О где ты, мое Искусство? Какое мне дело до Искусства! Я ощущала себя богом, высоко стоящим над любым художником или артистом.

В течение первых недель я обычно лежала с ребенком на руках, любясь его сном, иногда перехватывая взгляд его глаз. Как описать эту радость? Неудивительно, что я,

не будучи писательницей, совершенно не могу найти для этого слов.

Мы вернулись в Грюневальд с ребенком и моим милым другом Мэри Кист. Все дети были очень рады увидеть ребенка. Я сказала Элизабет: «Она самая юная наша ученица».

Все спрашивали, как мы ее назовем.

Крэг вспомнил о чудесном ирландском имени Дердри. Дердри — возлюбленная Ирландии. Итак, мы назвали ее Дердри.

Мало-помалу ко мне возвращались силы. Я вновь была вполне готова к бою.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Нашей ближайшей соседкой была Джульетта Мендельсон, которая жила в своей роскошной вилле с мужем, богатым банкиром. Она приняла живое участие в моей школе, невзирая на ренегатство буржуазных друзей. Однажды она пригласила нас всех танцевать перед Элеонорой Дузе¹.

Я представила Дузе Гордона Крэга. Он сразу очаровал ее, и она заинтересовалась его взглядом на театр. После нескольких встреч, вызвавших взаимный энтузиазм, она пригласила нас приехать во Флоренцию и пожелала, чтобы Крэг сделал постановку. Было решено, что Гордон Крэг поставит во Флоренции для Элеоноры Дузе «Росмерсхольма» Ибсена.

Мы все отправились экспрессом, идущим во Флоренцию: Элеонора Дузе, Крэг, Мэри Кист и я с ребенком.

В пути я нянчила ребенка, но у меня испортилось молоко, и мне пришлось кормить его из бутылки. Несмотря на это, я была бесконечно счастлива. Двое самых дорогих мне во всем мире людей встретились. Прибыв во Флоренцию, мы поселились в небольшом отеле вблизи «Гранд», где Элеонора заняла королевские апартаменты.

Начались первые дискуссии, в которых я служила переводчицей между Крэгом, не понимавшим ни по-французски, ни по-итальянски, и Дузе, которая не знала ни единого слова по-английски. Я оказалась между этими

¹ Дузе Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса, чье творчество обогатило мировое сценическое искусство.

двумя великими гениями, взгляды которых, как это ни странно, находились с самого начала в полном противоречии друг другу. Я лишь надеялась, что смогу удовлетворить обоих и угодить им. Достигала я этого путем искажения смысла их слов. Надеюсь, что ложь, которую я применяла при переводе, простится мне, ибо она служила святой цели. Я стремилась, чтобы великолепная постановка осуществилась, а этого никогда бы не случилось, если бы я действительно передавала Элеоноре Дузе все, что ей говорил Гордон Крэг, и в точности повторяла бы Крэгу распоряжения Дузе.

В первом действии «Росмерсхольма» Ибсен описывает гостиную «как комнату, с комфортом обставленную старинной мебелью». Но Крэгу хотелось, чтобы это был огромный египетский храм с безмерно высоким потолком, простирающимся в небо, и со стенами, отступающими в глубину. Несхожим с египетским храмом было лишь огромное квадратное окно, находившееся в дальнем конце. В описании Ибсена из окна открывается вид на старую аллею, ведущую во двор. В представлении Крэга окно было размером десять метров на двенадцать. Из окна открывался пейзаж, пылающий желтыми, красными и зелеными красками, который мог бы сойти за марокканский. Во всяком случае, его нельзя было принять за старинный двор.

Элеонора с несколько смущенным видом сказала:

— Я представляю себе окно небольшим. Оно не должно быть большим.

На что Крэг загремел по-английски:

— Скажи ей, что я не потерплю, чтобы бабье вмешивалось в мою работу.

Я осмотрительно перевела эти слова Элеоноре:

— Он говорит, что восхищен вашими суждениями и сделает все, чтобы угодить вам.

Затем, обратившись к Крэгу, я опять дипломатично перевела ему возражение Дузе:

— Элеонора Дузе говорит, что, так как ты великий гений, она не станет давать никаких советов относительно твоих эскизов и принимает их в таком виде, как они есть.

Такие беседы иногда длились несколько часов. Зачастую они продолжались и в часы кормления ребенка, но тем не менее я всегда была под рукой, чтобы исполнять важную роль умиротворяющего переводчика. Я часто испытывала тяжкие страдания, если часы кормления ис-

текали, а я в это время объясняла обоим артистам то, чего они не говорили другу другу. Я устала. Здоровье мое пошатнулось. Эти утомительные беседы сделали период моего выздоровления мучительным. Но, предвидя великое артистическое событие, которое должно произойти,— постановку «Росмерсхольма» с декорациями, созданными Крэгом для Элеоноры Дузе,— я чувствовала, что никакая жертва, принесенная мной, не окажется чрезмерной.

Крэг замуравался в театре и, запасшись большой кистью и дюжиной огромных горшков с краской, начал сам рисовать декорации, ибо не мог найти работников-итальянцев, которые бы вполне понимали, чего он добивается. Крэг проводил в театре почти круглые сутки. Он не выходил оттуда, даже чтобы поесть. Если я не приносила бы ему в корзине скромного завтрака, он оставался бы совсем без пищи.

Он отдал единственный приказ:

— Не пускай Дузе в театр. Не позволяй ей приходить сюда. Если она придет, я сяду в поезд и уеду.

А между тем Дузе горела желанием посмотреть, как идет работа. У меня была задача, не обижая ее, удерживать от посещения театра. Я уводила ее на продолжительные прогулки по садам, где прекрасные статуи и изысканные цветы успокаивали ее нервы.

Никогда не забуду картину, как Дузе гуляет по этим садам. Встречные прохожие расступались перед ней и глядели на нас с уважением, но и с любопытством. Дузе не любила, когда публика смотрела на нее. Она выбирала окольные дороги и боковые аллеи, чтобы избежать людских взоров.

Но, если Дузе лично общалась с людьми, нельзя было найти более симпатичного и обаятельного человека.

Работа над декорациями для «Росмерсхольма» продвигалась вперед. Каждый раз, когда я приносила в театр Крэгу его завтрак или обед, я заставляла его в состоянии, граничащем с гневом или с неистовой радостью. Порой он считал, что его работа окажется величайшим зрелищем, какое увидит артистический мир, а в следующие же минуты он кричал, что ничего не сможет добиться в этой стране, где нет красок, нет работников и он должен все делать сам.

Приближался час, когда Элеонора должна была увидеть законченные декорации. Я удерживала ее до тех пор всеми уловками, какие только могла придумать. Когда

этот день наступил, я зашла к ней и в назначенный час повела в театр. Она находилась в состоянии сильного нервного возбуждения, которое, как я боялась, могло в любую минуту разразиться, словно грозовой день яростной бурей. Элеонора встретила меня в холле своего отеля. Она облачилась в длинное коричневое меховое пальто и коричневую меховую шапку, похожую на шапку русского казака и надвинутую набекрень на глаза. Несмотря на то что Дузе иногда по совету своих любезных друзей покровительствовала модным портным, она никогда не умела носить сшитое по моде платье или иметь сколько-нибудь шикарный вид. Ее платье всегда было вздернуто с одной стороны и свисало с другой. Шляпа всегда была сдвинута набок. Как бы дорого ни стоили ее наряды, она всегда, казалось, не носила их, а покорялась тому, что они сидят на ней.

По пути в театр я чувствовала такое волнение, что едва могла говорить. С тонкой дипломатичностью я удержала ее, когда она хотела броситься через служебный вход, и провела в ложу через специально открытые мной заранее главные двери. Наступило долгое ожидание, в течение которого я пережила несказанные муки, ибо Дузе все спрашивала:

— Будет ли окно таким, как я его себе представляю? Где же декорации?

Я крепко держала ее за руку, сжимая ее, и говорила:

— Одну минуту... Вы скоро увидите. Имейте терпение.

Но мной овладел страх при мысли об этом небольшом окне, которое приняло самые исполинские размеры, какие только можно себе представить.

Время от времени раздавался повышенный голос Крэга, пытающегося говорить по-итальянски и выкрикивающего:

— Черт побери! Черт побери! Почему вы этого здесь не поставили? Почему вы не делаете того, что я вам говорю?

Затем вновь наступило молчание.

Наконец после ожидания, которое, казалось, длилось часы, когда я чувствовала, что растущее раздражение Элеоноры готово прорваться в любую минуту, занавес медленно поднялся.

О, могу ли я описать, что предстало перед нашими изумленными, восхищенными глазами! Я говорила о египетском храме? Ни один египетский храм никогда не сверкал такой красотой! Ни готический собор, ни афинс-

кий дворец! Никогда не видела я такого прекрасного творения. Минуя обширные голубые просторы, небесные гармонии, возносящиеся линии, огромные высоты, душа каждого из нас устремлялась к свету этого исполинского окна, за которым виднелась не маленькая аллея, а бесконечная вселенная. В этих голубых просторах заключалась вся мысль, созерцание, земная печаль человека. За окном же простирался весь экстаз, радость, чудо его изображения. Разве это была жилая комната «Росмерсхольма»? Не знаю, что подумал бы Ибсен. Вероятно, он пришел бы в такое же состояние, как и мы,— безмолвное и поглощенное.

Рука Элеоноры сжала мою. Я почувствовала, что ее руки обвили меня и она крепко меня обняла. Я видела, что слезы струятся по ее прекрасному лицу. Несколько минут мы сидели молча, сжимая друг другу руки. Затем она взяла меня под руку и, широко шагая, быстро потащила из ложи по коридору. На сцене она остановилась и голосом, в котором воплощалась вся Дузе, воскликнула:

— Гордон Крэг! Идите сюда!

Крэг вышел из-за боковых кулис с застенчивым, точно у мальчика, видом. Дузе заключила его в объятия, и с ее губ полился такой поток итальянских похвал, что я не успевала переводить их Крэгу. Они бились, как вода из фонтана.

Крэг не плакал от волнения, как мы, но в течение долгого времени оставался безмолвным, что служило у него признаком глубокого волнения.

Артисты безучастно ждали за кулисами. Дузе позвала всю труппу к себе. Она произнесла перед ней воодушевленную речь:

— Моим уделом было найти великого гения, Гордона Крэга. Я намереваюсь посвятить остаток своей сценической карьеры, показывая миру его великое творение.

Держа руку Крэга во время всей своей речи и неоднократно поворачиваясь к нему, она говорила о его гении и о новом великом возрождении театра.

— Лишь благодаря Гордону Крэгу,— повторяла она,— мы, жалкие актеры, избавимся от чудовищности, от того морга, каким является современный театр.

Вообразите мою радость при ее словах. Я была тогда молода и неискушенна. Увы! Я верила, что в минуты великого энтузиазма люди действительно подразумевают то, что они говорят. Я рисовала себе Элеонору Дузе,

отдающую свой великолепный гений служению искусству моего великого Крэга. Я рисовала себе будущее, как несказанный триумф Крэга и расцвет искусства театра. Увы! Я не учла непостоянство человеческого энтузиазма, особенно женского.

При первом представлении «Росмерсхольма» во Флоренции огромная нетерпеливая толпа заполнила театр. Когда занавес поднялся, раздался единый вздох восхищения. Результат не мог быть иным. Это единственное представление «Росмерсхольма» до сего дня хранят в памяти знатоки искусства во Флоренции.

Мы вернулись со спектакля в приподнятом настроении. Крэг сиял от радости. Он видел перед собою свое будущее, великие творения, посвященные Элеоноре Дузе, которую он сейчас восхвалял так же, как раньше негодовал на нее. Увы, отчего существует людское непостоянство?! Этот вечер оказался единственным, когда гений Дузе развернулся в постановке Крэга. Она играла в труппе определенный репертуар. Каждый вечер шла иная пьеса.

Когда возбуждение стихло, я как-то утром, посетив банк, выяснила, что мой счет совершенно иссяк. Появление ребенка, потребности грюневальдской школы, наша поездка во Флоренцию — все это поглотило мои денежные ресурсы. Стало весьма необходимо подумать о каком-то способе снова наполнить денежный сундук. И тут очень вовремя подоспело приглашение от одного импресарио в Петербурге, спрашивавшего меня, готова ли я вновь танцевать, и предлагавшего мне контракт на турне по России.

Я покинула Флоренцию, передав ребенка на попечение Мэри Кист и предоставив Крэга заботам Элеоноры, села в экспресс, направлявшийся через Швейцарию и Берлин в Петербург. Первая разлука с ребенком, а также разлука с Крэгом и Дузе была для меня очень мучительной.

Мое здоровье тоже находилось в неважном состоянии. Ребенок еще не совсем был отнят от груди, и приходилось сцеживать грудное молоко при помощи небольшого аппарата. Это было для меня жутким испытанием и часто служило причиной слез.

Все дальше и дальше на север уносился поезд, пока я вновь не очутилась между равнин, покрытых снегом и лесом, казавшихся сейчас еще более пустынными, чем когда-либо. К тому же я слишком стремилась к Дузе и Крэгу, чтобы думать о своем искусстве, и нисколько не была подготовлена к испытаниям турне.

Однако славная русская публика встретила меня со своим обычным энтузиазмом и смотрела сквозь пальцы на все погрешности, которые, может быть, и были в спектакле. Помню лишь, что в течение танца молоко часто выступало из груди и стекало по тунике, приводя меня в сильное замешательство.

Об этом турне по России я помню немного. Излишне говорить, что мое сердце всеми своими струнами влекло меня назад во Флоренцию. Поэтому я по возможности сократила турне и приняла ангажемент на гастроли в Голландии, ибо они немного приближали меня к школе и к тем, которых я так жаждала увидеть.

В первый же вечер, когда я появилась на сцене в Амстердаме, мной овладела странная болезнь. Думаю, что из-за молока в груди со мной случилось то, что называется молочной лихорадкой. После концерта я упала ничком на сцене и меня пришлось отнести в отель. Я пролежала там в затемненной комнате много дней и недель, обложенная мешками со льдом. У меня нашли неврит, болезнь, от которой ни один врач не мог предложить лекарства. Несколько недель я ничего не могла есть и меня кормили лишь небольшими порциями молока с опиумом. Один бред сменялся другим, и под конец я впала в бессознательный сон.

Крэг примчался из Флоренции и проявил большую преданность. Он оставался со мной три или четыре недели и помогал ухаживать за мной, пока однажды не получил телеграмму от Элеоноры: «Я ставлю «Росмерсхольма» в Ницце. Декорации неудовлетворительны. Приезжайте немедленно».

Я уже немного поправилась, и он уехал в Ниццу. Но как только я увидела эту телеграмму, она явилась для меня грозным предостережением того, что произойдет между обоими, когда возле них не будет меня, чтобы служить им переводчицей и умерять их разногласия.

Однажды утром Крэг явился в ужасное, ветхое казино в Ницце и обнаружил, что его декорации разрезали пополам без ведома Элеоноры. Естественно, что, увидав перед собой создание своего искусства, свой шедевр, свое детище, над рождением которого он работал с таким пылом во Флоренции, искромсанным и изувеченным, Крэг пришел в ужасное бешенство, жертвой которого он по временам становился. И что хуже всего, он напустился на Элеонору, которая в эту минуту находилась на сцене.

— Что вы наделали? — разразился он криком. — Вы

погубили мою работу. Вы уничтожили мое искусство! Вы, от которой я столько ждал!

Он безжалостно продолжал кричать, пока Элеонора, которая, конечно, не привыкла, чтобы с ней разговаривали таким тоном, не рассвирепела. Впоследствии она рассказала мне о случившемся:

— Я никогда не встречала подобного человека. Со мной никогда так не говорили. Никто со мной так не обращался. Естественно, я не могла перенести этого. Я указала на дверь и сказала:

— Уходите. Я не желаю больше никогда вас видеть.

Так наступил конец ее намерению посвятить всю свою карьеру гению Гордона Крэга.

* * *

В Ниццу я приехала настолько слабой, что из вагона меня пришлось вынести. Была первая ночь карнавала, по пути в отель на мою открытую карету напала ватага разнообразных масок Пьеро, которые показались мне похожими на «гримасы танцующей смерти».

Элеонора Дузе тоже лежала больная в отеле, расположенном вблизи моего. Я получила от нее множество нежных записок. Она предоставила мне своего врача Эмиля Боссона, и он не только с большой преданностью ухаживал за мной, но и с этого момента стал одним из лучших моих друзей на всю жизнь. Мое выздоровление оказалось долгим, меня оплели сети страданий.

Моя мать, а также мой верный друг Мэри Кист с ребенком приехали ко мне. Ребенок был красивым и крепким и с каждым днем хорошел. Мы переехали в Монт Борон. В нем с одной стороны перед нами открывался вид на море, а с другой — на вершину горы, где некогда размышлял Заратустра со своими змеями и орлом. Живя на солнечной террасе, я постепенно возвращалась к жизни. Но жизнь оказалась обремененной более, чем когда-нибудь, денежными затруднениями, и, чтобы уладить их, я вернулась, как только оказалась в силах, в Голландию на гастроли. Но чувствовала себя еще очень слабой и упавшей духом.

Я обожала Крэга — я очень любила его, но ясно сознавала, что наша разлука неизбежна. И все-таки я дошла до такого безумного состояния, когда не могла ни жить с Крэгом, ни жить без него. Жить с ним означало отречься от своего искусства, от личности, более того, может быть, и от самой жизни и рассудка. Жить без него

означало пребывать в состоянии постоянного уныния, мучиться ревностью, для которой, увы, у меня, казалось, были все основания. Образ Крэга во всей его красоте в объятиях другой женщины преследовал меня по ночам, и я подолгу не могла уснуть. Образ Крэга, который объясняет свое искусство женщинам, смотрящим на него с обожанием, образ Крэга, которому нравятся другие женщины, который глядит на них со своей пленительной улыбкой, который увлечен ими, ласкает их, образ Крэга, говорящего себе: «Эта женщина мне нравится... в конце концов, Айседора невыносима».

Все это попеременно повергало меня в ярость и отчаяние. Я не могла работать, не могла танцевать. Я совсем не заботилась, нравлюсь я публике или нет.

Я поняла, что этому положению вещей должен быть положен конец. Или искусство Крэга, или мое, но я знала, что мне отказаться от искусства было невыносимо, я истомилась бы, умерла бы от горя. Я должна была найти средство. Я вспомнила о мудрости гомеопатов. И средство нашлось.

Как-то днем ко мне вошел мужчина: красивый, жизнерадостный, молодой, белокурый, отлично одетый. Он произнес:

— Друзья называют меня Пимом.

— Пим, какое очаровательное имя, — сказала я. — Вы артист?

— О нет! — воскликнул он, словно я обвинила его в каком-нибудь преступлении.

— Что же вы тогда предложите? Великую идею?

— О нет. У меня совсем нет идей, — возразил он.

— Ну а цель в жизни?

— Никакой.

— Но чем же вы занимаетесь?

— Ничем.

— Но чем-нибудь должны же вы заниматься.

— Ну, — задумчиво ответил он, — у меня есть прекрасная коллекция табакерок восемнадцатого века.

В нем я нашла средство. Я уже подписала контракт на турне по России — длинное, тягостное турне не только по северной России, но и по южной и Кавказу, а я приходила в ужас от долгих путешествий одной.

— Поедете ли вы со мной в Россию, Пим?

— О, с величайшим удовольствием, — живо ответил он, — но ведь у меня есть мать. Ее я мог бы убедить, но есть еще кое-кто, — он покраснел, — кто меня очень любит и, вероятно, не согласится отпустить меня.

— Но мы можем уехать тайком.

Итак, был выработан план, что после моего последнего концерта в Амстердаме нас будет ждать автомобиль у задних дверей театра и мы уедем на нем за город. Мы уговорились с моей горничной, что она привезет багаж экспрессом, на который мы сядем на ближайшей от Амстердама станции.

Стояла туманная холодная ночь. Над полями висел густой туман. Шофер не соглашался ехать быстро, так как дорога шла вдоль канала.

— Нам грозит большая опасность! — предупредил он и поехал еще медленнее.

Но эта опасность была ничто по сравнению с погоней. Внезапно Пим оглянулся и воскликнул:

— Боже мой, она преследует нас!

Я не нуждалась в дальнейших объяснениях.

— У нее, вероятно, пистолет, — сказал Пим.

— Скорее, скорее! — торопила я шофера, но он лишь указал туда, где сквозь туман блестели воды канала. Все казалось очень романтичным, но наконец шофер перехитрил преследователей, и мы, добравшись до станции, остановились в гостинице.

Было два часа ночи. Старый ночной швейцар осветил фонарем наши лица.

— Одну комнату, — сказали мы вместе.

— Одну комнату? Ну, нет. Разве вы женаты?

— Да, конечно! — ответили мы.

— Нет, нет! — проворчал он. — Вы не женаты. Я знаю. У вас слишком счастливый вид. — И, несмотря на наши протесты, он разлучил нас в две комнаты в противоположных концах длинного коридора и нашел злобное удовольствие в том, что просидел в нем всю ночь, держа фонарь на коленях. Стоило Пиму или мне высунуть голову, как он поднимал фонарь и говорил:

— Нет, нет, раз вы не женаты, невозможно, нет, нет!

Утром, чуточку устав от ночной игры в прятки, мы сели в скорый поезд на Петербург — никогда я не совершала более приятного путешествия.

Когда мы приехали в Петербург, я пришла в недоумение, видя, как носильщик выгружал с поезда восемнадцать чемоданов, все отмеченные инициалами Пима.

— Что это такое? — спросила я, разинув рот.

— О, это только мой багаж, — сказал Пим. — В этом чемодане мои галстуки, в тех двух мое белье, а в том ботинки. А вон тот заключает в себе мои специальные,

отделанные мехом жилеты — они очень пригодятся в России.

В гостинице «Европа» лестница была широкой, и по ней каждый час сбегал Пим в костюме каждый раз нового цвета и в новом галстуке — к восхищению всех присутствующих. Он был всегда изысканно одет и в самом деле являлся законодателем мод в Гааге. Голландский художник Ван Влей нарисовал его портрет на фоне разноцветных тюльпанов — золотистых, пурпуровых и розовых.

Пим был красив — белокурый и голубоглазый, но без какого-либо интеллектуального комплекса. Его любовь подтверждала мне афоризм Оскара Уайльда: «Лучше радость, которая длится минуту, чем скорбь, которая длится вечно». Пим давал радость, которая длится минуту. До встречи с ним любовь приносила мне одни лишь идеалы, романтику и страдания. Пим принес мне радость, и только, но настоящую, восхитительную радость, как раз в ту минуту, когда я больше всего в ней нуждалась, потому что без Пима я погрузилась бы в безнадежную неврастению. Присутствие Пима вдохнуло в меня новую жизнь, придало новые силы. Может быть, впервые я познала наслаждение просто легкомысленной молодости. Он смеялся при каждом слове, прыгал и танцевал. Я позабыла свои огорчения, жила одной минутой и была беззаботна и счастлива. Как следствие, жизнь и радость, возродившись, били ключом через край в моих концертах.

Именно тогда я сочинила «Музыкальное мгновение», которое имело такой успех у русских, что мне приходилось повторять его каждый вечер по пять или шесть раз. «Музыкальное мгновение» было танцем Пима: радость на миг.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Если бы я рассматривала танец лишь как исполнение соло, мой жизненный путь был бы очень прост. Достигнув славы, желанная в любой стране, я должна была лишь продолжать свою триумфальную карьеру. Но, увы, я была одержима мыслью о школе, обширном ансамбле, танцующем Девятую симфонию Бетховена. Ночью, стояло мне закрыть глаза, эти образы танцевали в моем сознании величественными рядами, вызывая ко мне, чтобы я воплотила их в жизнь.

С такими мечтами я вернулась в Грюневальд, чтобы преподавать небольшой группе учеников, которые уже обучались танцам. Красота их танца укрепила мою веру в возможность оркестра из танцоров, — который являлся бы для глаза тем же, чем были великие симфонии для слуха. С каждым днем дети становились сильнее, пластичнее. Зрелище танцующих детей было так прекрасно, что вызывало восхищение у всех артистов и поэтов.

Тем не менее покрывать расходы по школе становилось все труднее, и я решила повезти детей с собой в различные страны, чтобы поискать, не найдется ли хотя бы одного правительства, которое признает, что такое воспитание является прекрасным для детей, и предоставит мне возможность, которой я добивалась, испытать на опыте свой проект создания массового танца.

В конце каждого концерта я обращалась к публике с призывом помочь моей школе.

Мне становилось все яснее и яснее, что в Германии я не найду поддержки, в которой нуждалась. Взгляды супруги кайзера являлись настолько пуританскими, что, посещая мастерскую какого-нибудь скульптора, она посылала вперед своего мажордома, чтобы тот прикрыл все голые фигуры простынями. Гнетущий прусский режим ставил предел моим дальнейшим мечтам о Германии, как о стране приемлемой для моего творчества. Тогда я вспомнила о России, ибо в свое время встретила там такой горячий энтузиазм, что нажила состояние. Имея в виду возможность основать школу в Петербурге, я снова поехала туда в январе 1907 года в сопровождении Элизабет и группы из двадцати моих маленьких учеников. Но этот эксперимент не увенчался успехом. Несмотря на то что публика встречала с восторгом мои доводы в пользу возрождения подлинного танца, императорский балет пустил слишком крепкие корни в России, чтобы оказалась возможной какая-либо перемена.

В России еще не наступил день для школы свободных движений тела. Хотя Станиславский делал все, что было в его силах, чтобы помочь мне, но у него не хватало средств принять нас в свой великий Художественный театр, чего мне хотелось.

Итак, потерпев неудачу в Германии и России в поисках поддержки для своей школы, я решила попытать счастья в Англии. Летом 1908 года я повезла свою паству в Лондон. Под управлением знаменитых импресарио Жозефа Шумана и Чарлза Фромана мы танцевали в течение

нескольких недель в театре Дюк-оф-Йорк. Лондонская публика рассматривала меня и мою школу как очаровательную забаву, но я не смогла найти у нее существенной помощи для учреждения будущей школы.

Семь лет прошло с тех пор, как я впервые танцевала в Новой Галерее. Я имела удовольствие возобновить прежнюю дружбу с Чарлзом Галле и поэтом Дугласом Энслаем. Часто приходила в театр великая и прекрасная Эллен Терри. Она любила детей и однажды повела их всех, к их радости, в зоологический сад.

В течение короткого времени меня питали надежды на школу в Англии, но кончились они новым разочарованием.

Как всегда, моя скромная паства требовала огромных расходов. Опять мой счет в банке иссяк, и под конец моя школа оказалась вынужденной вернуться в Грюневальд, где я подписала с Чарлзом Фроманом контракт на турне по Америке.

Расставание со школой, с Элизабет и с Крэггом стоило мне больших страданий, но особенно печален был разрыв крепких уз между мной и моей девочкой, Дердри, которой почти минул год.

И вот в один прекрасный день я очутилась совсем одна на большом пароходе, направлявшемся в Нью-Йорк, как раз спустя восемь лет с тех пор, как уехала отсюда на судне для перевозки скота. В Европе я была уже знаменита. Я успела создать искусство, школу, родить ребенка. Не так уж плохо! Но в финансовом отношении я была не намного богаче, чем прежде.

Чарлз Фроман был видным антрепренером, но он не понимал, что мое искусство нельзя подвергать риску, как театральные спектакли. Оно могло интересовать лишь очень ограниченный круг зрителей. А Фроман выпустил меня в августовский зной и в качестве аттракциона на Бродвее с маленьким неполным оркестром, пытавшимся играть «Ифигению» Глюка и Седьмую симфонию Бетховена. Результатом, как и надо было ожидать, явилась полная неудача. Немногие зрители, которые заходили в театр в эти знойные вечера, когда жара достигала девяноста градусов ¹ и даже выше, приходили в недоумение и большинство оставались недовольными тем, что увидели. Отзывы немногих рецензентов оказались отри-

¹ По шкале Фаренгейта, применяемой в Америке, 90° соответствуют 32° тепла по Цельсию.

цательными. В общем, я не могла не чувствовать, что мое возвращение на родину явилось большой ошибкой.

Как-то вечером, сидя в своей уборной и чувствуя себя особенно обескураженной, я услышала приятный задушевный голос, приветствовавший меня, и увидела стоящего на пороге мужчину невысокого роста с копной темных кудрявых волос и пленительной улыбкой. Он протянул мне руку непосредственным и доброжелательным жестом и наговорил мне столько прекрасных слов о впечатлении, произведенном на него моим искусством, что я почувствовала себя вознагражденной за все, что претерпела со дня своего прибытия в Нью-Йорк. Это был Джордж Грей Барнард, американский скульптор. С тех пор он каждый вечер приходил на мой концерт и часто приводил с собой артистов, поэтов и других своих друзей. Среди них были Дэвид Беласко ¹, театральный режиссер, художники Роберт Генри и Джордж Беллоуз, Перси Мак-Кей ², Макс Истмен ³, все молодые революционеры Гринвич-Вилледжа. Вспоминаю также трех неразлучных поэтов, живших вместе в башне у Вашингтон-сквер,— Э. А. Робинсона ⁴, Риджли Торренса и Уильяма Во Муди ⁵.

Дружеские приветствия и внимание поэтов и артистов бесконечно меня ободрили, возместив холодность и равнодушные нью-йоркской публики.

Джордж Грей Барнард задумал вылепить статую танцующей женщины под названием «Америка танцует». Он хотел, чтоб я была его моделью. Уолт Уитмэн сказал: «Я слышу, как поет Америка!» Как-то в один прекрасный октябрьский день, когда погода была такой, какая бывает лишь в Нью-Йорке осенью, мы стояли с Барнардом на холме, с которого открывается вид на окрестности. Протирая руки, я сказала:

— Я слышу, как Америка танцует.

И мои слова навели его на мысль вылепить статую.

Каждое утро я приходила в его студию, захватив с собой корзинку с завтраком. Мы провели много восхитительных часов, беседуя о перспективах искусства в Америке.

¹ *Беласко Дэвид* (1853—1931) — американский драматург, театральный деятель, режиссер, актер.

² *Мак-Кей Перси* (1875—?) — американский поэт и драматург.

³ *Истмен Макс* (1883—1969) — американский писатель и политический деятель.

⁴ *Робинсон Эдвин Арлингтон* (1869—1935) — американский поэт.

⁵ *Муди Уильям Во* (1869—1910) — американский поэт, драматург, историк театра.

Статуя «Америка танцует» была начата великолепно, но, увы, дальше она не подвигалась. Вскоре из-за внезапной болезни жены Барнарда пришлось отказаться от позирования. Я надеялась оказаться его шедевром, но не я вдохновила Барнарда, а Авраам Линкольн, статуя которого сейчас стоит в мрачном саду перед Вестминстерским аббатством.

Чарлз Фроман, найдя дальнейшее пребывание на Бродвее губительным, попробовал совершить турне по небольшим городам, но и оно было тоже плохо организовано и закончилось еще большей неудачей, чем даже концерты в Нью-Йорке. Наконец я потеряла терпение и отправилась поговорить с Чарлзом Фроманом. Я застала его очень расстроенным и вспоминающим о всех потерянных им деньгах.

— Америка не понимает вашего искусства, — сказал он. — Оно значительно выше ума американцев, и они никогда его не поймут. Вам было бы лучше вернуться в Европу.

У меня был контракт с Фроманом на шестимесячное турне с гарантией вне зависимости от успеха. Тем не менее, движимая чувством уязвленной гордости, а также из презрения к его страху перед риском, я взяла контракт и, разорвав его перед глазами Фромана, произнесла: «Во всяком случае, я освобождаю вас от всякой ответственности».

Следуя советам Джорджа Барнарда, много раз говорившего мне, что он гордится мной как детищем американской земли и что он будет очень горевать, если Америка не оценит моего искусства, я решила остаться в Нью-Йорке. Итак, я сняла студию в Боз-ар-билдинг ¹ и, убрав ее своими голубыми занавесами и ковром, приступила к созданию новой работы, танцуя каждый вечер перед поэтами и артистами.

Я радовалась, что послушалась советов Джорджа Грея Барнарда. Ибо однажды в студии появился человек, которому предстояло помочь мне снискать энтузиазм американской публики. Это был Вальтер Дамрош ². Он видел, как я танцевала Седьмую симфонию Бетховена в театре «Критерион» в сопровождении небольшого скверного оркестра, и у него хватило воображения по-

¹ Дом изящных искусств.

² *Дамрош Вальтер* (1862—1950) — американский композитор и дирижер. Завоевал известность как пропагандист творчества Р. Вагнера и других оперных композиторов.

нять, какое впечатление произвел бы этот танец, вдохновленный его собственным прекрасным оркестром, руководимым замечательным дирижером.

Дамрош предложил мне дать несколько концертов в «Метрополитен-Опера» в декабре, на что я с радостью согласилась.

Результат был в точности такой, как он предсказывал. На первом же концерте Чарлз Фроман, приславший за билетом в ложу, поразился, узнав, что в театре не осталось ни одного свободного места. Этот опыт доказывает, что, как бы велик ни был артист, без соответствующего обрамления может проиграть даже величайшее искусство. Так случилось с Элеонорой Дузе при ее первом турне по Америке. Из-за убогого обрамления она играла перед почти пустым залом и полагала, что Америка ее никогда не оценит. Между тем, когда она вернулась туда в 1924 году, ее встречали беспрестанными овациями от Нью-Йорка до Сан-Франциско именно потому, что на этот раз у Мориса Джеста оказалось достаточно артистической чуткости, чтобы понять ее.

Я очень гордилась тем, что я ездила с оркестром из восьмидесяти человек под управлением Вальтера Дамроша. Это турне оказалось особенно успешным, ибо во всем оркестре царило доброжелательное отношение и к его главе, и ко мне. В самом деле, я чувствовала к Вальтеру Дамрошу такую симпатию, что, когда я останавливалась посреди сцены, чтобы начать танцевать, мне казалось, что каждым нервом своего тела я связана с оркестром и его замечательным дирижером.

Это турне по Америке явилось, вероятно, счастливейшим временем в моей жизни. Я страдала только от естественной тоски по дому. Танцуя Седьмую симфонию, я представляла себя среди своих учеников, достигших уже того возраста, когда они смогут исполнять ее вместе со мной. Итак, моя радость была неполной, но меня питала надежда на будущую большую радость. Впрочем, в жизни и не бывает совершенной радости, а лишь надежда на нее. Последняя нота песни любви Изольды кажется совершенной, но ведь она означает смерть.

В Вашингтоне меня встретили настоящей бурей. Некоторые из министров в яростных выражениях протестовали против моих танцев.

Но внезапно в середине одного из утренних спектаклей появился в литерной ложе, к всеобщему изумлению, не кто иной, как сам президент Рузвельт. Он, казалось, наслаждался представлением и первым аплодировал по-

сле каждого номера программы. Он написал потом одному из своих друзей:

«Какой вред находят министры в танцах Айседоры? Она кажется мне такой же невинной, как дитя, танцующее в саду в утреннем сиянии солнца и собирающее прекрасные цветы своей фантазии».

Эта фраза Рузвельта, которая обошла газеты, привела проповедников морали в большое смущение и облегчила наше турне.

Когда мы вернулись в Нью-Йорк, я с удовлетворением узнала в своем банке, что на моем счету имеется изрядный вклад. Если бы я не тосковала о своем ребенке и о школе, я никогда не уехала бы из Америки. Но однажды утром я простилась с друзьями, собравшимися на пристани проводить меня, — Мэри и Билли Робертсами, поэтами, артистами — и вернулась в Европу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Элизабет привезла встречать меня в Париже двадцать учениц школы и моего ребенка. Вообразите мою радость! В течение шести месяцев я не видела своей девочки. Увидав меня, она недоуменно поглядела на меня и заплакала. Естественно, я тоже заплакала — казалось так странно и чудесно вновь держать ее в своих объятиях. А вот и второй мой ребенок — школа. Все ученицы очень выросли. Это была великолепная встреча.

Артист Люнье-По ¹ взял на себя заботы о моих концертах в Париже. Он ручался, что привезет в Париж Элеонору Дузе, Сюзанну Депре ² и Ибсена. Он заметил, что мое творчество нуждалось в определенном обрамлении, и ангажировал для меня театр «Гайете лирик» и оркестр Колонна с самим Колонном ³ во главе как дирижером. В результате мы покорили Париж штурмом. Такие поэты, как Анри Лаведан, Пьер Милль ⁴, Анри де Ренье ⁵, восторженно писали обо мне.

¹ Люнье-По (настоящая фамилия Люнье) Орельен Мари (1869—1940) — французский режиссер и актер. — *Прим. ред.*

² Депре (настоящие имя и фамилия Шарлотта Бувалле) (1874—1951) — французская актриса, жена режиссера Люнье-По. «Тончайшая и сложнейшая актриса Франции» (А. Луначарский). «Ее талант правдив и нежен...» (Э. Золя). — *Прим. ред.*

³ Колонн Эдуард (1838—1910) — французский скрипач и дирижер.

⁴ Милль Пьер (1864—1941) — французский писатель и журналист.

⁵ Ренье Анри Франсуа Жозеф де (1864—1936) — французский писатель.

Каждый мой концерт собирал сливки артистического и интеллектуального мира. Я, казалось, была очень близка к осуществлению своей мечты, и желанная школа рисовалась в пределах легкой досягаемости.

Я сняла две большие квартиры в доме № 5 на рю Дантон. Сама я жила на первом этаже, а на втором разместила всех детей школы с их воспитательницами. Однажды, как раз перед началом дневного концерта, я пережила сильный страх. Мой ребенок внезапно, без всяких симптомов начал задыхаться и кашлять. Я думала, что его болезнь может оказаться тяжелым крупом, и, наняв такси, помчалась по Парижу, пытаясь застать кого-нибудь из врачей дома. Наконец я нашла известного детского специалиста, который любезно отправился со мной и быстро успокоил меня, сказав, что ничего серьезного нет и это только кашель.

Я опоздала на дневной спектакль на полчаса. Колонн заполнил этот промежуток музыкой. В течение всех танцев я дрожала от страха за своего ребенка, которого обожала, и чувствовала, что, если с ним что-нибудь случится, я не переживу этого. Но все обошлось.

Дердри уже бегала и танцевала. Она была необыкновенно миловидна и казалась прекрасной миниатюрой с Эллен Терри.

Событием сезона явился бал у Бриссона ¹, на который были приглашены все артисты и литературные светила Парижа. Каждый должен был представлять собой какой-нибудь литературный персонаж. Я отправилась в качестве вакханки Еврипида и, будучи вакханкой, встретила Муне-Сюлли в греческой одежде, который мог бы олицетворять собой самого Диониса. Я танцевала с ним весь вечер — или, вернее, я танцевала перед ним, ибо великий Муне презирал современные танцы. Вокруг шептались, что наше поведение крайне скандально. Но в действительности оно было вполне невинно, и я доставила великому артисту несколько часов развлечения, которых он вполне заслужил. Казалось очень странным, что при своей американской невинности я могла в этот вечер так шокировать Париж!

Я успела достигнуть того предела, когда намечается материальный крах. Моих средств не хватало на покрытие всех расходов по моей растущей школе.

На деньги, которые зарабатывала сама, я усыновила

¹ Бриссон Адольф — французский журналист, критик.

и воспитывала сорок детей (двадцать из них находились в Германии, а двадцать — в Париже), заботилась о них. К тому же я помогала и другим людям. Однажды я шутя сказала своей сестре Элизабет:

— Так не может продолжаться! Я превысила свой счет в банке. Если мы хотим, чтобы школа продолжала существовать, то должны разыскать какого-нибудь миллионера.

Стоило мне высказать это пожелание, как оно овладело мной.

— Я должна разыскать какого-нибудь миллионера,— повторяла я сто раз на день, сперва шутя, потом всерьез.

Как-то утром после особенно удачного концерта в театре «Гайете лирик» я сидела в своей уборной перед зеркалом. Помнится, что накануне спектакля мои волосы были завернуты в папильотки и прикрыты кружевным чепчиком. Вошла моя горничная с визитной карточкой в руках, на которой я прочла очень известную фамилию. И внезапно в моем мозгу что-то запело:

— Вот мой миллионер! Впустите его!

Он вошел, высокий и белокурый, с вьющимися волосами и бородой. Моей первой мыслью было: «Лознгрин»¹. У него был очаровательный голос, но сам он казался застенчивым.

«Он похож на большого мальчика, которому подвязали бороду»,— подумала я.

— Вы меня не знаете, но я часто аплодировал вашему дивному искусству,— сказал он.

Странное ощущение овладело мною. Я уже встречала прежде этого человека. Но где? Как во сне, я вспомнила похороны князя де Полиньяка, себя, горько плачущую молодую девушку, длинные ряды родственников в боковом приделе церкви. Кто-то вытолкнул меня вперед. «Нужно поздороваться»,— шепнули мне. И, охваченная искренним горем от смерти своего дорогого друга, я пожимала руку всем родственникам, одному за другим.

Внезапно я вспомнила взгляд одного из них. Это был высокий человек, который сейчас стоял передо мной.

Мы впервые встретились в церкви возле гроба, что не пророчествовало счастьем. Тем не менее с этой минуты я поняла, что ко мне явился мой миллионер.

— Я восхищаюсь вашим искусством, вашей смело-

¹ Лознгрин — действующее лицо немецкой средневековой поэмы, использованной Рихардом Вагнером для своей одноименной оперы. Лознгрин выступает в ней защитником угнетенной женщины.

стью, вашей школой. Я пришел помочь вам. Что я могу для вас сделать? Не хотели бы вы, например, поехать со всеми вашими танцующими детьми на небольшую виллу на Ривьере, у моря, и там создавать новые танцы? О расходах вам не следует беспокоиться. Я принимаю их на себя. Вы совершили огромную работу, вы, должно быть, устали. Возложите же все теперь на меня.

Через неделю вся моя маленькая труппа находилась в вагоне первого класса, уносясь к морю и солнечному свету. Лознгрин встретил нас на вокзале. Одетый во все белое, он, казалось, сиял. Он отвез нас на небольшую виллу у моря. С ее террасы он указал нам на свою белокрылую яхту.

— Она называется «Леди Алиция», — сказал он. — Но может быть, теперь мы переименуем ее в «Ирис».

Вокруг нас под апельсиновыми деревьями танцевали дети в своих коротких синих туниках. Лознгрин был необыкновенно ласковым и очаровательным с детьми и позаботился об удобствах каждого в отдельности. Его преданность детям присоединила доверие к тому чувству благодарности, которое я уже питала к нему. Благодаря ежедневному общению, этому чувству суждено было вскоре перерасти в нечто более глубокое. В то время, однако, я относилась к нему лишь как к своему рыцарю, почти благоговейно поклоняясь ему на расстоянии.

Я с детьми находилась на вилле в Больё, но Лознгрин жил в фешенебельном отеле в Ницце. Время от времени он приглашал меня пообедать с ним. Помню, как я приехала в отель в своей скромной греческой тунике и смутилась, встретив там женщину в чудном ярком платье, увешанную бриллиантами и жемчугами. Я сразу почувствовала в ней своего врага. Она вселила в меня страх, который впоследствии оправдался.

Как-то вечером Лознгрин с присущей ему щедростью пригласил большую компанию на бал-маскарад в казино. Он обеспечил каждого костюмом Пьеро. Впервые в своей жизни я надела такой костюм, впервые присутствовала на публичном костюмированном балу. Празднество оказалось веселым. Для меня его омрачало лишь одно облачко. Дама в бриллиантах, тоже в костюме Пьеро пришла на бал. Смотреть на нее было для меня пыткой.

В разгаре всех дурачеств меня внезапно позвали к телефону. Чей-то голос сообщил из виллы в Больё, что Эрика, одна из учениц школы, внезапно заболела крупом. Положение серьезное, может быть, она умирает. Я кину-

лась от телефона к накрытому столу, за которым Лознгрин занимал своих гостей. Я велела ему подойти к телефону. Нам надо было позвонить врачу. И именно здесь, вблизи телефонной будки, в пылу нашего общего смиятия преграда рухнула и наши губы встретились в первый раз. Но мы не потеряли ни одной секунды. Автомобиль Лознгрин стоял у дверей. Оставаясь в костюмах Пьеро, мы заехали за врачом и помчались в Больё. Там мы застали маленькую Эрику задыхающейся, с почерневшим лицом. Врач приступил к своему делу. Мы, два перепуганных Пьеро, ждали возле постели приговора. Два часа спустя, когда рассвет прокрадывался в окно, врач объявил, что ребенок спасен. Слезы, размывая грим, текли у нас по щекам, но Лознгрин заключил меня в объятия.

— Мужайся, дорогая. Вернемся к нашим гостям.

По дороге назад, крепко прижимая меня к себе, он шептал:

— Дорогая, если даже воспоминание об этой ночи окажется единственным, я буду любить тебя вечно.

В казино время текло так быстро, что большинство гостей едва заметили наше отсутствие.

Однако одна из них считала каждую минуту. Маленькая дама в бриллиантах ревниво следила за нами, когда мы уезжали, и когда вернулись, она схватила со стола нож и бросилась на Лознгрин. К счастью, он вовремя понял ее намерение и крепко сжал ее запястье, затем в мгновение ока высоко поднял ее над головой. Удерживая так, он отнес ее в комнату для дам, словно весь инцидент являлся шуткой, заранее подстроенной для карнавала. Там он передал даму служителям, спокойно сказав, что с ней случилась легкая истерика и ей, очевидно, нужно выпить немного воды. Лознгрин вернулся в балльный зал как ни в чем не бывало, в беспечном, прекрасном настроении. И в самом деле, веселье всех гостей усилилось и достигло своей наивысшей точки в пять часов утра, когда я танцевала с Максом Дирли танго апашей, вкладывая в танец бурные и противоречивые волнения вечера.

Когда с восходом солнца гости разошлись, дама в бриллиантах вернулась в свой отель одна, а Лознгрин остался со мной.

На следующее утро он предложил мне бежать на яхте, уже получившей новое имя. Мы захватили с собой мою маленькую девочку и, оставив школу на попечение воспитательниц, отплыли в Италию.

Деньги несут с собой проклятие, и люди, которые обладают ими, не могут быть счастливыми даже в течение двадцати четырех часов.

Если бы я сознавала, что человек, с которым нахожусь, обладает психологией испорченного ребенка, что каждое мое слово и каждый поступок должны быть тщательно обдуманы, чтобы ему понравиться, все пошло бы хорошо. Но я была слишком молода и наивна, чтобы понимать это, и болтала, объясняя ему свои мысли о жизни, «Республике» Платона, Карле Марксе и всеобщем преобразовании мира, не имея ни малейшего представления о губительном впечатлении своих слов. Этот человек, который заявлял, что любит меня за мою отвагу и великодушие, приходил во все большую тревогу, когда понял, какую пламенную революционерку он принял на борт своей яхты. Постепенно он уяснил себе, что ему не удастся примирить мои идеалы со своим спокойствием. Но последняя капля переполнила чашу, когда однажды вечером он спросил меня, какое мое любимое стихотворение. Обрадованная, я принесла ему книгу и прочла «Песню открытой дороги» Уолта Уитмэна. Увлеченная своим энтузиазмом, я не замечала, какое впечатление производит мое чтение, и, взглянув на него, поразилась при виде его искаженного яростью красивого лица.

— Какой вздор! — воскликнул он. — Этому человеку никогда не удавалось заработать себе на жизнь.

— Разве ты не видишь, — воскликнула я, — что им владели грезы о свободной Америке?!

— Будь прокляты эти грезы!

И внезапно я поняла, что его греза об Америке ограничивалась десятками фабрик, создавших для него богатство. Но такова уж извращенность женщин, что после — как и после других подобных ссор — я кидалась в его объятия, забывая обо всем под его ласками. Я утешалась также мыслью, что скоро его глаза раскроются, он прозреет, и тогда он поможет мне создать великую школу для детей из народа.

Между тем великолепная яхта плыла все дальше по голубому Средиземному морю.

Я вижу все, словно это было вчера: широкую палубу яхты, стол, уставленный хрусталем и серебром для завтрака, и Дердри, танцующую в своей белой тунике. Конечно, я была влюблена и счастлива. И все же я беспрестан-

но вспоминала с неприятным чувством о кочегарах, поддерживавших огонь в машинном помещении, о пятидесяти матросах яхты, о капитане и его помощнике, обо всем, что требовало огромных расходов ради удовольствия двух людей. Подсознательно я тяготилась тем, что дни проходят и каждый отдаляет меня от цели. И иногда, приходя к неблагоприятным выводам, я противопоставляла довольство этой жизни в роскоши, ее непрерывное празднество жестокой борьбе в моей ранней молодости.

Мы провели один день в Помпее, и у Лознгрин зародилась романтическая мысль посмотреть, как я буду танцевать при лунном свете в храме Пестума¹. Он немедленно нанял небольшой неаполитанский оркестр, договорившись, что они должны отправиться к храму и ждать нашего прибытия.

Но как раз в этот день разразилась летняя буря с ливнем. Весь этот и следующий день яхта не могла покинуть гавань. Прибыв наконец в Пестум, мы застали оркестрантов промокшими насквозь и в очень жалком состоянии сидевшими на ступенях храма, где они прождали нас в течение суток.

Лознгрин заказал дюжину бутылок вина и ягненка, которого мы ели руками, как арабы. Измученные голодом оркестранты, наевшись и напившись до отвала и устав от ожидания в храме, совсем не имели сил играть. Опять заморосил легкий дождь. Мы отправились на яхту и отплыли в Неаполь. Оркестр сделал мужественную попытку играть нам на палубе, но началась качка, и оркестранты, позеленев от нее, один за другим ретировались в каюты.

Таков был конец романтической затеи танцевать при лунном свете в храме Пестума.

Лознгрин хотел продолжить плавание по Средиземному морю, но я вспомнила о контракте с моим импресарио в России. И, несмотря на все уговоры, решила выполнить контракт. Лознгрин привез меня в Париж. Он хотел было поехать со мной в Россию, но боялся затруднений с паспортом. Он наполнил мое купе цветами, и мы нежно распрощались.

Удивительно, что когда расстаешься с любимым человеком, то, несмотря на скорбь, одновременно испытываешь странное чувство освобождения.

¹ *Пестум* — античный город с сохранившимися остатками храмов VI—V вв. до н. э., оборонительных стен, театра и др.

Это турне по России проходило с таким же успехом, как и предыдущие, но его отметило одно происшествие, которое могло бы быть трагическим, но оказалось довольно-таки комическим. Как-то днем Крэг пришел повидаться со мной, и был момент, когда я находилась на грани того, чтобы поверить, что ничто для меня не имеет значения — ни школа, ни Лознгрин, ни все остальное, кроме радости, что я вижу его вновь. Как бы то ни было, преобладающей чертой моего характера является верность.

Крэг был очень оживлен: создание «Гамлета» для Художественного театра Станиславского находилось в самом разгаре. Все артисты труппы Станиславского были влюблены в него. Артисты восхищались его красотой, веселостью и необычайной живостью. Он часами разглагольствовал перед ними об искусстве театра, и они старались изо всех сил выполнять все прихоти его фантазии.

Увидев его, я вновь подверглась всем его чарам и обаянию, и все могло бы кончиться иначе, не будь со мной очень хорошенькой секретарши. В последний вечер, как раз накануне отъезда в Киев, я дала небольшой обед, на котором были Станиславский, Крэг и секретарша. Во время обеда Крэг спросил меня, предполагаю ли я остаться с ним или нет. Я не могла ему ответить, и он, впад в один из припадков бешенства, поднял секретаршу со стула, унес ее в другую комнату и запер дверь. Станиславский был страшно возмущен и сделал все, что было в его силах, чтобы убедить Крэга отпереть дверь. Когда стало ясно, что уговоры не возымели действия, нам ничего не оставалось, как поехать на вокзал. Там мы обнаружили, что поезд ушел уже десять минут назад.

Я вернулась со Станиславским на его квартиру, и в мрачном настроении мы старались говорить о современном искусстве, избегая упоминания о Крэге, но я видела, что Станиславский огорчен и возмущен поведением Крэга.

На следующий день я села в поезд на Киев. Там несколько дней спустя ко мне присоединилась несколько потрясенная и побледневшая секретарша. Когда я спросила ее, не хочет ли она остаться в России с Крэгом, она выразительно заявила, что не хочет. Итак, мы вернулись в Париж, где нас встретил Лознгрин.

Мне стали знакомы все по-настоящему хорошие рестораны Парижа, где перед Лознгрином заискивали,

словно перед королем. Все метрдотели и повара старались наперебой угодить ему, что не вызывало удивления, ибо он тратил деньги истинно по-королевски. Я впервые посетила модного портного и поддалась пагубному соблазну со стороны различных тканей, цветов, фасонов и даже шляп. Я всегда носила короткую белую тунику — шерстяную зимой, льняную летом, но теперь, не в силах противиться искушению, стала заказывать и носить красивые платья. У меня, впрочем, было одно оправдание. Поль Пуаре был не обычный, а талантливейший портной, умевший одеть женщину так, что она выглядела как произведение искусства.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Лето мы провели на яхте у берегов Бретани. Часто море так бушевало, что я сходила с яхты и следовала за нею вдоль побережья на автомобиле. Лоэнгрин не покидал борта, но он был не слишком хорошим моряком, и часто его лицо становилось темно-зеленым. Таковы удовольствия богачей!

В октябре я отплыла в Америку.

Лоэнгрин никогда еще не видел Америки. Разумеется, он снял на пароходе роскошное помещение, каждый вечер нам печатали специальное меню, и мы путешествовали, как особы королевского достоинства. Путешествие с миллионером, конечно, все упрощает, и все, направо и налево, склонялись ниц перед нами.

В США существует какой-то закон, не разрешающий двум любовникам путешествовать вместе. Бедному Горькому и женщине, в течение семнадцати лет прожившей с ним, создавали одну неприятность за другой, превратив их жизнь в муку, но, разумеется, если человек очень богат, эти неприятности совершенно сглаживаются.

Турне по Америке оказалось в высшей степени счастливым, успешным и удачным, ибо деньги идут к деньгам. Но однажды в январе ко мне в уборную пришла какая-то очень нервная дама и воскликнула:

— Однако, моя дорогая мисс Дункан, ваша беременность видна из первого ряда. Вы не можете так дальше продолжать.

Но я возразила:

— О, дорогая миссис Х, но это именно то, что я же-

лаю выразить своим танцем: любовь — женщину, развитие — весну. И мой танец выражает это.

Миссис Х растерялась от моих слов, но мы решили, что лучше прекратить гурне и вернуться в Европу, так как мое благословенное состояние действительно стало вполне явным.

Я была очень рада, что Августин со своими маленькими детьми возвращается вместе с нами. Он успел развестись со своей женой, и я надеялась, что поездка привлечет его.

* * *

По предложению Лознгрена, которое я приняла после некоторого колебания, мы провели зиму, катаясь по Нилу.

Когда дагоба — нильское судно — медленно пробирается по Нилу, душа устремляется на тысячу, на две тысячи, на пять тысяч лет назад сквозь мглу прошлого к вратам вечности.

Что я помню из этой поездки в Египет? Пурпурный восход солнца, алый закат, золотые пески пустыни, храмы. Солнечные дни, проведенные в храме в грезах о жизни фараонов, грезах о моем грядущем ребенке. Крестьянских женщин, шагающих по берегам Нила, держа сосуды в равновесии на голове, их мощные тела, раскачивающиеся под темными тканями. Тонкую фигурку Дердри, танцующую на палубе. Дердри, гуляющую по древним улицам Фив.

Увидав сфинкса, она сказала:

— О, мама, эта куколка не очень красивая, но какая внушительная!

Она только училась словам, состоявшим больше чем из двух слогов. Помню маленького ребенка перед храмами вечности — гробницами фараонов, долину царей и караваны, пересекающие пустыню, ветер, волнами уносящий песок через пустыню, но куда? Восход солнца в Египте наступал с необычайной яркостью в четыре часа утра. После него заснуть было невозможно, ибо начинался упорный, беспрестанный визг устройств, черпающих воду из Нила.

Дагоба медленно двигалась под пение матросов. Ночи были прекрасны. У нас было с собой пианино «Стейнвей», и нас сопровождал очень талантливый молодой английский артист, каждый вечер игравший нам Баха и Бетховена, мелодии которых так гармонировали с просторами и храмами Египта.

Несколько недель спустя мы достигли Вади Гальфу и проникли в Нубию, где Нил становился таким узким, что можно почти коснуться противоположного берега. Здесь мои спутники покинули меня, чтобы отправиться в Хартум; а я осталась с Дердри одна на дагобе и в течение двух недель провела самые мирные дни моей жизни в этой чудесной стране, где все терзания и муки кажутся ничтожными. Нашу дагобу, казалось, раскачивал ритм эпох. Для тех, кто может себе это позволить, поездка по Нилу в хорошо снаряженной дагобе служит наилучшим целебным отдыхом в мире. Для нас Египет является страной грез, для несчастных же феллахов — страну труда.

* * *

Вернувшись во Францию, мы высадились на берег в Виллафранше, и Лознгрин арендовал на сезон великолепную виллу в Больё. С присущей ему порывистостью он забавлялся, скупая землю на мысе Ферра, где он намеревался построить огромный итальянский замок.

Мы совершали автомобильные поездки, чтобы посетить башни Авиньона и стены Каркассоны, которые должны были также служить моделью для нового замка. Замок стоит сейчас на мысе Ферра, но, увы, подобно многим из прихотей Лознгрина, он не был закончен.

В эти дни Лознгрин был одержим болезненной непоседливостью. Если он не бросался на мысе Ферра покупать землю, то мчался экспрессом в Париж в понедельник и возвращался в среду. Я спокойно оставалась в саду, размышляя о раздоре между жизнью и искусством, и часто задавалась вопросом, может ли женщина действительно быть артисткой, ибо искусство — суровый и требовательный наставник, между тем как женщина, которая любит, жертвует всем ради любви. Так или иначе, во второй раз я оказалась совершенно разлученной со своим искусством.

Первого мая утром родился мой сын.

Не похожий на деревенского врача, искусный доктор Боссен смог облегчить страдания разумными дозами морфия, и второе испытание прошло совершенно иначе, чем первое.

Дердри вошла в мою комнату, ее прелестное личико было исполнено преждевременной материнской нежностью.

— О, какой хорошенький мальчик, мама. Ты не долж-

на о нем беспокоиться. Я буду его всегда держать на руках и заботиться о нем.

Я вспомнила ее слова, когда Дердри умерла, сжимая брата в своих белых окоченевших ручонках.

Так, еще раз я очутилась у моря, лежа с ребенком на руках, но вместо маленькой белой, раскачиваемой ветром виллы «Мария» тут был пышный дворец, вместо пасмурного, беспокойного Северного моря — голубое Средиземное.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Когда я вернулась в Париж, Лознгрин спросил меня, не хочу ли я устроить празднество для всех своих друзей, и предложил мне выработать его программу. Мне кажется, что богачи никогда не знают, как себя развлечь. Если они устраивают обед для гостей, то он не слишком отличается от обеда бедной консьержки. Я всегда мечтала, какое чудесное празднество можно устроить, имея достаточно денег. И вот как я его устроила.

Гостей пригласили прибыть в четыре часа дня в Версаль. Там в парке были расставлены палатки с разнообразнейшими закусками и напитками, начиная от икры и шампанского и кончая чаем и пирожными. После этого на открытом воздухе, где были сооружены шатры, оркестр Колонна под управлением Пьерне исполнил нам программу из произведений Рихарда Вагнера.

Помню, как в тот прекрасный летний день под сенью огромных деревьев дивно звучала идиллия Зигфрида, а при заходе солнца величественно и торжественно раздавались мелодии похоронного марша Зигфрида.

После концерта гостям были предложены более прозаические удовольствия. Пир продолжался до полуночи, местность иллюминировала, и под звуки венского оркестра все танцевали до раннего утра.

Таково было мое представление о том, как богач должен тратить свои деньги, если он хочет развлечь друзей. На этот праздник собрались все сливки Парижа, и они действительно оценили его.

Но удивительнее всего — невзирая на то что я устроила весь праздник, чтобы доставить удовольствие Лознгрину, и что он стоил ему 50 тысяч франков (при этом довоенных франков!), Лознгрин на нем не присутствовал.

Приблизительно за час до праздника я получила те-

леграмму, в которой говорилось, что с ним случился удар, он очень болен и не может приехать, но я должна принять гостей без него.

В то же лето Лознгрин вбил себе в голову, что мы должны пожениться, хотя я и говорила, что противница брака.

— Артистке глупо быть замужем,— говорила я,— ведь я должна проводить свою жизнь в турне по всему свету, и разве ты согласился бы проводить свою жизнь, любуясь мной из ложи?

— Тебе не пришлось бы совершать турне, если бы ты была замужем,— ответил он.

— Что же мы станем тогда делать?

— Мы будем проводить время в моем доме в Лондоне или в моем имении в деревне.

— А потом?

— А на потом у нас остается яхта.

— Ну а дальше?

Лознгрин предложил, чтобы мы испытали совместную жизнь в течение трех месяцев.

— Если она тебе не понравится, я буду крайне удивлен.

Итак, летом мы отправились в Девоншир, где у него был чудесный замок, который он построил по образцу Версаля и Малого Трианона, с множеством спален и ванн-ных комнат. Все это было отдано в мое распоряжение, включая четырнадцать автомобилей в гараже и яхту в гавани. Но я не приняла в расчет дождь, который в Англии летом идет круглые сутки. Англичане, по-видимому, совершенно не обращают на него внимания.

Они встают и рано завтракают яйцами, свиной грудинкой, окороком, почками и овсяной кашей. Затем они надевают макинтоши и отправляются гулять по сырой местности, вплоть до ланча, за которым съедают множество блюд, запивая их девонширскими сливками.

От ланча до пяти часов предполагается, что они заняты своей корреспонденцией, хотя я думаю, что на самом деле они ложатся спать. В пять они спускаются к чаю, к которому подается много сортов пирогов, хлеб, масло и варенье.

После чая они делают вид, что играют в бридж, пока не наступает время приступить к действительно важному делу — пересодеванию к обеду, на котором они появляются в полном вечернем наряде,— дамы в глубоких декольте, джентльмены в накрахмаленных сорочках,— чтобы уничтожить обед из двадцати блюд.

Когда он закончен, они ведут легкую политическую беседу или затрагивают философию, пока не наступает время расходиться.

Как вы представляете себе, нравилась мне эта жизнь или нет?

По прошествии двух недель я пришла в отчаяние.

В замке имелся чудесный зал для балов, отделанный гобеленами, в котором висела картина «Коронация Наполеона» кисти Давида. Кажется, Давид нарисовал две таких картины: одна из них находится в Лувре, другая — в бальном зале дома Лоэнгрин, в Девоншире.

Заметив мое отчаяние, Лоэнгрин спросил:

— Почему бы тебе не начать танцевать в бальном зале?

Я вспомнила о гобеленах и картине Давида.

— Разве я могу перед ними проделывать свои простые жесты на маслянистом, воощеном полу?

— Если это все, что тебя смущает, — сказал он, — пошли за своими занавесами и ковром.

Итак, я послала за занавесами, которые повесили поверх гобеленов, а ковер разостлала на навоощенном полу.

— Но мне необходим пианист.

— Пошли за пианистом, — сказал Лоэнгрин.

Я телеграфировала Колонну: «Провожу лето в Англии. Должна работать. Пришлите пианиста».

В оркестре Колонна был первый скрипач, человек очень странного вида, с огромной головой, раскачивающейся на неуклюжем теле. Первый скрипач играл также и на пианино, и Колонн в свое время как-то предоставил его мне. Но этот человек был мне так несимпатичен, что всякий раз, когда я глядела на него или прикасалась к его руке, он внушал мне чувство острого физического отвращения. Я попросила тогда Колонна не приводить его ко мне. Колонн сказал, что скрипач обожает меня, но я заявила, что ничего не могу поделать против чувства отвращения, внушаемого им, и что я просто не могу его выносить. Однажды вечером Колонн заболел и, будучи не в состоянии дирижировать мне в театре «Гайете лирик», прислал этого человека в качестве замены. Я очень рассердилась и заявила:

— Я не могу танцевать, если он будет мне дирижировать.

Он вошел ко мне в уборную и, глядя на меня со слезами, произнес:

— Айседора, я обожаю вас, позвольте мне дирижировать сегодня.

Я холодно взглянула на него:

— Нет. Я должна вам объяснить, что вы мне физически противны.

Он расплакался.

Публика ждала, и Люнье-По убедил Пьерне управлять оркестром вместо Колонна.

В один особенно дождливый день я получила телеграмму от Колонна: «Высылаю пианиста. Прибудет в таком-то часу, такого-то дня».

Я поехала на вокзал, и каково было мое удивление при виде этого Х., сходящего с поезда.

— Как могло случиться, что Колонн прислал вас? Он знает, что я вас ненавижу и питаю к вам отвращение.

— Прошу прощения, мадам, метр послал меня,— запинаясь, пробормотал он.

Когда Лоэнгрин узнал, каким был пианист, он сказал:

— По крайней мере, мне незачем ревновать.

Лоэнгрин все еще страдал от последствий того, что он всегда считал ударом. За ним в замке ухаживал врач и опытная сиделка. Они очень настойчиво указывали мне, как я должна себя вести. Меня поместили в отдаленной комнате на противоположном конце дома и заявили, что никоим образом я не должна тревожить Лоэнгрин, которому надлежало безвыходно сидеть в своей комнате на диете из риса, макарон и воды. Каждый час приходил доктор, чтобы проверить его кровяное давление.

Все это значительно усугубляло мои тревожения и в сочетании с нескончаемыми дождями, возможно, может послужить объяснением следовавших необычайных событий.

Чтобы превозмочь скуку и рассеять тоску, я приступила к работе с Х., как бы он ни был мне противен, но всякий раз, когда он играл мне, я загораживала его ширмой, заявляя:

— Вы невыразимо мне неприятны, я не выношу вашего вида.

В замке находилась графиня А., старый друг Лоэнгрин.

— Как вы можете так обращаться с бедным пианистом? — говорила она и однажды настояла, чтобы я пригласила его сопровождать нас во время прогулки, которую мы ежедневно совершали после завтрака в закрытом автомобиле.

Я пригласила Х. с крайней неохотой. В автомобиле не было откидных сидений, и нам пришлось всем сидеть рядом. Я находилась в центре, по правую руку села графиня, а по левую — Х. Как обычно, шел проливной дождь. Когда мы проехали некоторое расстояние, меня охватило такое отвращение к Х., что я постучала в стекло и велела шоферу повернуть и ехать домой. Он кивнул головой и, желая мне угодить, сделал резкий поворот. Проселочная дорога была полна выбоин, и при повороте автомобиля толчок бросил меня в объятия Х. Он прижал меня к себе. Откинувшись и глядя на него, я внезапно ощутила, как все мое существо запылало, словно ворох зажженной соломы. Никогда еще я не ощущала такого неистового чувства.

По дороге назад я не отводила от него взгляда в состоянии, близком к страстному иступлению. Когда мы вошли в замок, он взял меня за руку и, все еще не спуская с меня глаз, тихонько увлек за ширмы в бальном зале. Как могло случиться, что такая неистовая неприязнь породила такую же неистовую любовь?

Единственным возбуждающим средством, назначенным в то время Лоэнгрину, являлось известное открытие, ныне продающееся тысячами бутылок. Полагают, что оно возбуждает деятельность фагоцитов. Дворецкому было приказано ежедневно подносить гостям, передавая привет от Лоэнгрина, это возбуждающее средство. Хотя я и выяснила впоследствии, что доза не должна превышать чайной ложки, Лоэнгрин настаивал, чтобы мы принимали его рюмками.

Со дня происшествия в автомобиле мы с Х. были одержимы единственным стремлением остаться наедине — в оранжерее, в саду, даже во время долгих прогулок по грязным деревенским дорогам. Но неистовая страсть умирает лишь насильственной смертью, и наступил день, когда Х. пришлось покинуть замок, чтобы никогда в него не вернуться. Мы принесли эту жертву ради спасения жизни человека, которого все считали умирающим.

Этот эпизод доказал мне, что я совершенно не подхожу для семейной жизни. И осенью, став немного опытнее и печальнее, я отплыла в Америку, чтобы выполнить третий контракт. В сотый раз я приняла решение, что впредь всю свою жизнь посвящу искусству, которое, несмотря на всю свою суровую требовательность, все же неизмеримо благодарнее людей.

Во время этого турне я обратилась с ясно выражен-

ным призывом к Америке помочь мне учредить свою школу. Мой трехлетний опыт роскошной жизни убедил меня, что жизнь моя исполнена безнадежности, непроизводительных усилий и эгоизма, и доказал мне, что подлинную радость можно найти лишь в творчестве для общества. Зимой я обратилась с речью к публике, восседавшей в ложах «Метрополитен-Опера», и газеты приводили ее под скандальным заголовком: «Айседора наносит оскорбление богатым». Я сказала приблизительно следующее:

«Часто заявляют, что я высказывала отрицательные отзывы об Америке. Может быть, но они не означают, что я не люблю Америки. Может быть, они означают лишь, что я ее слишком люблю. Я знала как-то мужчину, страстно влюбленного в женщину, которая не разделяла его страсти и дурно обращалась с ним. Каждый день он писал ей оскорбительные письма. Когда она спросила его: «Почему вы пишете мне такие дерзости?», он ответил: «Потому что я безумно вас люблю».

Психолог даст вам объяснение этого случая, и, вероятно, таково же мое отношение к Америке. Разумеется, я люблю Америку. Разве эта школа, эти дети, разве все мы не являемся духовным потомством Уолта Уитмэна? И этот танец, который называют «греческим», тоже рожден Америкой, он является танцем Америки будущего. Все эти движения — откуда они произошли? Они возникли из великой природы Америки, из Сьерра-Невады, из Тихого океана, омывающего берега Калифорнии, из великих пространств Скалистых гор, из долины Иоземита, из Ниагарского водопада.

Бетховен и Шуберт всю свою жизнь оставались детьми народа. Они были бедняками, и их великое творчество вдохновлялось человечеством и принадлежит ему. Людям нужны великая драма, музыка, танец.

Мы поехали в Ист-Сайд и дали там концерт бесплатно. Некоторые говорили мне: «Если вы исполните в Ист-Сайде симфонию Шуберта, она не понравится зрителям».

И вот мы дали бесплатный концерт (театр без кассы — это так ново и интересно!). Зрители сидели как зачарованные, слезы текли у них по щекам — вот как они приняли его к сердцу! Сокровища жизни, поэзии и искусства должны быть представлены обитателям Ист-Сайда. Постройте для них огромный амфитеатр — единственно демократический вид театра, где всем одинаково видно, где нет ни лож, ни балконов. Поглядите на галерею: разве

вы считаете, что справедливо сажать человеческие существа под потолком словно мух, а затем требовать, чтобы они оценили искусство или музыку?

Постройте простой и красивый театр! Не надо позолоты, не нужно всех этих украшений и побрякушек! Искусство не нуждается во внешних обрядах. В нашей школе нет ни костюмов, ни украшений — лишь красота и тело, служащее ей символом. И если мое искусство вас здесь чему-нибудь научило, то, надеюсь, именно этому. Красоту нужно искать и находить в детях, в сиянии их глаз и в красоте их ручек, простертых в прекрасных движениях. Вы видели их на сцене, они пересекали сцену рука об руку, они прекраснее, чем любое жемчужное ожерелье, принадлежащее какой-либо из женщин, сидящих в этих ложах. Дайте же красоту, свободу и силу детям! Дайте искусство народу, который нуждается в нем! Великая музыка не должна более ограничиваться услаждением кучки культурных людей, она должна быть бесплатно дана массам; она им необходима так же, как хлеб и воздух, ибо она — духовное вино человечества».

Никогда не забуду своего возвращения в Париж. Перед отъездом я оставила своих детей в Версале с гувернанткой. Когда я отворила дверь, мой маленький сын подбежал ко мне. Золотистые кудри окружали ореолом его милое личико, а ведь оставила я его крошечным ребенком в колыбели.

В 1908 году я купила в Нёйи студию Жерве, в которой имелся концертный зал. Теперь я переехала жить туда со своими детьми. В этой студии я обычно работала целые дни, а иногда и ночи напролет с моим верным другом Хенером Скене, который был замечательно талантливым и неутомимым. Часто мы начинали работать утром, и так как дневной свет совсем не проникал в студию, обвешанную кругом моими голубыми занавесами и освещенную дуговыми лампами, то не замечали, как проходит время. Изредка я спрашивала: «Вы не голодны? Который сейчас может быть час?»

И, посмотрев на часы, мы обнаруживали, что уже четыре часа утра.

Домик для моих детей, гувернантки и няни находился в саду, и поэтому музыка никогда не беспокоила их. Сад был прекрасен, и весной, и летом мы танцевали в студии при раскрытых дверях.

В этой студии мы не только работали, но и веселились. Лоэнгрин находил удовольствие, устраивая званые

обеда и празднества. Часто обширная студия превращалась в тропический сад или в испанский дворец, и туда являлись все артисты и знаменитые люди Парижа.

Как-то вечером, помню, Сесиль Сорель, Габриелле Д'Аннунцио и я сымпровизировали пантомиму, в которой Д'Аннунцио обнаружил большой комедийный талант.

* * *

В течение многих лет я была предубеждена против него благодаря своему поклонению перед Дузе. Я считала, что он скверно поступил с ней, и отказывалась встречаться с ним. Один из моих друзей как-то спросил: «Можно мне привести к вам Д'Аннунцио?» Но я возразила: «Нет, не надо, если я его увижу, то встречу очень грубо».

Но, вопреки моему желанию, однажды друг пришел ко мне вместе с Д'Аннунцио.

Хотя я никогда раньше его не видела, но воскликнула:

— Добро пожаловать! Как вы очаровательны!

Когда Д'Аннунцио встретил меня в Париже в 1912 г., он решил покорить меня. Это не может служить мне особым комплиментом, ведь Д'Аннунцио стремился покорять всех знаменитых женщин мира. Но я оказала ему сопротивление из-за своего преклонения перед Дузе. Я решила, что буду единственной женщиной, которая выстоит перед ним.

Когда Д'Аннунцио стремился покорить женщину, он присылал ей каждое утро небольшое стихотворение и цветок как символ стихотворения. Каждое утро в восемь часов я получала такой цветок.

Как-то вечером (я занимала тогда студию вблизи отеля «Байрон») Д'Аннунцио сказал мне с особенным ударением:

— Я приду в полночь.

Весь день я со своим другом готовила студию. Мы наполнили ее белыми цветами — белыми лилиями — теми цветами, которые приносят на похороны. Потом мы зажгли мириады свечей. Д'Аннунцио, казалось, поразился при виде студии, которая, благодаря всем этим зажженным свечам и белым цветам, стала похожей на готическую часовню. Мы подвели Д'Аннунцио к дивану, заваленному грудой подушек. Прежде всего я протанцевала перед ним. Затем осыпала его цветами и расставила кругом него свечи, плавно и ритмично ступая под звуки Траурного марша Шопена.

Постепенно я погасила все свечи одну за другой, оставив зажженными лишь те, которые горели у его головы и в ногах. Он лежал словно загипнотизированный. Затем, все еще плавно двигаясь под музыку, я потушила свечи у его ног. Но когда я торжественно направилась к одной из свечей, горевших у его головы, он поднялся на ноги и с громким и пронзительным криком ужаса бросился из студии. Тем временем, мы с пианистом, обессилев от смеха, свалились друг другу на руки.

Вскоре я пригласила Д'Аннунцио позавтракать в отель «Трианон Палас». Мы отправились туда в автомобиле.

— Не хотите ли перед завтраком совершить прогулку по лесу?

— О, конечно, это было бы прекрасно.

Мы направили автомобиль в Марлийский лес, и там, выйдя из машины, углубились в него. Д'Аннунцио был в экстазе.

Побродили немного по лесу, и я заявила:

— А теперь вернемся завтракать.

Но мы не могли отыскать автомобиля. Мы попытались пешком дойти до отеля «Трианон», но шли, шли и никак не могли найти выхода. Наконец Д'Аннунцио жалобно запричитал, как ребенок:

— Я хочу завтракать! Я хочу завтракать! Мой мозг требует пищи. Я не могу идти дальше, когда умираю с голода.

Я утешала его, как только умела. Наконец мы нашли выход и добрались до отеля, где Д'Аннунцио великолепно позавтракал.

Несколько лет спустя, во время войны я приехала в Рим и остановилась в отеле «Регина». По странному случаю, Д'Аннунцио занимал комнату, соседнюю с моей. Каждый вечер он обычно отправлялся обедать к маркизе Казатти. Как-то вечером она пригласила меня на обед. Приехав в ее дворец, я вошла в прихожую. Она была вся отделана в греческом стиле. Усевшись здесь в ожидании прихода маркизы, я внезапно услышала направленную ко мне яростную тираду на самом вульгарном языке, какой себе только можно представить. Я осмотрелась и увидела зеленого попугая. Я заметила, что он не посажен на цепочку. Я поднялась и выскочила в соседнюю залу. Там я сидела, ожидая маркизу, когда внезапно услышала рычание — «ррр» — и увидела белого бульдога. Он не был на цепи. Я бросилась в соседнюю залу, которая была

устлана шкурами белых медведей. Даже стены были обвешаны медвежьими шкурами. Села там и принялась ждать маркизу. Внезапно я услышала шипение и увидела в клетке кобру, поднимающуюся на хвосте и шипевшую на меня. Я бросилась в следующую залу, всю отделанную тигровыми шкурами. Здесь я наткнулась на гориллу, скалившую зубы. Я кинулась в другую комнату, столовую и тут нашла секретаря маркизы. Наконец и маркиза спустилась к обеду:

— Я вижу, вы любите животных,— сказала я.

— О да, я обожаю их, особенно обезьян,— ответила она, глядя на своего секретаря.

Странно, но после этой возбуждающей закуски обед прошел крайне церемонно.

После обеда мы вернулись в залу с орангутангом, и маркиза послала за своей гадалкой. Она вошла в высоком остроконечном колпаке и плаще колдуньи и принялась предсказывать нам судьбу по картам.

И в эту минуту вошел Д'Аннунцио.

Д'Аннунцио был очень суверен и верил всем гадалкам.

Гадалка сказала ему: «Вы полетите по воздуху и совершите огромные подвиги. Вы упадете и окажетесь у врат смерти. Но вы пробьетесь сквозь смерть, избежите ее и доживете до великой славы».

Мне она сказала: «Вы сумеете пробудить нации к новой религии и основать великие храмы по всему миру. Вы находитесь под чрезвычайно прочной защитой, и когда вам грозит несчастный случай, вас охраняют великие ангелы. Вы доживете до очень преклонного возраста. Вы будете жить вечно».

После этого мы вернулись в отель. Д'Аннунцио сказал мне:

— Каждый вечер я буду приходить к вам в двенадцать часов. Я покорил всех женщин в мире, но я должен еще покорить Айседору.

И каждый вечер он приходил ко мне в двенадцать часов.

Он рассказывал мне удивительные вещи о своей жизни, своей юности и искусстве. Затем он принимался кричать:

— Айседора, я не могу больше! Возьми меня, возьми же меня!

Я тихонько выпроваживала его из комнаты. Так продолжалось около трех недель. Наконец я уехала.

В отеле «Трианон» у Д'Аннунцио была золотая рыбка, которую он любил. Она плавала в чудесной хрустальной чаше, и Д'Аннунцио обычно кормил ее и вел с ней беседы. Золотая рыбка шевелила плавниками и, словно отвечала ему, открывала и закрывала рот.

Однажды, остановившись в «Трианоне», я спросила у метрдотеля:

— Где золотая рыбка Д'Аннунцио?

— О, мадам, смешная история! Д'Аннунцио уехал в Италию и велел нам заботиться о ней. «Эта золотая рыбка,— сказал он,— дорога моему сердцу. Она — символ всего моего счастья!» И он телеграфировал: «Как поживает мой любимый Адольф?» Однажды Адольф начал плавать в чаше медленнее и перестал искать Д'Аннунцио. Я взял его и выбросил через окно. Но тут пришла телеграмма: «Чувствую, Адольф заболел». Я телеграфировал Д'Аннунцио: «Адольф умер прошлой ночью». Д'Аннунцио ответил: «Похороните его в саду. Приведите в порядок его могилу». Тогда я взял сардинку, завернул ее в серебряную бумагу и, зарыв в саду, поставил крест с надписью: «Здесь покоится Адольф». Вернувшись, Д'Аннунцио спросил:

— Где могила моего Адольфа?

Я показал ему могилу в саду. Он принес на нее кучу цветов и долго стоял, проливая над ней слезы.

* * *

Один из моих праздников завершился трагической развязкой. Я превратила студию в тропический сад, спрятав столики в густой листве и между редкими растениями. К этому времени я была несколько посвящена в различные парижские любовные интриги. Таким образом, я могла рассаживать пары, которые, как я знала, стремились остаться вместе. Гости все были наряжены в персидские костюмы, танцевали мы под звуки цыганского оркестра. Среди гостей находились Анри Батайль и Берта Беди, его известная переводчица,— мои давнишние друзья.

Как я уже говорила, моя студия походила на часовню и изнутри была задрапирована моими голубыми занавесами высотой приблизительно пятнадцать метров. Но на верхнем балконе имелась небольшая комната, преобразованная искусством Пуаре в истинное царство Цирцеи. Траурные черные бархатные занавесы отражались в настенных зеркалах в золотых рамах. Черный ковер и диван с подушками из восточных тканей завершали обстановку

комнаты. Окна ее были наглухо закрыты, а дверьми служили странные ниши, похожие на этрусские гробницы. Пуаре сказал, закончив отделку:

— Здесь будут поступать и говорить иначе, чем в обыкновенной комнате.

И это было правдой. Комнатка на верхнем балконе казалась прекрасной и очаровательной, но таила в себе опасность. Разве мебель не имеет своих характерных черт, которые отличают целомудренные постели от порочных кушеток, добродетельные стулья от греховных диванов? Так или иначе, произнося свои слова, Пуаре оказался прав. В этой комнате чувствовали и поступали иначе, чем в моей похожей на часовню студии.

В тот вечер, в два часа ночи, я очутилась в комнате Пуаре с Анри Батайлем. Несмотря на то что он ко мне всегда относился по-братски, сейчас, поддавшись очарованию обстановки, он говорил и действовал иначе.

И тут появился не кто иной, как Лоэнгрин. Увидев меня с Анри Батайлем на золотом диване, отраженном в бесчисленных зеркалах, он бросился в студию, принялся рассказывать обо мне гостям и заявил, что уходит, чтобы никогда больше не возвращаться. Это оказало несколько обескураживающее воздействие на гостей, но моментально изменило мое настроение от комического к трагическому. «Скорей,— сказала я Скене,— играйте смерть Изольды, иначе вечер будет испорчен». В мгновение ока я сбросила вышитую тунику и надела белое платье. Скене играл еще изумительней, чем обычно, и я танцевала до рассвета.

Итак, этому вечеру суждено было иметь трагические последствия. Несмотря на нашу невиновность, Лоэнгрин в нее не поверил и поклялся, что никогда со мной больше не встретится. Я тщетно оправдывалась, а Анри Батайль, который был очень расстроен этим инцидентом, дошел до того, что послал письмо Лоэнгрину. Все оказалось ни к чему.

Лоэнгрин согласился встретиться со мной лишь в автомобиле. Его проклятия обрушивались на мою голову, напоминая глухой трезвон адских колоколов. Внезапно он замолчал, открыл дверь автомобиля и вытолкнул меня в ночной мрак. В течение нескольких часов я, ошеломленная, бродила одна вдоль улиц. Незнакомые мужчины подмигивали мне и шептали двусмысленные предложения. Мир, казалось, превратился внезапно в ад.

Два дня спустя я узнала, что Лоэнгрин уехал в Египет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Моим лучшим другом и прекрасным утешителем в те дни явился музыкант Хенер Скене. У него был удивительный характер: он презирал успех и личное честолюбие. Он обожал мое искусство и лишь в те минуты был счастлив, когда играл мне. Его преклонение передо мной было самым глубоким, какое мне когда-либо приходилось встречать. Чудесный пианист со стальными нервами, он часто играл для меня всю ночь напролет. Одну ночь — симфонию Бетховена, другую — весь цикл «Кольца Нибелунгов», начиная от «Золотого Рейна» и кончая «Гибелью Богов».

В январе 1913 года мы совершили совместное турне по России. Эту поездку отметило странное происшествие. Как-то утром прибыв на рассвете в Киев, мы наняли сани, чтобы поехать в гостиницу. Не совсем очнувшись от сна, я внезапно увидела вполне явственно на другой стороне дороги два ряда гробов. Но они были не обыкновенными гробами, а детскими. Я стиснула руку Скене.

— Посмотри, — сказала я, — все дети, все дети умерли!

Он успокаивал меня.

— Но ведь там ничего нет!

— Как? Разве ты не видишь?

— Нет, там ничего нет, кроме снега, сугробов снега по обе стороны дороги. У тебя от переутомления странная галлюцинация.

Днем, желая отдохнуть и успокоить свои нервы, я отправилась в русскую баню. В России в банях устроены ряды длинных деревянных полок в жарком помещении. Когда банщица вышла, а я лежала на одной из этих полок, кровь внезапно прилила у меня к голове и я упала с полки вниз на мраморный пол.

Банщица нашла меня лежащей без сознания, и меня пришлось отнести обратно в гостиницу. Послали за врачом, и он установил у меня легкое сотрясение мозга.

— Вам ни в коем случае нельзя танцевать сегодня вечером. У вас сильная лихорадка...

— Но я не могу обманывать ожиданий публики.

И я настояла на том, что отправлюсь в театр.

Программа состояла из музыки Шопена. В конце концерта я вдруг сказала Скене:

— Сыграй Траурный марш Шопена.

— Но зачем? — спросил он. — Ведь ты его никогда не танцевала.

— Не знаю, сыграй его.

Я настаивала так серьезно, что он согласился с моим желанием, и я протанцевала под звуки марша. В своем танце я изображала, как человеческое существо на руках несет своего мертвого ребенка медленными, запинаящимися шагами к месту последнего успокоения.

Когда я закончила и упал занавес, наступила удивительная тишина. Я взглянула на Сkene. Он был смертельно бледен и дрожал. Он взял мои руки в свои. Они были холодны, как лед.

— Никогда не проси меня больше играть этот марш, — умолял он. — Я почувствовал саму смерть. Я даже вдыхал запах белых цветов... похоронных цветов... И я видел детей, лежащих в гробах...

Когда мы вернулись в Париж в апреле 1913 года, Сkene опять сыграл мне шопеновский марш в театре «Трокадеро» в конце длинного концерта. После благоговейного молчания, вызванного страхом, публика разразилась неистовыми аплодисментами. Некоторые женщины плакали, иные были почти в истерике.

Прошлое, настоящее и будущее похоже, вероятно, на длинную дорогу. Дорогу мы не можем разглядеть и верим, что будущее далеко, но оно уже подстерегает нас.

Я дала в Берлине несколько концертов по возвращении из России. Я сложила танец идущего по миру вперед человека, внезапно раздавленного ужасным ударом и медленно воскресающего от жестоких ран судьбы, быть может, к новым надеждам.

Моих детей, которые в течение всего турне по России находились с Элизабет, привезли ко мне в Берлин. Их здоровье и настроение были чудесными. Мы все вместе вернулись в Париж, в наш просторный дом в Нёйи.

Вновь я жила в Нёйи со своими детьми. Часто, стоя на балконе и оставаясь незамеченной Дердри, я любовалась, как она слагает свои собственные танцы. Она танцевала также стихи собственного сочинения — маленькая детская фигурка в огромной синей студии, произносящая нежным детским голоском: «А сейчас я птица, и я лечу высоко-высоко между облаками» или: «А сейчас я цветок, который смотрит на птицу и раскачивается». Любуясь ее тонкой грацией и красотой, я мечтала, что она, быть может, продолжит мою школу. Она была моей лучшей ученицей.

Патрик тоже начинал танцевать под собственную музыку. Но он никогда не позволял мне учить себя.

— Нет,— торжественно говорил он.— Патрик сам станцует свой танец.

Живя в Нёйи, работая в студии, проводя много часов за чтением в библиотеке, играя в саду со своими детьми или обучая их танцевать, я чувствовала себя вполне счастливой и лишь страшилась своих турне, которые разлучали меня с детьми. С каждым днем дети становились все прекраснее, и с каждым днем мне было все труднее проявлять мужество, покидая их.

Оба мои ребенка любили музыку и всегда упрашивали меня позволить им остаться в студии, когда Скене играл или когда я работала. Они сидели тихо, с напряженными лицами.

По-моему, есть горе, которое убивает, хотя и кажется, что человек продолжает свою жизнь. Его тело влачит горестное существование на земле, но дух его сокрушен — сокрушен навсегда. Я слышала, как люди говорят об облагораживающем влиянии горя. Я могу лишь возразить, что последние несколько дней перед тем, как на меня обрушился удар, в действительности явились последними днями моей духовной жизни. С тех пор всегда мною владеет лишь одно желание — скрыться... скрыться... скрыться от этого ужаса, и вся моя жизнь является лишь непрерывным бегством от него, напоминая Вечного Жида и Летучего Голландца. Вся моя жизнь для меня лишь призрачный корабль, несущийся по призрачному океану.

По какому-то странному совпадению явление психики часто находит отражение в материальных предметах.

Я уже говорила, что, несмотря на все, видимо, счастливое развитие моей жизни, я жила все время в странном угнетении — нечто вроде мрачного предчувствия. Ночью я внезапно просыпалась, содрогаясь от испуга.

Я была этим так расстроена, что как-то вечером на обеде у моего доброго друга, миссис Рэчел Бойер, я доверилась ей.

Она казалась встревоженной и со своим обычным добросердечием настояла немедленно позвонить врачу.

— Конечно,— сказала она,— у вас какая-нибудь нервная болезнь.

Пришел молодой и изящный доктор Рене Баде. Я рассказала ему о своих видениях.

— Очевидно, ваши нервы слишком напряжены. Вы должны поехать на несколько дней в деревню.

— Но ведь я даю по контракту концерты в Париже,— возразила я.

— Тогда поезжайте в Версаль — это так близко, что вы сможете приезжать на автомобиле. Воздух вас излечит.

На следующий день я рассказала об этом милой няне моих детей. Она была очень рада.

— Версаль будет очень полезен детям, — сказала она.

И я поехала в Версаль.

Когда я проснулась на следующее утро в прекрасном парке отеля «Трианон», все мои страхи и предчувствия рассеялись. Доктор был прав, мне нужна была деревня. Ах, если бы хор из греческой трагедии оказался здесь! Он мог бы послужить примером, как, выбрав противоположную дорогу, чтобы избежать несчастья, мы идем напрямик к нему, как это случилось с несчастным Эдипом¹. Если бы я не поехала в Версаль, чтобы скрыться от пророческого видения нависшей надо мной смерти, дети три дня спустя не нашли бы свою смерть на той же дороге.

Я помню тот вечер так отчетливо, потому что танцевала, как никогда. Я не была больше женщиной, я превратилась в пламя радости, в огонь, в улетающие ввысь искры, в дым, вздымающийся вихрем из сердец зрителей... А на прощание после десятка номеров, исполненных по требованию публики, я протанцевала «Музыкальную минуту».

После этого танца меня ожидал большой сюрприз. Лознгрин, которого я не видела со времени его отъезда в Египет несколько месяцев назад, пришел ко мне в уборную. Он, казалось, находился под глубоким впечатлением моих танцев в этот вечер нашей встречи и предложил поужинать с ним у Августина, в отеле на Елисейских полях.

Мы ждали его у накрытого стола. Проходили минуты, прошел час, его все не было. Его поступок привел меня в состояние крайнего раздражения. Несмотря на то что я знала, что свою поездку в Египет он не провел в одиночестве, я была искренне рада увидеть его, потому что всегда любила его и жаждала показать ему его сына, который в отсутствие своего отца рос красивым и силь-

¹ Эдип — в греч. мифологии сын царя г. Фив — Лайя. Согласно мифу, Эдип по приказу отца, которому была предсказана гибель от руки сына, после рождения был брошен в горах; спасенный пастухом, Эдип, сам того не зная, убил отца и женился на своей матери. Образ Эдипа широко использовался в мировой литературе (Софокл «Эдип и царь», Вольтер «Эдип» и др.).

ным. Но когда прошло три часа, а его все не было, я уехала с горьким разочарованием, чтобы вернуться к детям.

Изнуренная волнениями, связанными с концертом и утомительным ожиданием, я бросилась на постель и заснула глубоким сном.

Рано утром меня разбудили дети, это у них было привычкой. Заливаясь смехом, они прыгнули ко мне на постель. Затем мы, согласно нашему обыкновению, позавтракали вместе.

Патрик буянил больше, чем всегда. Забавляясь, он опрокидывал стулья, и когда стул падал, Патрик кричал от радости.

И тут произошел странный случай. Накануне кто-то, я так и не узнала, кто именно, прислал мне два экземпляра сочинений Барбе д'Оревильи¹ в прекрасных переплетах. Я протянула руку и взяла один из томов со стола, возле которого стояла. Я собиралась пожурить Патрика за то, что он чересчур шумит, когда случайно открыла книгу и мой взгляд упал на имя Ниоба. Я прочла следующие строки:

«Прекрасная, и мать детей, достойных тебя, ты улыбалась, когда тебе говорили об Олимпе. Чтобы тебя покарать, стрелы богов пронзили голову преданных тебе детей, которых ты не могла защитить своей обнаженной грудью».

— Пожалуйста, Патрик, не шуми так. Ведь ты мешаешь маме,— сказала няня.

Она была милая, добрая, терпеливейшая в мире женщина и обожала обоих детей.

— О, пусть он шумит,— вскричала я,— подумайте, няня, во что превратилась бы жизнь без их шума?

И ясная мысль осенила меня: «Какой пустой и мрачной была бы без них жизнь, ведь дети больше, чем мое искусство, в тысячу раз больше, чем любовь любого мужчины, наполняли и увенчивали мою жизнь счастьем». Я закрыла книгу, так как внезапный страх овладел моим сердцем. Я раскрыла объятия и, подозвав обоих детей, прижала их к себе. Внезапно слезы выступили у меня на глазах — я помню каждое слово и движение, сделанное в то утро. Сколько раз в бессонные ночи я повторяла в памяти каждую его минуту и безнадежно скорбела,

¹ *Д'Оревильи Барбе Жюль Амеда* (1808—1889) — французский писатель-романтик.

отчего какое-либо видение не предостерегло меня, чтобы я отвратила то, чему предстояло случиться?!

Стояло тихое серое утро. Окна были раскрыты в парк, где деревья облачались в первые цветы. Я впервые в этом году почувствовала острый прилив той радости, которая охватывает нас в первые мягкие весенние дни. Очарование весны и вид моих детей, румяных, красивых и счастливых, вселили в меня такую радость, что я внезапно выскочила из постели и принялась танцевать с ними. Мы втроем заливались смехом. Няня, улыбаясь, глядела на нас.

Внезапно зазвонил телефон. Я услышала голос Лоэнгрина. Он просил меня приехать в город, чтобы встретиться с ним, и привезти детей.

— Я хочу их видеть.

Он не видел их четыре месяца.

Я пришла в восторг при мысли, что наша встреча завершит примирение, которого я жаждала, и прошептала эту весть Дердри.

— О, Патрик,— воскликнула она,— угадай, куда мы сегодня поедем?

Как часто я вспоминаю детский голосок:

— Угадай, куда мы сегодня поедем?

Бедные мои, хрупкие, прекрасные дети, если бы я только знала в тот день, какую жестокую судьбу вы обретете!

Куда, куда вы ушли в тот день?

И тут няня сказала:

— Мадам, мне кажется, что собирается дождь. Может быть, лучше оставить детей дома?

Сколько раз, словно в ужасном кошмаре, я слышала ее предостережение и проклинала себя, что не поняла его. Но я полагала, что встреча с Лоэнгрином окажется гораздо проще в присутствии детей.

По пути из Версаля в Париж в автомобиле, в эту последнюю поездку, держа крошек на руках, я была полна новой надежды и веры в жизнь. Я знала, что, увидев Патрика, Лоэнгрин забудет свою личную обиду на меня.

Перед отъездом в Египет Лоэнгрин купил обширный участок земли в центре Парижа и намеревался построить здесь театр для моей школы. Театр, который явился бы местом сбора и пристанищем для всех великих артистов мира. Я верила, что Дузе найдет здесь соответствующую опору для своего божественного искусства, а Муне-

Сюлли сможет осуществить тут свою давно лелеянную мечту — поставить подряд трилогию «Эдип», «Антигона» и «Эдип в Колоне».

Все это я передумала по дороге в Париж, и большие надежды на искусство успокоили мое сердце. Но судьба предопределила этому театру не быть никогда выстроенным, Дузе не найти достойного ее храма, а Муне-Сюлли умереть, не дождавшись осуществления своего желания поставить трилогию Софокла. Почему надежды артиста почти всегда остаются несбывшейся мечтой?

При встрече все произошло так, как я и надеялась. Лознгрин был очень рад вновь увидеть своего мальчика и Дердри, которую нежно любил. Мы очень весело позавтракали в итальянском ресторане. Ели макароны, пили кьянти и говорили о будущем, которое предстоит чудесному театру.

— Это будет театр Айседоры, — сказал Лознгрин.

— Нет, — возразила я, — это будет театр Патрика, ведь Патрик будет великим композитором, который создаст танец для музыки будущего.

Когда завтрак закончился, Лознгрин сказал:

— Я так счастлив сегодня. Почему бы нам не поехать в салон юмористов?

Но у меня была назначена репетиция. И поэтому Лознгрин взял с собой нашего юного друга Г. де С., который сопровождал нас, а я с детьми и няней вернулась в Нёйи. Когда мы подъехали к театру, я спросила у няни:

— Не войти ли вам с детьми и подождать?

Но она возразила:

— Нет, мадам, я полагаю, нам лучше вернуться. Малюткам нужно отдохнуть.

Поцеловав детей, я сказала:

— Я скоро вернусь.

На прощание Дердри прижала губы к стеклу. Нагнувшись, я поцеловала стекло с другой стороны в том же месте. Прикосновение к холодному стеклу оставило во мне тревожный осадок.

Я вошла в свою огромную студию. Время для репетиции еще не наступило. Решив немного отдохнуть, я поднялась в свою комнату и бросилась на диван. Я нашла там цветы и коробку конфет, которую мне кто-то прислал. Взяв одну и лениво съев ее, я думала:

— В конце концов, я очень счастлива, может быть, счастливейшая женщина в мире. Мое искусство, успех, богатство, любовь, но превыше всего мои чудные дети.

Я медленно ела конфеты и, улыбаясь про себя, думала: «Лоэнгрин вернулся, все пойдет хорошо», когда мой слух уловил странный нечеловеческий крик.

Я повернула голову. Лоэнгрин стоял передо мной шатаясь, как пьяный. Его колени подкосились, он упал передо мной, и с его губ сошли страшные слова:

— Дети... дети... умерли!

* * *

Помню, странное спокойствие овладело мной, лишь в горле я почувствовала жжение, словно проглотила тлеющие угли. Но я не могла понять происходящего. Я нежно уговаривала Лоэнгрина, пыталась его успокоить, говорила ему, что это не может быть правдой.

Пришли и другие люди, но я все еще не могла представить себе случившегося. Затем вошел мужчина с темной бородой. Мне сказали, что это врач.

— Это неправда, — сказал он. — Я спасу их.

Я верила ему. Я хотела пойти с ним, но окружающие удержали меня. Сейчас я знаю, они поступили так, не желая, чтобы я узнала, что в действительности не было никакой надежды. Они опасались, что я сойду с ума от потрясения, но в те минуты я была в экзальтации. Я видела, что все вокруг меня плачут, но сама не плакала. Напротив, я ощущала непреодолимое желание утешать всех. Когда я оглядываюсь назад, мне трудно постигнуть мое странное душевное состояние. Лишь дважды раздастся материнский крик, который кажется нечеловеческим, — при рождении и при смерти. Почувствовав в своих руках холодные ручки, которые никогда уже ответно не пожмут моих, я услышала свой крик — тот же крик, который я слышала при их рождении. Почему тот же? Потому что первый крик выражает наивысшую радость, а другой — наивысшую скорбь. Не знаю почему, но знаю, что он тот же. Разве не один лишь крик существует во вселенной — крик, заключающий в себе скорбь, радость, экстаз, страдание, — материнский крик сотворения.

* * *

Как часто, направляясь утром по какому-нибудь незначительному делу, мы проходим мимо мрачного, зловещего шествия христианских похорон и, содрогаясь, вспоминаем обо всех, кого мы любим. Но мы не допускаем, чтобы в нас закралась мысль, что наступит день, когда и мы будем провожать покойника в такой же процессии.

С раннего детства я всегда чувствовала отвращение ко всему, что связано с церковью или церковной догмой. Чтение Ингерсолла и Дарвина, атеистическая философия усилили это отвращение. Я восстаю против современного брачного кодекса, а современный способ похорон считаю ужасным и безобразным до варварства. Так же как у меня хватало в свое время мужества отказаться выйти замуж и крестить своих детей, так и сейчас, после их смерти, я отказалась от лицемерного маскарада, называемого христианским погребением. У меня было лишь одно желание — претворить свое ужасное несчастье в красоту. Горе было слишком велико для слез. Я не могла плакать. Ко мне приходили толпы плачущих друзей. Толпы людей стояли и плакали в саду и на улице, но я не плакала. Я лишь очень хотела, чтобы эти люди, которые приходили в трауре выразить сочувствие, претворили свой траур в красоту. Я не надевала траура. Зачем менять платье? Я всегда считала ношение траура нелепым и напрасным. Августин, Элизабет и Реймонд поняли мою волю и воздвигли в моей студии огромный холм из цветов. Когда же я пришла в себя, первое, что я услышала, был оркестр Колонна, исполнявший прекрасный «Плач» из «Орфея» Глюка.

Но как трудно в один день изменить безобразные инстинкты и сотворить красоту! Если бы это зависело от меня, то не было бы ни людей в мрачных черных цилиндрах, ни погребальных процессий, ничего из безобразного и шутовского маскарада, который превращает смерть вместо экзальтаций в смертельный ужас. Как превосходно поступил Байрон, когда он сжег тело Шелли¹ на костре у моря. Но из альтернативы, предлагаемой нашей цивилизацией, я могла остановиться лишь на крематории.

Я верю, что наступит день, когда мировой разум наконец восстанет против уродливых обрядов церкви, создаст прекрасную последнюю церемонию для усопших и примет в ней участие. Крематорий уже является большим шагом вперед от зловещего обычая предавать тела земле. Многие думают, как и я, но, разумеется, мои

¹ *Шелли Перси Биш* (1792—1822) — английский поэт. Погиб при кораблекрушении в Тирренском море, и его труп был через несколько дней выброшен на берег. Произведения Шелли исполнены высокого гуманизма, свободолюбия. Творчество его оказало огромное влияние на английскую и мировую литературу.— *Прим. ред.*

стремления встретили осуждение и злобу со стороны многих правоверных ханжей, которые считали, что, желая попрощаться с любимыми мной существами в обстановке гармонии, яркости, света и красоты и предавая их тела кремации, вместо того чтобы зарыть их в землю на съедение червям, я проявляю себя бессердечной и ужасной женщиной. Как долго придется ждать, прежде чем разум одержит верх в жизни, в любви, над смертью!

Я приехала в угрюмый склеп крематория и увидела перед собой гробы, которые похоронили в себе золотистые головы, стиснутые ручонки, похожие на цветы, быстрые ножки моих детей — все, что я любила.

Они будут преданы пламени — и от них останется лишь трогательная горсть пепла.

Я вернулась в свою студию в Нёйи. Во мне назрело твердое намерение покончить с жизнью. Разве могла бы я продолжать жить, потеряв детей? И лишь слова девочек из моей школы, обступивших меня: «Айседора, живи ради нас! Разве мы тоже не твои дети?» — побудили меня утешить скорбь других детей, которые оплакивали смерть Дердри и Патрика.

Если бы горе постигло меня в моей жизни раньше, я могла бы его преодолеть; если бы оно пришло позднее, то не явилось бы для меня столь ужасным, но в ту минуту, в расцвете сил и энергии, оно совершенно разрушило мои силы и стойкость. Если бы хоть великая любовь поглотила и унесла меня прочь, но Лоэнгрин не отвечал на мой призыв.

Реймонд со своей женой Пенелопой уезжал в Албанию работать среди беженцев. Он убедил меня присоединиться к ним. Я выехала с Элизабет и Августином в Корфу. Когда мы приехали в Милан, чтобы провести там ночь, мне отвели комнату, в которой четыре года назад я провела много часов в сомнениях, обдумывая рождение маленького Патрика. А сейчас он уже успел родиться и умереть.

Мы сели на пароход в Бриндизи и вскоре, одним пригожим утром, прибыли в Корфу. Вся природа радовалась и улыбалась, но я не находила в ней никакого утешения.

Сопровождавшие меня рассказывали, что целыми днями и неделями я сидела, уставившись перед собой. Я не считалась со временем — я очутилась в угрюмой стране уныния, где не существовало ни воли жить, ни

воли двигаться. Когда встречаешь истинное горе, для него нет ни жестов, ни выражения. Подобно Ниобе, превращенной в камень ¹, я сидела и жаждала уничтожения в смерти.

Лоэнгрин находился в Лондоне. Мне казалось, что если бы он приехал ко мне, то я избавилась бы от своей призрачной, смертоподобной спячки. Может быть, если бы я чувствовала объятия теплых любящих рук, я вернулась бы к жизни.

Однажды я попросила, чтобы меня никто не беспокоил. Я лежала, вытянувшись на кровати в своей комнате с занавешенными окнами, сложив руки на груди. Достигнув последнего предела отчаяния, я бесконечно твердила свой призыв к Лоэнгрину:

— Приди ко мне. Ты мне нужен. Я умираю. Если ты не придешь, я последую за детьми.

Я твердила бесконечно эти слова, словно молитву. Поднявшись, я обнаружила, что уже полночь. И заснула болезненным сном.

На следующее утро Августин разбудил меня, держа телеграмму в руке.

«Ради бога, сообщите, что с Айседорой. Немедленно выезжаю в Корфу. Л.»

Следующие дни я ждала с первым проблеском надежды, что уже выбралась из мрака.

Однажды утром Лоэнгрин явился бледный и взволнованный.

«Я думал, ты умерла», — сказал он. Лоэнгрин рассказал мне, что в тот день, когда я послала ему телеграмму, я возникла перед ним смутным видением у подножия постели и произнесла в точности слова моего послания, которые так часто повторяла: «Приди ко мне, приди ко мне. Ты мне нужен. Если ты не придешь, я умру».

Получив доказательство телепатической связи между нами, я возымела надежду, что любовь сгладит несчастья прошлого, сердце вновь оживится и мои дети смогут вернуться, чтобы утешить меня на земле. Но этому не суждено было случиться. Моя печаль... моя напряженная скорбь были слишком сильны, чтобы Лоэнгрин мог их

¹ *Ниоба* — в античной мифологии дочь царя Тантала, жена фиванского царя Амфиона. Имея двенадцать (или 14) детей, Ниоба дерзнула насмехаться над богиней Латоной, у которой детей было только двое. В наказание за это дети богини — Аполлон и Артемида убили всех сыновей и дочерей Ниобы; сама она превратилась в скалу, источающую слезы. — *Прим. ред.*

выносить. Как-то утром он уехал внезапно, без предупреждения. Я видела пароход, удаляющийся от Корфу, и знала, что Лознгрин находится на его борту. Я видела пароход, удаляющийся по голубому морю, и вновь я осталась одинокой.

Тогда я сказала себе: «Или я должна покончить с жизнью, или отыскать какой-нибудь путь к жизни, несмотря на постоянную грызущую тоску, снедающую меня днем и ночью».

Ибо каждой ночью — наяву или во сне — я переживала это ужасное последнее утро, слышала голосок Дердри: «Угадай, куда мы сегодня поедem», слышала слова няни: «Мадам, может быть, им сегодня лучше не выезжать» и свой безумный ответ: «Вы правы. Берегите их, дорогая няня, берегите их, не выпускайте их сегодня!»

Реймонд приехал из Албании. Как обычно, он был полон энтузиазма.

— Вся страна в нищете. Деревни опустошены, дети голодают. Как ты можешь оставаться здесь в своем эгоистическом горе? Поезжай, помоги накормить детей... утешить женщин.

Его доводы оказали свое действие. Снова я надела тунику и сандалии и последовала за Реймондом в Албанию. У него были в высшей степени оригинальные методы организации лагеря помощи албанским беженцам. Он отправился на рынок в Корфу и приобрел необработанную шерсть. Нагрузив ею нанятое им небольшое судно, он отвез ее в Санти-Каранту, главный порт для беженцев.

— Но Реймонд, — спросила я, — разве ты собираешься накормить голодных необработанной шерстью?

— Подожди, — ответил он, — ты увидишь. Привези я им хлеба, его хватило бы лишь на сегодняшний день, но я привожу им шерсть, которая пригодится им и в будущем.

Мы высадились на скалистом берегу Санти-Каранту, где Реймонд еще раньше организовал свой центр. Вывешенное объявление гласило: «Желающие прясть шерсть будут получать одну драхму в день».

Скоро выстроилась очередь жалких, худых, изнуренных голодом женщин. За драхму они покупали маис, который греческое правительство продавало в порту.

Реймонд опять направил свое судно в Корфу. Там он велел плотникам сделать для него ткацкие станки и, вернувшись в Санти-Каранту, обратился к жителям с вопросом: «Кто хочет ткать из шерстяной пряжи узоры за одну драхму в день?»

Толпы голодных кинулись к нему за работой. Свои узоры Реймонд снял с рисунков древних греческих ваз. Вскоре вереница женщин ткала у моря, и Реймонд научил их петь в унисон с работой. Когда тканье узоров закончилось, получились прекрасные покрывала, которые Реймонд отослал в Лондон, где и продал их с пятьюдесятью процентами прибыли. На эту прибыль он устроил пекарню и продавал белый хлеб на пятьдесят процентов дешевле, чем греческое правительство продавало маис, и основал свою деревню.

Мы жили в палатке у моря. Каждое утро с восходом солнца мы погружались в волны и плавали. Время от времени, когда у Реймонда оказывался излишек хлеба и картофеля, он шел через горы в деревню и распределял хлеб между голодными.

Албания — необычная страна с трагической судьбой. Здесь находится первый алтарь Зевсу-Громовержцу. Его называли Громовержцем потому, что в этой стране зимой и летом бушуют бури, сопровождаемые громом, и льют буйные ливни. Мы пробирались сквозь эти бури в туниках и сандалиях, и я поняла, что мокнуть под дождем гораздо веселее, чем ходить в непромокаемом пальто.

Я видела много трагических зрелищ. Мать, сидящую под деревом с грудным ребенком на руках, трое или четверо детей цепляются за нее — они голодные и не имеют пристанища. Дом их сожжен, муж и отец убит турками, стада угнаны, а пастбища уничтожены. Несчастливая мать с детьми. Среди таких, как она, Реймонд распределил много мешков картофеля.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Однажды я почувствовала, что должна покинуть эту страну гор, огромных скал и бурь, и сказала Пенелопе:

— Я чувствую, что не могу больше смотреть на все это.

Я сделала все, что было в моих силах, чтобы убедить Реймонда и Пенелопу покинуть пасмурную Албанию и вернуться со мной в Европу. Привела судового врача, чтобы использовать его влияние, но Реймонд отказался покинуть своих беженцев и деревню, а Пенелопа, разумеется, не оставила бы его. Итак, мне пришлось покинуть их на этой заброшенной скале, где защитой им могла служить лишь маленькая палатка, над которой часто проносился настоящий ураган.

Я поехала в Швейцарию.

Предоставленная в Швейцарии самой себе, я испытывала ужасную скуку и меланхолию. Ни минуты я не могла больше оставаться на одном месте и, терзаемая неуспокоенностью, изъездила в своем автомобиле всю Швейцарию. Наконец, следуя непреодолимому порыву, я вернулась в Париж. Я была совершенно одна, ибо чье бы то ни было общество стало для меня невыносимым. Даже присутствие моего брата Августина, который присоединился ко мне в Швейцарии, оказалось бессильным разрушить горе, сковавшее меня. В конце концов я дошла до того, что даже звуки человеческого голоса стали мне противны. Когда люди входили ко мне в комнату, они казались мне далекими и нереальными.

Итак, однажды вечером я приехала в Париж и остановилась перед дверью своего дома в Нёйи. Его покинули все, за исключением одного старика, который присматривал за садом и жил в сторожке привратника. Я вошла в свою большую студию, и на минуту вид голубых занавесок напомнил мне о моем искусстве и творчестве. Я решила постараться вернуться к ним. С этой целью послала за своим другом Хенером Скене, чтобы он играл мне. Но звуки знакомой музыки оказывали на меня лишь одно действие: я начинала плакать. Я плакала сейчас впервые. Все вокруг слишком остро возвращало меня к тем дням, когда я была счастлива. Вскоре у меня начались галлюцинации: мне казалось, что я слышу в саду голоса детей, а когда однажды мне случилось войти в домик, в котором они раньше жили, и я увидела их одежду и разбросанные игрушки, меня охватила глубокая скорбь. Я отчетливо поняла, что не смогу остаться в Нёйи. Все же, сделав над собой усилие, я пригласила к себе нескольких друзей.

Но ночью я не могла заснуть и чувствовала, что река в слишком опасной близости от дома. Однажды, не будучи в силах больше выносить эту атмосферу, я опять села в автомобиль и отправилась в путь на юг. Лишь очутившись в автомобиле, делавшем 70 или 80 километров в час, я почувствовала некоторое облегчение от неопишуемой тоски, снедавшей меня днем и ночью.

Я пересекла Альпы и продолжала в Италии свои скитания. То я оказывалась в гондоле на венецианских каналах и просила гондольера грести всю ночь, то в древнем городе Римини. Я провела одну ночь во Флоренции, где, как я знала, жил Крэг. Я почувствовала сильное

желание послать за ним. Но мне было известно, что он уже женат и прочно вошел в семейную жизнь. Я решила, что его приход вызовет лишь раздоры, и сдержала свой порыв.

Однажды в маленьком городке у моря я получила телеграмму, гласившую:

«Айседора, я знаю, что вы путешествуете по Италии. Прошу вас, приезжайте ко мне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы утешить вас».

Телеграмма была подписана Элеонорой Дузе.

Я никогда не узнала, как она открыла мое местопребывание, чтобы послать мне телеграмму, но, прочтя это магическое имя, я поняла, что Элеонора Дузе была единственным человеком, с кем я хотела бы встретиться. Телеграмма была послана из Виареджио, как раз с противоположной стороны мыса, на котором я находилась. Я немедленно пустилась в путь в своем автомобиле, предварительно послав Элеоноре полный благодарности ответ, извещающий о моем приезде.

В ту ночь, когда я достигла Виареджио, бушевал сильный шторм. Элеонора жила в небольшой вилле, далеко за городом, но она оставила записку в «Гранд-Отеле» с просьбой приехать к ней.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

На следующее утро я отправилась к Дузе, которая жила на розовой вилле за виноградником. Элеонора шла по заросшей виноградом тропинке встречать меня, подобно чудесному ангелу. Она заключила меня в объятия, и ее дивные глаза излучали столько любви и нежности, что я почувствовала то же, что должен был почувствовать Данте, когда в «Раю» он встречается с божественной Беатриче.

Я осталась в Виареджио, черпая мужество в сиянии глаз Элеоноры. Она укачивала меня на руках, утешая, но не только утешая, ибо она сама, казалось, близко принимала мою скорбь к сердцу. Я поняла, что если я не могла выносить общества других людей, то лишь потому, что все они играли комедию, намереваясь ободрить меня забвением о прошлом. Элеонора же говорила: «Расскажите мне о Дердри и Патрике», — и заставляла меня повторять ей все их слова и поступки и показывать их фотографии, которые она осыпала поцелуями и плакала

над ними. Она никогда не говорила: «Перестаньте горевать!», но горевала со мной вместе, и впервые со дня смерти детей я почувствовала, что я не одинока. Ибо Элеонора Дузе была сверхчеловеком. Ее великодушное сердце могло бы вместить трагедию всего мира, ее душа была самой лучезарной, которая когда-либо озаряла своим сиянием печальные горести нашей земли. Часто, когда я гуляла с ней у моря, мне казалось, что ее голова достигает звезд, а руки касаются горных вершин.

Элеонора любила Шелли. В конце сентября, когда часто бушевали бури и вспышки молний разражались над злобными волнами, она, указывая на море, иногда говорила:

— Поглядите, то сверкает прах Шелли — он находится там, блуждая по волнам.

Так как мне надоели посторонние, которые разглядывали меня в отеле, я сняла виллу. Что заставило меня выбрать именно ее? Большой красный кирпичный дом, стоящий далеко в лесу среди меланхолических сосен и окруженный огромной стеной. И если с виду она казалась просто унылой, то внутри была исполнена неопишуемой тоски. Согласно ходившему по деревне преданию, в ней некогда жила дама, которой после несчастной страсти к кому-то из высокопоставленных особ австрийского двора — некоторые говорили, что к Францу-Иосифу, — было суждено пережить еще одно несчастье: увидеть, как ее сын, родившийся от этой связи, сошел с ума. Наверху виллы находилась комната с окнами, заделанными решетками. На ее стенах — фантастические рисунки, а в дверях — маленькое четырехугольное отверстие, через которое, по-видимому, передавали пищу несчастному умалишенному юноше, когда он стал опасным для окружающих. На крыше была большая открытая галерея, одной стороной выходившая на море, другой — на горы.

Мой каприз побудил меня снять это мрачное жилище, в котором заключалось по крайней мере 60 комнат. Думаю, что меня прельстил стоявший вокруг сосновый лес и дивный вид с галереи. Я спросила Элеонору, не хочет ли она жить здесь вместе со мной, но она вежливо отказалась и, переехав со своей летней виллы, сняла поблизости небольшой белый домик.

Дузе обладала необыкновенной особенностью в смысле переписки. Если вы находились вдали, в другой стране, она время от времени присылала вам примерно раз в три года одну телеграмму. Но, живя близко, она присылала

каждый день, а иногда по два раза в день очаровательные записки, а затем мы встречались и часто гуляли у моря. Дузе обычно говорила: «Трагический танец совершает прогулку с трагической музыкой».

Однажды, когда мы с Дузе гуляли у моря, она повернулась ко мне. Заходящее солнце окружало ее голову огненным сиянием. Она разглядывала меня долго и с любопытством.

— Айседора, — произнесла она сдавленным голосом, — не ищите, не ищите больше счастья. Вы носите на лбу печать великой несчастливцы на земле. То, что случилось с вами, только пролог. Не искушайте же вновь судьбу.

О, Элеонора, если бы я прислушалась к твоему предостережению! Но слишком сильно расцветает надежда, чтобы ее можно было легко убить, и сколько бы ветвей ни обламывать и ни уничтожать, она всегда пустит новые побеги.

Дузе в то время была женщиной в полном расцвете жизненных сил и ума.

Гуляя по берегу, она делала такие большие шаги, какие не делала ни одна из женщин, которых я когда-либо встречала. Она не носила корсета, и ее фигура, в то время крупная и полная, огорчила бы любителя моды, но говорила о благородном величии. Все в ней служило выражением ее великой и измученной души. Часто она читала мне отрывки из греческих трагедий или из Шекспира и, когда я слышала, как она читает строки из «Антигоны», я думала, каким же преступлением является то, что это прекрасное исполнение не может быть показано миру. Неправда, что уход Дузе со сцены на долгое время в момент ее зрелости и подъема творческих сил вызван, как некоторые предпочитают думать, несчастной любовью или какой-то иной сентиментальной причиной. Он вызван даже не ее нездоровьем, а тем, что она не находила ни помощи, ни средств, необходимых ей, чтобы осуществить идеи искусства так, как она хотела. Такова простая постыдная правда. Мир, который «любит искусство», покинул эту величайшую артистку мира, и долгие пятнадцать лет одиночество и нищета снесли ее сердце. Когда Морис Гест наконец понял ее и организовал для нее турне по Америке, было слишком поздно — она умерла в этом последнем турне, трогательно стараясь скопить денег, необходимых для ее творческих замыслов, претворения которых она ждала все эти долгие годы.

Живя на вилле, я взяла напрокат пианино и послала телеграмму своему верному другу Скене. Он немедленно приехал ко мне. Элеонора страстно любила музыку, и каждый вечер он играл ей Бетховена, Шопена, Шумана, Шуберта. Иногда тихим, нежным голосом она пела свои любимые песни.

Однажды в сумерках я внезапно встала и, попросив Скене сыграть, протанцевала перед Элеонорой адажио из Патетической сонаты Бетховена. Это был мой первый танец с 19-го апреля. Дузе поблагодарила меня, заключив в объятия и расцеловав.

— Айседора, — сказала она, — что вы делаете здесь? Вы должны вернуться к вашему искусству. В этом единственное ваше спасение.

Элеонора знала, что несколько дней назад мне предложили контракт на турне по Южной Америке.

— Соглашайтесь на этот контракт, — настаивала она. — Если бы вы знали, как коротка жизнь и какими долгими бывают годы скуки — ничего, кроме скуки! Бегите от скорби и скуки, бегите!

— Бегите, бегите! — говорила она, но на сердце у меня было слишком тяжело. Я могла делать некоторые движения перед Элеонорой, но появиться снова перед публикой казалось мне невозможным. Все мое существо было слишком измучено — каждый удар сердца лишь вопиял о моих детях. Пока я была с Элеонорой, я чувствовала облегчение, но ночи на своей уединенной вилле, где эхо доносилось из всех пустых, угрюмых комнат, я проводила в ожидании утра. Я выходила из дома и уплывала далеко в море. Я надеялась заплыть так далеко, чтобы у меня не хватило сил вернуться, однако мое тело всегда непроизвольно поворачивало к суше — такова сила жизни.

Как-то в серый осенний день, прогуливаясь в одиночестве по песчаному берегу, я внезапно увидела впереди себя моих детей — Дердри и Патрика. Они шли, взявшись за руки. Я окликнула их, но они, смеясь, побежали вперед, скрывшись из виду. Я побежала за ними... хотела догнать... звала... и внезапно они растворились в тумане морской пены. Ужас и страх овладели мной. Это видение моих детей — неужели я сошла с ума? Я ясно почувствовала, что одной ногой переступила грань между бредом и безумием. Я увидела перед собой сумасшедший

дом... угрюмо-однообразную жизнь и в горьком отчаянии бросилась навзничь и зарыдала.

Не знаю, долго ли пролежала я так, когда вдруг ощутила, как чья-то рука сочувственно гладит меня по голове. Я открыла глаза и увидела человека, который, казалось, сошел со стен Сикстинской капеллы, расписанной Микеланджело. Незнакомец только что вышел из моря.

Он произнес:

— Почему вы всегда плачете? Могу ли я что-нибудь для вас сделать, помочь вам?

— Да,— сказала я.— Спасите меня... спасите больше, чем мою жизнь... мой разум. Подарите мне ребенка.

Вечером мы стояли вместе на крыше моей виллы. Солнце садилось за морем, восходящая луна заливала искристым светом мраморные склоны горы. Я поняла, что нашла избавление от горя и смерти, что я возвращена к жизни, чтобы любить вновь.

Когда на следующее утро я рассказала обо всем Элеоноре, она, похоже, очень удивилась. Хотя она и не навидела встречи с незнакомыми людьми, но снисходительно согласилась, чтобы я представила ей моего юного Андже́ло. Мы посетили его мастерскую — он был скульптором.

— Вы в самом деле думаете, что он гений? — спросила она меня, осмотрев его работы.

— Без сомнения,— подтвердила я,— и, вероятно, он окажется вторым Микеланджело.

Молодость удивительно быстро исцеляется от ударов судьбы. Молодость верит во все, и я почти верила, что моя новая любовь одержит победу над скорбью. Я так устала от непрерывной и ужасной муки! Но увы! Моя иллюзия длилась недолго. Оказалось, что мой любовник принадлежит к итальянской семье строгих нравов и помолвлен с молодой девушкой из такой же итальянской семьи. Раньше он не говорил мне об этом. Но однажды объяснил все в письме и попрощался со мной. Однако я вовсе не сердилась на него. Я чувствовала, что он спас мой разум.

Приближалась осень. Элеонора переехала в свою квартиру во Флоренции, и я тоже покинула угрюмую виллу. Я поехала сначала во Флоренцию, потом в Рим, где намеревалась провести зиму. Рождество я провела в Риме. Оно прошло довольно печально, но я говорила себе:

— Зато я не в гробнице сумасшедшего дома, я здесь.

Мой верный друг Скене оставался со мной. Он никогда не расспрашивал, никогда во мне не сомневался, а лишь отдавал мне свои дружбу, преклонение и музыку.

Рим — чудесный город для опечаленной души. В то время как ослепительная яркость и совершенство Афин обострили бы мою скорбь, Рим с его величественными развалинами, гробницами и памятниками — свидетелями стольких прошедших поколений! — явился для меня болеутоляющим средством. В особенности мне нравилось ранним утром бродить по Аппиевой дороге ¹, когда между длинными рядами гробниц по ней едут с вином из Фраскати телеги со своими сонными возницами, прислонившимися к винным бочкам. Мне казалось тогда, что время перестает существовать.

По ночам мы со Скене часто останавливались у многочисленных фонтанов, никогда не перестававших струиться благодаря обильным горным источникам. Я любила садиться у фонтана и слушать журчание и плеск воды. Часто я сидела так, беззвучно плача, и мой нежный друг сочувственно сжимал мне руки.

От этих печальных скитаний меня пробудила однажды длинная телеграмма от Лознгрин, умолявшего меня от имени моего искусства вернуться в Париж. И под влиянием этого послания я села в поезд, идущий на Париж. По пути мы миновали Виареджио. Я увидела крышу красной кирпичной виллы между соснами и вспомнила о проведенных там месяцах отчаяния и надежды и о своем божественном друге Элеоноре, которую я покидала.

Лознгрин приготовил для меня в отеле «Крийон» роскошный номер с анфиладой комнат и видом на площадь Согласия. Комнаты он уставил цветами. Когда я рассказала ему о своем испытании в Виареджио, он закрыл лицо руками и, казалось, после некоторой борьбы произнес:

— Я впервые пришел к тебе в 1908 году, чтобы помочь тебе, но наша любовь привела нас к трагедии. Создадим же сейчас твою школу, как ты хочешь, дадим немного красоты другим на нашей грустной земле.

Он рассказал мне, что купил огромный отель на Белльвю. С террасы его открывается вид на весь Париж,

¹ *Аппиева дорога* — первая мощеная дорога между Римом и Капуей, проложенная цензором Аппием Клавдием в 312 г. до н. э. Почти вся она сохранилась до наших дней, вдоль нее находятся памятники древнего некрополя.

сады спускаются к реке, а комнат хватит на тысячу детей. Лишь от меня зависело, чтобы школа существовала постоянно.

— Если ты готова отбросить все свои личные чувства и жить ради идеи, — сказал он.

Помня, какую запутанную сеть горя и катастрофы принесла мне моя жизнь, в которой лишь моя идея нового танца сверкала над всем ярко и неугасимо, я согласилась.

На следующее утро мы посетили Белльвю, и с этого дня декораторы и мебелировщики начали работать под моим руководством, превращая довольно банальный отель в дом Танца Будущего.

После конкурса, состоявшегося в центре Парижа, было отобрано пятьдесят новых кандидатов, а кроме них были еще ученицы старой школы и воспитательницы.

Под танцевальные залы были приспособлены прежние столовые отеля, стены которых задрапировали моими голубыми занавесами. В центре одной длинной комнаты я построила помост с ведущей вниз лестницей, который мог быть использован для зрителей.

Я пришла к выводу, что однообразие и тусклость быта в обычной школе частично связаны с тем, что все полы в ней находятся на одном уровне. Поэтому я соединила многие комнаты коридорчиками, идущими сначала вверх, а затем вниз. Столовая была устроена, как английская палата общин в Лондоне: ряды сидений находились на ярусах, поднимавшихся с каждой стороны, — для того чтобы старшие ученицы и преподаватели сидели на верхних местах, а дети внизу.

Благодаря этой подвижной, кипучей деятельности я вновь обрела смелость, чтобы начать преподавание, и ученики воспринимали все с необычайной быстротой. В течение трех месяцев после открытия школы они сделали такие успехи, что вызывали удивление и восхищение у всех артистов, приходивших полюбоваться ими. Суббота посвящалась артистам. Публичный урок для них проходил утром с одиннадцати до часа дня, а затем с обычной расточительностью Лоэнгрина подавался обильный завтрак, совместный для артистов и детей.

С улучшением погоды завтрак стали подавать в саду, а после завтрака звучала музыка, стихи, исполнялись танцы.

Роден, который жил на противоположном холме в Медоне, часто навещал нас. Он садился в танцевальном

зале и делал наброски с танцующих девушек и детей. Однажды он сказал мне: «Если бы у меня были такие модели, когда я был молод! Модели, которые умеют двигаться и движутся согласно природе и гармонии! Правда, у меня были прекрасные модели, но ни одной, которая бы так понимала науку движения, как ваши ученики».

Я купила детям пестрые плащи, и когда после занятий в школе они гуляли, танцевали и бегали в лесу, то напоминали стаю красивых птиц.

Я верила, что эта школа на Белльвю будет существовать вечно и я проведу в ней все годы своей жизни и оставлю здесь в наследство все плоды своей работы.

В июне мы устроили празднество в «Трокадеро». Я сидела в ложе, любуясь танцами своих учениц. Во время исполнения некоторых номеров программы зрители поднимались с мест и разражались криками восторга и радости. Мне кажется, что этот необычайный восторг, вызванный детьми, которые совсем не были опытными танцовщиками или артистами, был энтузиазмом надежды на новое движение в человечестве, которое я смутно предвидела.

Вот они, будущие исполнители Девятой симфонии Бетховена!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Жизнь на Белльвю начиналась утром взрывом смеха. Слышно было быстрое топанье детских ножек по коридорам и дружное пение детских голосов. Спустившись к детям, я заставляла их в танцевальном зале, и увидев меня, они кричали: «Доброе утро, Айседора!»

Мог ли кто-нибудь оставаться мрачным в такой атмосфере? И хотя часто я искала среди них два исчезающих личика и уходила в свою комнату поплакать наедине, все же у меня хватило мужества каждый день преподавать им, и привлекательная грация их танца воодушевляла меня к жизни.

Каждую неделю на Белльвю являлась толпа художников со своими альбомами, потому что школа уже на деле оказалась для них источником вдохновения. Были сделаны сотни набросков и множество сохранившихся и поныне копий танцующих фигур. Я мечтала, что благодаря школе, может быть, появится новый идеал для взаимоотношений между художником и его моделью

и под влиянием образов моих учениц,двигающихся под музыку Бетховена или Сезара Франка ¹, танцующих хор греческой трагедии либо читающих Шекспира, модель уже не будет жалким безгласным существом, какое мы видим сидящим в мастерской художников. Она станет живым и подвижным идеалом высочайшего изображения жизни.

Поддерживая эти надежды, Лоэнгрин вернулся к мечте о сооружении театра на холме Белльвю, которое было так трагически прервано. Я мечтала, что он превратится в театр празднеств, в котором в праздничные дни станут собираться жители Парижа, и при театре будет создан симфонический оркестр.

Лоэнгрин опять призвал к себе архитектора Луи Сью. Макеты театра, прежде заброшенные, вновь были расставлены в библиотеке, и уже было намечено место для фундамента. Я снова надеялась осуществить в этом театре свою мечту о воссоединении искусства музыки, трагедии и танца в их совершеннейшей форме. Здесь Мунесюлли, Элеонора Дузе или Сюзанна Депре будут играть Эдипа, Антигону или Электру, меж тем как ученицы моей школы станут танцевать хоры. Здесь я надеялась отметить также столетие со дня смерти Бетховена исполнением Девятой симфонии тысячью моих учениц.

Я тратила ежедневно несколько часов на преподавание ученицам, и если я слишком уставала, чтобы стоять, я прислонялась к дивану и учила их движениями рук. Мне приходилось лишь протягивать руки к детям, и они уже танцевали.

Мы задумали представление «Вакха» Еврипида. Мой брат Августин, который должен был исполнять роль Диониса, знал ее наизусть и каждый вечер читал нам ее, или одну из шекспировских пьес, или «Манфреда» Байрона. Д'Аннунцио был в восторге от школы и часто завтракал или обедал с нами.

Небольшая группа учениц из первой школы, превратившихся сейчас в высоких юных девушек, помогала мне в обучении малышей. Мне было очень трогательно наблюдать происшедшую в них огромную перемену и то, с какой уверенностью и искусством они продолжали мои уроки.

Но в июле 1914 года странная унылость овладела миром. Я чувствовала ее так же, как и дети. Когда мы

¹ Франк Сезар (1822—1890) — французский композитор, органист и педагог.

находились на террасе, с которой открывался вид на Париж, дети часто бывали молчаливы и подавлены. Огромные черные тучи собирались на небе. Грозное безмолвие нависало над страной. Я ощущала его, и мне казалось, что движения младенца, которого я носила в себе, были слабее и нерешительнее, чем при моих прошлых беременностях.

Полагаю, что я также очень устала от своих усилий преобразить горечь и скорбь в новую жизнь. В конце июля Лознгрин предложил отослать школу в Англию, чтобы ученики провели каникулы в его доме в Девоншире. И вот однажды утром все ученицы толпою вошли ко мне, чтобы попрощаться. Они должны были провести август у моря и вернуться в сентябре. Когда они уехали, дом странно опустел, и мною, несмотря на все усилия, овладело глубокое уныние. Я очень устала и в течение долгих часов сидела на террасе, с которой открывался вид на Париж.

Однажды утром пришла зловещая весть об убийстве Кальметта ¹. Это было трагическое событие — предвестник еще большей трагедии. Кальметт всегда являлся добрым другом моего искусства и школы, и известие о его смерти меня сильно потрясло и опечалило.

Я испытывала тревогу и была полна страха. После отъезда детей Белльвю казался таким огромным и безмолвным, а большой танцевальный зал таким печальным! Я пыталась преодолеть свой страх мыслями, что скоро родится ребенок, вернутся дети и вновь Белльвю станет средоточием жизни и радости. Но часы тянулись тоскливо, пока как-то утром ко мне не зашел мой друг, доктор Боссен, который в те дни гостил у нас. Его лицо было смертельно бледно, в руке он держал газету. Я прочла заголовки, говорящие об убийстве эрцгерцога. Затем поползли слухи, а вскоре стало ясно, что война неизбежна. В то время как я замышляла возрождение искусства театра и празднество великой человеческой радости, иные силы замышляли войну, смерть и бедствия.

1 августа я почувствовала первые родовые муки. Под моими окнами выкрикивали известия о мобилизации. Стоял жаркий день, и окна были раскрыты. Мои крики, страдания, терзания сопровождались барабанной дробью и голосом глашатая.

¹ *Кальметт*, редактор газеты «Фигаро», был убит женой видного французского политического деятеля Кайо за шантаж и угрозы опубликовать ее любовную переписку.

Мой друг Мэри принесла в комнату колыбель, всю завешанную белым муслином. Я не сводила глаз с колыбели. Я была убеждена, что Дердри и Патрик возвращаются ко мне. Барабанный бой не смолкал. Мобилизация... война... война. Неужели существует война? Мой ребенок должен родиться, а ему было так трудно появиться на свет. Незнакомый врач заменил моего друга Боссена, который получил приказ вступить в армию и уже уехал.

Доктор все время говорил: «Мужайтесь, мадам!» Зачем говорить «мужайтесь» несчастному существу, терзаемому ужасными муками? Было бы гораздо лучше, если бы он сказал: «Забудьте, что вы женщина, что вы должны с достоинством переносить муки и прочий вздор, забудьте обо всем, вопите, визжите, войте...» Но у этого доктора была своя система, которая заключалась в том, что он говорил: «Мужайтесь, мадам».

Потрясенная сиделка все время твердила: «Мадам, это война, это война... это война!»

Я думала: «Мой ребенок будет мальчиком, но он будет слишком молод, чтобы идти на войну».

Наконец я услышала крик ребенка... он плакал... он жил. Как ни велики были мои страхи и ужас в те грозные дни, все они исчезли в едином великом порыве. Печаль, скорбь и слезы, долгое ожидание, муки — все возместилось одной минутой радости. Когда мне положили на руки малютку, мальчика, все долгие часы скорби и страхов претворились в радость.

Но барабаны продолжали бить: «Мобилизация... война... война».

— Какая война? — недоумевала я. — Какое мне дело? Мой ребенок здесь, невредимый, в моих руках. Пусть они воюют — какое мне дело?

Так себялюбива человеческая радость!

За окнами и дверью всюду бегали взад и вперед, раздавались голоса... плач женщин... зовы... споры о мобилизации, а я прижимала к себе ребенка и осмеливалась перед лицом всеобщего бедствия чувствовать ослепительное счастье и радость держать вновь на руках своего ребенка.

Наступил вечер. Моя комната была запружена людьми, радовавшимися на ребенка, который лежал у меня на руках.

— Теперь вы будете снова счастливы, — говорили они.

Они ушли, и я осталась наедине со своим мальчиком. Внезапно крошечное существо уставилось на меня и, словно задыхаясь, раскрыло рот. Длинный свистящий вздох сорвался с его помертвевших губ. Я позвала сиделку, она пришла, взглянула и в тревоге вырвала у меня ребенка. Я слышала, как в соседней комнате требовали кислород... горячую воду...

После часа мучительного ожидания вошел Августин и сказал:

— Бедная Айседора... твой ребенок... умер...

Мне кажется, что в ту минуту я достигла предела всех страданий, которые суждены мне на земле. Ибо с этой смертью словно вновь умирали мои первые дети. Эта смерть повторяла прежние муки... еще более усугубленные.

Вошла Мэри и плача унесла колыбель. Я слышала в соседней комнате стук молотка, заколачивавшего ящик, который должен был служить единственной колыбелью моему несчастному мальчику. Этот стук молотка, казалось, отдавался в моем сердце последними нотами беспредельного отчаяния. Я лежала истерзанная и беспомощная, из меня струился тройной поток слез, молока и крови.

Один из навестивших меня друзей сказал:

— Что значит ваше личное горе? Война уже требует сотен жертв... раненых и умирающих уже шлют с фронта.

Мне казалось естественным отдать Белльвию под госпиталь.

Однажды ко мне вошли двое санитаров с носилками и спросили, не хочу ли я осмотреть свой госпиталь. Я не могла ходить, и они носили меня на носилках из комнаты в комнату. Я увидела, что во всех комнатах со стен сняли барельефы вакханок, танцующих фавнов, нимф и сатиров, также как и все мои драпировки и занавесы, и вместо барельефов повесили дешевые изображения пасмурного Христа на золотом кресте, которых католические магазины поставляли тысячами в годы войны. Я подумала о первом пробуждении несчастных раненых солдат и о том, насколько радостнее им было бы увидеть комнаты в прежнем виде. Почему они должны были смотреть на несчастного Христа, распятого на кресте? Какое печальное для них зрелище!

В моем чудном танцевальном зале занавесы исчезли и взамен их стояли бесконечные ряды коек, ожидая страдальцев. Моя библиотека, где прежде на полках для

посвященных стояли книги поэтов, сейчас превратилась в операционную, ожидавшую мучеников. При моей тогдашней слабости все это зрелище глубоко меня удручило. Я почувствовала, что Дионис понес полное поражение. Тут было царство распятого Христа.

Вскоре я услышала первые тяжелые шаги санитаров, вносивших раненых.

Белльвью! Мой Акрополь! Ты должен был стать источником вдохновения, академией возвышенной жизни, которую вдохновляли бы философия, поэзия и великая музыка. С этого дня искусство и гармония исчезли, и в твоих стенах раздался мой первый крик — крик раненой матери — и крик ребенка, которого спугнули из этого мира военные барабаны. Мой храм искусства был превращен в Голгофу мученичества тяжелораненых и, в конце концов, покойницкую. Там, где, как я мечтала, будут раздаваться звуки небесной музыки, неслись лишь хриплые крики мучений. Бернард Шоу говорит, что до тех пор, пока люди будут мучить и умерщвлять животных, на земле будут войны. Я думаю, что все здравомыслящие люди должны придерживаться того же мнения. В моей школе все дети были вегетарианцами и выросли сильными и красивыми на диете, состоящей из овощей и фруктов. Иногда во время войны, слыша вопли раненых, я вспоминала о звуках, издаваемых животными на бойне, и у меня возникало чувство, что подобно тому как мы терзаем эти бедные беззащитные существа, боги терзают нас. Кто любит это ужасное явление, называемое войной? Вероятно, те, кто ест мясо, кто, убив однажды, чувствует затем потребность убивать — птиц, животных, кроткую лань, охотиться на лис. Если мы сами являемся могилами умерщвленных животных, то можем ли мы ожидать создания идеальных условий на земле?

* * *

Когда я смогла двигаться, мы с Мэри уехали из Белльвью к морю. Мы проезжали через военную зону, и когда я назвала свою фамилию, к нам отнеслись с величайшей учтивостью. Часовой, который стоял на карауле, сказал: «Это Айседора, ей можно проехать». В эту минуту я почувствовала, что это величайшая почесть, когда-либо мне оказанная.

Мы направились в Довиль и нашли комнаты в отеле «Норманди». Усталая и больная, я радовалась, что мы отыскиали себе тихую пристань. Но проходили недели,

а уныние и вялость не покидали меня. Я была так слаба, что едва могла выходить на берег подышать свежим бризом с океана. Наконец, почувствовав, что больна серьезно, я послала за врачом.

К моему изумлению, он не явился, а прислал мне уклончивый ответ. Не имея при себе никого, кто ухаживал бы за мной, я осталась в отеле «Норманди» слишком больная, чтобы строить какие-нибудь планы на будущее.

В те дни отель служил прибежищем для многих известных парижан. В соседних с нашими комнатах жила графиня де ля Беродьер, у которой гостил поэт граф Робер де Монтескье. После обеда мы часто слышали, как он тонким фальцетом читает стихи и среди беспрестанно доходивших до нас известий о войне и бойне было странно слушать, как он с экстазом воспеваает власть красоты.

Саша Гитри тоже гостил в «Норманди» и каждый вечер развлекал очарованных слушателей своим неистощимым запасом рассказов и анекдотов.

И только когда курьер с фронта добирался к нам с известиями о мировой трагедии, все на час проникались зловещим пониманием происходящего.

Но такая жизнь скоро стала мне невыносимой, и так как я была слишком больна, чтобы путешествовать, я сняла меблированную виллу. Она называлась «Черное и белое», и в ней все — ковры, занавесы, мебель — было черным и белым. Снимая ее, я считала ее очень привлекательной и, пока сама не попробовала жить в ней, не соображала, как угнетающе она может действовать.

Выехав из Белльвю, где я питала надежды на свою школу, искусство, будущую обновленную жизнь, я очутилась здесь, в этом черном с белым доме у моря, одинокая, больная, покинутая. Но хуже всего была болезнь. У меня едва хватало сил на короткую прогулку по взморью. Наступила осень с сентябрьскими штормами. Лоэнгрин написал мне, что мою школу перевели в Нью-Йорк в надежде найти там пристанище для нее на время войны. Однажды, чувствуя себя, как никогда, одинокой, я пошла в госпиталь, чтобы найти доктора, который отказался явиться ко мне. Я увидела невысокого человека с черной бородой. Увидев меня, он повернулся и, похоже, хотел убежать, или это была игра моего воображения? Я подошла к нему и сказала: «Доктор, что вы имеете против меня? Почему вы не приходите, когда я прошу вас? Разве вы не знаете, что я действительно больна и нуждаюсь в вас?» Он все с тем же видом преследуемого человека

пробормотал, запинаясь, слова извинения и обещал прийти на следующий день.

Назавтра с утра начались осенние штормы. Море вздымалось высоко, лил дождь. Доктор пришел ко мне на виллу «Черное и белое». Я сидела, тщетно пытаюсь разжечь дрова в камине, но труба сильно дымила. Доктор пощупал у меня пульс и задал несколько привычных вопросов. Я рассказала ему о горестном случае в Белльвю, о ребенке, который почти совсем не жил. Доктор не отрываясь, в упор смотрел на меня взглядом галлюцинирующего человека. Вдруг он заключил меня в объятия и покрыв поцелуями.

«Вы не больны,— воскликнул он,— это Ваша душа больна, больна жаждой любви. Единственное, что может Вас излечить,— это любовь, любовь и еще раз любовь». Одинокая, усталая и тоскующая, я могла испытывать только благодарность за этот страстный и непринужденный порыв нежных чувств. Я посмотрела в глаза странного доктора и, найдя там любовь, возвратила ее со всей скорбной силой моей израненной души и тела.

Каждый день после работы в госпитале он приходил ко мне на виллу. Он рассказывал мне о кошмарах дня, о страданиях раненых, операциях, оказывающихся подчас безнадежными,— о всех ужасах страшной войны. Иногда я ходила с ним на ночное дежурство, когда огромный госпиталь спал и горела только главная ночная лампа. Здесь и там страдальцы, к которым не шел сон, ворочались на койках с тоскливыми вздохами и стонами, и доктор шел от одного к другому, утешая словом, давая что-то попить или успокаивая обезболивающим средством. И после трудных дней и ночей этот странный жалостливый человек испытывал потребность в любви и страсти, трогательной и одновременно необузданной. Из этих пламенных объятий и долгих часов упоительного исступления мое тело вышло исцеленным и здоровым. Я могла снова гулять на взморье.

Как-то спросила доктора, почему он отказался прийти по моему первому вызову. Он не ответил, и в глазах у него появилось такое выражение боли и страдания, что я побоялась продолжать разговор на эту тему. Тут была какая-то загадка. Но мое любопытство усиливалось. Я чувствовала, что мое прошлое было каким-то образом связано с его нежеланием ответить на мой вопрос.

Первого ноября, в День поминовения усопших, глядя в окно виллы, я заметила, что садовый участок, выложен-

ный черными и белыми камнями, имел точь-в-точь вид двух могил. Это расположение сада стало для меня своего рода галлюцинацией, и я не могла смотреть туда без содрогания. Я, казалось, запуталась в тенетах страданий и смерти. Весь день я в одиночестве проводила на вилле или бродила по песчаному взморью, ставшему теперь холодным и пустынным.

Поезд за поездом приходил в Довиль со своим трагическим грузом раненых или умирающих. Единственное фешенебельное казино, которое год назад оглашалось джаз-бандом и смехом, было превращено в огромный караван-сарай страданий. Моя меланхолия овладевала мной все сильнее, а эксцентричная страсть Андре с каждой ночью окрашивалась во все более мрачные тона. Часто, когда я замечала в его глазах выражение отчаяния, как у человека, преследуемого ужасным воспоминанием, он на мои вопросы отвечал: «Когда ты все узнаешь, это будет означать нашу разлуку. Ты не должна спрашивать».

Однажды ночью я проснулась и увидела, что Андре нагнулся надо мной и всматривается в мое лицо. Не в силах больше терпеть страдания, причиняемые выражением отчаяния на его лице, я умоляюще просила: «Скажи мне, в чем дело, я больше не вынесу эту зловещую тайну». Он отступил на несколько шагов от меня и остановился, опустив голову и не сводя с меня глаз — низкорослый, коренастый человек с черной бородой.

«Ты не узнаешь меня?» — спросил он.

Я всмотрелась попристальней, и туман рассеялся. Я вспомнила — и вскрикнула. Тот жуткий день. Доктор, который пришел, чтобы вселить в меня надежду. Тот, кто пытался спасти моих детей. «Теперь ты знаешь, — сказал он, — как я страдаю. Когда ты спишь, ты очень похожа на свою маленькую девочку в тот момент, когда она лежала там. Я так старался спасти ее и несколько часов пытался передать ей через ее маленький ротик свое дыхание, свою жизнь...» Его слова причинили мне такую ужасную боль, что я беспомощно проплакала всю ночь, и доктор, похоже, переживал несчастье не меньше, чем я.

После той ночи я поняла, что люблю этого человека со страстью, о которой и сама не догадывалась, но по мере того как росли наши любовь и влечение друг к другу, усиливалась и его галлюцинация. В другой раз проснувшись ночью, я опять увидела, что он смотрит на меня своим внушающим страх горестным взглядом,

и мне стало ясно, что его одержимость может привести нас обоих к смерти или безумию.

Как-то утром я гуляла вдоль взморья. Я шла все дальше и дальше, обуреваемая ужасным желанием никогда не возвращаться ни к печальной вилле «Черное и белое», ни к смертоподобной любви, заточившей меня там. Лишь когда наступили сумерки, а затем полный мрак, я поняла, что должна вернуться. Прилив быстро поднимался, и мои ноги часто оказывались в наступающих волнах. Несмотря на сильный холод, я испытывала огромное желание погрузиться в море, чтобы навсегда покончить с невыносимым горем, от которого не могла найти облегчения ни в искусстве, ни в рождении нового ребенка.

При каждой попытке скрыться от него, я встречала лишь гибель, агонию, смерть. На полпути к вилле меня встретил Андре. Он очень беспокоился, потому что, найдя шляпу, которую я по рассеянности уронила на пляже, он подумал, что я решила покончить со своими страданиями в волнах моря. Когда он, пройдя несколько миль, увидел меня живой, он расплакался, как ребенок. На обратном пути к вилле мы старались утешить друг друга, но сознавали, что нам надо обязательно расстаться, если мы не хотим потерять рассудок.

Затем случилось нечто такое, что усугубило мою беспредельную скорбь. Я послала в Белльвю за чемоданом с теплой одеждой. Когда чемодан доставили на виллу, я, открыв его, обнаружила, что мне по ошибке прислали чемодан с одеждой Дердри и Патрика. Увидев здесь снова костюмчики, которые дети одевали последний раз, пальто, ботинки и шапочки, я вновь услышала тот же крик, какой услышала, увидев их мертвыми... Станный, долгий, жалобный крик, в котором я не могла признать своего голоса, словно моим горлом смертельно раненное животное издавало предсмертный крик.

Когда Андре возвратился, он нашел меня без сознания лежащей на открытом чемодане и сжимающей в руках детскую одежду. Он перенес меня в соседнюю комнату, чемодан убрал, и я никогда его больше не видела.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Когда Англия вступила в войну, Лознгрин превратил свой замок в Девоншире в госпиталь, а всех учеников моей школы, среди которых были дети разных наци-

ональностей, для их безопасности отправил в Америку. Августин и Элизабет, находившиеся со школой в Нью-Йорке, часто присылали мне телеграммы, чтобы я присоединилась к ним, и наконец я решила поехать.

Я уехала в Ливерпуль. Здесь села на огромный кюнардский¹ пароход, шедший в Нью-Йорк.

Я была так опечалена и утомлена, что в пути не покидала своей каюты, исключая ночей, когда выходила на пустынную палубу. Августин и Элизабет, встречая меня в Нью-Йорке, были поражены, увидев, как я больна и изменилась.

Моя школа — счастливая толпа военных беженцев — разместилась на вилле. Сняв большую студию на Четвертой авеню и 23-й улице, я развесила по стенам свои голубые занавесы, и мы снова приступили к работе.

В студии вскоре стали собираться поэты и артисты. Теперь ко мне вернулась моя энергия, и, узнав, что только что построенный театр «Сенчери» свободен, я взяла его на сезон в аренду и приступила к постановке своего «Диониса».

Но пошлая роскошь здания раздражала меня. Чтобы преобразить его в греческий театр, я убрала все места для оркестра и разостлала там синий ковер, по которому должен был двигаться хор, а уродливые ложи скрыла под огромными голубыми занавесами. С труппой из тридцати пяти актеров, восьмидесяти музыкантов и ста хористов я поставила трагедию «Эдип». Мой брат Августин исполнял заглавную роль, а ученики и я изображали хор.

Зрителями были по большей части жители Ист-Сайда, которые, между прочим, принадлежат в современной Америке к числу подлинных любителей искусства. Одобрения Ист-Сайда меня так тронули, что я отправилась в этот район со своей школой и оркестром и дала бесплатный концерт в Еврейском театре. Будь у меня средства, я осталась бы там, танцуя перед этими людьми, душа которых воистину создана для музыки и поэзии. Но увы! Мое рискованное начинание оказалось дорогим экспериментом и привело меня к полному банкротству. Обращаясь с призывом к некоторым из нью-йоркских миллионеров, я слышала лишь один вопрос:

— Но почему вы хотите давать спектакли греческой трагедии?

¹ Пароход, принадлежащий Трансатлантическому пароходству, основанному С. Кюнардом (1787—1865 гг.).

В те дни весь Нью-Йорк был охвачен горячкой танцев под джазовую музыку. Женщины и мужчины из лучшего общества, старые и молодые, проводили время в огромных салонах таких отелей, как «Балтимор», танцуя фокстрот под варварский вой и крики негритянского оркестра. Вся атмосфера в Америке в 1915 году внушала мне отвращение, и я решила вернуться со своей школой в Европу.

Но, увы, у меня не хватало денег, чтобы заплатить за билеты. Я забронировала каюты на пароходе «Данте Алигьери», который шел обратным рейсом в Италию, но у меня не было денег, чтобы заплатить за них. За три часа до отхода парохода у меня все еще не хватало денег. Но вдруг в мою студию явилась молодая, скромно одетая американка и спросила меня, действительно ли мы уезжаем сегодня в Европу.

— Видите,— сказала я, указывая на детей, одетых в дорожные платья.— Мы все уже готовы, но еще не достали денег, чтобы рассчитаться за билеты.

— Сколько вам нужно? — спросила она.

— Около двух тысяч долларов,— ответила я.

Услыхав мой ответ, эта необыкновенная женщина достала бумажник, отсчитала две банкноты по тысяче долларов каждая и, положив их на стол, сказала:

— Я очень рада оказать вам помощь в такой мелочи.

Я глядела в изумлении на эту незнакомую женщину, которую впервые видела и которая без всяких просьб и даже рез расписки предоставила в мое распоряжение такую большую сумму. Я решила, что она, должно быть, какая-нибудь неизвестная миллионерша. Но впоследствии я выяснила, что это не так. Она, чтобы предоставить деньги в мое распоряжение, накануне ликвидировала все свои акции и облигации.

В числе многих других она пришла провожать нас на пароход. Ее имя было Руфь. Руфь сказала: «Твои друзья станут моими друзьями, твои пути — моими путями». И Руфью она осталась для меня навсегда.

Итак, мы с моей кочевой школой покинули богатую, любящую удовольствия Америку 1915 года и поплыли в Италию. Мы достигли Неаполя.

В Неаполе обсудили наш дальнейший путь. Я очень хотела поехать в Грецию и до окончания войны пробыть в Компаносе. Но мои старшие ученики, путешествуя с германскими паспортами, боялись Греции. Итак, я решила искать пристанища в Швейцарии, где мы могли бы дать несколько концертов.

С этой целью мы поехали в Цюрих. В отеле «Бар дю Лак» жила дочь известного американского миллионера. Я решила, что мне представляется чудесный случай заинтересовать ее моей школой, и однажды велела детям танцевать перед ней на лужайке. Дети являли собой такое прекрасное зрелище, что я была уверена — американка растрогается; но когда я приступила к обсуждению вопроса о помощи моей школе, она ответила:

— Да, конечно, может быть, дети и привлекательны, но они не интересуют меня. Я интересуюсь лишь анализом своей души.

Несколько лет она занималась с доктором Юнгом, учеником знаменитого Фрейда, и ежедневно тратила многие часы, записывая сны, которые видела минувшей ночью.

Летом, чтобы жить вблизи учеников, я поселилась в отеле «Бо Риваж» в Уши. У меня были прелестные комнаты с балконом на озеро. Я сняла нечто вроде огромного барака, который прежде служил рестораном, и, завесив его стены своими голубыми занавесами, которые никогда не переставали нас вдохновлять, превратила его в зал, где преподавала детям и танцевала каждый вечер сама.

Все эти годы до конца войны я делала отчаянные усилия сохранить свою школу, рассчитывая, что после войны мы сможем вернуться в Белльвю. Но война все продолжалась, и мне приходилось на расходы по содержанию школы в Швейцарии брать деньги взаймы у ростовщиков под пятьдесят процентов.

В 1916 г. я подписала, с целью раздобыть денег, контракт на гастроли в Южную Америку и отплыла в Буэнос-Айрес.

По мере того как подвигаются мои мемуары, я все больше и больше осознаю, что невозможно изложить жизнь того человека — или, вернее, жизнь всех тех людей, которыми я была. События моей жизни, которые, мне казалось, продолжались десятилетиями, заняли лишь несколько страниц. Периоды, казавшиеся тысячелетиями страданий и мук, в течение которых я, движимая самозащитой, становилась совершенно иным человеком, чтобы сохранить свою жизнь, кажутся на этих страницах совсем непродолжительными. Я часто задаю себе с отчаянием вопрос: «Найдется ли читатель, который сможет облечь в плоть скелет, который я дала здесь?» Я пытаюсь излагать правду, но правда ускользает и прячется от меня.

Как же отыскать правду? Будь я писательницей и напиши о своей жизни два десятка романов, я приблизилась бы к правде. А затем, закончив эти романы, я должна была бы написать историю артистки, и эта история совершенно не походила бы на остальные. Ибо моя артистическая жизнь и мысли об искусстве развивались и развиваются поныне вполне самостоятельно, как отдельный организм, совершенно, по-видимому, независимый от того, что я называю волей.

И все же я стараюсь рассказать правду обо всем, что со мной происходило; но я очень боюсь, что она приведет к ужасной путанице. Однако, раз уж я приступила к непосильной задаче изложить летопись своей жизни на бумаге, я доведу ее до конца, хотя уже сейчас слышу голоса всех так называемых порядочных светских женщин, которые говорят: «В высшей степени гнусная история!» или: «Все ее несчастья служат лишь возмездием за ее грехи!» Но я не считаю, что я грешила. Ницше говорил: «Женщина — это зеркало», и я лишь отражала людей и силы, которые захватывали меня, подобно тому как героини «Метаморфоз» Овидия меняли свою фигуру и характер по велению бессмертных богов.

Когда пароход остановился в Нью-Йорке, Августин не одобрил, что в военное время я одна отправилась в столь далекое путешествие, и присоединился ко мне; его общество было для меня большим утешением. На пароходе находились также несколько молодых боксеров во главе с Тедом Льюисом, которые каждое утро вставали в шесть часов и тренировались, а затем плавали в большом бассейне с соленой водой. Я тренировалась вместе с ними, а вечером танцевала перед ними, и, таким образом, путешествие проходило очень весело.

* * *

Спустя несколько дней после нашего прибытия в Буэнос-Айрес мы отправились в студенческое кабаре. Оно представляло собой обыкновенное — длинное, полное дыма — помещение с низким потолком. Его переполняли смуглые молодые люди и девушки-брюнетки. Все танцевали танго. Я никогда еще не танцевала танго, но молодой аргентинец, который был нашим чичероне, убедил меня попытаться. С первых своих робких шагов я почувствовала, что сердце мое бьется в такт с манящим томным ритмом сладострастного танца, нежного, как долгая

ласка, упоительного, как любовь под южным небом, жестокого и грозного, как чары тропического леса.

Но тут студенты узнали меня и, окружив толпой, объяснили, что сегодня празднуется годовщина освобождения Аргентины, попросив протанцевать их гимн. Я согласилась, так как всегда любила доставлять студентам удовольствие. Выслушав перевод слов аргентинского гимна, я закуталась в аргентинский флаг и постаралась изобразить страдания некогда поработанной колонии, освободившейся наконец от тирана. Успех был потрясающий. Студенты, никогда не видевшие подобных танцев, разразились восторженными криками и еще и еще просили меня его повторять, все время подпевая мне.

Я вернулась в гостиницу, гордясь своим успехом и восхищаясь Буэнос-Айресом. Но увы! Я торжествовала слишком рано. На следующее утро мой менеджер с яростью прочел в газете сенсационный отчет о моем концерте и заявил мне, что, согласно закону, он считает мой контракт расторгнутым. Все лучшие фамилии Буэнос-Айреса, намереваясь бойкотировать мои концерты, отказались от билетов, и, таким образом, вечер, который доставил мне столько радости, оказался губительным для моих гастролей в Буэнос-Айресе.

Искусство придает форму и гармонию тому, что в жизни является хаосом и раздором.

Я пустилась в это турне в надежде раздобыть денег, которых бы хватило на содержание школы во время войны. Представьте себе мой ужас, когда я получила из Швейцарии телеграмму, сообщавшую, что посланные мною телеграфом деньги задержаны в связи с военными ограничениями. Директриса пансиона, в котором я оставила девочек, была не в состоянии содержать их бесплатно, и им грозила опасность оказаться на улице. Со своей обычной порывистостью я настояла, чтобы Августин немедленно отправился в Женеву, захватив с собою деньги, необходимые для спасения моих учениц, не сознавая, что тем самым я остаюсь без денег и не смогу оплатить счет в отеле. Мой разгневанный менеджер успел уехать в Чили с опереточной группой, а я с пианистом осталась на мели в Буэнос-Айресе.

Зрители встречали меня холодно, угрюмо и недоброжелательно. Единственный успех, достигнутый мною в Буэнос-Айресе, ограничился тем вечером в кабаре, когда я танцевала гимн свободы. Нам пришлось оставить чемоданы в отеле и продолжать путешествие в Мон-

тевидео. К счастью, для владельцев отелей мои танцевальные туники не представляют никакой ценности!

В Монтевидео зрители оказались полной противоположностью аргентинцам — они встречали меня с неистовым энтузиазмом. Таким образом, мы оказались в состоянии продолжать наше турне и поехали в Рио-де-Жанейро. Мы прибыли туда без денег и багажа, но директор городского театра в высшей степени любезно оплатил авансом концерты. Я встретила здесь таких понятливых и чутких зрителей, что перед ними всякий артист выявил бы лучшие стороны своего дарования.

Я познакомилась с поэтом Жаном де Рио, которого любила вся молодежь Рио, ведь в Рио каждый юноша — поэт. Когда мы гуляли с ним, толпа молодежи следовала за нами, восклицая:

— Да здравствует Жан де Рио, да здравствует Айседора!

* * *

Из Рио-де-Жанейро я вернулась в Нью-Йорк. Путешествие было одиноким и печальным, так как я беспокоилась о своей школе. Некоторые из боксеров, которые ехали со мной в прошлый раз, возвращались на том же пароходе в качестве стюардов — их выступления не имели успеха, и они ничего не заработали.

Когда я приехала в Нью-Йорк, меня никто не встретил, потому что моя телеграмма не была доставлена из-за военных затруднений.

Случайно я вспомнила об одном из своих друзей, изумительном мастере фотографии Арнольде Генте. Очувтившись одна в порту, я позвонила ему по телефону. Каково же было мое изумление, когда мне ответил знакомый голос, но не Арнольда, а Лознгрена, который по странному совпадению только что приехал к Генте. Услыхав, что я одна в порту без денег и без друзей, он тут же сказал, что немедленно приедет ко мне.

Он появился через несколько минут. Когда я увидела его высокую, властную фигуру, то испытала странное чувство уверенности и безопасности. Мы оба были очень рады видеть друг друга.

Кстати, из моей автобиографии следует, что я всегда оставалась верной своим возлюбленным и, вероятно, не покинула бы ни одного из них, если бы они оставались верными мне. Полюбив их раз, я люблю их поныне и навсегда.

Итак, после всех злополучных странствий я была счастлива видеть своего Лоэнгрина, вновь явившегося мне на выручку. С обычной своей властью он быстро получил мои вещи из таможни, после чего мы отправились в студию Генте, а затем вдвоем поехали завтракать на Риверсайд драйв, откуда открывается вид на гробницу президента Гранта.

Мы радовались тому, что снова все вместе. Я чувствовала, что мое возвращение в Нью-Йорк прошло при счастливых предзнаменованиях. Лоэнгрин находился в самом любезном и великодушном настроении. После завтрака мы устремились в «Метрополитен-Опера» и сняли его, а в течение дня и вечером рассылали всем артистам приглашения на бесплатный парадный концерт. Этот концерт был одним из прекраснейших испытаний в моей жизни. Присутствовали все художники, артисты и музыканты Нью-Йорка, и я танцевала с наслаждением, не чувствуя гнета театральной кассы.

Я рассказала Лоэнгрину о том, что послала Августина в Женеву, и о своем беспокойстве относительно школы. С присущей ему необычайной щедростью он перевел телеграфом деньги, необходимые для переезда всех учениц в Нью-Йорк. Но увы, для части учениц деньги пришли слишком поздно. Все малыши были вытребованы своими родителями домой. Школа, которой я пожертвовала годы работы, распалась, и это причинило мне много страданий. Но вскоре меня несколько утешило прибытие Августина с шестью старшими ученицами.

Лоэнгрин все еще находился в прекрасном и щедром настроении и ни перед чем не останавливался, чтобы доставить удовольствие мне и детям. Он снял студию на вершине Медисон-сквер-гардена, где мы приступили к ежедневной работе. По утрам он возил нас на длительные автомобильные прогулки вдоль Гудзона. Каждому из нас он делал подарки. Действительно, на время жизнь стала чудесной благодаря магической силе денег.

Но с наступлением суровой нью-йоркской зимы мое здоровье пошатнулось, и Лоэнгрин предложил мне поехать на Кубу. Сопровождать меня он послал своего секретаря.

От Кубы у меня остались самые приятные воспоминания. Секретарь Лоэнгрина, молодой шотландец, был по-этом. Мое здоровье не позволяло мне давать концерты, но мы провели три недели в Гаване, катаясь вдоль берега и наслаждаясь живописной природой. Я помню трагико-

мический эпизод, который произошел в дни нашего пребывания там. Километрах в двух от Гаваны находился старый дом для прокаженных, обнесенный высокой стеной. Но стена все же была не настолько высокой, чтобы скрыть мелькавшие порой за ней ужасные маски. Власти сознавали несовместимость расположения этого дома рядом с модным зимним курортом и решили перенести его в другое место. Но прокаженные не захотели переезжать. Они цеплялись за двери, стены, а некоторые вскарабкались на крышу. Ходил даже слух, что кто-то убежал в Гавану и спрятался там. Переселение этого дома прокаженных напоминало мне тогда и потом причудливую, жуткую сцену из пьесы Метерлинка.

Однажды меня пригласили в дом, хозяйка которого принадлежала к одной из старейших фамилий и была большой любительницей обезьян. Сад ее старого дома был заставлен клетками, в которых она держала своих любимцев. Ее дом вызывал большой интерес у всех посетителей, которых она принимала с щедрым гостеприимством. Она встречала гостей с обезьянкой на плече, держа за лапу гориллу. Это были очень ручные животные. Некоторые, правда, не отличались кротостью, и когда кто-нибудь проходил мимо клеток, они трясли решетки, издавали крики и гримасничали. Я спросила, не опасны ли они, на что хозяйка небрежно ответила, что совсем нет, если не считать того, что иногда звери вырываются из клеток и задирают насмерть садовников. От этих слов мне стало не по себе, и я была рада, когда пришло время уходить.

Женщина эта, как ни странно, была очень красивой, с большими выразительными глазами, умной и начитанной. Она обычно собирала в своем доме самые яркие светила из мира литературы и искусства. Чем же в таком случае объяснить ее эксцентричную привязанность к гориллам и другим обезьянам? Она сказала мне, что в своей последней воле завещала всех обезьян Пастеровскому институту для проведения опытов по лечению рака и туберкулеза. Это показалось мне своеобразной формой проявления посмертной любви.

О Гаване у меня сохранилось интересное воспоминание. Как-то в праздничную ночь, когда все кабаре и кафе кипели жизнью, мы, после нашей обычной прогулки у моря и в пампасах, заехали около трех часов утра в типичное гаванское кафе. Здесь мы застали обычное сборище морфинистов, кокаинистов, курильщиков опиума, алко-

голиков и прочего отребья. Мы заняли место за столом в дымном, тускло освещенном помещении с низким потолком. Мое внимание привлек к себе бедный человек с помертвелыми щеками и свирепым взглядом, который, казалось, галлюцинировал. Своими длинными тонкими пальцами он давил на клавиши пианино, и я услышала, к своему удивлению, прелюдии Шопена, исполняемые с удивительным проникновением и талантом. Я слушала несколько минут, а затем подошла к нему. Однако он мог произнести лишь несколько бессвязных слов. Мои действия привлекли внимание посетителей кафе. Сообразив, что меня тут совсем никто не знает, я почувствовала эксцентричное желание протанцевать перед этой странной публикой. Закутавшись в накидку и дав указание пианисту, я протанцевала под музыку несколько прелюдий. Постепенно пьяницы в кафе погрузились в молчание, а я, продолжая танцевать, не только завладела их вниманием, но и заставила многих плакать. Пианист тоже очнулся от транса, вызванного морфием, и заиграл с вдохновением.

Я, не переставая, танцевала до утра. Когда мы уходили, все обнимали меня, и я чувствовала больше гордости, нежели после любого концерта, ибо здесь я видела истинное доказательство своего таланта, полученное без помощи импресарио и предварительной обработки публики.

Вскоре я со своим другом поэтом села на пароход, идущий во Флориду, и приехала в Палм Бич. Отсюда я послала телеграмму Лознгрину, который присоединился к нам в отеле «Брекерс».

* * *

Самые ужасные дни огромного горя наступают не в начале его, когда потрясение скорби повергает человека в состояние экзальтации, почти убивающей всякую боль, а много дней спустя, когда о человеке говорят: «О, он уже успокоился!» или: «Он уже все пережил!» и когда за веселым обедом он чувствует, как скорбь ледяной рукой сжимает сердце и жаркие клещи стискивают ему горло. Лед и огонь, ад и отчаяние овладевают всем его существом, и, поднимая бокал с шампанским, он силится утопить свои невзгоды в забвении — сбыточном или несбыточном.

Именно до такого состояния я сейчас дошла. Все мои друзья говорили: «Она обо всем забыла, она все пережила!» А между тем мне вид каждого ребенка, невзначай

зашедшего в мою комнату, зовущего свою мать, наносил смертельный удар в сердце, потрясая все мое существо такой тоской, что мозг мог лишь взывать к Лете, к забвению, каково бы оно ни было. И во мне восставала душа артиста и возглашала: «Я хочу любить, любить и порождать радость!» Каким это было адом!

Лоэнгрин приехал в Палм Бич с американским поэтом Перси Маккейем. Однажды, когда мы сидели на веранде, Лоэнгрин составил план будущей школы согласно моим идеям и сообщил мне, что купил Медисон-сквер-гарден, считая это здание подходящим для театра.

Несмотря на свое восторженное отношение к этому плану, я не была склонна приступать в разгар войны к осуществлению столь обширного проекта. В конце концов, это привело Лоэнгрин в такое раздражение, что с той же порывистостью, с какой он покупал Гарден, он отказался от него после нашего возвращения в Нью-Йорк.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В начале 1917 года я выступала в «Метрополитен-Опера». В те дни я верила, как и многие другие, что надежды всего мира на свободу, возрождение и цивилизацию зависят от победы союзников в войне. Поэтому каждый концерт я заканчивала исполнением «Марсельезы», а зрители смотрели стоя.

Тот день, когда пришла весть о революции в России, наполнил всех свободолюбивых людей надеждой и радостью, и вечером я протанцевала «Марсельезу» в подлинно революционном настроении духа, а вслед за ней свою интерпретацию «Славянского марша».

Ту часть, в которой звучит царский гимн, я представила в виде угнетенного крепостного, согнувшегося под ударами бича.

Эта антитеза и диссонанс танца с музыкой вызвали бурю среди зрителей.

Странно, что в течение всей моей артистической деятельности эти движения отчаяния и восстания привлекали меня сильнее всего. В своей красной тунике я постоянно танцевала революцию и призыв угнетенных к оружию.

В ночь русской революции я танцевала с дикой, неистовой радостью. Сердце мое рвалось в груди за тех, кто сейчас дождался освобождения, а раньше подвергал-

ся страданиям и пыткам и умирал за дело человечества. Неудивительно, что Лознгрин, видя меня каждый вечер из своей ложи, в конце концов несколько встревожился или же задал себе вопрос, не станет ли покровительствуемая им школа милосердия и красоты грозной опасностью, которая приведет и его самого, и его миллионы к гибели. Но тяга к искусству у меня была непреодолимой, и я не могла бы сдержать ее даже ради человека, которого люблю.

Лознгрин устроил в мою честь празднество в отеле «Шерри». Оно началось с обеда, затем последовали танцы, и все закончилось обильным ужином. По этому случаю Лознгрин подарил мне дивное бриллиантовое ожерелье. Я никогда не стремилась к драгоценностям и не носила их, но Лознгрин выглядел таким радостным, что я разрешила ему надеть бриллианты мне на шею. К утру, когда гости подкрепились изрядным количеством шампанского и у меня самой несколько закружилась голова от удовольствия и опьянения вином, мне пришла в голову неудачная мысль научить танцевать танго апашей — как это я видела в Буэнос-Айресе — одного красивого юношу, находившегося среди гостей. Внезапно я почувствовала, что мою руку выворачивают железные тиски и, оглянувшись, увидела рассвирепевшего от ярости Лознгрина. Это злосчастное ожерелье больше мне не пришлось надевать. Вскоре Лознгрин исчез в новом припадке ярости, оставив меня с огромным счетом за отель и за все расходы по школе. Тщетно обращалась я к нему за помощью. Знаменитое бриллиантовое ожерелье перекочевало в ломбард и никогда уже ко мне не вернулось.

И вот я осталась в Нью-Йорке беспомощной, без денег в конце сезона, когда нельзя было уже думать ни о каком концерте. К счастью, в моем распоряжении имелись еще горностаево манто и дивный изумруд, купленный Лознгрином у сына магадлахи, который проиграл все свои деньги в Монте-Карло. Говорили, что камень снят с головы знаменитого идола. Я продала манто известной певице, сопрано, изумруд — другой и сняла на лето виллу в Лонг Биче. Там я поселила своих учениц в ожидании осени, когда снова станет возможным зарабатывать деньги.

Со своей обычной непредусмотрительностью — раз я имела деньги на виллу, автомобиль и на наши ежедневные расходы — я очень мало заботилась о будущем. Так как фактически я сейчас была без гроша, то сумму,

вырученную от продажи мехов и драгоценностей, без сомнения было бы благоразумнее поместить в солидные акции и облигации, но это ни разу не пришло мне в голову. Все мы провели достаточно приятное лето в Лонг Биче, принимая, как обычно, множество артистов. В числе наших гостей в течение нескольких недель находился гениальный скрипач Исайи.

Наша вилла веселела от звуков его дивной скрипки, весь день оглашавших ее стены. У нас не было студии, но мы танцевали на взморье и устроили специальное празднество в честь Исайи, который радовался, как мальчик.

Но, как можно себе представить, вернувшись в Нью-Йорк после летних удовольствий, я опять очутилась без гроша и через два безумных месяца подписала контракт на гастроли в Калифорнию.

Во время этих гастролей я попала в свой родной город. А накануне узнала из газет о смерти Родена и долго плакала при мысли, что никогда уже не увижу своего великого друга. Заметив репортеров, ожидавших меня на вокзале в Окленде, чтобы взять интервью, я, не желая, чтобы они заметили мои опухшие от слез глаза, закрыла лицо черной кружевной вуалью. Это дало им повод на следующий день написать, что я напустила на себя таинственный вид.

Двадцать два года прошло с того дня, как я покинула Сан-Франциско, пустившись в свой великий искус. Легко себе представить, с каким волнением я возвращалась в свой родной город, в котором землетрясение и пожар 1906 года настолько все изменили, что мне все казалось новым, и я едва могла его узнать.

В Сан-Франциско я встретилась со своей матерью, которую не видела несколько лет, так как, повинаясь непреодолимому чувству тоски по родине, она отказалась жить в Европе. Она выглядела очень старой, состарившейся от забот. Однажды, завтракая в Клифф-хаузе, я увидела в зеркале наши отражения и не могла не сравнить свое грустное лицо и изможденную внешность матери с лицами тех отважных смельчаков, которые почти 22 года назад пустились в путь с надеждой обрести славу и богатство. Надежды исполнились — почему же результаты оказались такими прискорбными? Вероятно, они являются следствием того, что мы живем в самом несовершенном из миров. Может быть, так называемого счастья в нем вовсе не существует. Разве лишь мимолетные его просветы.

В Сан-Франциско я дала концерт в театре «Колумбия». Несмотря на восторги наполнявшей зал избранной публики, я пала духом, не найдя в родном городе готовности оказать поддержку моему идеалу будущей школы. Я хотела танцевать для народа, но когда я попросила предоставить в мое распоряжение Греческий театр, то получила отказ, причину которого не знаю до сих пор. Возможно, тут сказалась плохая стратегия моего менеджера или чья-нибудь недоброжелательность. В Сан-Франциско была масса моих подражателей и даже несколько подражавших мне школ, которые, казалось, вполне удовлетворяют публику, но вместе с тем публика, казалось, считала, что мое искусство, как слишком серьезное, может лишь послужить причиной разных неприятностей. Поэтому творчество всех моих подражателей превратилось в сахарин и приторный сироп, так как они ограничивались лишь той частью моего творчества, которую им нравилось называть «гармонической и прекрасной», но пренебрегали всем, что было в нем серьезного, что являлось главной его пружиной и составляло его суть.

В минуту пророческой любви к Америке Уолт Уитмэн сказал: «Я слышу, как поет Америка!», и я представляла себе мощную песню, которую слышал Уитмэн.

Это стихотворение и у меня вызвало видение --- видение танцующей Америки, исполняющей танец, который служил бы достойным выражением песни Уитмэна, — он слышал, как поет Америка. Музыка этого танца будет великого ритма, как радость, как размах и очертания Скалистых гор. В ней не должно быть ничего общего со сладострастным ритмом джаза, она уподобится трепету души Америки, стремящейся ввысь через труд к гармонической жизни. В ней не будет ни следа от фокстрота и чарльстона.

Когда мои танцы называют греческими, это часто вызывает у меня улыбку, причем улыбку иронии, ибо я знаю, что они возникли из рассказов моей бабушки-ирландки, которые мы не раз от нее слышали, о том, как она вместе с дедом в 1849 году в крытом фургоне ехала по великим равнинам. Ей было 18, а ему 22 года. Она родила ребенка в этом фургоне в тот день, когда происходила знаменитая битва с краснокожими, и бабушка рассказывала, как дед просунул голову в дверь крытого фургона, когда наконец краснокожие были разбиты, и, держа дымящееся ружье в руке, приветствовал рождение своего ребенка.

Когда они добрались до Сан-Франциско, мой дед выстроил одним из первых деревянный дом. Помню, как маленькой девочкой я приходила в этот дом, и моя бабушка, вспоминая об Ирландии, часто пела мне ирландские песни и танцевала ирландскую джигу. Но мне думается, что в ее ирландскую джигу успело прокрасться нечто от героического духа пионеров и от битвы с краснокожими, вероятно, даже некоторые из жестов краснокожих, а также чуточку от «Янки Дудля»¹, той эпохи, когда дед, полковник Томас Грей, маршируя, вернулся с Гражданской войны. Все это бабушка отражала в своей ирландской джиге, а от нее научилась тому же и я, вложив в танец свое собственное восприятие молодой Америки. Таково происхождение так называемого греческого танца, которым я «затопила» весь мир.

Это было начало, корень, а впоследствии, очутившись в Европе, я приобрела трех великих учителей, трех великих предвестников танца нашего века — Бетховена, Ницше и Рихарда Вагнера. Бетховен создал могучий ритм танца, Вагнер — скульптурную форму, а Ницше — танец духа.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Так же как у меня бывают дни, когда мне кажется, что моя жизнь — это дивная, украшенная сверкающими драгоценностями легенда, цветущее поле, лучезарное утро, увенчивающее каждый час любовью и счастьем; дни, когда я не нахожу слов, чтобы выразить ликование и радость жизни, и когда идея моей школы кажется мне лучом гения, то так же бывают иные дни, когда, вспоминая свою жизнь, я чувствую в себе огромное отвращение и полную опустошенность. Прошрое кажется лишь цепью катастроф, будущее — тяжелой невзгодой, а моя школа — галлюцинацией, порожденной мозгом безумца.

После долгой борьбы, которую я выдержала, чтобы не дать распасться школе, одинокая, с тоскующим сердцем, разочарованная, я стремилась вернуться в Париж, где оказалось бы возможным выручить деньги за свою собственность. Я сообщила Мэри о своем настроении.

— Завтра уезжает мой лучший друг Гордон Сель-

¹ Песня времен войны США за независимость 1775—1783 гг.

фридж. Если я его попрошу, он, конечно, достанет вам билет, — сказала Мэри.

Я была так измучена борьбой и тоской от своего пребывания в Америке, что с радостью согласилась, и на следующее утро отплыла из Нью-Йорка. Но несчастье преследовало меня и здесь: в первый же вечер, гуляя по палубе, погруженной в мрак из-за военных условий, я провалилась сквозь люк и, упав с высоты 15 футов, довольно сильно ушиблась. Сельфридж очень благородно предоставил в мое распоряжение свою каюту, так же как и самого себя. Он был в высшей степени любезен и приятен. Я напомнила ему о своем первом визите к нему более 20 лет назад, когда голодной маленькой девочкой попросила его отпустить в кредит деньги на платье для танцев.

В его лице я впервые столкнулась с человеком действия. Я поразилась, насколько отличается его взгляд на жизнь от взглядов артистов и мечтателей, которых я знала. Он, казалось, принадлежал иному полу — я считаю, что все мои любовники были определенно женственными. Я всегда вращалась в обществе мужчин более или менее неврастеничных и либо погруженных в глубочайшее уныние, либо возбужденных под влиянием выпитого. А Сельфридж всегда был в необычайно ровном, отличнейшем расположении духа.

Когда я приехала в Лондон, все еще не оправившись от ушибов, у меня не было денег, чтобы направиться в Париж. Я сняла комнату на Дюк-стрит и телеграфировала своим друзьям в Париж, но не получила ответа, вероятно, из-за войны.

Совсем беспомощная, я провела несколько ужасных и угрюмых недель в своей печальной комнате. Одинокая и больная, без единого цента. Моя школа была уничтожена, а война, казалось, будет длиться бесконечно. Ночью я сидела у темного окна и, наблюдая за воздушными налетами, жаждала, чтобы в наш дом попала бомба и мои мучения закончились бы. Ведь самоубийство так искушает! Я часто думала о нем, но что-то всегда удерживало меня.

В отчаянии я телеграфировала Лоэнгрину, но не получила ответа. Еще до моего отъезда из Нью-Йорка один менеджер устроил несколько концертов для моих учениц, которые хотели поискать счастья в Америке. Они ездили как ученицы Айседоры Дункан, но я не получала ничего из доходов от этих турне. Я оказалась в отчаянном

положении. Наконец, благодаря случаю, я встретила обязательного сотрудника посольства Франции, который пришел мне на выручку и отвез в Париж. Там я сняла комнату в «Пале д'Орсэ» и обратилась за деньгами к услугам ростовщиков.

Каждое утро в пять часов нас будил грубый грохот «Большой Берты»¹ — подходящее начало для зловещего дня, в течение которого с фронта приходили ужасные вести. Смерть, кровопролитие, бойня заполняли угрюмые часы, а ночью раздавался свист, предупреждавший о воздушном налете.

Единственным ярким воспоминанием этих дней у меня осталась встреча с знаменитым асом Гарро. Я встретила с ним как-то вечером в доме моих друзей. Он играл Шопена, я танцевала. Он провожал меня пешком домой от Пасси до набережной Кэ-д'Орсэ. Мы наблюдали воздушный налет на город. На площади Согласия я под падающими бомбами протанцевала перед Гарро. Сидя на краю фонтана, он аплодировал мне. Совсем близко от нас падали и взрывались ракеты, освещая своими вспышками его печальные темные глаза.

Дни проходили в угрюмом однообразии. Я с радостью стала бы сестрой милосердия, но я сознавала, что лишь увеличу и без того длинную очередь кандидатов, ожидающих место сестры.

Итак, я решила вернуться к моему искусству, хотя у меня на сердце лежала такая тяжесть, что я удивлялась, как ноги выносят ее бремя.

У Вагнера есть песня «Ангел», которую я люблю; она рассказывает о печальном и одиноком духе, к которому является ангел света. И такой ангел возник передо мной в те мрачные дни в лице пианиста Вальтера Руммеля, которого ко мне привели друзья.

Когда он явился, мне показалось, что молодой Лист сошел с полотна. Он был высок, худощав, блестящий локон спускался на высокий лоб, а глаза были похожи на прозрачные источники сияющего света. Я называла его «мой архангел». Он играл мне. Мы работали в фойе театра, которое было любезно предоставлено Режаном в мое распоряжение. Под уханье «Большой Берты» и эхо военных известий он играл мне Листа, а я слагала, вдох-

¹ Так французы называли огромное артиллерийское орудие, из которого немцы обстреливали Париж с расстояния 78 миль.

новляемая его игрой, новые танцы. Так началась самая чистая любовь в моей жизни.

Он был воплощением нежности и мягкости, и все же страсть сжигала его. Нервы его сгорали, а душа восставала. Но он не давал прорываться страстям, напротив, его отвращение к ним было так же очевидно, как непреодолимое чувство, которое владело им. Он был подобен святому, танцующему на горячих углях. Любить такого человека и опасно, и трудно. Отвращение к любви может легко перейти в ненависть к тому, кого любишь.

Лето шло, и мы нашли тихое убежище на юге. Там, вблизи порта Сен-Жан, на мысе Ферра, в почти покинутом отеле мы устроили себе студию в пустом гараже. Все дни и вечера он играл мне дивные мелодии, а я танцевала.

Блаженное время наступило для меня. Жизнь, как маятник, — чем ниже погружаешься в скорбь, тем выше затем вздымаешься в радость.

Время от времени мы выходили из нашего убежища, чтобы оказать помощь несчастным или дать концерт перед ранеными. Но чаще всего мы были одни, отдаваясь лишь музыке и любви, любви и музыке, — моя душа была наверху блаженства.

Когда лето прошло, мы нашли студию в Ницце и с объявлением перемирия вернулись в Париж.

Война закончилась. Мы смотрели, как войска проходят победным маршем под Триумфальной аркой, и восклицали: «Мир спасен!» На мгновение все стали поэтами, но мир скоро вспомнил о коммерческих делах.

Мой архангел взял меня за руку, и мы поехали в Белльвю. Вместо дома мы нашли развалины. «Но почему же не восстановить дом?» — подумали мы. И потеряли несколько напрасных месяцев, пытаюсь найти деньги для этой несбыточной затеи.

Наконец, убедившись, что она действительно несбыточна, мы приняли предложение продать дом французскому правительству, которое придерживалось мнения, что огромный дом замечательно подойдет под фабрику удушливых газов для следующей войны. Ранее мой храм Диониса был превращен в госпиталь для раненых, а теперь мне было суждено предоставить его под фабрику орудий войны. Я очень сожалела о потере Белльвю. Закончив наконец дела по продаже дома и получив деньги, я приобрела дом на рю де ля Помп, где прежде помещался Бетховенский зал, и устроила здесь свою сту-

дию. Мой архангел питал ко мне нежное сострадание. Он, казалось, чувствовал горе, которое угнетало мое сердце и служило часто причиной бессонных, полных слез ночей. В такие часы он смотрел на меня сочувствующим взглядом, блестя глазами, что приносило мне утешение.

В студии два наших искусства чудесно слились в одно. Он был первым, кто посвятил меня в смысл творчества Франца Листа.

Вместо того чтобы спокойно наслаждаться обретенным счастьем, я вернулась к своей старой мысли восстановить школу и с этой целью телеграфировала моим ученицам в Америку.

Когда они присоединились ко мне, я собрала нескольких верных друзей, которым заявила:

— Отправимся в Афины и посмотрим на Акрополь. Может быть, мы еще сможем основать школу в Греции.

Как извращаются людские побуждения! Сотрудник «Нью-Йоркер» писал о нашей поездке в 1922 году: «Сумасбродство Дункан не знало границ. Она пригласила к себе гостей, и из Венеции все отправились в Афины».

Горе мне! Приехали мои ученицы — красивые, молодые, удачливые. Мой архангел увидел их и влюбился в одну из них.

Как описать путешествие, которое явилось для меня Голгофой моей любви? Впервые я заметила их страсть в отеле «Экцельсиор» на Лидо, где мы остановились на несколько недель. А убедилась в ней на пароходе, который шел в Грецию, и это омрачило для меня навсегда вид Акрополя при свете луны.

По прибытии в Афины все, казалось, благоприятствовало школе. Благодаря любезности Венизелоса ¹ в мое распоряжение был предоставлен Заппейон. Мы устроили здесь студию, и каждое утро я работала в ней со своими ученицами, стараясь воодушевить их для танца, который был бы достоин Акрополя. Моим намерением было обучить тысячу детей для участия в грандиозных празднествах Диониса на стадионе.

Каждый день мы отправлялись к Акрополю, и при воспоминании о моем первом приезде сюда в 1904 году я с глубоким волнением смотрела на своих юных учениц, которые сейчас осуществляли хотя бы часть грез, овладевших мною здесь шестнадцать лет назад. И вот теперь,

¹ Венизелос Элефтериос (1864—1936) — премьер-министр Греции в 1910—1915 и в другие годы.

когда все, похоже, указывало, что война окончена, я смогу наконец учредить в Афинах свою долгожданную школу.

Мои ученицы, которые привезли из Америки огорчавшие меня аффектацию и манерность, избавились от них под сверкающим небом Афин, черпая вдохновение в великом искусстве и великолепных видах гор и моря.

Мы нашли Копанос разоренным. Его населяли пастухи со своими козьими стадами, но это отнюдь не поколебало моего решения очистить и восстановить здание. За работу принялись немедленно. Накопившиеся за многие годы груды мусора были вывезены, и молодой архитектор занялся крышей здания и оборудованием окон и дверей. В высоком зале для танцев мы разостлали ковер и поставили рояль. Здесь каждый день, когда огненное солнце садилось за Акрополем, распространяя над морем нежно-багряные и золотые лучи, мой архангел играл нам Баха, Бетховена, Вагнера, Листа. В прохладе вечеров мы сплетали венки из нежных белых цветов жасмина, которые афинские мальчишки продают на улицах, и, надев их на голову, брели к морю ужинать в Фаллереоне.

В кругу украшенных цветами девушек мой архангел походил на Парсифаля¹, но я начала замечать в его глазах новое выражение, которое больше напоминало о земных, нежели о небесных страстях. Я верила, что наша любовь безгранична, и прошло немало времени, прежде чем передо мной забрезжила правда. Я увидела, что его сияющие крылья превратились в страстные руки. Весь мой опыт ничему меня не научил, и это открытие явилось для меня тяжелым ударом. С этой минуты тревожные, страшные муки овладели мной, и, вопреки своей собственной воле, я начала следить за проявлениями их растущей любви с чувством, которое, к моему ужасу, иногда пробуждало во мне демона, близкого к убийству.

Как-то вечером при заходе солнца, когда мой архангел, все более и более приобретающий облик человеческого существа, только что кончил играть великолепный марш из «Сумерек Богов» и последние звуки отражались от Гимета и замирали в воздухе, тая и сливаясь с багряными лучами, я увидела, как встретились их взгляды, горящие взаимной страстью. Меня охватил приступ ярости с такой неистовостью, что я испугалась. Повернув-

¹ *Парсифаль* — легендарный рыцарь, герой средневекового эпоса. — Прим. сост.

шись, я ушла прочь и всю ночь бродила по склонам Гимета, одержимая безумным отчаянием.

Конечно, я и прежде в своей жизни испытывала тяжкие страдания, которые причиняют когти зеленоглазого чудовища ревности, но никогда еще мной не владела такая неистовая страсть, как сейчас. Я любила и в то же время ненавидела их обоих, и это испытание внушило мне глубокое сочувствие и понимание тех несчастных, которых невообразимые пытки ревности подстрекают к убийству любимого человека.

Чтобы избежать этого бедствия, я взяла с собой нескольких учениц и мы поднялись по чудесной дороге, ведущей мимо античных Фив в Калсис.

Но в те минуты все великолепие Эллады было бесцельно изгнать из меня овладевшего мной ужасного демона, который беспрестанно рисовал мне образ тех двух, оставшихся в Афинах, и глодал и пожирал, как серная кислота, мой мозг. И когда мы вернулись, вид их обоих на балконе, сияющих безмятежной юностью и взаимной страстью, завершил мое горе.

Сейчас я не могу понять того наваждения, но в те часы оно опутало меня крепкими сетями, и я не могла вырваться из них, как нельзя вырваться из тисков скарлатины или оспы. Однако, несмотря на свое состояние, я ежедневно преподавала моим ученицам и не отказалась от планов основать школу в Афинах, которым все, казалось, улыбалось.

Но когда вечером я видела на балконе силуэты двух голов, в лунном свете, то вновь становилась добычей мелких человеческих страстей, опустошавших мою душу, и уходила, дико блуждая в одиночестве и вынашивая в себе намерение броситься, как Сафо, с утеса Парфенона.

Нет слов, чтобы описать страдания сжигавшей меня мучительной страсти, и нежная красота окружавшей меня обстановки лишь усугубляла мое горе. Казалось, из этого положения нет выхода. Разве сплетение страстей могло заставить нас пожертвовать бессмертными планами великого музыкального сотрудничества? Ведь не могла же я отослать ученицу из школы, где она выросла. И в то же время невозможной казалась перспектива каждый день видеть их любовь и удерживаться от проявления своей досады. Это был капкан, из которого нельзя было выбраться.

Но все продолжалось: я старалась научить своих учениц красоте, спокойствию, философии и гармонии, но сама я внутренне корчилась в тисках страшной пытки.

Этому невыносимому положению положил конец та-

кой пустяк, как укус обезьяны, укус, который оказался роковым для греческого короля.

Несколько дней король находился между жизнью и смертью, а затем пришла весть, что он умер, и это послужило причиной переворота. Венизелосу и его партии пришлось опять уйти, а нам уехать — ведь мы были приглашены в Грецию в качестве его гостей и тоже пали жертвами политических событий. Все деньги, которые я истратила на восстановление Копаноса и устройство студии, пропали, и нам всем пришлось отказаться от мечты учредить школу в Афинах, сесть на пароход и вернуться через Рим в Париж.

Какое странное мучительное воспоминание оставило во мне это последнее посещение Афин в 1920 году, возвращение в Париж, где вновь начались мои муки, закончившиеся наконец разлукой с моим архангелом и его отъездом вместе с моей ученицей, которая тоже покидала меня навсегда. Несмотря на то что я чувствовала себя жертвой всего случившегося, она, видимо, держалась совершенно противоположного мнения и с горечью порицала меня за мои чувства и за то, что я не сразу отреклась от своих прав.

Когда наконец я очутилась одна в доме на рю де ля Помп, мое отчаяние не имело границ. Я не могла больше переносить вида этого дома, в котором была так счастлива. Я жаждала уйти из него и из мира, ибо в те дни верила, что мир и любовь умерли для меня. Сколько раз в жизни приходишь к такому заключению! Между тем, стоит заглянуть за ближний холм, там окажется долина цветов и счастья, которая ждет нас. В особенности я порицаю выводы, к которым приходят многие женщины, что, после того как им минуло 40 лет, их жизненное достоинство должно исключить всякую любовь. О, как это неверно!

* * *

Весной 1921 года я получила телеграмму от Советского правительства:

«Русское правительство единственное, которое может понять вас. Приезжайте к нам. Мы создадим вашу школу».

Откуда пришло это обращение? Из ада? Нет — но из ближайшего от него места, которое для Европы заменяло собою ад, — от Советского правительства, из Москвы. Я ответила:

«Да, я приеду в Россию и стану обучать ваших детей при единственном условии, что вы предоставите мне студию и все, что необходимо для работы».

Я получила утвердительный ответ, и вот однажды я очутилась на Темзе, на пароходе, который шел из Лондона в Ревель ¹, а затем наконец я приехала в Москву.

Перед отъездом из Лондона я пошла к гадалке, которая сказала: «Вы отправляетесь в долгое путешествие. У вас в жизни будет много необычного, много неприятностей, вы выйдете замуж...» При слове «замуж» я оборвала ее смехом. Разве я не выступала всегда против брака? Я никогда не выйду замуж. «Поживем — увидим», — возразила предсказательница.

По дороге в Россию у меня было чувство, словно душа, отделившись после смерти, совершает свой путь в новый мир. Мне казалось, что я покинула навсегда все формы европейской жизни. Я в самом деле верила, что на земле каким-то чудом создано идеальное государство, о котором мечтали Платон, Карл Маркс и Ленин. Со всей энергией своего существа, разочаровавшегося в попытках достигнуть чего-либо в Европе, я была готова вступить в государство коммунизма.

Я не везла с собою никаких платьев. Я представляла себе, что проведу остаток жизни в красной фланелевой блузе среди товарищей, одетых так же просто и исполненных братской любви.

Пока пароход уходил на север, я оглядывалась с презрением и жалостью на все старые установления и обычаи буржуазной Европы, которые я покидала. Отныне я буду лишь товарищем среди товарищей, я разработаю обширный план работы для этого поколения человечества. Прощай, неравенство, несправедливость и животная грубость старого мира, сделавшие мою школу несбыточной!

Когда пароход наконец прибыл, мое сердце затрепетало от великой радости. Вот он, новый мир, который уже создан! Вот он, мир товарищей: мечта, родившаяся в голове Будды, мечта, звучавшая в словах Христа, мечта, которая служила конечной надеждой всех великих артистов; мечта, которую Ленин великим чародейством превратил в действительность. Я была охвачена надеждой, что мое творчество и моя жизнь станут частицей этого прекрасного будущего.

Прощай, Старый Мир! Привет Новому Миру!

¹ Ревель — нынешний город Таллинн. — *Прим. ред.*

**МЭРИ ДЕСТИ
НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ**



Перевод с английского *З. В. Рахлиной*

MARY DESTI
THE UNTOLD STORY
The life of Isadora Duncan
1921—1927
New York, 1929

ВСТУПЛЕНИЕ

После того как Айседора Дункан закончила писать историю своей жизни на событиях до 1921 года, я умоляла ее сразу же продолжить воспоминания и написать о пребывании в России и о последующих годах. Несмотря на все мои уговоры, она откладывала это изо дня в день. Но за два дня до смерти все же начала писать продолжение, хотя и говорила, что не напишет ни страницы. Писалось ей очень трудно. Однажды, когда я что-то читала, она подошла ко мне, бросила мне на колени исписанные три листка и сказала: «Ну вот, ты знаешь мою жизнь не хуже меня. Напиши сама. Я больше не напишу ни строчки». И она действительно больше не написала ни строчки.

Я положила эти три листка в карман и, обнаружив их после ее похорон, решила, что слова ее — пророческие и мой долг докончить ее книгу. Вскоре я уехала с Ирмой (ученицей Айседоры) в Россию. Причиной моей поездки в Москву было желание увидеть детей из школы Айседоры и привезти их на гастроли в Америку, а также подтвердить те факты, которые у меня накопились для книги.

Кремль со своими сверкающими куполами, о котором Айседора мне часто рассказывала, в первый момент показался сном наяву. Когда мы приехали в особняк, отданный под школу Айседоры, широкие двери распахнулись и по мраморной лестнице сбежали сто учениц Айседоры — все в красивых красных бархатных туниках, волосы схвачены узенькими красными бархатными ленточками. Они были похожи на ангелов, и горе мое, что это я, а не Айседора приехала к ним, было беспредельно. Я бессильно и беспомощно оперлась о балюстраду, а дети окружили меня и только что не понесли наверх по лестнице, наперебой выпаливая приветственные слова, которые подготовили к нашему приезду. Внезапно они воскликнули: «О, Мэри, ты смотришь так же, как Айседора. Ты похожа на нашу Айседору!»

Для нас приготовили великолепный ланч. Затем по чудесному русскому обычаю пришли приветствовать меня, подругу Айседоры, все учителя, секретари — весь персонал школы, даже кухарка и уборщица. Дети просили меня рассказать обо всем, что случилось с Айседорой, и я, усадив их на полу вокруг себя, несколько часов рассказывала обо всем прекрасном, что вспоминала из жизни Айседоры, и о том, что она говорила мне о каждой из них. Так и сидели эти прелестные дети, поднимая ко мне свои прекрасные, одухотворенные лица и впитывая рассказ о последних днях своей любимой учительницы.

Шесть недель, которые я провела в школе, до конца жизни не изгладятся из моей памяти. Я поняла, что Айседора не умерла, она продолжает жить в этой маленькой группе, и я каждый день внушала детям, какое великое счастье им выпало — учиться у величайшей танцовщицы и одной из великолепнейших личностей всех времен и черпать у нее вдохновение, и что их священный долг продолжать ее дело, а они, в свою очередь, должны обучать других маленьких детей. Я сказала: «Это завещание Айседоры».

Дети ответили: «Мы никогда ее не забудем, никогда».

Ирма организовала много очень милых выступлений и сама танцевала с детьми все танцы, которым их обучила Айседора. Вечером того дня, когда исполнилась шестая годовщина существования школы Айседоры Дункан в России, дети сочинили и разыграли пьесу, рассказывающую историю школы с ее первых трудных дней, когда они, совсем малышами, умирающими от голода, пришли к Айседоре и умоляли принять их. Должна сказать, что талант, юмор и грация даже самых маленьких учениц были поразительными. Я провела чудеснейший вечер.

Я договорилась с Ирмой, что заключу контракт с каким-нибудь американским менеджером на гастроли школы в Америке в 1928 и 1929 году. Находясь в России, я, совершенно здоровый человек, начала чувствовать себя плохо, но считала, что это усталость. Приехав в Париж, я с трудом вставала по утрам и, получив телеграмму, что моего сына оперировали по поводу аппендицита, первым же пароходом отплыла в Америку.

Вскоре по приезде я встретила мистера Т. Р. Смитом, который спросил, напишу ли я второй том о жизни Айседоры или книгу о нашей совместной с ней жизни. Я сказала, что это моя самая большая мечта

и что, по-моему, Айседора хотела, чтобы я его написала, потому что никто другой не знал так хорошо правду и самые интимные подробности последних лет ее жизни, как я, хотя, возможно, кто-нибудь и смог бы написать книгу лучше меня. Но сейчас состояние моего здоровья стало угрожающим, и я боялась, что не смогу заняться сколько-нибудь серьезной работой. И почти тут же я окончательно слегла, и доктора очень сомневались, что им удастся меня вылечить. С каждым днем я все больше слабела и вскоре совсем не смогла передвигаться. Считали, что такое состояние было вызвано шоком и напряжением, связанным со смертью Айседоры.

В конце концов я послала за мистером Смитом и сказала, что, по-моему, жить мне осталось лишь несколько месяцев и, если он все еще хочет, чтобы я написала книгу, я должна начать ее немедленно. Он умолял меня заняться книгой, и на следующий день меня отвезли в Мемориальный госпиталь на углу 106-й улицы и Запада Центрального парка, где и были написаны эти воспоминания. Мистер Смит предоставил в мое распоряжение очень квалифицированную и внимательную секретаршу, которой иногда приходилось терпеливо сидеть часами без дела в ожидании, пока у меня утихнут боли и я смогу продолжать диктовать. Много дней мы работали допоздна — для нас время становилось драгоценным. Мне об очень многом еще хотелось бы упомянуть в книге, но сделать этого я не смогла из-за стремления закончить ее, пока я в состоянии действовать. То, что здесь написано, — истинная правда и последняя услуга, которую я могу оказать самому преданному другу, когда-либо имевшемуся у женщины. Эта книга — дань величайшей артистке своего времени.

АЙСЕДОРА — ХУДОЖНИК ¹

Искусство Айседоры пришло из античных времен, неся современникам грацию движения, гибкость тела, очарование и легкость одежды — все то, что долгие века было скрыто в греческих скульптурах.

Она всегда требовала: «Дайте мне рабочего, художника, бедняка — они понимают мое искусство. Для богатых я просто развлечение. Пусть придут мои друзья-художники, для них я создала и танцую Воскрешение».

Ее танец художники описывали, хвалили и объясняли на всех языках, и каждый вкладывал в него свое понимание, раскрывая то вдохновение, которое он черпал из этого чудесного источника.

Когда меня просят объяснить искусство Айседоры, я не могу связать его ни с каким именем, а ведь я все время была около нее, и каждый раз его вечно меняющиеся чистота и красота ослепляли меня. Я не нахожу слов, которыми можно было хотя бы намекнуть на то, что ее искусство означает, поэтому я хочу привести отрывки из нескольких собранных мною статей (а их великое множество).

Вот отрывок из статьи, которая очень нравилась Айседоре и была написана ее преданным другом Мэри Фэнтон Робертс:

«Магия танца Айседоры Дункан так велика, что даже в современном театре она заставляет вас забыть, что вы заключены в этих дурацких стенах. Своей музыкой и движением она уносит вас с собой в дикие леса к богу Пану с его флейтой и к танцующим нимфам, солнцу, ветру и любви.

С того момента, как начинает играть оркестр и раздви-

¹ Первые семь глав книги М. Дести публикуются с сокращениями, так как описываемые в них события изложены Айседорой Дункан в «Моей жизни». — *Прим. ред.*

гается зеленый занавес, а по сцене на фоне задников цвета мягкого бледного облака пролетает фигура, окутанная вуалью цвета солнечного или лунного луча или же лазури бледного рассвета, исчезают все скучные повседневные заботы и перед глазами встает огромная, величественная и простая картина зари человечества. Если бы Крылатая Победа могла бы двигаться на своем высоком пьедестале в Лувре, то движения ее были бы, несомненно, теми же, что и у Айседоры в серии танцев на тему «Ифигения», которую она создала на музыку Глюка. Каждое движение ее полно такого великолепия и красоты, что ваше сердце начинает биться сильнее, глаза влажнеют и вы понимаете, что, даже если жизнь ваша счастливая, такие дивные моменты выпадают раз во много лет. А затем фигура тает в зеленых складках занавеса, и вы вспоминаете, что, когда Айседора танцевала в Париже, великие художники и поэты, не стесняясь, плакали и поздравляли друг друга с такой редкой радостью. Самое необыкновенное — это впечатление, которое у вас остается от этой женщины, даже когда танец окончен и сцена пуста!

Невозможно вспомнить ни одного па ее танца, потому что у этой женщины с заоблачных высот нет выученных «трюков», которые можно было бы запомнить и повторить. Имитаторов Айседоры Дункан не существует, потому что нет других женщин, которые посвятили бы всю свою жизнь тому, чтобы ясно представить, что же такое красота, искренне бы ее искали и отбрасывали бы все, что не находится в гармонии с простотой и совершенством Природы. Айседора танцует так, как чувствует, и чтобы имитировать ее танец, потребовались бы прежде всего работа и учеба, которые дали бы возможность достичь высоты ее спокойной, ясной мысли и чистого духа, потому что никакое обучение не позволяет с улыбкой накинуть на себя величие».

А больше других нравилась Айседоре тонкая, понимающая критика Иветт Гильбер, которую она считала одним из прекраснейших художников Франции:

«Когда Айседора танцевала «Аве Марию» на музыку Шуберта, парижанка в соседней ложе пробормотала, обливаясь слезами: «Я не могу прийти в себя». А меня, даю вам честное слово, просто душили рыдания. Во время Похоронного марша из «Сумерек Богов» я видела, как марширует величественная фигура Победы!

Перестанем повторять, что танцовщица должна быть двадцатилетней и тощей.

Мы пошли на «Федру» и обнаружили, что бывшая служительница Адониса ¹ и Афродиты Айседора Дункан превратилась в великолепную готическую статую.

Благодарю вас, мадам, за великолепные уроки, которые вы нам преподнесли. Устроенная вам овация снова вдохновит нас, художников.

Спасибо вам, мадам, спасибо».

КАК Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ С АЙСЕДОРОЙ

1901—1902 гг.

В январе 1901 года, после неудачного замужества и развода, я взяла под мышку своего полуторагодовалого сына и уехала в Париж учиться сценическому искусству. В то время у меня был отличный голос.

Мы прибыли в Париж в десять вечера, и я сняла комнату в привокзальном отеле. Я попросила горничную приготовить нам с ребенком ванну. Ванная комната находилась очень далеко от моего номера. Вода в ванне оказалась ледяной, и я никак не могла согреть посиневшего сына. Вдруг в мой номер ввалились несколько человек, моих очень-очень добрых попутчиков. Они сказали, что в эту ночь в Оперном театре дается ежегодный бал, который представляет собой одну из интереснейших достопримечательностей Парижа, и убедили меня поехать туда с ними, щедро заплатив горничной, чтобы она присмотрела за ребенком.

Утром у сына поднялась температура. В газете я увидела объявление, что некий Дональд Дауни «может помочь найти нужное вам жилье». Я взяла ребенка и поехала по указанному адресу. Мистер Дауни сказал, что у него есть именно такая комната, какая мне нужна, и пригласил выпить чаю с его женой и приятной американской леди.

Ко мне подошла высокая величественная дама, обняла меня и притянула к себе моего сына. «Мэри, милая, я сейчас же увезу вас обоих домой к Айседоре».

Дома миссис Дункан, отворив дверь, крикнула: «Айседора, Айседора, посмотри, кого я привезла к тебе — Мэри и ее малыша».

Айседора с Реймондом подбежали ко мне, обняли, а потом закружились вокруг, как будто именно меня они

¹ В мифе об Адонисе, сыне Феникса и Алфесибей, Адонис — спутник и возлюбленный Афродиты. — *Прим. ред.*

и ждали. В этот момент Айседора вошла в мое сердце и осталась там на веки вечные.

Как описать Айседору? Если бы передо мной открылись врата рая и мой ангел-хранитель взял бы меня под свое крыло, я бы не почувствовала большего восторга. Айседора была в короткой танцевальной тунике из бесцветной вуали, спадающей мягкими складками по ее стройному тоненькому телу, изящная головка, покоившаяся на лебединой шее, чуть-чуть по-птичьи склонилась набок, как будто не выдерживала тяжести золотисто-каштановых кудрей; маленький вздернутый носик придавал ей в какой-то мере земной облик, и если бы не он, я бы бросилась перед ней на колени, считая, что передо мной небожитель. Голова моя кружилась от восторга, но голос с настоящим американским акцентом опустил меня на землю.

Айседора и Реймонд схватили меня за руки, и мы, как дети, закружились в хороводе под аккомпанемент миссис Дункан, которая весело играла на рояле, посадив на него моего сына. Это было началом дружбы, продолжавшейся всю жизнь.

У сына началось сильнейшее воспаление легких, и я бы умерла от страха, если бы не помощь семьи Дункан. После бесконечных консультаций врачей, не приносявших ему никакого облегчения, миссис Дункан появилась с бутылкой шампанского. Через каждые несколько часов она давала ребенку по ложке шампанского, и на следующее утро он открыл глазки и улыбнулся. Миссис Дункан сказала: «Твой ребенок спасен, Мэри, но его надо увезти отсюда».

На новой квартире меня начал преследовать богатый сосед — армянин.

Мы с Айседорой, которая поселилась у меня вместе с матерью, решили бежать с помощью Реймонда. В полночь мы выбросили в окно свои вещи и уехали в карете, которую нанял Реймонд. Не знаю уж, что подумал армянин, когда вернулся из Монте-Карло и увидел пустую квартиру и кучу накопившихся счетов.

В отеле «Палас», где мы стали жить, мы так смеялись от радости по поводу бегства, что дама в соседнем номере начала стучать нам в стену и говорить, что она прямой потомок Эдуарда II¹, что у нее трясется голова и что поэтому ее нельзя раздражать. Это развеселило нас еще сильнее. В конце концов она стала угрожать, что

¹ Эдуард II (1284—1327) — английский король с 1307 г. из династии Плантагенетов.— *Прим. сост.*

позовет управляющего, но мы опередили ее. Айседора позвонила ему и печальным голосом сообщила, что дама из соседнего номера не дает нам спать. Вскоре мы услышали стук в ее дверь, а затем громкую перебранку.

Через несколько дней мы с Айседорой вернулись жить в ее студию, а миссис Дункан с моим сыном поселилась в квартале художников невдалеке от Мулен-Руж. Мы с Айседорой ездили туда на уик-энд. Я помню одно пасхальное воскресенье, когда мы поднялись высоко на холмы и сидели там весь день, слушая Айседору, которая читала Шекспира и Шелли. Чтение ее было сама красота и невинность.

Как мы были счастливы!

В это время я стала заниматься вокалом со знаменитым учителем пения Марчеси и сценическим искусством с актером из Комеди Франсез. Айседора всегда сопровождала меня на эти уроки и всячески подбадривала. В тот период Айседору совсем не интересовала любовь и любовники, и мы никогда не говорили о сексе. Были только учение и напряженный труд. Мне Айседора казалась прекрасным редким цветком, изящным и хрупким, и все ее мысли были только о ее искусстве.

Жили мы в основном в студии, но когда первого числа каждого месяца поступало мое пособие в сумме ста пятидесяти долларов, что тогда казалось огромным состоянием, то переселялись в «Маргарит» или какой-нибудь другой отель и кутили до тех пор, пока не иссякали деньги. Искусство Айседоры начало завоевывать в Париже большую популярность, и раз или два в месяц она танцевала в своей студии, и на эти ее представления собиралась вся элита парижской интеллигенции. Перед каждым концертом выступала с вступительным словом какая-нибудь знаменитость. Однажды это был князь де Полиньяк, в другой раз — любимый Каррьер, Беснар, Муне-Сюлли и даже старый тигр Клемансо. Я помню утро, когда мы с Айседорой отправились его искать. Когда мы отважно вошли в его кабинет и спросили, не согласится ли он побеседовать со зрителями перед представлением Айседоры, он сначала расхохотался от мысли, как это он будет говорить о танцах, но потом идея ему понравилась и он стал приходить очень часто, так же как и его брат со своей очаровательной русской женой.

Парижское общество в те дни было похоже на сказку. Утром по воскресеньям Каррьер или Беснар водили нас

вместе со своими детьми в Лувр или Люксембургский дворец, показывали произведения великих мастеров и рассказывали о них. А затем мы все шли к ним домой, ели простую пищу — и были счастливы.

На одном из выступлений Айседоры произошло знаменательное событие. Уже шла беседа, Айседора одевалась за занавесом, отгораживавшим угол комнаты, который служил сценой. Айседора танцевала в золотых сандалиях с очень высоко переплетающимися ремнями. Уже тогда она любила глотнуть спиртного перед танцем. И вот бокал виски выскользнул у нее из рук и содержимое вылилось в сандалию. Запах был такой, что мы начали смеяться, да так, что не в состоянии были зашнуровать сандалии. А тем временем беседа закончилась и заиграла музыка.

Я схватила сандалии, швырнула их в угол и выпихнула Айседору на сцену босиком. Это был первый случай, когда Айседора танцевала босая, и сенсация была так велика — все превозносили красоту ее ног, — что она стала всегда танцевать босиком.

В этот вечер Реймонд вел «страшную борьбу» на два фронта: с одной стороны, впускал людей, заплативших по сто франков, а с другой — не давал войти консьержу, который пришел требовать квартирную плату. Реймонд победил.

После двух лет такой великолепной жизни мне пришлось по требованию мамы вернуться в Америку, где я вышла замуж за своего старого поклонника — добрейшего, преданнейшего друга, о котором только может мечтать женщина, — и не виделась с Айседорой три года, хотя все время переписывалась с ней.

НАША ПОЕЗДКА В БАЙРЁЙТ

(1904 г.)

В следующий раз я поехала в Европу через несколько лет и направилась прямо в Германию на встречу с Айседорой, которая жила в Шарлоттенбурге. Айседора не ожидала меня и очень обрадовалась. Она тут же затащила меня в свою комнату, где, не переставая бурно танцевать от радости, спросила:

— Мэри, Мэри, почему ты мне не говорила? Почему ты мне не говорила?

— Чего не говорила?

— Почему ты не говорила мне, что такое любовь?

Я растерялась и не могла понять, о чем она говорит.

— Не красней,— сказала она,— я все знаю об этом. Это чудеснейшая вещь на свете. Мне понадобится много недель, чтобы тебе все рассказать. Будапешт — Ромео — Любовь. Мэри, у нас никогда не будет секретов друг от друга. Тебе я могу открыть сердце. Здесь, в этом доме, все на меня злятся. Теперь я знаю суть всего — музыка, танцы и вообще все стало другим после того, как мне открылась любовь. Я рождена для любви.

Кружась по комнате, она выхватила из вазы несколько цветков, вплела их в свои кудри и начала танцевать как безумная.

— Я больше не невинная дева, которую ты оставила, а расцветшая вакханка.

И вид у нее был вакханки.

— Как же я рада, что ты приехала. Завтра мы едем в Байрёйт. Только вдвоем. Престон с няней и мама с Темпл¹ приедут потом.

В этот вечер был большой пир, и легли мы спать только утром. Айседора все время повторяла: «Мэри, подожди, я тебе все-все расскажу». И она рассказала, но я пересказывать не буду, все равно мне так не рассказать, как это описано в ее книге.

На следующий день Айседора заставила меня надеть ее золотые сандалии и греческую тунику и подарила прелестную голубую кашмирскую шаль.

— Завтра мы получим две белые накидки,— сказала она за обедом,— и костюмы наши будут готовы. Я не позволю тебе вернуться к буржуазной жизни с туфлями на высоких каблуках и модными туалетами. Обещай мне, что отправишь обратно все свои сундуки и не оставишь ни одной вещи.

Все это приводило меня в восторг, ведь в Чикаго я провела три года, полных условностей, и жаждала вернуться к нашему старому, простому образу жизни. Итак, в свободной развевающейся одежде, голубых шалях и белых накидках, в золотых сандалиях на босу ногу мы, как двое близнецов, отправились на следующий день в имение Вагнеров в Байрёйте. Когда фрау Вагнер увидела нас, она сказала:

— Айседора, я думала, что вы одна, но вас же двое.

¹ Престон — сын Мэри Дести, Темпл — племянница Айседоры Дункан, дочь ее брата Августина.— *Прим. ред.*

А увидев наши греческие одежды, спросила: — Неужели все американцы одеваются, как вы?

На что Айседора ответила:

— Нет, некоторые носят перья.

На протяжении всех шести месяцев, проведенных в Байрёйте, мы носили развевающиеся креповые платья и изысканные креповые шали.

Мы с Айседорой приехали в Байрёйт, смеясь, с песнями и танцами. Айседора была сама юность, и, видимо, это нас крепко связывало. Бродяги, перелетные птицы — да и вообще все люди, для которых годы — ничто, люди, которые встречают каждый день с солнцем, — вот кем мы были, и надо добавить к этому гений Айседоры. С первого дня мы стали любимцами семьи Вагнеров и всего их круга. Мы жили под музыку Вагнера: ели, спали, дышали ею и видели ее во сне, все остальное ушло из нашего сознания. Здесь не было ни пут, ни условностей, ничего, кроме юности.

Короли, принцы, великие князья и другие люди, которых мы ежедневно встречали, — все казались естественной частью картины, а так как мы тоже были ее частью, то не было ничего странного, что мы были с ними на самой дружеской ноге. Мы звали друг друга по имени или же давали фантастические языческие титулы. Мы просто и естественно вошли в эту жизнь.

Рано утром мы ездили в забавных маленьких старомодных дрожках, которые тянула одна лошадь, к месту на горе, которое Айседора называла Красный сарайчик. Это был знаменитый вагнеровский театр. Здесь мы встречались с другими поклонниками и рассыпались по темному театру группами по двое, трое или четверо. Мы просиживали ежедневно по четыре-пять часов, держась за руки, как будто боялись, что кого-нибудь унесет.

Проходили месяцы. Мы слушали репетиции «Тангейзера», «Кольца Нибелунгов», «Парсифаля». Никого, кроме занятых в спектаклях, на святая святых репетиции не допускали. Я была там, потому что мы с Айседорой никогда не расставались; я смотрела, как танцует Айседора, а иногда танцевала вместо нее с двумя немецкими балеринами, а Айседора с фрау Вагнер смотрели из зала. Так продолжалось несколько месяцев, пока Айседора не решила, что она довела свою роль до совершенства. Однажды произошло событие, которое подтолкнуло меня к решению оставить сцену. Я танцевала роль Айседоры в «Трех Грациях» вместе с двумя немецкими

балеринами, когда фрау Вагнер во всеуслышание воскликнула с восторгом:

— Чудесно, и как она на вас похожа!

Айседора бросилась на сцену, схватила меня за плечи и начала трясти.

— Никогда этого больше не делай,— вскричала она,— никогда, никогда.

Я была так поражена, что чуть не задохнулась. По дороге домой она не переставая повторяла:

— Это ужасно, даже выражение глаз мое! Больше я никого учить не буду. Получается только моя имитация.

На этом закончились мои танцы, да и вообще сценическая карьера. На следующий день все было забыто. За несколько дней до смерти Айседоры я спросила у нее, помнит ли она эту сцену, и она сказала, что совершенно не помнит.

Мы наслаждались любимым Байрёйтом: землей королей и фей, настоящих и воображаемых, где все было великолепно и где все оставляли на пороге свои обычные наряды и облачались в дымку и одежды музыки Вагнера!

Возможно, именно отсюда пошло полное пренебрежение Айседоры к условностям и тем, что в дальнейшем она руководствовалась лишь собственными стандартами справедливости, правды и красоты.

Однажды произошел забавный случай. Мы ждали к полуночному ужину нашего друга, болгарского короля Фердинанда со свитой, но дня за два до него приехал первый любовник Айседоры Ромео, которого она давно не видела, да и не хотела снова видеть.

Айседора не могла никого обидеть и шла сама на любые неудобства, лишь бы не причинить их другому. (Я знаю случай, когда она на несколько недель уехала из дому из-за того, что прибыл неприятный ей гость, выставить которого у нее не хватило духа.) Поэтому она оказала Ромео гостеприимство, но потребовала, чтобы он жил в частном отеле, где жила ее мать, племянница и мой маленький сын с гувернанткой.

Нам с большим трудом удалось выпроводить Ромео домой, после чего мы лихорадочно начали украшать комнату цветами и подушками и выставлять на стол всевозможные деликатесы. Гости задерживались, и когда они наконец прибыли, началось веселье.

Никогда больше не было такого веселого и счастливого пира!

В конце его Айседора предложила выйти в сад, где

она собиралась танцевать для нас. Единственный, кто омрачил праздник, был Ромео, который сначала швырял камушки нам в окна, а затем начал гоняться за Айседорой. Но в конце концов она от него отделалась и танцевала до рассвета, до самого отъезда гостей.

ГЕЛЬГОЛАНД И ВЕНЕЦИЯ. МОЙ ОТЪЕЗД В АМЕРИКУ

(1905 г.)

К концу пребывания в Байрёйте Айседору охватило непреодолимое стремление к морю. Ей казалось, что без своего любимого моря она не может дышать, работать и даже существовать. Оно всегда возрождало ее.

Ромео должен был уехать, и Айседора решила, что с ее стороны будет очень мило показать ему остров, которым она восхищалась, — Гельголанд.

Итак, мы с Айседорой и Ромео, прихватив Темпл и Престопа, уехали из Байрёйта в Берлин, затем в Ганновер, а оттуда на пароходе — на Гельголанд. Айседора в шутку велела детям называть Ромео «папой», ее «мамой», а меня «тетей Мэри». Думаю, она сделала это просто так, чтобы позабавить детей и занять их, ведь служанок у нас с собой не было и возиться с ними было некому. Однако к концу поездки это обернулось неприятностью.

В один из моментов, когда Ромео разговаривал с группой пассажиров парохода, к ним подбежали дети и очень зло закричали:

— Он нам не папа, а она не мама. Мы все просто притворяемся.

Чудесный остров Гельголанд поднимался из моря как мечта. Берега со всех сторон были изгрызаны яростными волнами моря, и мы не понимали, как же нам удастся попасть на плато, как вдруг пароход повернул, и мы подошли к маленькому порту, из которого затем поднялись к самому восхитительному городку в мире. Мы увидели там людей в затейливых широких юбках и больших шляпах. Почти все они были рыбаками и ничего, кроме моря, не видели. Лица у них были добрейшие, счастливые и веселые, люди как будто подшучивали над всем остальным миром. Думая о том, что остров этот в любой момент может быть поглощен морем, ведь его ничто не защищало, мы поражались философскому отношению к жизни этих счастливых людей.

На следующий день Айседора захотела поплавать, и нас перевезли на малюсенький плоский песчаный остров с единственным домом, представлявшим собой совсем простенький отель и ресторан. Айседора заявила, что это самое прелестное место из всего виденного ею, самое здоровое и что мы здесь оставим детей на попечение хорошей хозяйки, а сами вернемся на Гельголанд, чтобы захватить необходимые вещи.

Так мы и сделали, намереваясь обернуться за один день. Но после обеда Айседора решила отложить возвращение на завтра, потому что уезжал Ромео и мы хотели провести с ним последний вечер. Вечером, часов в девять-десять, разразился страшнейший шторм, и когда мы спрашивали об острове, нам отвечали:

— А, ничего, время от времени с него все смывает.

Встревоженные, мы кричали, что оставили там детей, а нам отвечали:

— Может отель-то не смост.

А отель этот нам и с первого взгляда показался непрочным сараем, и так как связи с островком вообще не было, мы побежали на берег и стали умолять рыбаков перевезти нас на островок на лодке. Нет, заявили нам, это невозможно.

— Никто не останется в живых на таком море,— говорили нам.

Охваченные ужасом, мы с Айседорой так умоляли рыбаков, что наконец они согласились отвезти нас. Мы вскочили в лодку, и она запрыгала на чудовищных волнах.

Когда мы благополучно добрались до островка, то бросились к отелю и увидели в окнах лица детей, прижатые к стеклу. Дети были перепуганы и ждали, когда же мы приедем за ними. Мы закутали их в шали и накидки и отправились обратно. У меня на руках был Престон, у Айседоры — Темпл. Я до сих пор чувствую ледяную воду сердитых волн, перекатывавшихся через нас. Промокли мы до костей. На берегу нас ждала целая толпа рыбаков, и когда мы подплыли, раздались крики «ура», все стали протягивать нам руки, чтобы помочь выйти из лодки. Детей мы уложили в постель, напоив их горячим чаем с виски, а сами просидели всю ночь в ожидании рассвета. Утром мы с любовью расстались с Гельголандом и вернулись в Байрёйт.

Вскоре сезон там закрылся, и мы с Айседорой уехали в Венецию. Она заявила, что не отпустит меня в Америку,

пока я не полюбуюсь всеми красотами Италии. Это была ее мания: разделять с друзьями красоту, доставившую ей в жизни удовольствие. Мы прибыли во Флоренцию в полночь, когда весь город был залит ярким лунным светом. Айседора приказала отвезти наш багаж в отель, а я, она и Престон весело двинулись по пустым улицам, во все горло распевая:

— Я Ромео, я Ромео, я Ромео, завоевавший Джульетту. Я Джульетта. Я Джульетта, любившая Ромео.

Часа в два ночи мы пришли в отель и легли спать. На следующий день отправились в Венецию, куда за мной должен был приехать из Америки мой муж. Мы наняли гондолу и поплыли на Лидо, который в то время был пустынным островом с единственным маленьким отелем, великолепным пляжем и множеством купальных кабин. Здесь мы шумно возились целый день то в воде, то на пляже, неистово танцевали, но когда вечером вернулись в отель, оказалось, что у Престона сильнейших приступ крупы, и он едва не задохнулся. Айседора вызвалась поехать в Венецию за доктором.

Когда она вышла из отеля, к ней подошел молодой рыбак огромного роста — он неотступно следовал за нами весь день — и заявил ей, что влюбился в нее, что в жизни не видел женщины прекраснее и так похожей на Мадонну! И если надо будет, он силой отвезет ее к матери и женится на ней. Айседора страшно перепугалась и умоляла его сначала помочь ей привезти доктора, а потом она подумает. Он заставил ее пообещать, что она выйдет за него замуж, и она со страху обещала.

Через час она вернулась с доктором и увидела меня забравшейся на стул у кровати, потому что по всей комнате носилось полчище мышей, выскочившее из-под матраса.

Спустя несколько дней приехал мой муж, и вы можете себе представить его страдания, когда он увидел свою очень элегантную молодую жену в сандалиях на босу ногу и услышал, что она никогда в жизни ничего другого не наденет. Он только спросил:

— А что же ты будешь делать в Чикаго под холодным ветром с озера?

Мы очень нежно распрощались с Айседорой, проводили ее на поезд в Берлин, а сами поехали в Париж.

Потом мы отплыли домой, и я не виделась с Айседорой несколько лет, пока не вернулась в Париж, чтобы навсегда остаться с нею.

СМЕРТЬ ДЕТЕЙ АЙСЕДОРИ

(1913 г.)

В различные периоды жизни Айседору мучили галлюцинации, и, как это ни странно, она верила в дурные приметы и проклятия. Как-то в Париж приехала знаменитая кинозвезда-вампир и с ней родственник Айседоры, и Айседора, веря в гений этого человека и считая, что художники должны всегда быть свободны (тем более что он находился в тяжелом нервном состоянии, так как кинозвезда была спириткой и все время делала что-то странное и таинственное), решила, что единственное его спасение — это уехать. Итак, в одно прекрасное воскресенье она проводила его в Москву. А потом, чувствуя, что должна позаботиться о кинозвезде, приехала ко мне и попросила повидаться вместо нее с этой молодой особой. Я наотрез отказалась. Тогда она попросила меня поехать с ней, что я и сделала.

В жизни не видела Айседору такой растерянной, как во время той встречи. По свойственной ей добросердечности она не хотела никому причинять зла. Айседора сразу не сказала кинозвезде, что произошло, а пригласила покататься и позавтракать с нами. Однако по дороге в студию она все же сообщила ей, что он уехал.

Ну если бы эта кинозвезда когда-нибудь сыграла перед камерой так, как она сыграла перед нами, ей не было бы равных в мире.

Мы с Айседорой поместились на заднем сиденье автомобиля, она — на переднем. Величественно поднявшись во весь рост, особа хрипло крикнула:

— Ты отняла у меня моего супруга! Что будет с моим ребенком?

Айседора онемела, ведь она ничего не знала о ребенке, но затем предложила:

— Если это правда, то поедem ко мне, и я позабочусь о вас и о ребенке.

(На самом деле никакого ребенка и в помине не было.)

Дрожащим от ненависти голосом кинозвезда воскликнула:

— Проклинаю тебя! Боги моих отцов проклинают тебя и твоих детей во веки веков!

В этот момент мы находились как раз на том самом месте, где много лет спустя автомобиль с детьми Айседоры унесло в Сену. Много-много раз после трагедии Айседора спрашивала меня, верю ли я в проклятия.

За несколько дней до гибели своих детей Айседора обедала у меня дома с Гарольдом Спенсером, лордом Альфредом Дугласом, профессором Корнелиусом и еще несколькими людьми. Она предложила всем поехать к ней в студию в Нёйи, чтобы лорд Дуглас посмотрел на ее детей.

В студии было довольно мрачно, и когда мы вошли, Айседора с дрожью в голосе спросила меня:

— Ты видела, как что-то промелькнуло перед занавесом?

Я ответила, что нет.

Она продолжала:

— Там пробежали три черные кошки.

Все бросились к занавесам, но никаких кошек не обнаружили. Айседора сказала:

— Как странно. По-моему, я схожу с ума. Я ясно видела трех кошек. И не только их, бегущих друг за другом. Вчера вечером я видела еще трех огромных черных птиц, которые здесь пролетали.

Кто-то сказал, что это нервы и ей надо обратиться к врачу. Она ответила, что уедет в Версаль, потому что студия действует на нее угнетающе, и ночевать в ней она больше не будет. Возможно, так влияет на нее огромное пространство студии.

После этих слов лорд Альфред молча выскользнул из студии вместе со Спенсером. Видения Айседоры очень его расстроили. Он прошел к детям в спальню и перекрестил их (он был католиком). Не знаю, узнала ли Айседора об этом. Я никогда ей не говорила, да и самой мне рассказали об этом только через несколько дней. Айседора была так сильно взвинчена, что мы взяли машину и уехали в Версаль.

Накануне трагедии мы с Айседорой поехали в Версаль, и во время нашего обычного ужина, состоявшего из холодного цыпленка, салата и бутылки шампанского, Айседора рассказывала мне содержание книги, которую кто-то положил ей в этот вечер за кулисы и от которой настроение у нее стало очень грустным. Это была «Нюба, оплакивающая своих детей». Айседора даже представить себе не могла, зачем кому-то понадобилось подкидывать ей эту книгу.

На следующее утро мы встали рано. Маленький Патрик, как настоящий мужчина, пытался подать мне пальто, а Дердри пела и танцевала, кружась по всему номеру. Никогда я не видела Айседору такой счастливой и неж-

ной, как в то утро! Когда мы поехали в город, Айседора завезла меня домой, а сама поехала с детьми пообедать вместе с Лоэнгрином.

Часа в четыре заехала мисс Эми Бартон и попросила съездить с ней посмотреть квартиру с огромным балконом, выходящим на Сену. Я уже давно искала такую квартиру, поэтому мы взяли извозчика и отправились на другой берег реки. Начался дождь, сильный, мелкий, противный. Мы поднялись на третий этаж. Мисс Бартон вышла на балкон и позвала меня посмотреть на Сену. Вид несущейся неистовой реки, похожей на грязевой поток, вместо обычно спокойной чистой Сены приковал наше внимание, а на меня подействовал настолько угнетающе и так расстроил, что я сказала мисс Бартон:

— Я бы здесь жить не смогла, Сена на меня так действует, что становится жутко.

Она сказала:

— Но вы же давно хотите снять такую квартиру и жить у Сены.

— Не знаю, что со мной, но, ради Бога, уедем отсюда. Я схожу с ума. Не могу тут оставаться ни минуты.

Мы взяли извозчика и направились ко мне домой. Не успели мы подъехать к отелю, как из него выбежала моя секретарша и закричала:

— Быстрее, быстрее, немедленно поезжайте к Айседоре. От нее вот уже полчаса звонят, как сумасшедшие.

Я ответила:

— Никуда я не поеду.

Я знала, что Айседора собиралась пить чай вместе с неаполитанской королевой, и думала, что ей просто хочется, чтобы я при этом присутствовала, а у меня было плохое настроение, и ехать мне не хотелось. В этот момент телефон зазвонил опять. Это была Элизабет:

— Скажите мадам Дести, чтобы она срочно приезжала. Дело не терпит отлагательств.

Мы с мисс Бартон зашли в соседний отель «Мирабо» и выпили чаю. Я подумала, что это уменьшит озноб и чувство ужаса, которые овладели мной. Я купила сирени и вместе с мисс Бартон направились к Айседоре.

Когда мы подъехали к дверям ее студии на улице Шево, 68, то увидели огромную толпу, полицию и ощутили страшное волнение. Но я подумала: «А, у нее большой прием», и мы с мисс Бартон стали пробираться сквозь толпу. У самой двери передо мной ушла на колени кухарка и, хватая меня за платье, запричитала:

— О, мадам Дести, мадам Дести, дети, дети, с ними случилось что-то ужасное!

Я оттолкнула ее и бросилась наверх по лестнице в комнату Айседоры. Она стояла посреди комнаты, и Лознгрин обнимал ее. Простирая ко мне руки, она воскликнула:

— Мэри, скажи мне, что это неправда, это неправда! Мои дети не умерли!

— Конечно же нет, — ответила я, не зная, что произошло. Но Лознгрин сказал:

— Не лги ей. Сейчас не время.

— Мэри ведь не знает, что случилось, она не знает! — восклицала Айседора. Тут Элизабет схватила меня за руку и увлекла в соседнюю комнату.

— Мэри, ради Бога, не теряй головы. Постарайся взять себя в руки. Айседоре нужна сейчас вся наша любовь и храбрость. Дети утонули, Мэри, в Сене.

— Боже! Элизабет, где они сейчас?

— Их забрали в американский госпиталь.

Я бросилась вниз, как лунатик, пробилась сквозь густую толпу у дверей и побежала в госпиталь. Он находился в двух кварталах от нас. Когда я добралась до него, уже смеркалось, и, не зная, куда обратиться, я вбежала в первый же домик. Это оказался морг. Там на белом мраморном столе лежали два наших ангела. Я нагнулась над ними, пыталась сделать им искусственное дыхание, вдохнуть в них воздух, не веря, что они мертвы, когда голос около меня произнес:

— Слишком поздно, мы сделали все, что могли.

Поглядев в сторону, я увидела, картину, которая потом являлась мне по ночам кошмаром всю жизнь. Бедная няня-англичанка лежала с широко открытыми глазами и ртом, и на лице ее запечатлелся ужас всей трагедии.

Автомобиль, в котором она и дети утонули, был с закрытым верхом, и пока он наполнялся водой, няня прижимала детей к груди, пыталась прикрыть их пледом и с отчаянием и ужасом смотрела, как медленно приближается смерть.

Как и все, что происходило с Айседорой, этот несчастный случай был уникальным. Такого несчастья не случилось никогда. В тот день Айседора попрощалась с детьми перед их отъездом в Белльвю, укрыла им ноги пледом, а через несколько минут машина, в которой ехали дети, чуть не наехала на повороте на такси. Чтобы избежать столкновения, шофер резко затормозил. Когда такси про-

ехало, оказалось, что мотор машины с детьми заглох и нужно завести его ручкой. Не выключая зажигания, шофер вышел из машины и прикрыл дверцу. Затем вставил ручку и повернул ее.

И тут машина накренилась и двинулась прямо в реку, которая была футах в десяти. Шофер, видимо, пытался схватиться за руль, но дверца же была закрыта, и ему это не удалось. И тогда, вместо того чтобы громко позвать на помощь, он упал на мостовую и стал биться о нее головой.

Люди, видевшие происшествие, бросились на помощь, но быстрое течение отнесло машину с места трагедии, и потребовалось время, чтобы ее обнаружить и вытащить. Прижимая детей к груди, няня, вероятно, старалась не дать воде поглотить их, и оба ребенка, когда их вытащили, были еще теплыми.

По Парижу поползли страшные слухи, которые, я думаю, были последним шипом в терновом венце Айседоры.

Сразу же после трагедии она послала за шофером, которого держали в полиции, и когда бедняга упал ей в ноги, сказала:

— Не отчаивайтесь. Я знаю, что человек не мог бы совершить такого ужасного преступления. Это далеко за пределами человеческой трагедии. Возвращайтесь к своим детям. Я не позволю и волосу упасть с вашей головы.

Вернувшись в студию, я нашла Айседору в трансе. Она бессознательно отдавала приказания и сказала:

— Надо немедленно сообщить Теду. Но это разобьет ему сердце.

Меня она спросила, видела ли я детей и есть ли надежда.

— Нет, никакой.

С помощью редактора «Фигаро» мне с большим трудом удалось получить разрешение взять тела детей домой — по французским законам жертвы несчастного случая должны были оставаться в морге.

Детей уложили на кушетку в библиотеке.

За ночь студенты Академии художеств покрыли все деревья и кусты в саду белыми цветами, и сад выглядел сказочным.

Люди шли бесконечным потоком. Айседора утешала их, как будто в нее вселился дух утешения. В такие моменты всегда проявлялось ее величие.

Во время похоронной службы Айседора стояла на коленях, крепко держа меня за руку, и говорила:

— Не надо слез, Мэри, не надо слез. У них никогда не было огорчений, и мы не должны грустить сегодня. Я хочу быть такой храброй, чтобы сделать смерть прекрасной и помочь всем матерям в мире, потерявшим своих детей.

Когда мы приехали на кладбище, там еще продолжались какие-то другие похороны, и нам пришлось переждать в подвале церкви, где происходит кремация. Всех троих кремировали у нас на глазах.

Нет слов, чтобы описать ужас этой процедуры. Лицо у Айседоры было, как серый мрамор. Я уговорила ее уйти. Опираясь на руку Августина и скорее мертвая, чем живая, она ушла с кремации. Мы с ней ушли с кладбища до окончания церемонии. Я сказала:

— Айседора, пойдем ко мне, там ты отдохнешь.

— Нет, я должна исполнить важную миссию. Я должна пойти к Лоэнгрину.

Лоэнгрин заболел сразу же после случившегося и находился в больнице. Стоя у его постели, Айседора нежно утешала его.

Она настояла, чтобы мы вернулись в студию. Мы сидели там, уставившись в пространство. Понемногу собрался народ. Я, видя жуткое беспокойство, в котором находилась Айседора, и боясь, что она может что-нибудь с собой сделать — броситься в Сену, попросила Реймонда быть неотлучно с нами. Около двенадцати ночи Айседора стала собираться, а меня просила не ходить с ней. Я сказала, что умру, если она меня оставит, и что я должна идти с ней.

— Хорошо, Мэри, пойдем, но ты должна дать мне возможность распорядиться собой.

Мы вышли из дома, и она долго сидела, глядя на воды Сены. Затем вдруг с бешеной скоростью стала бегать по улицам. Так продолжалось часа два. В конце концов, обняв меня, она сказала:

— Мэри, я решила пережить это. Теперь ничто не имеет для меня значения, но, может, я смогу помочь другим.

Мы возвратились в студию и свалились в постель в чем были — ведь мы ни секунды не спали больше трех суток. Айседора тихо всхлипывала. Я положила ей под голову руку, и она уснула.

Я очень сердилась на Лоэнгрина, хотя и жалела его, и мысленно повторяла:

— Приди к Айседоре, ты должен прийти к Айседоре. Ты должен помочь Айседоре. Ты ей нужен. Встань, оденься и приди.

И действительно, в пять утра раздалися шаги. Я знала, что это Лозенгрин и что мои молитвы услышаны.

Очень осторожно высвободив руку из-под головы Айседоры, я встретила Лозенгрин на лестнице. Лицо его было озарено такой красотой, что он казался богом. Не проронив ни слова, я прошла мимо него и пошла к себе домой, зная, что он единственный человек, который может ее утешить.

СОБЫТИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

(1914 г.)

Я держала в Париже парфюмерный магазин, пользовавшийся большой популярностью. В нем собирались сливки парижского общества.

Сначала все это забавляло Айседору, но потом она почему-то решила, что я художница, а художнику униительно быть причастным к торговле. И она предложила выбросить на улицу все флаконы с духами.

— Это,— заявила она,— покажет твое презрение к бизнесу.

Но тут же спохватилась:

— Нет, так делать нельзя, потому что это будет сильнейшей рекламой в мире. Надо просто запереть дверь и уйти. Оставить все.

Но все решилось помимо меня, к сожалению, против моей воли. Со всех сторон шли упорные слухи о войне, а раз Айседора мое предприятие называла мерзким, я решила в случае войны идти в армию.

Я вступила добровольцем в армию еще за день до объявления войны.

В день объявления войны людная торговая рю де ля Пэ, на которой находился мой магазин, как по мановению волшебного жезла превратилась в казарму. Наши бухгалтеры, швейцары и другие служащие мужского пола с криками выбежали на улицу, засовывая на ходу в карманы бритвы, и через пять минут им выдали военную форму. Раздавались веселые возгласы «ура», а на машинах и автобусах появились бесчисленные лозунги: «На Берлин!», «Мы скоро вернемся». Я подняла над витриной американский флаг, и он провисел первые три года войны, пока не порвался в клочья. Мы оборвали все цветы с подвесных ящиков и забрасывали ими упоенных радостью героев, уходивших на фронт.

Возвратившись в отель «Крийон», я застала Айседору в страшном беспокойстве. Доктор Боссен, который жил при нас, был мобилизован. Он прислал вместо себя очень неприятную медсестру с целой корзиной инструментов. Похоже было, что она боится действовать без врача. Я умоляла Айседору поискать какую-нибудь частную лечебницу или больницу, но она заявила, что очень устала и сделает это на следующий день. Действительно, она была очень слаба.

В четыре утра Айседора вошла ко мне в комнату и сказала:

— Мэри, я думаю, надо сейчас же поискать частную лечебницу.

Я умоляла ее не покидать «Крийон», но она настаивала на своем. Лоэнгрин предоставил ей большую открытую машину, и вот, выпив кофе, мы сели в нее вместе с медсестрой и инструментами и отправились в одну из самых странных поездок в моей жизни.

В отеле нам дали адреса полудесятка частных лечебниц, мы побывали во многих из них. Нам часто приходилось пережидать в машине, пока у Айседоры пройдет очередная схватка. Затем, уже поднявшись на лифте в отведенную ей палату, Айседора вдруг начинала кричать:

— Заберите меня отсюда, заберите!

Мы снова спускались, садились в машину и ехали по другому адресу.

В девять часов утра мы в отчаянии пытались выехать из Парижа в Белльвю, но стража у ворот города нас не выпускала. В эти дни сотни солдат уже разбирали мостовые Парижа и строили баррикады у въездов в город, потому что прошли слухи, что немцы почти у ворот.

Понимая, что времени у нас в обрез, я решила прорываться и велела шоферу ни в коем случае не останавливаться, кто бы нам ни приказывал. Ворота были открыты, и я, выскочив из машины, стала объяснять постовому, что в машине Айседора Дункан, что у нее начались роды и ей необходимо попасть в Белльвю. Меня допрашивали с пристрастием, но в конце концов я всех убила, и мне разрешили вернуться в Париж за врачом.

Полчаса спустя я проехала через эти же ворота с известным парижским акушером. Во дворце Айседоры мы обнаружили только ее, Августина и сестру, но слуг не оказалось.

Ребенок родился примерно через час, и мы сразу поняли, что этот прелестнейший младенец, похожий на

статую Донателло, не жалец. Несмотря на все усилия врача, у него не работали легкие.

Я предложила положить его к Айседоре, чтобы она хоть несколько минут подержала его на руках.

Казалось, перед Айседорой открылись врата рая. Мы оставили мальчика с ней на несколько минут, после чего я послала сестру забрать его, так как сама была просто не в состоянии этого сделать. Айседора к этому моменту заметила, что с ребенком что-то не так, и умоляла сестру хорошенько следить за ним. Позвонил Лознгрин, и когда я рассказала ему о состоянии младенца, он ответил, что распорядится прислать кислородные подушки, и просил сделать все возможное, чтобы спасти ребенка.

Привезли кислород, но и он тоже не помог.

Мы с Августином вошли к Айседоре и сели по обе стороны от нее. Она сказала:

— Августин, скажи мне правду.

И он ответил:

— Айседора, бедная Айседора, твой ребенок умер.

Нет слов описать безмолвное горе Айседоры. Она закрыла глаза. Августин вышел, я осталась с ней.

Вскоре доктор и Августин уехали, чтобы подготовить все к погребению младенца. Айседора, открыв глаза, попросила чаю. Выйдя в другую комнату, я обнаружила, что медсестры нет. Меня обьял ужас. В наступивших сумерках в огромном дворце, в котором было свыше двухсот комнат и около восьмидесяти ванных, мрачные винтовые лестницы и брошенный всеми мертвый ребенок, я на дрожащих ногах спустилась в кухню, надеясь найти медсестру. Но ее и там не было.

Я приготовила чай. Как мне удалось подняться по лестницам, страшась привидений и теней во всех углах и пробираясь по темному холлу в комнату Айседоры, не умерев со страху, остается до сих пор для меня загадкой.

Вскоре мы услышали, что Августин вернулся, а потом раздался стук заколачиваемого маленького гроба, в котором находились все надежды и мечты Айседоры на счастье. Она попросила меня принести из соседней комнаты книгу, и я взяла первую попавшуюся мне под руку. Когда Айседора открыла ее, она застонала. Это была та же самая «Ниоба, оплакивающая своих детей», которую ей подсунули накануне гибели ее двух любимых деток. Впоследствии она много раз спрашивала, как же получилось, что я дала ей именно эту книгу, но я ничего не могла ей ответить. Я же не видела названия! Я так помертвела

тогда от ужаса, страха и жалости, что не отличила бы одной книги от другой.

В последующие недели я советовала Айседоре отдать дом под госпиталь, и если она может отвлечься от своего личного горя, то пойти со мной и вложить все свои силы и энергию в работу. Но она заявила, что оставаться в этом доме не может, да и здоровье ее очень сильно подорвано.

Итак, во вторую неделю августа, после того как Айседора передала все, что имела, госпиталью, мы сели в открытую машину и поехали в Довиль. Вечером она отказалась остановиться на ночлег. И так как ночью езда была запрещена, то в полночь нас арестовали и привезли в военный штаб, где генерал, выслушав, в чем дело, взял нас под свое покровительство. Он накормил нас прекрасным ужином, а утром завтраком и разрешил ехать в Довиль.

Приехав туда, мы обнаружили, что в Большом казино открывается госпиталь. Я стала работать в нем под руководством преданного друга Айседоры великолепно-го хирурга доктора М. Работала я день и ночь и приходила домой лишь немного поспать. Страшно было входить в этот великолепный павильон, где всего две недели назад собиралась вся красота и грация Европы играть в карты, танцевать и пировать, а теперь в большом зале вместо длинных зеленых столов стояли бесчисленные белые койки, на каждой из которых лежали изувеченные люди, и глаза их были полны ужаса и горя. Они не понимали, что случилось. За два месяца до смерти Айседоры мы с ней снова побывали в этом казино и молча ходили в веселой толпе, вспоминая картину августа 1914 г. Какие призраки виделись нам!

ОТЪЕЗД АЙСЕДОРЫ ИЗ АМЕРИКИ СО ШКОЛОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Айседора возвращалась в Америку, и я поехала с ней, потому что до основания вымоталась на работе в госпитале. Многие помнят, как Айседора героически танцевала «Марсельезу». Но в США после больших финансовых неприятностей она решила снова увезти своих учениц в Европу, если, конечно, удастся собрать денег на дорогу. Вместе с группой друзей я приехала проводить ее на пароход. Она умоляла меня поехать с ней, и вид у нее

был такой грустный, что я не могла отказать. И вот без всякого багажа, без паспорта и билета я осталась на пароходе. Мистер Митчел Кеннеди бросил мне с пирса кошелек с деньгами, так что я смогла оплатить свой проезд до Неаполя. Мы прибыли в Италию в день, когда она вступила в войну.

На пароходе по пути в Неаполь Айседора попросила своего секретаря послать радиogramму. И это чуть было не стало причиной гибели ее школы. Дело в том, что с собой из Америки Айседора взяла двадцать восемь девочек, а денег у нее хватило только на билеты. Поэтому, опасаясь, что быстро продать или заложить ее дом в Париже не удастся, она решила танцевать сезон в Южной Америке и дала указание своему секретарю отправить в Буэнос-Айрес бывшему менеджеру радиogramму о немедленном заключении соответствующего контракта.

Прошло дня три-четыре, но ответа не было. Из разговора с радистом Айседора узнала, что накануне на ее имя поступила радиogramма. Она очень удивилась, что никто ей ее не передал.

Радист повел нас в радиорубку и показал копию радиogramмы.

Оказывается, ее секретарь, который с женой и ребенком больше года жил на иждивении Айседоры, решил, что если он вместо ее радиogramмы пошлет свою, и попросит контракт для четырех старших учениц под своим руководством, то это будет ему очень выгодно. А так как радиogramму посылал он, связист отдал ему ответ. Секретарь решил, что по прибытии в Неаполь будет очень просто убедить четырех старших учениц поехать с ним в Буэнос-Айрес и начать собственную карьеру.

Это предательство Айседора переживала очень тяжело и в Неаполе обратилась к американскому консулу. Она просила защитить девушек от секретаря и ее права.

Мы с Айседорой остановились в одном отеле, а учениц с гувернанткой отправили в другой — Айседора не хотела их видеть, пока не придет в себя от потрясения. Однако через два дня ее любящее сердце не выдержало, ведь она считала этих детей своими, и она послала за ними меня.

Войдя в гостиную отеля, я увидела четырех девушек и секретаря. На вопрос, поедут ли они к Айседоре, он разразился в высшей мере грубой тирадой в ее адрес. Я схватила его за плечи и, не соображая, что делаю, так

стукнула головой о стену, что у него чуть не вылетели зубы.

Девушки вернулись со мной к Айседоре и объяснили, что секретарь запугивал их, говорил, что их отошлют к Реймонду, а Айседора уедет одна. Айседора, объяснила им, что действительно она сначала поедет в Париж одна, но лишь для того, чтобы заложить дом и получить деньги, а ученицы отправятся со мной в Швейцарию. Девушки были в восторге. Все вместе мы великолепно пообедали с американским консулом и его семьей.

На следующий день нас пригласили в старый деревенский ресторан высоко в горах близ Неаполя. После ланча Айседора танцевала для нас. В ресторане, никого, кроме нас, не было. Музыканты играли превосходно.

Голубое итальянское небо, прекрасная итальянская музыка, море, танцующее далеко внизу, ограда, увитая роскошным инжиром, аромат дикого жасмина и Айседора в коротком белом платье и голубой шали, танцующая, как ангел,— все это создавало незабываемую картину.

На следующее утро мы посадили Айседору в поезд, уходящий в Париж, а я вместе с детьми и гувернанткой отправилась поездом в Цюрих.

Расскажу о забавном случае с паспортами, который произошел у нас в дороге,— ведь война была объявлена лишь дня четыре назад.

К нам вошли два таможенника и потребовали паспорта. Сначала я показала им четыре русских паспорта, в которых они ни слова не поняли, потом несколько американских, один швейцарский и один бельгийский, а так как четверо взрослых девушек были немками, их паспорта я показать не решилась и снова предъявила четыре русских. Но это вполне удовлетворило таможенников! Однако я сильно волновалась, как бы не приехал секретарь-предатель и не выдал таможенникам, что девушки — немки, и не попенал бы мне вывезти их из страны.

Не успели мы пересечь границу, как мои немки запели немецкий гимн, а девочки француженки и русские накинулись на них как маленькие демоны, кусая и царапая. К счастью, в вагоне мы были одни, и к тому времени, когда мы прибыли в Цюрих, мир удалось восстановить.

Денег у нас не было, поэтому мы поехали в лучший отель, где должны были обязательно встретить кого-нибудь из друзей. И действительно, там оказался мистер Гарольд Маккормик.

Я объяснила ему ситуацию: Айседора придет через несколько дней, а меня просила организовать здесь выступление.

Мистер Маккормик помог мне снять оперный театр, по всему городу были расклеены афиши о приезде Айседоры.

В день концерта все билеты были проданы и мы с цветами поехали встречать Айседору. Но увы! Вместо нее пришла телеграмма, что Айседора придет через три дня.

Нам пришлось обменять все билеты, заново снять оперный театр, но тут приехала Айседора, и состоялось одно из самых прекрасных ее выступлений, прошедшее с огромным успехом. Эта великая артистка очаровала всех, кто видел ее танец. У входа стояли сотни людей, не доставших билетов.

После выступления Айседора танцевала на лужайке перед отелем и всю выручку поделила поровну между французским и немецким Красным Крестом.

АЙСЕДОРА В РОССИИ

(1921 г.)

В мае, июне и июле 1921 г. в парижской прессе появилось несколько статей о Айседоре. В одной из них говорилось:

«Айседора Дункан в восторге от большевиков, особенно от Красина, через которого она получила предложение от Советов открыть в Москве школу на тысячу детей. Танцовщица заявила французским репортерам: «Советы — это единственная власть, которая в наше время проявляет заботу об искусстве и о детях. Я не могу больше работать в Париже. У интеллигенции нет денег, и Трокадеро сообщил мне, что не осталось никого, кто мог бы отдать своего ребенка не только в школу танца, но и в школу пластического искусства. Я предполагаю провести в России 10 лет. Я отдам свое искусство русским, которых обожаю и которые предоставят в мое распоряжение великолепных музыкантов и проявят бескорыстный энтузиазм».

Когда ее спросили, не пугают ли ее трудности с удовольствием, Айседора ответила: «Я боюсь духовного голода, а отнюдь не физического. Лишения не играют никакой роли на пути к моему идеалу. Ведь осуществлена будет мечта всей моей жизни».

Знаменитая артистка отрицала свой интерес к какой-либо политической системе и заявила, что, по ее мнению, только в России есть надежда создать такую школу танца, о которой она мечтала. «Подобная школа танца всегда была моей мечтой. В Америке же бесчисленные школы созданы людьми, использующими мои методы, но не понимающими их и обучающими учеников всему, что они не должны делать в танце. Думаю, Америка предпочитает не меня, а иностранцев потому, что я американка. Да и известно, что любого стоящего артиста всегда поливают грязью. Это цена, которую мы платим миру за красоту, пробуждаемую нами в сердцах».

В другой статье Айседора рассказывала историю о разбитых и растоптанных идеалах и возлагала вину главным образом на лишенную воображения Америку. Поэтому единственной надеждой ее оставалась Россия.

«Я ищу духовного убежища. Пожалуй, я еду в Россию, чтобы осуществить единственную мечту своей жизни — иметь собственный театр, собственный оркестр, публику, которой не придется покупать билеты, и много учеников, которые не будут платить за обучение. Леонид Красин пригласил меня основать государственную школу в России. Я не подписывала контракта. Контрактами я сыта по горло. Уезжаю первого июля. Русских не понимают. Им, возможно, нечего есть, но они полны решимости сделать искусство, образование и музыку достоянием каждого человека. Я горю желанием убедиться, что в мире есть место, где не ставят коммерцию выше, чем духовное и физическое развитие детей.

Возможно, я становлюсь большевиком, но всю свою жизнь я хотела обучать детей, иметь бесплатные школы и театры. Америка отказалась от этого, и там все еще процветает детский труд, только богатые могут слушать оперу, а красота — это товар в руках театральных менеджеров и кинематографических магнатов. Им нужны только деньги, деньги и деньги.

Советский нарком просвещения Луначарский договорится, чтобы в России мне передали обучение детей балетной школы. Единственное, что я твердо решила, это создать большой балет с сотней участников. Это займет много времени, но мы сможем гастролировать в Европе и знакомить с результатами нашей работы».

«Мисс Дункан запирает свой парижский дом и эмигрирует в Ревель, где по приказу Красина ее будет ждать специальный поезд».

Россия! Россия! Первой мыслью Айседоры, когда она открывала утром глаза, и последней перед сном была мысль о России. В России, как она считала, сметены все ложные условности, всякое неравенство, всякая несправедливость и царствуют лишь гармония и братская любовь. Такой утопией представляла она себе Россию.

Ведь в жизни Айседора страдала большей частью из-за того, что очень любила на каждом шагу выражать презрение к богатству и тому, как оно используется, и из-за пронесенного через всю жизнь отвращения к браку и его лицемерию.

Она возвращалась в Россию, где в свое время пережила наибольший в жизни успех, где люди ее любили и куда ее пригласили создать школу. Никто не обвинял Айседору в том, что она делала. Ее обвиняли в том, что она говорила, и ее слова часто воспринимались наоборот и оборачивались против нее. Теперь все будет по-иному. Она едет в новую страну, где можно свободно выражать все, что чувствуешь и думаешь. Здесь перед ней откроются огромные возможности, и она хотела полностью отрезать от себя старый мир и вечно превозносить новый.

Ожидая приезда из Америки матери, Айседора до последнего момента оттягивала свой отъезд из Парижа, но пароход так опаздывал, что нам в конце концов пришлось уехать. (Мать Айседоры приехала на следующий день после отъезда Айседоры в Россию.)

Ехать поездом было долго, ведь багаж был уже в Лондоне, и мы полетели на самолете. Своих учениц Айседора еще раньше оставила в Лондоне, но когда она туда приехала, то, к своему удивлению, узнала, что одна ученица решила вернуться в Америку, чтобы выйти замуж, вторая — в Париж и только третья и единственная намеревалась сопровождать ее в Россию. Это, конечно, были грустные вести, ведь она рассчитывала, что все ее старшие ученицы помогут ей создать новую школу. Но так как она сама предоставила им полное право решать, поедут они с ней или нет, то ничего не оставалось, как попрощаться с ними.

Прощание с воспитанницами и упущенная возможность обнять мать оказались тяжелым испытанием для Айседоры, особенно после всего, что она пережила. К счастью, в последние минуты у нее было столько дел, что ей некогда было задумываться. Я попросила своего друга мистера Гордона Селфриджа снабдить ее всем

необходимым: теплой одеждой, постельным бельем для нее самой, ученицы и горничной (чудесной горничной, которая решила ехать с Айседорой, несмотря на жуткие истории, рассказывавшиеся о России), а также различными консервами. И все это надо было завезти на пароход до наступления ночи.

День перед отъездом выдался для нас в высшей мере беспокойным, но все же мы нашли время посетить гадалку, и не потому, что Айседора верила в такие вещи, а скорее просто в шутку. Гадалка рассказала, что Айседора едет в длительное путешествие, что у нее будет много неприятностей и злоключений. Но когда эта особа изрекла: «В одном могу вас уверить — вы выйдете замуж», Айседора вышла из себя. Это, действительно, было слишком: Айседора никогда не выходила замуж: замужество было для нее пугалом. Когда мы бросились вниз по лестнице к ожидавшему нас автомобилю, вслед нам неслось визгливое: «Выйдете замуж, и года не пройдет».

В мчащейся машине все это скоро забылось. Айседора пребывала в восторге от своего нового плана. Наконец-то после всех долгих лет она сможет создать свою школу, и Девятая симфония будет выражена тысячами великолепных танцоров, и души их вознесутся на крыльях шедевра Бетховена. Мне кажется, Айседора чувствовала себя на пути к раю, где царят чистая любовь, гармония и товарищество, где нет глупых условностей, где каждый человек отдает все лучшее, что в нем есть, на службу человечеству и где все дети станут учениками ее великой школы. Мечте ее не было пределов. Айседора никогда не собиралась готовить детей к работе на сцене. Наоборот, этого она хотела меньше всего. Мечтой ее было создать совершенные тела и образованные, гармоничные души, сумеющие великолепно реализовать себя в любом деле, которым займутся. Она мечтала, что ее воспитанники будут в свою очередь обучать и развивать других детей, пока все дети в мире не станут единым, гармоничным, весело танцующим коллективом.

Дважды после того, как она поднялась на палубу парохода, она сбегала по трапу обнять меня. «Мэри, едем со мной. Едем. Зачем оставаться в этой юдоли скорби и неприятностей?»

Я обещала, что приеду по первому ее зову в любое время и место. Наконец в десять вечера я осталась стоять одна на лондонском причале, а Айседора уплывала от нас, как мы все считали, навсегда.

Лучше всего рассказать о великом путешествии Айседоры в Советскую Россию так, как она мне сама рассказывала.

Когда она ехала в Россию, то испытывала те же чувства, которые должна испытывать душа, пересекая Стикс ¹. Со всеми известными формами жизни и условностями покончено навсегда — она едет в идеальное государство, созданное Лениным. Ко всем старым институтам Европы — презрение и жалость. Она хотела стать товарищем среди товарищей и посвятить свою жизнь благу человечества.

Сердце ее чуть не разорвалось от радости, когда пароход прибыл в Ревель. Она чувствовала себя великим героем, добравшимся до Валгаллы ². Отступать было нельзя, возвратиться тоже, да такая мысль ей и в голову не приходила. Это на веки вечные. В мечтах ей виделись тысячи детей, растущих сильными, прекрасными, каждый из которых держит за руку младшего, а тот еще меньшего, и все шагают широким шагом под звуки «Интернационала». Но, видимо, Ревель не был тем местом, где это начинается. Всюду была страшная неразбериха и бюрократическая волокита. В конце концов, набегавшись по разным учреждениям и везде видя неуважение к себе и своей великой миссии, Айседора вместе с ученицей и горничной села в поезд, направляющийся в Москву. Кто-то выдал им паек, состоящий из черного хлеба и икры. Но к черному хлебу они были непривычны, и им от него стало очень плохо. После утомительного, показавшегося им бесконечным путешествия они прибыли в Москву.

И снова сердце ее радостно забилося. Она подождала несколько минут в купе, чтобы встречающая ее комиссия убедилась, что она прибыла. Затем, еле касаясь ногами земли, вышла из поезда, ожидая, что потонет в объятиях бесчисленных товарищей и детей. Она мысленно видела их всех в красных рубашках, размахивающих красными флажками, приветствуя ее приезд. Но никто не обратил на Айседору и ее спутниц ни малейшего внимания, кроме охранника, смотревшего на них весьма подозрительно. Они вошли в зал ожидания очень испуганные.

¹ *Стикс* — в древнегреческой мифологии одна из рек «подземного царства», через которую души умерших перевозят в загробный мир.— *Прим. сост.*

² *Валгалла* — в древнескандинавской мифологии дворец бога Одина, обиталище душ воинов, павших в бою.— *Прим. сост.*

Как это все было не похоже на то, что представлялось Айседоре! Повсюду солдаты. Ей казалось, что она опять отброшена в военное время. Всех тщательно проверяли, а багаж перетряхивали. Все смотрели друг на друга с подозрением. Учтивость и вежливость исчезли с лица этой земли. Каждый считал, что он лучше других, и поэтому имеет право проталкиваться и пробиваться куда хочет. Казалось, что никто не работает, что всех гоняют военные, которые приходят в ужас при одной мысли, что может образоваться группа. Так как денег у людей не хватало, каждый должен был обслуживать себя сам, например таскать свои вещи и вообще заботиться о себе, как может.

В конце концов из этого крошечного ада вынырнула невысокая пожилая дама, спросившая Айседору на великолепном английском языке, не она ли мисс Дункан. Айседора ответила: «Я товариш Дункан». Дама сказала, что ей приказано отвезти их в гостиницу и поинтересовалась, много ли у них багажа. Они отдали ей багажные квитанции, и она обещала прислать багаж, после чего все погрузились на извозчика.

Их запихнули в очень темную, жалкую гостиницу, которую Айседора по прежнему визиту в Россию помнила как одну из самых фешенебельных в Москве. Портье не было, вещи нести было некому, поэтому им пришлось своими силами добираться до отведенного им номера. Пожилая дама ушла, оставив наедине с их муками. Она обещала быть позже.

Когда Айседора увидела их комнату — а получили они именно комнату, одну на троих, она решила, что что-то безусловно перепутано. Снова им дали черный хлеб с икрой и чай и предоставили самим себе. Во время революции вся мебель из гостиниц и частных домов была свезена в большой центральный склад для распределения среди большевиков, поэтому мало что осталось для удобства гостей. Кровати, на которых они спали, были железными, с досками, покрытыми половиками. К счастью, у Айседоры были с собой простыни и одеяла.

Уже было очень поздно и все сильно устали, поэтому они решили лечь спать и подождать до утра, когда все, безусловно, образуется и станет прекрасным, — ведь они считали, что в том, что их так плохо приняли, произошла какая-то страшная ошибка.

Не успели они задуть свечи и устроиться поудобнее на досках в постелях, как с ужасом услышали пронзитель-

ный писк и визг, затем топот маленьких ножек по всей комнате, прыжки на стол, где были остатки черного хлеба и икры, и со стола. В ужасе они зажгли свечи, но еще больше испугались, увидев маленькие глазки, выглядывающие из всех углов. Дойдя почти до истерики, они звонили и звонили — но безрезультатно. Они выглянули в темный коридор, но там никого не было. Всем было на них наплевать — да, на самом деле просто некому было ими заниматься. Портье дал им комнату и «обеспечил» продуктами. На этом его обязанности и долг кончались. Все это было вполне понятно — ведь жалование его было маленьким, а на чаевые у людей денег не хватало. Ни Айседора, ни ее спутники ни на секунду не уснули, и когда их маленькие «друзья» становились слишком фамильярными, изо всех сил старались не завизжать.

Весь следующий день они прождали пожилую даму, встретившую их на вокзале, и к вечеру, когда она так и не появилась, Айседора решила сама отправиться узнать, в чем дело. Горничная, в ужасе от увиденных накануне повсюду насмехающихся и глазающих людей, наотрез отказалась пойти с ней, предпочитая, по ее словам, быть съеденной крысами.

К своему большому удивлению, Айседора нашла извозчика, который согласился везти за американские доллары. И Айседора с ученицей поехали по разбитым, неубранным улицам искать нужного им чиновника. В Кремль их впустить категорически отказались, и они, потеряв всякую надежду, поехали обратно. Случайно взглянув на одно из окон гостиницы, мимо которой они проезжали, Айседора увидела в нем своего молодого друга, который служил в посольстве в Париже.

Она помахала рукой и позвала его, и когда он ее узнал, то выбежал на улицу и, заключив в объятия, воскликнул: «Айседора, Айседора, какая радость! Как вы оказались в Москве?»

Она, конечно, рассказала ему о своих неприятностях и беспомощном положении. Он расхохотался, услышав ее представление о большевистской России, и, решив сначала накормить их, предложил съездить к Луначарскому и узнать, какое помещение подготовлено для Айседоры, упомянув, что москвичи обеспечены жилплощадью меньше чем на четверть. Действительно, целые семьи по восемь-десять человек были счастливы получить хотя бы одну комнату, а на мышей вообще никто внимания не обращал.

Но Айседора заявила: «Меня пригласили обучать их детей, тысячи детей». Молодой француз ответил: «Думаю, намерения у них хорошие, но дети-то беспризорные и многие умирают с голоду, а танцы — это ведь роскошь. Поэтому боюсь, у вас будет много разочарований».

И как вскоре поняла Айседора, он оказался пророком. Тем не менее ее энтузиазм был непоколебим, хотя ее представление о России как о рае на земле, утопающем в братской любви, несколько поколебалось.

После обеда их добрый друг отправился на поиски человека, который мог бы сообщить, что для них подготовлено. Они же остались в его гостинице. Вскоре он вернулся, заявив, что ничего не удалось узнать. И тогда на следующее утро Айседора сама поехала к своему другу, наркому Луначарскому, который очень удивился, увидев ее, и не мог понять, кто же послал телеграмму, приглашая ее приехать в Россию.

Тем не менее со свойственным ему редким очарованием он заверил Айседору, что восторгается ею и уверен, что и правительство, узнав о ее великолепном жесте — приезде в большевистскую Россию, тоже будет в восторге, и обещал немедленно распорядиться о жилье и снабжении их продуктами. О школе они поговорят попозже.

От этих слов Айседора пала духом. Все ее мечты о школе снова оказались шуткой, чем-то вроде бреда сумасшедшего, но поскольку мосты были ею сожжены, она решила все же осуществить свою мечту, потому что была уверена, что может заставить по-настоящему оценить ее идею. Луначарский при ней позвонил молодому человеку по фамилии Шнейдер и сказал, что необходимо немедленно найти жилье для Айседоры Дункан.

Что ответил молодой человек, Айседора не знала, но Луначарский повторил: «Квартира Гельцер ¹, а-а, Гельцер, великолепно! Великолепно, Шнейдер», — и громко рассмеялся.

Он обернулся к Айседоре и сказал: «Ну, как вам это понравится? Для вас подготовили квартиру нашей знаменитейшей балерины Гельцер, в ней ничего не трогали, ведь это квартира артистки. Там вам будет очень удобно, и я позабочусь, чтобы вам подавали икру высшего сорта».

Появился молодой человек, Шнейдер, и Айседора от-

¹ Гельцер Екатерина Васильевна (1876—1962) — балерина, яркая представительница русской школы классического танца. — *Прим. сост.*

правилась с ним на новое место, по пути захватив ученицу, горничную и багаж. Вскоре они обосновались в самой изысканной квартирке-бонбоньерке, какую только можно было вообразить.

Квартира Гельцер была настоящим музеем дрезденского фарфора. Полочка над камином и бесчисленные столики, между которыми можно было пройти с большим трудом, были уставлены великолепным, тончайшим фарфором. Айседора не смела дышать, боясь уронить что-нибудь. Канделябры тоже были из дрезденского фарфора. Лампа у постели, все предметы на туалетном столике, всюду, куда бы ты ни пошел,— везде был тончайший дрезденский фарфор. Пастухи и пастушки сотнями посылали воздушные поцелуи или приподнимали свои изящные маленькие фарфоровые юбочки, кланяясь и приседая в минуэте, или, взявшись за руки, кружились в фантастических танцах, порожденных воображением создателей дрезденского фарфора. Изысканные бесполезные предметы, собирающие на себе пыль,— все они были на протяжении многих лет пыткой для горничных и давали возможность Гельцер, пользовавшейся своей высокой прерогативой прима-балерины, драть прислугу за уши.

Весь этот хрупкий фарфор настолько не соответствовал представлению Айседоры о коммунистической России, что однажды когда она нечаянно зацепила шалью одну из этих статуэток и та упала и разбилась, это привело ее — а нервы у Айседоры и без того были напряжены — в такое раздражение, что она смахнула все статуэтки со стола и грозила выбросить в окно на улицу остальные.

Бедная кухарка плакала целыми днями, представляя, как ей достанется от Гельцер, когда та увидит, что не хватает хотя бы одного ее хрупкого сокровища. Гельцер, несмотря на свои, я думаю, лет 60, была еще очень сильной и крепкого здоровья балериной, пользующейся в театре большим успехом.

Молодой Шнейдер, который на протяжении многих лет был интимным другом знаменитой Гельцер и с которым она поссорилась накануне отъезда на юг России, был в восторге от такого оборота дел. Гельцер была одним из жесточайших критиков Айседоры, так же как и Айседора в отношении Гельцер, а вышло так, что Айседора получила в свое распоряжение не только квартиру Гельцер, но и ее кухарку (которая пребывала в таком шоке и ужасе, что кто-то смеет спать на кровати Гельцер, что тряслась,

как в лихорадке). Все хохотали от души, а когда Шнейдер объяснил кухарке комичность положения, что Айседора — большая противница классического балета и собирается заменить его по всей России своей школой танца, то и старая кухарка стала смеяться вместе с ними. Старушка готовила им и ухаживала за ними несколько месяцев, но я думаю, что Гельцер ее жестоко побила, когда наконец вернулась.

Вскоре Айседора была приглашена на вечеринку большевиков. Вот где, думала она, встретится с товарищами — людьми, с которыми сможет поговорить, которые ее поймут. Чтобы быть достойной, она надела красную тунику, обвила голову красным шарфом и, как обычно по вечерам, накинула на себя красную шаль.

Представьте изумление Айседоры, когда ее ввели в очаровательный салон в стиле Людовика XVI с изящными стульями на выгнутых ножках, диванами, роскошным ковром, безделушками, расставленными по всей комнате. Все приветствовали ее на великолепном французском языке, называя «мадемуазель Дункан», на что она резко отвечала: «Я тавариш Дункан». Это всех сильно позабавило.

Гости восседали, как автоматы, но одна молодая дама села за рояль и начала петь одну за другой маленькие французские баллады. Публика изящно похлопала, восклицая: «Изысканно, прелестно». Айседора глядела на всех этих увешанных драгоценностями, хорошо одетых, декольтированных дам и не могла понять, где она. В конце концов она не выдержала и, вскочив, воскликнула: «Так вот она какая, большевистская Россия! Господи! Для чего совершалась великая кровавая революция? Ничего не изменилось, кроме актеров! Вы забрали их драгоценности, мебель, одежду и манеры. Но только играете вы хуже. Выпустите меня! Выпустите меня!» И она с воплями выбежала на улицу.

Приехав домой, Айседора разразилась хохотом. Ну и идиотка же она была, когда думала, что что-нибудь в мире можно изменить! Большевизм — что за ним? Слова, одни только слова! Она была готова утопиться. Но дальше произошли события, которые вернули ей уверенность.

Как-то вечером, во время ее выступления, в середине танца вдруг погасли все огни и она осталась на сцене с одной красной керосиновой лампой. Театр был полон простых людей, которые простояли на улице под пада-

ющим снегом много часов, чтобы попасть внутрь, и когда театр погрузился в темноту, Айседора испугалась, что может произойти что-то нехорошее, ведь русские — народ очень импульсивный и легко возбудимый. И схватив красную лампу, она подняла ее над головой, превратившись в символическую красную фигуру. Публика восторженно закричала и с большим энтузиазмом зааплодировала. Но Айседора понимала, что долго это продолжаться не может. С вдохновением она попросила зрителей спеть русские песни. Все тут же загорелись и начали петь одну за другой свои зажигательные революционные песни. Почти все русские хорошо поют, и это помогло им пережить многие тяжелейшие моменты.

Так продолжалось более часа. Рука Айседоры, державшая над головой лампу, так заболела, что Айседора еле выдерживала, но она знала, что в тот момент, когда она ее опустит, очарование развеется. Она рассказывала мне, что чувствовала: публика видит не ее, а надежду на свое будущее. Боль становилась все сильнее, и Айседоре стало слышно беспокойное движение в зале. Она сказала: «Помоему, есть еще одна песня, которую вы не спели, что-то про рассвет новой жизни». Зал мощно запел и эту песню, и вдруг очень медленно, один за другим, стали зажигать огни. Дело было в том, что дирекция ремонтировала электропроводку, но люди считали, что огни зажглись в ответ на их песню и что для них родился новый день. Энтузиазму их не было конца, когда Айседора продолжила свое великолепное выступление.

Айседора хотела повидаться с Троцким и Лениным. Это легче было сказать, чем сделать. Она знала, что эти замечательные люди работали день и ночь, еле находя время выпить чашку чая и спали очень мало. Говорили, что Ленин никогда не покидал Кремля, а когда уставал, ложился тут же, не раздеваясь.

Припоминает она и такой случай.

Однажды во время поездки за город Айседора и ее друзья сидели у реки, разложив на траве очень вкусные вещи (у нее еще оставалось много консервов из тех отличных запасов, которые дал мистер Селфридж). Всем было весело, как всегда, когда Айседора отдыхала за городом у воды. Ей захотелось курить, но она обнаружила, что забыла спички. В этот момент к берегу причалила лодка и из нее вышли несколько мужчин. Айседора попросила у них спички, и они с удовольствием зажгли сигареты. Один из мужчин был особенно красив: ростом

выше шести футов, с великолепной фигурой, его белозубый рот растягивался в веселой улыбке. Он свободно говорил по-английски, и Айседора спросила его, кто он. Он сказал: «Я Бородин¹. Учитель из Чикаго». Это вызвало большое веселье. Компании объединились и очень весело провели время.

Так это был знаменитый Бородин, который участвовал в подготовке китайской революции и чью жену мы когда-то спасли от казни, послав ему телеграмму в Китай! Впоследствии я встречала Бородиных в России, и сам он со смехом подтвердил эту загородную встречу, добавив, что Айседора танцевала для них революционные танцы и, если бы у него не было жены и двоих детей, он бы с нею сбежал.

Почти все свое время Айседора тратила на встречи с различными чиновниками по поводу своей школы. Каждый обещал сделать, что может, но что они могли? В город наехала масса людей, которых негде было разместить, а тысячи умирающих с голоду детей, подобно животным, одичало бродили по улицам, не зная, кто их родители, да и не заботясь об этом. Большая часть их родителей погибла или пропала без вести во время революции, и дети спали в ямах и углах, промышляя главным образом воровством. Айседора забрала бы их всех, если бы ей дали дом и хлеба.

Так бесполезно прошло три месяца, когда в один прекрасный день Айседоре позвонил Луначарский и сообщил радостную весть, что у него есть для нее дворец в самом центре Москвы. Эта добрая весть так подействовала на Айседору, что она заплакала от радости. Наконец-то она увидит, чего можно достигнуть. О, этого стоило ждать. Звезда ее возшла. У нее перехватило дыхание от радостных переживаний.

Теперь она получила дворец знаменитой балерины, и в нем все, что мог купить явно отвратительный вкус на неограниченные средства. К счастью, дворец несколько раз грабили, и в нем осталось очень мало мебели. Сам дом был отличной пропорции: огромные комнаты, высо-

¹ *Бородин (Грузенберг) Михаил Маркович* (1884—1951) — советский партийный деятель, в 1907—1918 гг. находился в эмиграции в Америке. С 1918 г. работал в Наркомате иностранных дел, в Коминтерне. В 1923—1927 гг. по приглашению Сунь Ятсена работал в Китае главным политическим советником ЦИК Гоминьдана. С 1932 г. главный редактор газеты «Москоу ньюс». В 1951 г. незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно. --- *Прим. сост.*

кие потолки, причем каждая комната или салон были обставлены в своем стиле — все Людовики, китайский, японский и для полноты картины немного русский. Но в доме почти полностью отсутствовали водопроводные и отопительные трубы, а также кровати. Это было самым большим ударом, потому что купить кровати нельзя было ни за какие деньги. Их просто не было. Те, кто их захватил, даже и не видели раньше пружинных матрасов и расставаться с ними не собирались. В результате больших хлопот и взяток Айседоре удалось в конце концов получить бронзовую кровать, пружинный матрас и большую печь, которую она поставила в огромный салон, служивший гостиной, спальней, студией и т. д. Но печь дымила, несмотря ни на какие ухищрения, и у всех лица были покрыты сажей.

Айседора развесила повсюду объявления, что возьмет пятьдесят детей, способных к танцам. На следующий день ввалилась толпа детей, но, к сожалению, всех их взять Айседора не могла. Плач и душераздирающие вопли малышей, причитания и взаимные упреки матерей были ужасны. Малыши, протягивавшие к ней свои ручки скелетов с пальчиками толщиной в соломинку, и кричавшие: «Айседора, Айседора!», чуть не довели ее до сердечного приступа. Она приняла вдвое больше детей, чем было мест, а потом не знала, что с ними делать.

Во-первых, их надо было накормить, а так как правительство еще не приняло решения о ее группе — из-за долгого обсуждения и волокиты, она достала остатки консервов Селфриджа. Обучение началось. О, как эта школа отличалась от ее первой школы в Грюневальде в Германии, где стояло сорок белых кроваток, украшенных изящными занавесками с голубыми бантиками! А здесь все, что могла Айседора сделать, это положить доски на прибитые вдоль стен планки, постелить одеяла и уложить на них по 3—4 человека. Одеяла Айседора достала у представителя Организации американской помощи.

Жизнь постепенно начала меняться. Теперь уже стало возможным покупать товары в государственных лавках, и она приказала прислать ей из Франции последние сбережения, которые не снимала со счета, потому что ее мать жила на проценты. Но не могла же она оставить детей умирать с голода, да и взрослых тоже.

Все бедные актеры Москвы увидели, что это их духовный дом, и за стол Айседоры никогда не садились без 15—20 гостей.

**АЙСЕДОРА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЕСЕНИНЫМ
И ВЫХОДИТ ЗА НЕГО ЗАМУЖ
(1922 г.)**

Однажды вечером группа артистов пригласила Айседору на вечеринку в дом известного поэта, и перед уходом она ощутила что-то вроде дурного предчувствия. Она вошла в детскую спальню и сказала: «Дети, помните всегда, чему я вас учила. Я вручаю вам тайную эстафету, которую вы в свою очередь должны нести другим детям, что бы со мной не случилось. Обещайте!»

Тихими, дрожащими голосами они ответили: «Обещаем, Айседора, наша Айседора».

На этой вечеринке была вся молодая интеллигенция Москвы. Айседора надела свою длинную танцевальную тунику и золотые сандалии, а на голову — золотой газовый шарф. Губы накрасила ярко-красной помадой, глаза подвела черной тушью. Ей хотелось своим видом бросить вызов серости и страданию, на которые она достаточно наглядделась. Все тело ее трепетало при мысли о настоящей оргии артистов. Когда русские что-то затевают, то делают это от души. Никакие ограничения, законы, нужда не помешают русским художникам устроить великолепную вечеринку, если они решат ее устроить. Я сама видела, как они выходили из дома в полночь без копейки и возвращались, нагруженные дичью, икрой, сыром, фруктами, водкой и шампанским. Один Бог знает, где они все это доставали.

Когда Айседора приехала, вечеринка была в разгаре. «О, Айседора! Почему так поздно? Наш молодой поэт Есенин уже перевернул пол-Москвы, разыскивая тебя. Он слышал о твоей славе и заявляет, что не заснет, пока с тобой не увидится».

По обычаю, Айседоре преподнесли штрафной стакан водки, который надо было выпить до дна, не оставляя ни капли, а вся компания пела о ней заздравную. Такой дозы было достаточно, чтобы человек перестал что-либо соображать, и ни еда до отвала, ни питье не помогали. И не надо часами входить в настроение. Вас в него вводят мгновенно.

Вдруг дверь с треском распахнулась, и перед Айседорой возникло самое прекрасное лицо, какое она когда-либо видела в жизни, обрамленное золотыми блестящими кудрями, с проникающим в душу взглядом голубых глаз. Поэта и танцовщицу не понадобилось представлять

друг другу. Это была судьба. Она открыла объятия, и он упал на колени, прижимая ее к себе с возгласом: «Айседора, Айседора, моя, моя!»

Потом ей рассказывали, что она танцевала, что Сергей Есенин читал стихи, что они приехали к ней домой и устроили большой пир, но она помнила лишь голову с золотыми кудрями, лежавшую у нее на груди, и возгласы «Айседора, Айседора, моя, моя!» и до самой смерти говорила, что помнит, как его голубые глаза смотрели в ее глаза и как у нее появлялось единственное чувство — укачать его, чтобы он отдохнул, ее маленький золотоволосый ребенок.

С этого дня у Айседоры не было ни часа покоя, и очень скоро она поняла, что молодой поэт не только великий гений, но и сумасшедший. За ним всегда следовала группа приятелей, которые его ни на минуту не оставляли и не давали им остаться одним. День за днем, ночь за ночью дом был полон этой очаровательной дикой, сумасшедшей бандой писателей, художников и разного рода актеров.

В те годы в России эту группу творческой интеллигенции поддерживало правительство, и она в той или иной мере злоупотребляла этой привилегией. В то время как народ голодал, эта группа была баловнем большевиков. Было ли это из-за истинной любви к ней или из-за боязни, что она что-нибудь напишет этакое, не знаю. Само собой разумеется, что эти писатели, художники и актеры критиковали правительство как хотели и вели себя самым разудалым образом, как будто были на Монмартре. Эта группа называлась «Скандалистами», и она вполне оправдывала свое название. Не было границ ее выходкам, даже когда дело доходило до поломок и разрушений. Каждый вечер члены ее были шумно пьяны и не ложились спать до утра. Да что говорить, иногда они по двое-трое суток подряд дико, по-сумасшедшему веселились, переходя из дома в дом, бросая вызов всем и всему, в том числе и закону. По какой-то причине никто не осмеливался их обуздать. Есенин был заводилой. К тому времени, когда Айседора познакомилась с ним, он и еще один молодой поэт, его друг Мариенгоф, устраивали своего рода ночной клуб, вход в который имела только интеллигенция и в котором к концу вечера все бывало переломано. Его, по-моему, прикрыли дня за два до того, как Айседора на свое счастье или несчастье познакомилась с Есениным.

Он считал само собой разумеющимся, что ее школа, ее дом, все, что у нее есть, с этого момента принадлежит ему, а что принадлежит ему, принадлежит всем его друзьям. Это не облегчало работу по созданию школы и получению помощи от правительства. Айседора непрерывно обращалась то к одному чиновнику, то к другому, «выбивая» детям продукты, и наконец ей удалось добиться для них одноразового питания. Организация американской помощи тоже кормила их раз в день, а третий раз кормила детей сама Айседора за свой счет. Организация американской помощи работала в России очень хорошо, и если бы не она, то тысячи детей погибли бы от голода.

Так продолжалось много месяцев. Хотя Айседора была восторженно и страстно влюблена, она находила время ежедневно обучать своих учеников, и они расцветали, превращаясь в прелестные создания. Единственным наказанием непослушным детям в школе было запрещение им заниматься танцем, и никакое другое наказание не могло быть для них тяжелее. Они считали это ужасным позором. Часы занятий танцем были для них огромной радостью.

Сергей обычно вставал очень поздно, да и другие тоже, кроме детей, которые обязаны быть на занятиях. Очень часто Сергей к вечеру исчезал, и никто ничего о нем не знал до полуночи или часа ночи. К этому моменту в доме устанавливалась полная тишина, все маленькие дети спали. Он, бывало, возвращался с огромной ревущей бандой, поднимавшей невероятный шум, и бешено неся по мраморной лестнице с воплем: «Айседора, кушать, кушать!» Бедную француженку-служанку Жанну поднимали с постели и заставляли печь блины или готовить до утра другие вкусные блюда. Компания всегда привозила с собой музыкальные инструменты и играла, пела, читала стихи и танцевала.

Примерно в это время произошел забавный случай. Однажды в школу заехали проездом два американских еврея, кажется торговцы, и попросили показать им, как танцуют дети. Айседора всегда была счастлива показать танцы детей, надеясь заинтересовать кого-нибудь и получить помощь. На приезжих были великолепные меховые шубы с огромными собольими воротниками. Торговцы очень весело рассказали о том, какую выгодную сделку совершили — задешево купили шубы, и о том, что едут за город, где им обещали тоже дешево продать изуми-

тельной красоты драгоценности. Айседоре было противно слушать это, и она перестала обращать на них внимание. Но в тот же вечер, часов в 10, раздались яростный стук и дикие звонки в дверь, и на пороге показались оба еврея, на которых не было ничего, кроме штанов и старого одеяла, и которые чуть не ооченели от холода. Они умоляли впустить их, пока им привезут из гостиницы вещи. Теперь они рассказали грустную историю, как за ними следили, возможно, те самые люди, у которых они купили шубы, как у них отобрали эти шубы, деньги, часы и все остальное, да в придачу хорошенько избили. Все безудержно хохотали над беднягами, но дали им во что одеться, чтобы добраться до дому.

Айседора приехала в Россию без достаточно теплой одежды, и когда начались жестокие морозы, нарком пригласил ее выбрать себе из многих тысяч меховых шуб, собранных у всех аристократов, несколько подходящих. Она выбрала очень простую беличью шубку, потому что не могла заставить себя дотронуться до прелестных соболей, горностаев и других ценных вещей, принадлежавших, возможно, царице или другим дворянам, многие из которых были когда-то ее друзьями. Да кроме того, она приехала в Россию не обогащаться, а отдавать.

В это время Айседора и Есенин очень часто ездили в гости к одному из величайших в мире скульпторов, Коненкову, который жил в одной огромной комнате. Для ее отопления ему отпущались дрова, но он приладил в конце длинной комнаты маленькую печурку, которую топил углем, и, закутанный до самых глаз во все теплое, что было в доме, день и ночь вырезал из поленьев изумительнейшие вещи. Здесь Сергей, казалось, чувствовал себя лучше всего. Он часами читал стихи, а Коненков мирно продолжал работать. Затем Коненков приносил немного водки, черного хлеба и колбасы, и начинался великолепный пир. Это были одни из счастливейших дней в жизни Айседоры.

Ей казалось, что ее школу обязательно признают, надо только немного подождать, пока правительство начнет ее поддерживать. Но в конце концов у нее не осталось ни денег, ни продуктов, ни угля. Она телеграфировала своему менеджеру в Америку, что хотела бы приехать в Штаты на гастроли. Он обрадовался и немедленно сообщил об этом, но возникла огромная дилемма, что делать с Сергеем, ведь Айседора и Есенин поклялись в вечной любви и не собирались расставаться.

Бедный Сергей умолял понять, что любовь — его

единственное спасение, он верил, что только любовь может помочь ему перестать быть пьяницей и хулиганом. Он осознавал, что пустил свою жизнь на ветер и ничего у него не осталось. Любовь — его последняя надежда, и теперь для него может начаться счастливая, спокойная жизнь, о которой он всегда восторженно говорил. Айседора, казалось, была его мечтой с детства. И она знала это. Что же ей было делать? Русское правительство решительно запретило ему уезжать, заявив, что в Америке у него будут большие трудности и что ему никогда не разрешат въезд в страну из-за его прошлого. Жизнь его была довольно грустной, и он часто подумывал о самоубийстве. Сергей Есенин родился в небольшой деревне Константиново Рязанской губернии 3 октября 1895 г. Его отцу, очень бедному крестьянину, обремененному большой семьей, пришлось отдать Сергея деду по материнской линии, у которого было трое взрослых сыновей, и поэтому детство поэта прошло среди этих грубых, неотесанных великовозрастных парней, которые с большим удовольствием обучали его всем своим диким выходкам. Когда ему было три года, они посадили его на лошадь без седла и стегали животное до тех пор, пока оно не помчалось вскачь с ним. Потом они бросали его в воду и дико ржали, когда он пытался выкарабкаться. Правда, он стал отличным пловцом, а так как ему часто приходилось от них прятаться, то и отлично лазал по деревьям.

Очень скоро он совсем отбился от рук и стал зачинщиком бесконечных драк и скандалов. На всю жизнь на его теле остались шрамы. Никто его не воспитывал, наоборот, в этой грубой жизни все поощряли его выходки, кроме любимой бабушки, которая в конце концов решила, что он должен стать сельским учителем. Она послала его в семинарию, окончив которую он, как предполагалось, должен был пойти в педагогический институт в Москве.

Стихи Сергей начал писать еще восьмью лет от роду под влиянием бабушки, которая рассказывала ему сказки. Ему не нравился конец многих из них, поэтому он стал придумывать свой. Веря в собственный талант, он отказался идти в педагогический институт, и в шестнадцать лет опубликовал свои первые стихи. Он не верил в Бога, в церковь и в дьявола. В 1916 г. его мобилизовали на военную службу, где благодаря покровительству адъютанта императрицы полковника Ломана он получил много привилегий.

Когда их часть стояла в Царском Селе, летней резиденции царской семьи, его через полковника пригласили читать свои стихи императрице. Она нашла их прекрасными, но очень грустными. На что он ответил: «Но ведь вся Россия грустная».

Он вступил в партию эсеров как поэт, и когда партия раскололась, стал большевиком. Но политика интересовала его очень мало. Он считал, что Россию уже покорил, и хотел покорить весь мир. При этом наотрез отказывался изучать какой-нибудь иностранный язык, и, говорят, сказал: «Если кто хочет знать меня, ему придется учить русский». Его прозвище было «элегантный хулиган».

Айседора, понимая все это, знала, что есть единственный способ вывезти его из России, а именно поступиться своими убеждениями относительно брака и стать его женой.

Итак, 3 мая 1922 г. они подписали в загсе документ, который в России является брачным свидетельством на тот период, пока вступившие в брак его признают. Праздновали широко: был дан великолепный обед, шампанское лилось рекой. Затем Айседора составила завещание. Вот его полный текст:

«Это моя последняя воля и завещание. В случае моей смерти я оставляю все свое имущество и вещи моему мужу Сергею Есенину. В случае нашей одновременной смерти это имущество переходит к моему брату Августину Дункану.

Написано в полном сознании.

Айседора Есенина-Дункан

Свидетели: И. И. Шнейдер
Ирма Дункан
9 мая 1922 г., Москва»

Вскоре они сели в самолет и полетели в Берлин.

Ниже приводятся статьи из нью-йоркских газет, комментирующие пребывание Айседоры в России.

«Во всяком случае, Айседора Дункан в большевизме не разочаровалась. Она считает его величайшим явлением в истории человечества со времени появления христианства и обучает молодых большевиков танцевать. Несколько недель назад она приехала по приглашению Советского правительства из Парижа в Москву, чтобы организовать там школу танца, и вот что она пишет о своем новом месте жительства в газете парижских коммунистов «Юманите»:

«Дорогие товарищи! Вы спрашиваете меня о впечатлениях от путешествия, но мои впечатления — это впечатления артиста, потому что в политике я не разбираюсь. Я оставила Европу, где искусство гибнет от коммерции. Я убеждена, что в России свершается величайшее за последние две тысячи лет в истории человечества чудо. Мы скоро увидим не просто материальный эффект. Нет, те, кто будет жить в ближайшие сто лет, убедятся, что человечество благодаря коммунистическому режиму сделало большой шаг вперед. Мученичество, через которое проходит Россия ради будущего, принесет такие же плоды, как и мученичество Христа. Лишь братство всех народов мира, лишь Интернационал могут спасти человечество.

Что касается голода, то я его не боюсь. У моей матери, бедной учительницы музыки, преподававшей детям, часто не было что поесть, но ей всегда удавалось сгладить наши муки голода, играя сочинения Шуберта или Бетховена, под которые мы танцевали. Вот так я начинала свой путь танцовщицы».

В советских «Известиях» от 24 августа 1921 года была опубликована статья наркома Луначарского «Наша гостья», в которой он писал: «Почему Айседора Дункан приехала в Россию? Потому что ей как редкому типу самого подлинного художника претит та атмосфера, которой заставляют дышать каждого человека нынешние буржуазные господа... Европы...» Для Дункан было противно наблюдать, как повсюду в Европе искусство стремилось «продать себя как можно дороже, в качестве более или менее острого, более или менее фриivolного развлечения. Артист все больше превращается в шута, забавляющего сухую сердцем публику, а кто не может делать этого, конечно, осужден на страдания или неуспех». Когда Дункан объявила о своем решении поехать в Советскую Россию с целью создания школы танца, ей пришлось услышать немало клеветы в свой адрес. Луначарский замечает, что от Айседоры потребовалось немалое мужество, «ибо различные друзья, в особенности русские эмигранты, говорили Дункан о том, что Москва представляет собой нечто вроде груды дымящихся развалин...».

«Каковы же цели Дункан здесь, в России? — продолжал Луначарский. — Главная ее цель лежит в области педагогической. Она приехала в Россию с согласия Наркомпроса и Наркоминдела ввиду сделанного ею предложения об организации в России большой школы нового типа.

Айседора Дункан давно уже является своего рода революционером в области воспитания детей, главным образом физического и эстетического, которым она придает самое важное значение».

Луначарский закончил статью такими словами: «Дункан называли «царицей жеста», но из всех ее жестов этот последний — поездка в революционную Россию, вопреки навешанным на нее страхам, самый красивый и заслуживает наиболее громких аплодисментов».

В октябре 1921 года в парижской прессе появилось интервью Айседоры: «Существует единственная солидарность трудящихся, а именно — Интернационал, который может гарантировать будущее цивилизации». И она описала положение в России как прекрасное пробуждение в реальном мире, в котором под руководством советских лидеров свершаются чудеса, равных которым не было с рождения Христа.

В ноябре и декабре 1921 г. мировая пресса писала: «Говорят, что Айседора стала бóльшим большевиком, чем сами большевики, потому что во время празднования в Москве 4-й годовщины Революции она выступила на сцене бывшей императорской оперы, куда бесплатно пропускались рабочие — хорошие коммунисты, члены профсоюза и солдаты Красной Армии, не позволяя продавать билеты за деньги и не отдав часть билетов интеллигенции. Были мобилизованы части Красной Армии, чтобы не дать толпе, рвущейся в театр на ее первое представление, прорваться внутрь».

«Айседора Дункан возглавила советскую государственную школу танца в надежде привести в соответствие свое уникальное искусство танца с уникальным идеальным правительством. Ей предоставили особняк для нее лично и часть другого для школы. Айседора, полный энтузиазма ТАВАРИШ, надеялась достичь успеха там, где потерпели поражение другие, а именно — слить в одно целое искусство и коммунизм».

«Пролеткульт» (сокращенно от слов пролетарская культура) — вот какое название дал Луначарский этой составной части просвещения. Он надеялся прославить революцию средствами радикального искусства. Сначала попробовали создавать футуристические пластические актерские труппы и яркие красно-желтые картины, и все соглашались, что это модернистское искусство, слишком модернистское, по мнению большинства русских критиков, чтобы его можно было назвать искусством, да еще

пролетарским. Недоставало пролетарских художников, которые создавали бы произведения, понятные народу. В результате Пролеткульт умирал естественной смертью, пока не пришла Айседора и не попыталась вдохнуть в него новую жизнь».

«Товарищ Дункан считает, что и прежде ее танцы были сами по себе революционными, бунтом против старого русского балета, и поэтому она исполняла их перед русской публикой без изменений, лишь призывая своих учеников и публику петь «Интернационал» до и после своего выступления. Айседора заявила, что отказаться надо не только от балета, который, по мнению большинства туристов, представляет собой сегодня одно из немногих оставшихся ярких впечатлений от серой России, но также от большинства национальных русских танцев. Она видела, как группа детей водила простой хоровод, держа в руках свисающие платки и делая что-то такое, что символизирует деревенское ухаживание, и нашла, что в этом, по ее мнению, отражалось раболепие перед царем. Вознося руки к небу, она велела через переводчика мужицким детям повторить ее движения и думать об Аполлоне».

«Ни в одной стране Айседора не могла бы найти таких послушных учеников, как в России. Некоторые из них, чтобы попасть в студию, прошлепали по пять миль по утопающим в грязи московским улицам. Они собирались в большой холодной комнате, посинев от холода и голода, страстно желая стать великими танцовщицами».

«Но сочетать искусство и официальный коммунизм — дело невозможное. Товарищ Дункан оказалось это особенно трудно из-за отсутствия необходимых материальных возможностей. Нищее правительство не могло создать нормальных условий. Целую неделю школа не работала из-за отсутствия дров. После отчаянных просьб прислали немного — одно поленце, как стонала мисс Дункан в отчаянии, поднимая его над головой».

«Айседора продемонстрировала свой традиционный метод, вкладывая в него необыкновенный экстаз. Во всех перерывах пелся «Интернационал». Всегда звучали бурные аплодисменты, так что иногда трудно было определить, какая их часть относилась к танцам мисс Дункан, а какая вызвана просто революционным пылом. Некоторые считали, что простота Айседоры — это приятный контраст со сложностью балета. Да, а балетная группа на

следующий день на собрании выразила протест, но в этом могла сказаться и зависть, потому что, кажется, собрание организовала хозяйка квартиры, где останавливалась мисс Дункан, которая не может ей простить разбитый фарфор (Гельцер).

Айседора проявила большую энергию и получила от Луначарского свободу действий и, безусловно, смогла бы создать настоящую школу, если бы на пути ее не встали серьезные преграды, оказавшиеся катастрофическими. Айседора также убедилась, что, когда смешиваются искусство и политика, страдает искусство».

АЙСЕДОРА ПОКАЗЫВАЕТ ЕСЕНИНУ МИР

(1922 г.)

Из России Айседора уехала лишь с одной мыслью: показать своему молодому поэту красоту мира. Она считала, что он прекрасный, исключительный поэт, и точно так же считало большинство в Москве, да, по-моему, и сейчас этого никто не оспаривает. Этот красивый, неуравновешенный двадцатисемилетний мальчик был из крестьян, и естественно, что писал он о земле, о простых крестьянах, которых знал, о собаке, лающей на луну, о плуге в поле и о других обычных и простых вещах. Но обо всем этом он писал с огромным талантом.

Айседора часто говорила, что будет его Вергилием и проведет по всему миру, открывая ему глаза на шедевры искусства, и если бы не болезнь Есенина, возможно, это принесло бы хорошие плоды.

Есенин рассказывал весьма романтическую историю о том, как однажды царь с семьей и своим двором проезжал мимо их деревни и маленькая царевна Татьяна заметила привлекательного мальчика. Она подозвала его и спросила, кто он. Его ответы были такими уместными и оригинальными, что она рассказала о нем своей матери и придворным дамам, которые тут же пригласили крестьянского паренька в Санкт-Петербург, где можно было бы дать ему хорошее образование. Было ли это вымыслом Сергея, или в этом была доля истины, не знаю, но все его необузданные приятели свято этому верили. Возможно, его помыслы при отъезде из России были не такими возвышенными, как у Айседоры, а ею руководил чистый альтруизм и она думала только о его развитии и совершенствовании.

Для осуществления этого путешествия ей пришлось

много танцевать и зарабатывать много денег, чтобы их пребывание повсюду было обставлено с комфортом и доставило большое удовольствие. Сергей же привез в Россию из поездки множество костюмов, пар обуви, плащей, пальто, шелковых рубашек, пижам и массу денег, и все это он собирался расшвыривать, как сумасшедший, своим приятелям. Возможно, мысль об этом была основательно внушена ему его близким другом Мариенгофом, который ненавидел Айседору, испытывал к ней отвращение и после ее смерти опубликовал гадкие статьи о ее встрече с Есениным. В этих статьях он писал, что она была старая и некрасивая и что Есенин помыкал ею, как собакой, заставляя сидеть у своих ног или подолгу ожидать себя. Однако надо знать эстетку Айседору, чтобы поверить, что если она и могла содержать Есенина и прощать ему чудовищные ссоры, то никогда не была его рабыней и во всех их ссорах спуску ему не давала. Даже место, где они встретились, так до смешного нелепо описанное Мариенгофом, было указано им неверно. Как я уже писала, Айседора и Сергей встретились в Москве.

Но все-таки вышло так, что Мариенгофу и многочисленным приятелям Сергея много что перепало из бесчисленных костюмов, обуви, в общем всего гардероба Сергея, с которым он вернулся и который так щедро раздавал, что в конце концов остался ни с чем.

Во время полета из Москвы в Берлин, начавшего их медовый месяц, им выпало перенести неистовые бури, яростные порывы ветра, и они чудом избежали нескольких серьезных аварий. Они прибыли в Берлин 12 мая 1922 г., полные радости и счастья. Айседора сияла. Все, кто знал ее в это время, до сих пор считают, что она ни на день не выглядела старше Сергея. Она очень похудела и была прекрасна.

Они сразу отправились в отель «Адлон», ее всегдашний любимый отель. Там она заявила многочисленным репортерам, собравшимся, как всегда, ее приветствовать: «Я люблю русский народ и намереваюсь вернуться в Россию в будущем году. Тем не менее очень приятно приехать сюда, где тебя ждет горячая вода, салфетки, тепло и т. п. В России есть другое, но мы, бедные, слабые существа, так привыкли к комфорту, что очень трудно от него отказываться. И русские отнюдь не собираются отказываться от него. Наоборот. Но они считают, что в комфорте должны жить все, а если его не хватает, то не хватать его должно всем».

Сергей, не очень разбиравшийся в том, что принято носить за границей, но имея слабость к вещам, вырядился в синий костюм и белые парусиновые туфли, считая, что в них он очень наряден. Скажу, что с его золотой гривой, обрамлявшей голову, подобно ореолу, было все равно, что надеть. Лицо у него было всегда прекрасным, кроме тех моментов, когда наступали страшные припадки,— тогда он был просто ищадием ада. Менялся он весь, даже цвет глаз и волос. Нельзя было поверить, что это один и тот же человек.

Временами, когда на Сергея нападала русская тоска, Айседоре трудно было с ним справиться. Очень часто она заставляла его стоящим на подоконнике и грозящим выброситься из окна отеля. Это лишь убеждало ее еще сильнее, что он обладает настоящим артистическим темпераментом, и, боясь, что он чувствует себя одиноким без соотечественников, она наняла в качестве секретарей двух его приятелей, тоже нуждающихся поэтов, платя им большие деньги, и даже привезла их в Америку.

Первое, что Айседора сделала в Берлине, это дала Есенину свободу действий в отношении портного. Результаты, мягко говоря, были оригинальными, и она была более чем поражена, когда обнаружила, что он заказал больше вещей, чем человек способен сносить за всю жизнь. Но Айседора просто сказала: «Он ведь такой ребенок, и у него никогда ничего в жизни не было, так что я не могла ругать его за это».

Сергей почувствовал себя в благах цивилизации, как рыба в воде, и требовал, чтобы ему каждый день мыли голову, чтобы у него была отдельная ванна, много одеколона, пудры, духов и т. п.

У Айседоры и ее молодого поэта без конца возникали забавнейшие сцены, когда они хотели что-то внушить друг другу, ведь большая часть их языка состояла из жестов. В конце концов они нашли для себя ломаный английский язык, который понимали только они, но который годился на все случаи жизни.

Неделю они прожили у Элизабет в Школе Элизабет Дункан, размещавшейся тогда во дворце бывшего кайзера в Потсдаме.

Во время пребывания в Берлине Айседора дала множество интервью о России, в которых не могла нахвалиться работой Организации американской помощи. Она всеми способами старалась в Берлине пробудить энтузиазм людей для выполнения грандиозного проекта, кото-

рый осуществляли американцы, и предлагала использовать самолеты для доставки продовольствия русским в те районы, где железнодорожное сообщение было нарушено. Но оказалось, что никто этих самолетов предоставлять не собирается. У нее самой не было денег, иначе она никогда бы никого не просила это сделать.

Она рассказывала много интересных историй о жертвах, приносимых русской интеллигенцией, которая бесстрашно продолжала свою напряженную работу, несмотря на голод и лишения. Ее большой друг руководитель Художественного театра Станиславский вынужден был жить с семьей и учениками на гороховой каше. О политике Айседора сказать ничего не могла, так как общалась только с наркомом просвещения Луначарским, которого считала в высшей степени удивительным человеком и который помогал ей, чем мог.

Из Берлина Айседора переехала в Брюссель, где с колоссальным успехом танцевала три дня в «Ла Монне», Бельгийском оперном театре. Критика писала, что год, проведенный в России, невероятно омолодил ее. Она похудела на 20 фунтов и выглядела на 20 лет моложе. Айседора с юмором заявляла, что это все результат недоедания в России и что люди, страдающие тучностью, должны совершить паломничество в Москву, если хотят добиться такой же грациозности.

Айседора танцевала в Брюсселе за год до отъезда в Москву, но, крепко обидевшись на какие-то замечания по поводу ее костюма, в последний вечер выступила с характерной для нее речью, заявив, что бельгийцы лишены художественного вкуса и нечего перед ними бисер метать, а вот она едет в Россию, где сможет свободно себя выразить. Речь ее произвела огромный фурор: считали, что она никогда не решится снова приехать сюда. Даже ее менеджер отказался организовать ей гастроли в Бельгии, если не получит дополнительного вознаграждения, но, к всеобщему изумлению, Айседора танцевала здесь в переполненных театрах. Она не только приехала в Бельгию как советская гражданка, но и была горячо принята и получила много изъявлений любви.

С большими трудностями Айседора столкнулась при получении виз в Англию, Францию и другие страны. Они возникли в связи с ее браком с молодым советским поэтом. Ей не отказывали во въезде в эти страны, но приходилось ждать завершения необходимых формальностей, что сильно нервировало ее, великую артистку,

привыкшую к тому, что ее беспрепятственно принимал весь мир. Ее единственной мечтой было танцевать во всех этих странах, включая Америку, а когда соберется достаточная сумма, вернуться и работать в России с детьми. Айседора никогда не была филантропом. К детям она обратилась ради искусства, а ее искусство означало привнесение всего прекрасного и стоящего в жизнь детей всего мира.

В июле 1922 г. Айседора и ее русский муж получили официальное уведомление, что во Францию их впустят только в том случае, если они не будут проводить красной пропаганды, и что полиция получила предписание держать их во время визита под строгим надзором. Айседора снова заявила, что не имеет никакого отношения к политике, что она просто хочет организовать в «Трокадеро» выступления и заработать деньги на свою школу в Москве.

Кстати, Айседора была первым советским гражданином, въехавшим во Францию. Разрешение было получено при содействии ее близкой подруги знаменитой актрисы и признанной красавицы Сесиль Сорель, а также министра просвещения Франции, который всегда был другом Айседоры.

29 июля Айседора прибыла из Брюсселя в Париж. Она и Сергей провели два очень счастливых месяца в Париже, совершая поездки в Италию и другие места, и все это для ознакомления Сергея с миром. Много времени и сил положила она на организацию перевода и публикацию стихов Есенина. Всюду в их честь устраивались приемы, и она была счастлива, как школьница. Сергей вел себя ангельски и интересовался только своими стихами и работой.

Американский менеджер Айседоры Сол Юрок вел с 1921 года с ней переговоры о том, чтобы привезти в Америку ее русскую школу, в которой в то время было 25 детей. Но в те годы существовало предубеждение против России, и ему стоило больших трудов добиться у американского правительства разрешения на их приезд. А когда в конце концов разрешение было получено, советское правительство запретило им выезжать, заявив, что ученицы слишком малы, — ведь некоторым из них было лет 10—12. Уехав из России в 1922 году, Айседора отправила мистеру Юроку телеграмму: «Ни бури, ни ветер, ни снег не помешают мне доехать до Америки».

Итак, в воскресное утро в октябре 1922 года Айседора

и ее муж, поэт, в сопровождении нескольких русских секретарей прибыли из Гавра в Америку на лайнере «Париж». Они ожидали, что их встретит большой комитет, но оказалось, что комитет состоит из единственного члена — менеджера Айседоры, который встретил их в сопровождении огромной армии фотографов и репортеров. Все набились в ее каюту, где, к их общему удивлению, иммиграционный инспектор сообщил Айседоре, что всей группе придется остаться на ночь на борту «Парижа», где будет произведен досмотр, а утром их перевезут на остров Эллис¹ для встречи с представителем специального бюро расследования. Никаких объяснений о причине ее задержания дано не было, но подразумевалось, что инструкции поступили из Вашингтона из-за просоветских взглядов Айседоры.

А ведь это была одна из самых знаменитых в мире артисток, перед которой все страны распахивали двери, считая, что нет короны, которая была бы достойна этой удивительной американки. Перед ней склонялись художники всего мира, ученые и мыслители всех стран единодушно считали, что она несет высочайшее выражение искусства наших дней. Но вопреки этому на пороге своей родной страны, за свободу которой боролись и умирали ее предки и которая с распростертыми объятиями встречала самого паршивенького иностранца с весьма посредственным талантом, Айседора оказалось перед захлопнутой дверью.

Великое дитя Америки, эта истинная американка по духу, чья неумирающая любовь к Америке была самой ярко выраженной чертой ее характера, артистка, снова и снова возвращавшаяся в свою страну, несмотря на явно плохое к ней отношение, умоляла разрешить ей обучать американских детей. Она готовилась к этому всю жизнь. А теперь ее, как самого опасного преступника и подозрительную личность, отправляют на остров Эллис. Прелестная женщина в мягкой круглой белой шляпке, в красных сафьяновых русских сапожках и длинной накидке являла собой картину, которую с удовольствием бы приняли в любой стране.

Ее молодой муж и его русский секретарь подготовили заявление, которое они по приезде собирались произвести в Америке. Оно гласило:

¹ *Остров Эллис* — остров Слез, находится недалеко от Нью-Йорка, являлся местом нахождения политических заключенных. — *Прим. сост.*

«Итак, мы на американской территории. Благодарность — такова наша первая мысль. Мы — представители молодой России. Мы не вмешиваемся в политические вопросы. Мы работаем только в сфере искусства. Мы верим, что душа России и душа Америки скоро поймут друг друга.

Мы прибыли в Америку с одной лишь мыслью — рассказать о сознании России и работать для сближения двух великих стран. Никакой политики, никакой пропаганды!

После восьми лет войны и революции Россия окружена китайской стеной. Европа, сама истерзанная войной, не обладает достаточной силой, чтобы снести эту китайскую стену. Россия во мгле, но нам помогло ее бедствие. Именно во время голода в России Америка сделала щедрый жест. Гувер разрушил китайскую стену. Работа Организации американской помощи незабываема.

Прежде всего хотим подчеркнуть тот факт, что сейчас в мире есть только две великих страны — Россия и Америка.

В России налицо сильная жажда изучать Америку и ее добрых людей. Разве не может быть так, что искусство станет средством для развития новой русско-американской дружбы? Пусть американская женщина с ее острым умом поможет нам в решении нашей задачи!

Во время путешествия сюда мы пересекли всю Европу. В Берлине, Риме, Париже и Лондоне мы не нашли ничего, кроме музеев, смерти и разочарования. Америка — наша последняя, но великая надежда!

Приветствуем и благодарим американский народ!»

Заявление это оказалось преждевременным, ведь у них и в мыслях не было, что их не впустят.

К вечеру того же дня во всех газетах замелькали заголовки о великой актрисе. Министр труда Дэвис заявил, что министерство труда не отдавало приказа о задержании Айседоры и что отказ нью-йоркских иммиграционных властей разрешить этой группе сойти на берег никем не санкционирован. Другие чиновники министерства труда, которому подчиняется Иммиграционное бюро, заявили, что ничего не знают об этом деле. Они сказали, что вопрос этот полностью в компетенции властей Нью-Йорка. Нью-йоркское бюро расследования, не пропускающее врагов и тому подобных элементов, действует по своей инициативе. Из Вашингтона не поступал приказ не допускать Айседору в страну. Заместитель руководителя

иммиграционного ведомства Байрон Уль заявил, что не отдавал приказа задерживать Айседору на острове Эллис.

Айседора и ее сопровождающие путешествовали с русскими паспортами, на которых должным образом были проставлены визы в консульстве Соединенных Штатов в Париже, и консул уверил их, что у них по приезде никаких неприятностей с иммиграционными властями не будет.

По поводу подражателей Айседора сказала: «Вы цените моих имитаторов, которые создают карикатуру на мои танцы. Они танцуют руками и ногами, но без души».

На следующий день, после двух часов пребывания Айседора и ее спутников на острове Эллис, иммиграционные власти отпустили их. При этом официально заявили, что задерживали по указанию министерства юстиции по причине ее долгого пребывания в России и из-за слухов о ее связях с Советами. Айседору подозревали в том, что ее использовали в качестве дружественного курьера Советского правительства для доставки бумаг в Америку.

Уполномоченный по делам иммиграции на острове Эллис Роберт Тод заявил: «Боюсь, что не могу предъявить вам какого-либо определенного обвинения, даже если таковое и было. И если оно действительно имелось, то недостаточно обоснованное». Помощник уполномоченного Лэндис, председательствовавший во время разбора дела, сказал, что обвинения были необоснованные.

Среди бесчисленных редакционных статей, появившихся в газетах в это время, отмечу статью в «Нью-Йорк таймс», написанную Анной Фициу. В ней говорилось: «Айседора Дункан задержана на острове Эллис. Боги могут хорошо посмеяться. Айседора Дункан, благодаря которой в Америке появилась школа классического танца, приравнена к опасным иммигрантам. Но это же американская артистка высшего ранга, женщина, чье искусство достигло такого изящества, что иногда просто нет критериев, по которым его можно было бы оценить, танцовщица, вкладывающая в свое исполнение не только утонченное совершенство ритма и поэзию движения, но и живое, спокойное воображение, никем не превзойденное в области танца!»

Наконец они были на свободе, и когда их ярко одетая группа плыла с острова Эллис, к Айседоре, по ее словам, проявляли большую учтивость, и вообще казалось, что

все считают происходящее не более чем шуткой. Она сказала: «Меня задержали, потому что я приехала из Москвы». Когда ее спросили, классическая ли она балерина, она ответила: «Не знаю, потому что мой танец очень личный». Потом у нее стали спрашивать, как она выглядит, когда танцует. Она ответила, что не может сказать, так как никогда не видела себя во время танца.

Айседора сказала: «До того, как я попала на остров Эллис, я не представляла себе, что человеческий мозг может додуматься до таких вопросов, какие мне там задавали. Я заботилась о маленьких русских сиротах, но не имела ничего общего с политикой». На вопрос, коммунистка ли она, Айседора заявила: «Чушь,— и, повернувшись к своему менеджеру, сказала: ну, они убедились, что я ни в чем не виновна?»

Теперь во всех газетах появились статьи о том, что Айседору держат взаперти на острове Эллис, и к полудню следующего дня общественное мнение было крайне возмущено.

Прямо с парома они поехали в свой номер в «Уолдорф Астории». Была проведена большая подготовка к торжественному пиру. Повидаться с Айседорой собрались ее родные и сотни друзей. Айседора горела энтузиазмом и счастьем, но ей очень хотелось поделиться с друзьями и массами тем, что она узнала в России. Она ни о чем не могла говорить, кроме как о коммунистической России, и к моменту ее первого выступления о ней уже столько наговорили, что у ее менеджера тряслись поджилки при мысли, какая публика соберется на ее концерты.

Боялся он зря. Ее три выступления в Нью-Йорке прошли с колоссальным успехом. Билеты были проданы заранее, а люди требовали еще. Выступления проходили в «Карнеги-холл», и Айседора, окрыленная славой, танцевала в сопровождении великолепного Русского симфонического оркестра под управлением Натана Франко.

Популярность Айседоры была огромной, успехи великолепными, а она вся кипела огромной любовью к России. Куда бы она ни пошла, вокруг нее тут же собирались толпы репортеров, и она говорила им одно и то же: «Коммунизм — единственное будущее мира!» А Есенин, взбудораженный большой дозой шампанского, собирал большую группу вокруг себя и разражался огненными речами о своей родине.

Из Нью-Йорка Айседора уехала в Филадельфию, где

ее выступления проходили немного спокойнее, но не надолго. Вскоре мистеру Юроку позвонил из Индианаполиса его агент и сообщил, что мэр Индианаполиса не разрешает Айседоре выступать, опасаясь ее обычных большевистских речей. Юрок позвонил самому мэру, обещая, что никаких неприятностей не будет, и говоря, что разочаровывать многочисленную публику Айседоры — преступление. Но на следующий день, несмотря на его обещание и на то, что Айседора дала слово не вызывать неприятностей, она в конце выступления разразилась в высшей степени восторженной речью о коммунистической России. Ей тут же запретили когда бы то ни было выступать в Индианаполисе, однако ей было все равно. Она сказала то, что хотела сказать, и это было главное.

Следующим пунктом гастролей Айседоры был Милуоки, и менеджеру пришлось предупредить ее, что если произойдет хотя бы малейшая неприятность, то ее дальнейшее турне прекратится и ей придется самой заниматься своими делами. Он не допускал к ней репортеров и, велел портье отеля отвечать всем, что Айседора нездорова, ухитрился сохранить порядок в течение суток. Затем еще некоторое время все шло хорошо с небольшими исключениями, ведь для Айседоры так же естественно было говорить о том, что ее волнует, как и дышать, и хотя она немного говорила там, где танцевала, но в коротких беседах с репортерами, на многих частных приемах в ее честь взяла реванш.

В Бостоне Айседора танцевала только раз. Во время ее выступления в «Симфони-холле» Есенин, раскрыв окна за сценой, собрал огромную толпу и сказал, что Бостон известен во всем мире как центр культуры, искусства и образования, поэтому естественно, что его жители должны познакомиться с идеалами и платформой молодой России и знать их. Но для степенного пуританского Бостона это было слишком. Айседору и Есенина попросили немедленно покинуть Бостон, о чем бедная Айседора очень сожалела.

Ее последнее выступление в Бруклине тоже было сенсационным. Казалось, в Айседору вселился демон, и чем дольше она танцевала, тем больший экстаз ее охватывал. Она пребывала в полной власти своего искусства и не заметила, как костюм ее постепенно сползал с плеча, — да на такие вещи она вообще мало обращала внимания. Публика была возбуждена до предела и вызывала на «бис». Пианист Макс Рабинович, боясь, что Айседора

может бог знает что сделать в охватившем ее экстазе, тихо ретировался.

Айседора нисколько не смутилась и, вместо того чтобы продолжать танцевать, разразилась полной энтузиазма речью, высказав все, что у нее накопело. Как позже выяснилось, кто-то прислал ей бутылку плохого шампанского — Айседора всегда выпивала бокал шампанского в антракте и всегда требовала, чтобы дирижер и менеджер пили с ней, — и все, кроме нее, сильно отравились. Ничто не могло погасить вдохновения Айседоры, и она танцевала с еще большим, чем всегда энтузиазмом.

Во время гастролей Айседоры в Америке начало, к сожалению, проявляться безумство Есенина. Он увидел, что Америка встретила его не так, как он ожидал, и почему-то грубо обвинял в этом Айседору, оскорбляя ее и ее страну по любому поводу. В газетах более или менее преувеличенно описывались многочисленные скандалы, но правды в этих заметках было достаточно, чтобы сделать жизнь супругов Есениных почти невыносимой.

Примерно в это время в честь Есенина был организован вечер еврейских поэтов, выходцев из России. Было очень торжественно, звучало много речей, но в разгар вечера Сергей не придумал ничего лучшего, как оскорбить присутствующих и начать ломать все, что под руку попадало. Впоследствии они требовали его депортации. и только мольбы Айседоры удержали их от официальных действий.

Экстравагантность Есенина, выражавшаяся в том, что он покупал много из того, что видел, совсем истощила счет Айседоры, и они оказались без гроша. Столько портных стучали в их двери в течение дня, грозя засадить их в тюрьму, что это отравляло жизнь Айседоры.

Мэри Фэнтон Робертс, близкая и преданная подруга Айседоры, взволнованно рассказала мне об одном эпизоде, свидетелем которого она была в отеле «Бревоорт», когда пришла попрощаться с Айседорой. Есенин лежал связанный после того, как порушил все в квартире пригласившего его поэта, и единственно, чего боялась Айседора, это что он найдет револьвер.

В тот момент, когда мисс Робертс помогала Айседоре упаковывать вещи — выехать из отеля казалось разумным делом, — дверь медленно отворилась и на пороге появился Есенин. Он каким-то образом освободился от пут. Глаза его были безумными, он размахивал револьвером. На мгновение все растерялись, однако удалось

отвлечь его внимание разговором о вечере, который он провел у мисс Робертс, где читал стихи и казался счастливым.

Улучив момент, Айседора выскользнула из комнаты, а когда Сергей заметил это, гнев его не знал предела. Он кинулся в холл искать ее. Мисс Робертс тоже выбежала из комнаты и нашла Айседору прячущейся под лестницей. Обе они бросились вниз по ступенькам, не дожидаясь лифта, а Есенин вскочил в лифт и был уже внизу.

Как-то им все же удалось убежать, и когда они сели в кеб, Айседора разразилась слезами и сказала: «Я плачу не из-за себя, я так боялась, что ты испугаешься и даже можешь пострадать, ведь ты пришла меня утешить».

Айседора не думала о грозящей ей опасности, боялась она только за подругу. Сергей часто размахивал пистолетом самым небрежным образом. Но, как всегда, Айседора простила его.

Теперь она решила, что пора отвезти ее любимого мальчика назад в Россию, но выяснилось, что у них нет ни гроша. Она надеялась вернуться в Москву с деньгами, а вынуждена была просить друзей одолжить ей деньги на билеты. Ей пришлось обратиться к Лознгрину, который прислал им билеты до Парижа.

Айседоре было что рассказать об этом возвращении. На пароходе Сергей не был трезвым ни минуты — ведь он мог без труда получить любое спиртное. Они прибыли на пароходе «Джордж Вашингтон» в Шербур 12 февраля 1923 года без гроша в кармане.

Айседора заявила, что ее выставили из Америки из-за того, что она просила помощи для умирающих с голоду детей в Москве, что Соединенные Штаты помешались на ненависти к большевизму, на ку-клукс-клане и «сухом законе» и что в стране свободы нет больше свободы. Газеты, продолжала она, предоставляли свои страницы для описания подробностей ее личной жизни во время турне: что она ела, что пила, с кем встречалась, но ни разу не коснулись ее искусства. Материализм — проклятие Америки.

13 февраля 1923 года в парижских газетах появилось следующее сообщение: «Сегодняшний праздник не состоялся по двум причинам. Одна из них — дождь, вторая — исчезновение Айседоры Дункан. Ее почитатели надеялись, что присутствие актрисы скрасит проклятый дождь, который вот уже два дня льет над столицей Франции. Но Айседора, сойдя с борта лайнера «Джордж Вашингтон» в Шербуре, спряталась где-то во Франции».

После отъезда Айседоры из Нью-Йорка многие газеты опубликовали несколько ее высказываний.

— Если бы я приехала в эту страну как крупный финансист, чтобы взять кредит, мне был бы оказан великолепный прием, но я прибыла как известная артистка, и меня сослали на остров Эллис как опасного человека, опасного революционера.

— Я не анархист и не большевик. Мы с мужем революционеры. Все гении, достойные этого имени, революционеры. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить след в сегодняшнем мире. Свобода в нас! — сердито воскликнула Айседора, резко взмахнув своим пылающим шарфом.

— А на днях, проснувшись, я прочла в газете, будто мой любимый Сергей подбил мне глаз в квартире в Бронксе¹. Ложь. Я даже не знаю, где этот Бронкс, и ни разу там не была.

АЙСЕДОРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ АМЕРИКИ.

ЕСЕНИН УЕЗЖАЕТ ИЗ ФРАНЦИИ

(1923 г.)

Я жила себе тихо в Лондоне, когда однажды, как гром среди ясного неба, получила телеграмму: «Если хочешь спасти мне жизнь и не дать сойти с ума, встречай меня в Париже, прибываю на пароходе «Джордж Вашингтон». С любовью, Айседора».

Я собрала сколько могла денег и, опасаясь самого худшего, немедленно выехала в Париж. Прибыв рано утром, отправилась в «Гранд Отель» и заказала самый скромный номер.

Поезд пришел в 8.30, и почти первой с него сошла величественная и великолепная Айседора. Она обняла меня, без конца повторяя:

— Мэри, Мэри, о Мэри, наконец-то ты приехала спасти меня. Я знала, что ты приедешь. Не старайся понять что-нибудь. Я потом объясню. Но что бы ты ни делала, забудь, что я великая актриса. Я просто приятный, интеллигентный человек, ценящий гений великого Сергея Есенина. Он — художник, он — великий поэт.

Естественно, услышав это, я рассмеялась.

— Нет, нет, Мэри, ради всего святого, будь серьезной

¹ Бронкс — один из районов Нью-Йорка. — Прим. сост.

и делай, что я прошу, иначе мы пропадем. Уверяю тебя, ты позже все поймешь.

— Ладно, голубчик,— ответила я,— показывай этого необыкновенного гения. Где он?

— Минуточку,— ответила Айседора,— терпение. Русского торопить нельзя. Его вытаскивают.

— Он что, болен? — спросила я.

— Не совсем,— ответила Айседора.— Но он не хочет выходить из вагона. Не забывай, что он великий, величайший гений. Проводники уговаривают его выйти.—

Айседора пыталась сохранить серьезность, и тут произошло совершенно невероятное. Появились четыре проводника, тащившие что-то, напоминающее огромную охапку элегантных мехов. Они поставили на ноги этот предмет, оказавшийся мужчиной в высоченной меховой шапке, благодаря которой он казался очень высоким и свирепым.

— Сергей, это моя любимая подруга. Это Мэри,— сказала Айседора.

— А, Мэри, Мэри,— донеслось из мехов, и меня подняли как дитя, сжали в железных тисках русских объятий, повторяя: — Сестра моя, Мэри, Мэри,— и еще много чего-то по-русски, чего я не поняла. Я обнаружила также, что у мехов два моргающих маленьких глаза, вспыхивающих огнем.

Айседора сияла от счастья, потому что никогда не могла предугадать, как Сергей воспримет того или другого, а теперь успокоилась, что сцены не будет. Портье из отеля «Крийон», оказавшийся на нашем пути первым, отвез нас в этот один из самых дорогих отелей Парижа. Айседору, прежде одну из его почетнейших гостей, принимали с большой помпой. Но она отказалась от роскошного номера, который занимала раньше, и оставила свой выбор на двух прелестных соседних номерах, заявив, что один для меня. Я сказала ей, что уже сняла номер в другом отеле, но Айседора заявила, что теперь мы никогда не расстанемся. Служанка, сопровождавшая ее, занялась багажом. Ей дали комнату недалеко от нас на том же этаже.

Айседора заказала восхитительный обед с легким вином. Это удивило меня, потому что она всегда пила шампанское. Сергей захрипел: «Шампанского, шампанского!», но Айседора твердо отказалась его заказывать. Последовал бурный спор на какой-то смеси русского и английского языков, но большую часть того, что гово-

рила Айседора, я поняла, потому что это было все-таки похоже на английский.

Сергей настаивал: «Шампанского — в честь сестры!», но Айседора ответила, что я терпеть не могу шампанское. (Какой обман!) Она сменила свой невообразимый дорожный туалет а ля рюс на прелестное обтягивающее платье, ее маленькую царственную головку обвил шелк изумительных цветов радуги. Сергей, держа в руке небольшой портфельчик, с которым, по словам Айседоры, он никогда не расставался, направился в мою комнату и запер его там в гардеробе.

Это очень позабавило Айседору. Она прошептала:

— Мэри, ты будешь от него в восторге. Он как дитя. В портфельчике у него какие-то игрушки, и он охраняет их, как священные реликвии.

— Может, это деньги,— сказала я, потому что была немного практичнее.

— Мэри, ты в жизни ничего смешнее не говорила. Милая, у нас нет ни гроша, и если бы не Лознгрин, то мы все еще сидели бы в порту в Нью-Йорке. Он оплатил наш проезд и дал еще немного денег, которые, кстати, у Сергея в кармане.

— Но ты же хорошо заработала во время американского турне.

— О да, массу денег, но я не знаю, куда они ушли. Знаю только, что в последние две недели нам еле хватало заплатить за отель и еду. Мне-то все равно, но было неприятно, что у Сергея сложится мерзкое впечатление об Америке. Это страшный удар для художника. Дело в том, что он совершенно ничего не понимает в деньгах.

Наконец обед подали. Какой же он был веселый и радостный! Сергей читал свои стихи и действительно был похож на молодого бога с Олимпа — оживший, танцующий фавн Донателло. Он ни секунды не сидел на месте, часто убегал куда-то, в экстазе бросался на колени перед Айседорой и, как усталый ребенок, клал свою кудрявую голову на ее колени. А ее прелестные руки ласкали его, и из глаз струился свет, как у Мадонны.

— О, как я счастлива, Мэри! Посмотри, как он прекрасен! Если ты останешься с нами и никогда нас не бросишь, как великолепно мы заживем в Париже! Обещай, Мэри, не расставаться со мной.

Через каждые несколько минут Сергей убегал то за сигаретами, то за спичками, хотя Айседора говорила ему, что официант принесет все, что нужно. Я заметила, что

с каждым возвращением он бледнел все сильнее, а Айседора нервничала все больше. В последний раз он довольно долго не появлялся, и Айседора вызвала звонком свою служанку.

Служанка рассказала, что он несколько раз заходил к ней в комнату и заказывал шампанское, но теперь куда-то ушел. Лицо у Айседоры стало таким грустным, что сердце мое просто разрывалось. Она бросилась на кровать и поведала мне о своем путешествии и впечатлениях от Америки, о том, как ее принимали, и т. д. Она рассказывала так, как это умела делать только она, — с изяществом и остроумно. Часто бывая с ней вместе по нескольку недель и даже месяцев, я оставалась с ней наедине, но даже на секунду мне не становилось скучно. Ей всегда было о чем рассказать, и простейший эпизод превращался у нее в захватывающую историю, которую бы слушала и слушала.

— Мэри, теперь я могу сказать тебе правду. Сергей немножко эксцентричен, и чем дольше он отсутствует, тем эксцентричнее становится. Если он вскоре не появится, то нам лучше уйти в другое место в отеле, где он нас не сможет найти.

— Господи, Айседора, ты что? Я не верю, что он посмеет тронуть тебя.

— Видишь ли, это одна из его эксцентричностей, — ответила она. — Но поверь мне, он это не со зла. Когда он пьет, то совсем теряет рассудок и считает меня своим самым большим врагом. Я не против того, чтобы он пил. Иногда я удивляюсь, почему все не пьют, живя в этом ужасном мире. Русские ничего не делают наполовину, если уж они пьют, так пьют. По мне, пусть он переломает все в городе, если это доставляет ему удовольствие, но я не хочу, чтобы сломали меня.

Сама мысль о том, что кто-то может причинить Айседоре боль, наполняла меня ужасом. Я не могла понять, поверить ее словам.

— Ну почему, почему ты терпишь это? — спросила я.

— Мэри, родная, не могу объяснить. Это заняло бы слишком много времени. Но и потому, что в этом есть что-то, что мне нравится, где-то глубоко, глубоко в душе. Ты заметила, как Сергей похож на одного человека, которого ты когда-то знала? — А затем жалобно: — А, все равно, может, это только мое воображение. Я тебе позже обо всем расскажу. Если Сергей не вернется к двенадцати, боюсь, Мэри, нам действительно придется спрятаться.

— Но это же ужасно, Айседора! Быстро одевайся и поедем ко мне в отель.

— Да, я оденусь, но, пока не увижу, что с Сергеем, не уеду.

Она медленно переоделась в уличный костюм, а я तोпила ее, в ужасе от того, что услышала. Вдруг силы покинули Айседору. Она попросила меня принести ей бренди из ее дорожной сумки и легла на кровать бледная как смерть.

— Айседора! — сказала я решительно. — Или едем ко мне, или разразится страшный скандал: если он попытается ударить или оскорбить тебя, я за себя не отвечаю. Я бы не вынесла такого. Поедем немедленно!

— О Мэри, так будет хуже. Я не перенесу, если с его золотой головы упадет хоть один волосок. Разве ты не видишь сходства? Он просто копия маленького Патрика. Патрик был бы таким. Как же я могу позволить, чтобы с Сережей что-нибудь случилось? Нет, ты должна мне помочь спасти его, доставить в Россию. Там ему будет хорошо. Он великий гений, великий поэт, а в России знают, как обращаться со своими художниками.

— Поговорим об этом завтра, Айседора, а сейчас поедем со мной.

— Нет, не могу уехать, пока не услышу, что он вернулся. Я по голосу узнаю, в каком он состоянии.

Не успела она это сказать, как из холла раздался невероятный шум, будто туда въехал отряд казаков на лошадях. Айседора вскочила. Я схватила ее за руку, затащила к себе в комнату и заперла дверь на ключ. А когда Сергей начал колотить в дверь, я потащила Айседору в холл, и мы помчались вниз по лестнице, как злые духи. В дверях Айседора задержалась, чтобы сказать портье, что муж ее болен, и попросила присмотреть за ним, пока мы не привезем доктора, и быть с ним «очень, очень деликатным, потому что он совсем болен». Портье уверил, что все сделает.

Мы вскочили в такси. Айседора настояла на том, чтобы найти врача, по возможности русского. Но того, кого мы хотели пригласить, не было в городе, и Айседора поехала со мной в «Гранд Отель». Вид у нее был измученный. Здесь нас ждал другой сюрприз. Не успели мы подняться в номер, как портье стал стучать в дверь, заявляя, что комната снята на одного человека и второму быть в ней не разрешается. Я старалась тихо, чтобы Айседора не слышала грубияна, отправить его, сказав,

что моя подруга больна. Но он продолжал кричать. Тогда я приказала ему прислать ночного администратора, которому все объяснила.

Айседора позвонила в «Крийон» и услышала от служанки, что в номер вломились шестеро полицейских и забрали месье в полицию, после того как он пригрозил убить их и переломал в комнате всю мебель, высадил туалетный столик и кушетку в окно. Он пытался выломать дверь между нашими номерами, думая, что Айседора в комнате, избил портье отеля, который пытался его утихомирить. К счастью, револьвер был в портфеле в моей комнате.

Айседора была близка к обмороку. «Что делать, Мэри? У меня нет ни цента. Последние деньги из тех, что Лоэнгрин нам прислал, у Сергея, но и это всего лишь несколько долларов».

Она решила снова поискать доктора, и мы нашли его в отеле «Маджестик». По дороге в полицейский участок Айседора рассказала врачу, как у Сергея случаются припадки. Пока врач осматривал Сергея, тот бесновался и требовал свой портфель, крича, что в нем его стихи.

Врач заявил, что Сергей болен и очень опасен, что его ни под каким предлогом нельзя отпускать. Это был сокрушительный удар для Айседоры. Мы вернулись в отель «Крийон» в четыре утра почти мертвые.

Отель был взбужоражен. Рассказывали, что несколько постояльцев выбежали в ночном белье, думая что снова началась война и что отель бомбят. Это было слишком для чувства юмора Айседоры: она начала истерически хохотать при мысли, что молодой русский большевик (я очень сомневаюсь, были ли у него какие-либо политические убеждения) до смерти перепугал мирно отдыхающих американских гостей. Ее смех, однако, покоробил управляющего отелем, который поначалу проявлял к ней большое сочувствие, а теперь разозлился, но вежливо потребовал, чтобы она уплатила за ущерб, и сказал, что был бы очень обязан, если бы она нашла другой отель. И на самом деле, в комнатах жить было нельзя: кровати сломаны, пружины валялись на полу, простыни порваны в клочья, зеркала и стекла разбиты на мелкие осколки — действительно, было похоже, что в дом попала бомба.

Я отвела управляющего в сторону и сказала: мисс Дункан смеется не над случившимся, у нее истерика. Это его немного охладило. Я обещала, что мы выедем рано утром и за все заплатим. Он согласился при условии, что

Есенин в отель не вернется. Мы уверили его, что в этом отношении нет ни малейшей опасности.

Придя в номер, Айседора глотнула брэнди и спросила, что же делать. Но тут же решительно заявила, что никогда не позволит засадить Сергея в сумасшедший дом, даже под страхом быть им убитой.

Открыв гардероб, мы увидели портфель. В участке полицейский отдал ей ключи Сергея, но по свойственной этому прелестному созданию щепетильности, кстати, одной из главных черт характера Айседоры, она долго колебалась, не желая заглядывать в его личные вещи. Я сказала, что там могут быть деньги, но она ответила, что этого не может быть, потому что у него их нет.

Наконец она открыла портфель. К ее изумлению, он был полон американских денег — мелкими купюрами и даже серебром, всего около двух тысяч долларов. «Господи, Мэри, неужели я вскормила змею на своей груди? Нет, не верю, бедный Сережа. Я уверена, что он и сам не знал, что делал. У него никогда не было много денег, и при виде того, что я щедро трачу их, его крестьянская натура взяла в нем верх, и он бессознательно решил часть их сохранить. Скорее всего для тех, кому они нужны на его родине». (Так впоследствии и оказалось, когда он бросался деньгами с еще большей щедростью, чем Айседора.) «Подумать только, у него были деньги, а меня с ума сводил портной, угрожавший арестом, если я не оплачу счет за два костюма Сергея».

Да, действительно, это было слишком. Я позвала управляющего. Мы оплатили нанесенный ущерб и уехали из отеля, забрав с собой багаж Айседоры. Чемоданы Сергея мы оставили, увидев в них не только десятки костюмов, рубашек и пар белья, но и половину туалетов Айседоры, которые, как она думала, где-то потеряла.

Мы переехали в отель «Резервуар» в Версале. Там Айседора слегла с высокой температурой. Врач, обследовавший Сергея вторично, приехал к ней, чтобы узнать, согласна ли она поместить его в лечебное учреждение. Но полиция намеревалась выпустить его только при условии, что он немедленно покинет страну. Мы купили два билета, и Сергей в сопровождении служанки уехал в Берлин, где у него было много друзей и где находилось представительство Советского правительства. Но пока поезд не увез его, Айседора жила в страхе. Сергей получил все свои чемоданы и портфель, в котором оставалось денег только на дорогу до Берлина.

НАША ПОЕЗДКА В БЕРЛИН НА АВТОМОБИЛЕ

(1923 г.)

Через несколько дней Айседоре стало неважно от деревенского уединения, и мы переехали в «Отель дю Рин». Его управляющему, который знал нас многие годы, я объяснила, что заплатить мы сможем лишь через несколько недель. Он ответил, что мы можем оставаться, сколько нам заблагорассудится, но при условии, что Есенин сюда не придет, ибо он, управляющий, не может позволить скандала. Я уверила, что скандала не будет.

Айседора все еще лежала в постели с высокой температурой, и ни днем, ни ночью ее нельзя было оставлять ни на секунду. Сергей и его берлинские приятели забрасывали ее телеграммами, в которых говорилось, что он покончит с собой, если Айседора к нему не вернется. Телеграммы Сергея обычно гласили: «Айседора браунинг (он считал, что «браунинг» — это «стрелять») дорогого Сергея любишь моя милая скари, скари» (это означало «скорее, скорее») — по пять-шесть телеграмм в день, от которых температура у Айседоры немедленно подскакивала.

Несмотря на усилия врача, она не могла спать. Наконец Айседора сказала: «Мэри, родная, если ты мне настоящий друг, найди способ отвезти меня к Сергею, не то я умру. Я без него жить не могу. Мысль, что с ним может случиться что-то плохое, сводит меня с ума. Узнай, можно ли найти машину, и мы поедem в Берлин».

О боже! Денег у нас ни гроша, а она хочет поехать в Берлин на машине! Ничто и никогда не казалось ей невозможным. Она заявила, что не поедет на поезде.

В один из вечеров перед отъездом в Берлин Айседора, находившаяся в очень взвинченном состоянии, решила после обеда поехать на Монмартр, заявив, что отель ей надоед. Я наотрез отказалась поехать с ней, потому что считала, что кабаре Монмартра — не место для двух женщин без мужчин. Она согласилась: «Очень хорошо, раз ты такая упрямая», — и подвезла меня в отель, где я легла спать. Она уехала одна. Я была твердо уверена, что через несколько минут она вернется, и очень удивилась, когда ее и в три часа ночи еще не было дома.

В конце концов она вернулась, и не одна, а с молодой красивой итальянкой, которая сказала мне, что она кинозвезда. Айседора приказала подать еды и вина, и мы проговорили несколько часов.

Оказалось, Айседора одна пошла в кабаре. Американец, сидевший неподалеку от нее, бросил несколько грубостей, на что французы соответственно ответили, и завязалась драка. В разгар этого шума и гама какая-то молодая итальянка горячо обняла Айседору и сказала: «Я много раз видела ваши танцы и обожаю вас. У меня маленькая доченька, и я хочу отдать ее в вашу школу».

Это так тронуло Айседору, что она привезла ее домой и попросила меня уступить молодой женщине свою комнату — у нас было две спальни и гостиная, — а самой лечь у нее, что я и сделала.

Не успели мы закрыть глаза, как послышался легкий стук в дверь, и итальянка прошептала: «Пожалуйста, зайдите посмотреть, что я ничего не взяла, мне надо уходить».

Мы были так поражены, что ничего не могли понять, и спросили: «Почему бы вам не поспать до утра? Примите ванну, позавтракаете, тогда и поедете».

И к своему изумлению, услышали: «А как вы думаете я зарабатываю? Вы думаете, я могу упустить время? Мне же ничего не заплатили за этот вечер».

С этими словами молодая особа с возмущением выбежала из отеля.

Вот уж, действительно, кого только не встретишь в Париже!

На следующий день мы послали за старым мошенником, который уже ссудил Айседоре небольшую сумму денег под очень ценные картины Каррьера, — она дорожила ими больше всего на свете. После весьма неприятного спора и при условии, что Айседора подпишет какие-то бумаги, он согласился уговорить своего друга очень дешево сдать ей машину с шофером и всем, что нужно, и дать ей 60 тысяч франков.

И произошло чудо: Айседора поправилась. Она телеграфировала Сергею: радуйся, Айседора едет.

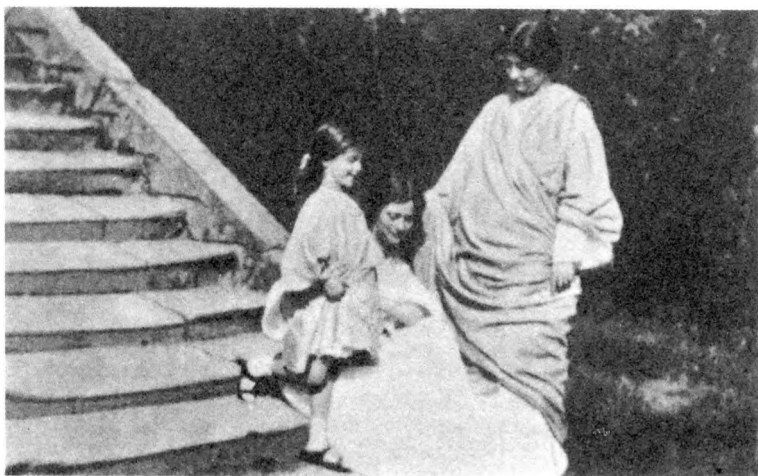
Казалось, мы все хорошо предусмотрели, но забыли о нашем «друге»-ростовщике. С каждым днем проценты росли, а сумма, которую он обещал дать, уменьшалась. И наконец в последний день, когда у нас к полудню все было упаковано и мы сидели в шляпах, ожидая машину, он явился, потирая руки, которые уже давно должны были стереться от трения, и заявил, что сможет достать всю сумму только через три-четыре дня, и если Айседора согласна ждать, он достанет деньги, а если нет, то часть денег получит по возвращении.



Айседора Дункан



Айседора Дункан.
Первое представление «Сна
в летнюю ночь»



Айседора (сидит)
со своей племянницей Темпл
и Мэри Дести (1904 г.)



Айседора (1908 г.)



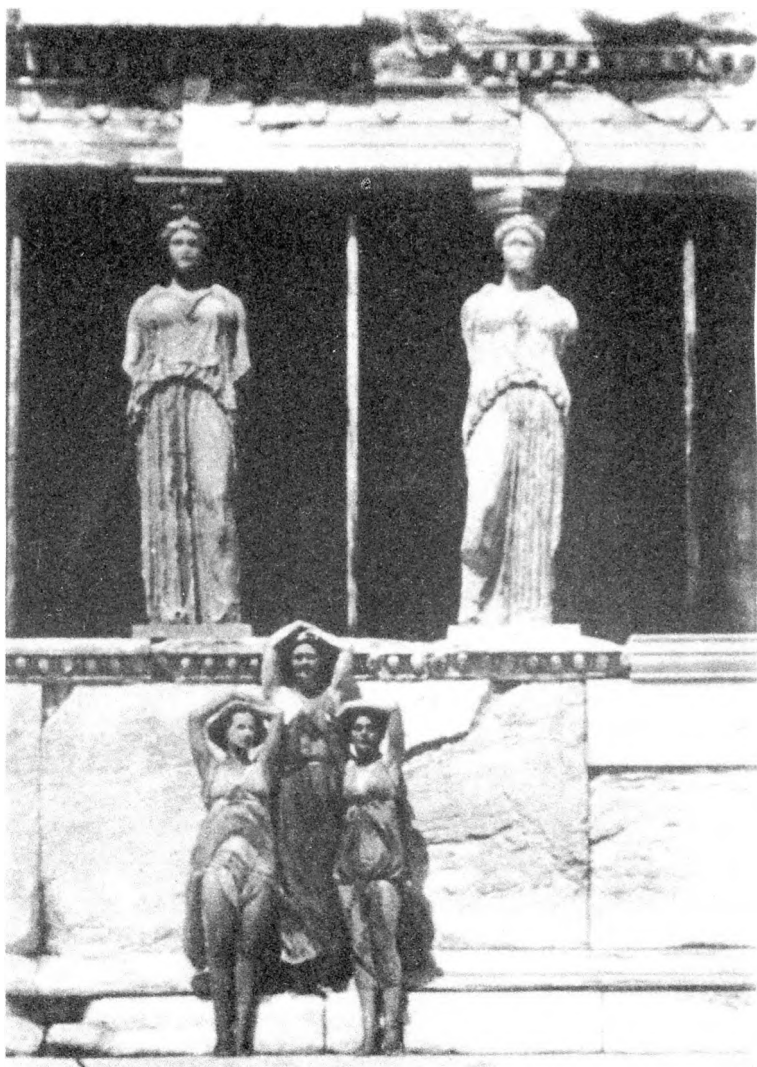
Ромео



Айседора со своими детьми
Дердри и Патриком



Хенер Скене
с Ангусом Дункан,
сыном Августина



Айседора Дункан (в центре) возле кариатид в Акрополе



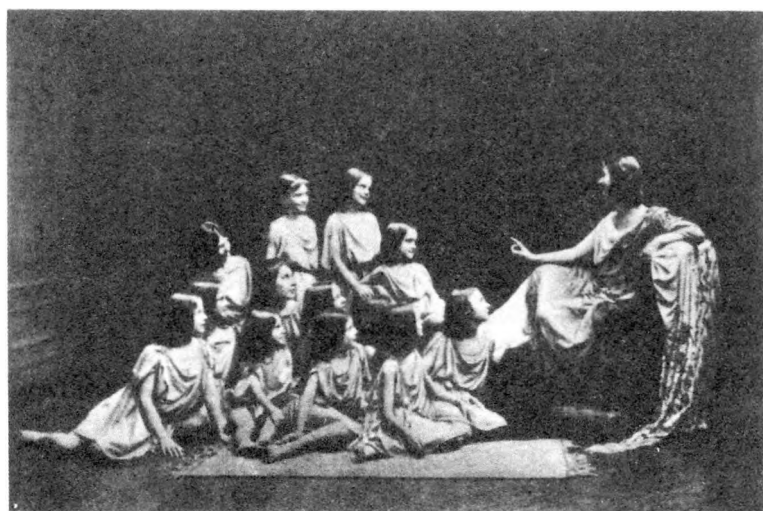
Айседора в местечке Фериат. 1916 г.



Генрих Тодс

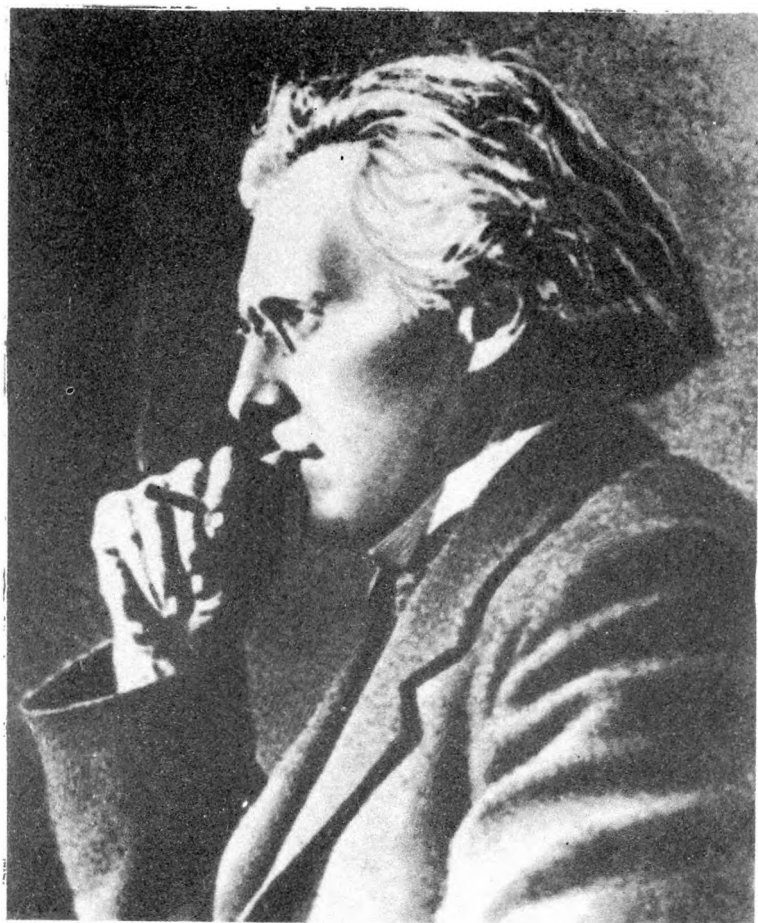


Айседора
со своими ученицами.
Париж





Константин Станиславский



Гордон Крэг



Элеонора Дузе



Мэри Дести



Сергей Есенин. 1925 г.



Мэри Дести
с сыном Престоном.
Чикаго. 1904 г.



Айседора и Есенин





Николь Груз,
Фрэнсис Пикабия
и миссис Пикабия
на детском балу
в Каннах.
Сентябрь 1927 г.

Айседора Дункан
и Мэри Дести на пляже.
Сентябрь 1927 г.
Последнее фото
Айседоры





Реймонд Дункан и Элизабет Дункан
(на первом плане) на похоронах Айседоры. Париж



Ирма Дункан и ученицы школы Айседоры Дункан.
Нью-Йорк. 1928 г.

Делать было нечего. Айседора не стала бы ждать ни дня — ни ради Бога, ни ради человека. В этот момент у нас было полно репортеров. А накануне ночью случился забавный эпизод. Мы с Айседорой обедали в обществе двух молодых художников Уолтера Шоу и Мерфи, и когда возвратились в отель, один из репортеров вошел с нами в лифт. Айседора, сделав вид, что не знает его, обернулась к Мерфи и произнесла: «Сергей», а затем что-то по-русски, одновременно ущипнув беднягу Мерфи за руку так, что тот сморщился. Репортер с широкой улыбкой сказал: «Послушайте, мисс Дункан, признайтесь, что Сергей в Париже». Айседора покачала головой: «Нет, нет».

— Мы же знаем, что он здесь, и даже если вы нам не скажете, мы все равно об этом напишем. Мы знаем, когда он приехал и что сейчас прячется в отеле. Уж лучше вы сами скажите, ведь полиция запретила ему приезжать в Париж».

Айседора притворилась очень испуганной и умоляла репортера тихо зайти с ней в номер, а сама, затолкав Мерфи в ванную, шепнула ему: «Устройте побольше шума!»

— Как ужасно было бы,— убеждала она репортера,— если бы обнаружилось, что Сергей в Париже,— он ведь такой отчаянный!

И тут раздался невообразимый шум. Мерфи опрокинул пустой поднос, на котором подавали обед и который стоял в ванной, затем разбил о пол несколько флаконов и электрическую лампочку — звук от нее был в точности такой, как револьверный выстрел. Айседора ухватилась за руку репортера, умоляя защитить ее, и он обещал не говорить никому ни слова. Когда Мерфи вышел из ванной, репортер выбегал из отеля. Это очень позабавило Айседору.

Естественно, что на следующий день эта история появилась в газетах. В отель набились репортеры, и управляющий с негодованием отрицал, будто в отеле произошел скандал, объясняя, что Есенина в отеле нет и не было. И среди всего этого шума мы триумфально выехали с Вандомской площади в 8.30, получив от ростовщика лишь ту сумму денег, какую этот негодяй захотел нам дать.

Началось наше одно из самых странных путешествий. Айседора, должно быть, вообразила себя Летучим Голландцем, ее обуяла мысль ехать без остановок. Но маши-

на сломалась, едва доехав до Страсбурга, и шофер отказался ехать дальше. Однако это нас не обескуражило. Айседора немедленно наняла другой автомобиль, который сразу же после старта врезался в перила моста и получил повреждения. Нам пришлось остаться на ночь в Страсбурге.

Айседора не могла уснуть ни минуту, наши злоключения взвинтили ее донельзя! Она решила совсем не ложиться и пойти в ресторан, затем в другой, из него в один ночной клуб, в другой. Она возбуждалась все больше. На мои возражения жалобно ответила: «Ну почему мне не дают веселиться так, как мне хочется? Я ведь ничего дурного не делаю, наоборот, всю жизнь я приношу счастье другим. Почему же я всегда должна сидеть на пьедестале, подобно китайскому божку?»

Ее слова убедили меня, и за ночь мы побывали во многих местах, как безумные мчась из одного в другое. Вернулись в отель, когда закрылось самое последнее заведение в Страсбурге.

Мне казалось, я только что сомкнула веки, а голос Айседоры уже прервал мой сон: «Поехали, Мэри, вставай и поехали. В нашем большом приключении, дорогая, нельзя тратить столько времени на сон!»

Господи! Мне казалось, что я усну стоя. Итак, мы двинулись дальше. В пути я немного поворчала, а Айседора сияла, как солнце. Она улыбалась, и, глядя на нее, можно было пойти на смерть, чувствуя, что совершаешь какое-то героическое деяние. При ней всегда чувствуешь себя такой возвышенной, как будто ты избранное Богом существо.

Она никогда не опускалась до лести, но как это ей удавалось, объяснить словами невозможно. А для меня она всегда была ближе к совершенству, чем все другие люди на земле.

В Германии на протяжении всего пути мы видели только огромные страдания. Женщины хватались за повозки с молоком, умоляя дать им хоть каплю. В маленьком городишке, где мы остановились на обед, вокруг нас на постоялом дворе собралась толпа. Эти люди не могли позволить себе кружки пива, а мы пили вино, и на нас посыпались оскорбления. И вообще, что эти французишки тут делают? Видя, что Айседоре стало плохо от всего этого, хозяин пригласил нас в свою домашнюю столовую. Я отказалась идти — хотелось разобраться с парнем, оравшим больше всех.

Мы отправились дальше сразу же после обеда и остановились в полночь высоко в горах — опять шофер отказался ехать дальше. В мрачном отеле, в который мы попали, я, совершенно измученная, бросилась в постель, не думая о том, что будет завтра. Но не прошло и часа, как Айседора договорилась с хозяином, и у дверей отеля появился другой автомобиль. С бутылкой шампанского в одной руке и с бокалом в другой Айседора вприпрыжку вбежала в комнату. За ней вошел официант с сэндвичами. «Вставай, Мэри, вставай!» — сказала она, и мы опять тронулись в путь. «У меня предчувствие,— продолжала Айседора,— что Сергей умирает, что он застрелился». А я так устала и так хотела спать, что мне было все равно. Но Айседора была вне себя, и я подумала, что раз она может выдержать эту дорогу, то и я смогу. Однако это была одна из самых жутких ночей в моей жизни.

Не проехали мы и тридцати миль, как мотор закашлял, задымил, и так продолжалось на всем пути, пока мы поднимались в гору. По непонятной причине шофер забил фары. Это было похоже на кошмар. Опустился густейший туман. В довершение всего Айседора требовала, чтобы шофер шел на предельной скорости, а я умоляла его быть осторожнее, потому что совсем не обязательно нам так торопиться.

Когда начал заниматься рассвет, мы добрались до маленькой деревушки. Я заявила, что, даже если все поэты на свете умрут, я останусь здесь. Видя мою решимость, Айседора согласилась. Мы поспали до полудня и, конечно, отправились в путь.

Несмотря на волнения Айседоры по поводу Сергея, она не могла устоять против желания проехать через поместье Вагнера, хотя оно и лежало в нескольких милях от нашего пути. Нет, мы должны были еще раз обнять фрау Козиму и побывать в отеле «Шварц Адлер». Я тоже всей душой была за это, и мы отправились туда. Наконец в полночь наш Пегас, отнюдь не из самых быстрых, привез нас на место. Но час был, конечно, слишком поздний для того, чтобы навестить фрау Вагнер.

Айседора сияла — она снова находилась в столь милom ее сердцу месте.

Сказать по правде, Айседора всегда была счастлива, когда ехала куда-нибудь на автомобиле или летела на самолете. Быстрое движение было ей так же необходимо, как дыхание. Она и жила только тогда, когда мчалась на сумасшедшей скорости, ненадолго останавливаясь, что-

бы поест и выпить — обычно ростбиф с кровью, салат и шампанское. Должна признаться, я так же, как и она, люблю ездить и рада была оказаться у Вагнеров. Но так как мы не могли повидаться с фрау Козимой, то умолили хозяина постоялого двора быть настолько любезным, чтобы послать ей утром сотню самых прекрасных роз — «Американских красавиц» — и передать привет от нас обеих. Впоследствии мы получили очаровательное письмо от Зигфрида, написавшего нам от имени матери, своей семьи и своего собственного.

Я хотела все-таки сделать в поместье остановку, но Айседора, разговоровившись с милейшим молодым человеком за соседним столом, выяснила, что он едет к себе домой в Лейпциг. Он был гонщиком, и у дверей стоял его великолепный автомобиль мощностью в сто лошадиных сил. Гонщик предложил подвести нас. Мы распрощались со старой жестянкой, на которой приехали, и в час ночи выехали в Лейпциг.

Айседора сидела рядом с хозяином машины, который вел ее сам. Теперь я трепетала от страха вдвое сильнее, чем в прошлую ночь, потому что Айседора непрерывно уговаривала гонщика ехать все быстрее и быстрее, просто чтобы подразнить меня, а ему очень хотелось похвастаться скоростью своей машины и своим мастерством. Да, я провела несколько весьма неприятных часов. (До сих пор не пойму, как мы не разбились раз двадцать.) Вдруг вдалеке что-то забелело, и в тот момент, когда мы разглядели это, мы врезались в него, подпрыгнули и опустились от этого нечто по другую сторону. То была куча щебня, которым ремонтируют дорогу. Но мы не заметили, что проезд закрыт. Однако машина выровнялась и поехала дальше, как будто ничего не случилось. Есть все-таки Бог, который охраняет дураков и автомобилистов.

Это приключение слегка утихомирило Айседору, да к тому же она была сильно измотана: ведь много дней спала урывками. А когда я заявила, что дальше лучше пойду пешком, она решила умерить пыл нашего гонщика, и мы прибыли в Лейпциг утром. Вид у нас был ужасный, но молодой человек безумно влюбился в Айседору, которую, как оказалось, часто видел на сцене.

Он оставил нас в прелестном отеле, где после завтрака и ванны мы проспали до полудня, после чего наняли еще один автомобиль и пустились в путь, прибыв в Берлин без новых приключений в 10 часов вечера.

СУМАСШЕДШАЯ ЖИЗНЬ В БЕРЛИНЕ

(1923 г.)

Когда мы подъехали к отелю «Адлон» в Берлине, Сергей одним прыжком влетел в машину через голову шофера (верх машины был опущен) и очутился в объятиях Айседоры. Они стояли обнявшись. Его приятель, поэт, которого я прежде никогда не видела, вскочил в машину с другой стороны и пылко приветствовал меня: жал руку, целовал в обе щеки, во всю глотку орал слова какого-то стихотворения.

Естественно, несколько добропорядочных берлинцев обступили автомобиль, наблюдая эту пасторальную сцену, но мы (исключая, конечно, шофера) не замечали ни улицы, ни людей. Мы видели только, что Сергей жив и здоров. Вот он собственной персоной с развевающимися при электрическом свете золотыми кудрями. Прыгая, он бросил свою шапку — дорогостоящий, но красивый жест. Зачем ему теперь шапка? Его любовь, его лапочка, его Айседора здесь — прочь, шапка. Он мог бы тут же сбросить и пальто и башмаки.

Это не было позой: оба эти экзальтированные существа действительно забыли об окружающих. В конце концов полиция разогнала зевак, и после некоторых усилий мы уговорили своих обожателей выйти из машины. Однако добиться вразумительного ответа на вопрос, в какой отель ехать и вообще сняли ли поэты нам комнаты, нам так и не удалось. В отчаянии я решила попытаться устроиться в отель, перед которым мы стояли, но слухи о наших парижских злоключениях летели быстрее нас и уже достигли ушей управляющего. Поэтому, когда он увидел уважаемую Айседору в объятиях ее златокудрого поэта, он сказал, что к его большому сожалению, у них не осталось в отеле даже малюсенькой комнатки. Я считала это бессердечием с его стороны, но все же нам пришлось ретироваться и погрузиться в машину, которую шофер старался спрятать от любопытных глаз, отъехав на несколько шагов от ярко освещенного входа в отель.

Мы двинулись дальше, к отелю «Палас». В нем другой русский поэт, большой приятель Сергея (в высоких сапогах, галифе, великолепной красной черкеске, подпоясанный по тонкой талии серебряным кушаком, и в высокой кубанке) пошел со мной в холл. Я шествовала впереди него, как будто это был мой гид, секретарь или кто вам заблагорассудится. Я спросила, забронирован ли

номер для мисс Айседоры Дункан, о котором телеграфировали, и с чрезвычайной учтивостью и вежливостью управляющий ответил, что в отеле не получали нашу бесценную телеграмму. (Меня это не удивило, ведь мы ее и не посылали.) Тем не менее для мисс Дункан номер нашелся, хотя для этого управляющему пришлось отказать тридцати претендентам.

В этот момент в холл спокойно вошли Айседора с Сергеем, за ними шофер и несколько портье, несущих багаж. Айседора и Сергей не сомневались, что раз они тут, то комнаты найдутся.

Еще несколько русских, которых я раньше не заметила, но явно входящих в нашу компанию, все с музыкальными инструментами, гурьбой бросились вверх по лестнице, пока мы поднимались на лифте. На вежливо улыбающемся лице управляющего появилось выражение крайнего удивления и некоторой растерянности, когда он увидел это неожиданное дополнение к нашей группе.

Когда нас ввели в королевский номер, управляющий спросил, сколько нас и сколько комнат нам требуется. Айседора царственным жестом обвела всю компанию. «Комнаты на всех,— сказала она.— Это со мной».

Охнув, я подумала об оставшихся у нас нескольких тысячах франков. В пути мы слышали странные вещи — что за несколько франков дают тысячи марок, и считали, что сможем на эти деньги долго прожить. И действительно, к концу путешествия мы получали за несколько франков миллионы марок, но, к сожалению на эти миллионы очень мало что можно было купить.

— Куше, куше,— кричал Сергей (что означало «кушать»).

— Да, да, куше, куше,— вторила ему Айседора.

Нас развели по разным комнатам вымыться и переодеться, а в это время первый русский поэт лихорадочно названивал нескольким русским — тем, кто еще не слышал о нашем приезде и кому не понравилось бы упустить пир. Радости обильного стола не были повседневными у русской колонии артистов и художников в Берлине. Затем необходимо было пригласить представителя русского правительства, но это могла сделать лично Айседора.

Пришли все и даже несколько человек, которых никто не знал. Как в сказке, в середине большого салона был накрыт стол. Позже мы узнали, что в нашем распоряжении были и большой и малый салоны, в которых стояло много легко бьющихся вещей, но об этом потом.

Айседора решила, что вечер должен быть русским, с русским столом и напитками. Так оно и произошло. Могу заявить, что со дня сотворения мира не было более русского вечера. Сервировочные столы были уставлены русскими закусками — я никогда не пробовала таких деликатесов. А обычай — Айседора на нем настаивала — каждому выпить по три рюмки водки, одну за другой, перед закусками меня почти доконал. Как я держала голову после этого и держала ли, не помню. Русские, у кого были балалайки, играли и пели, все остальные подпевали. До чего же было красиво! Нас как бы перенесло в страну эстетической грусти. Ничто на свете не может сравниться с щемящей тоской русских мелодий.

Подали обед, и мне показалось, что мы съели столько, сколько хватило бы, чтобы несколько недель кормить полк. Но это была только заправка к настоящему пиру.

Айседора вышла из своей комнаты, как радуга, прекраснее, чем я ее когда-либо видела (кроме, пожалуй, дня ее смерти). Она излучала счастье. Сергей встал перед ней на колени, по его лицу текли слезы, он осыпал ее тысячами прекрасных нежных ласковых русских слов. Вся компания тоже встала перед Айседорой на колени и стала целовать ей руки. Было очень трогательно. Как счастливы мы были! Группа беззаботных, бездомных людей — да понимали ли они, что произошло и что вообще происходит в мире? Было ли до этого им дело, этим людям без родины? Художникам, а все они были художниками в своем деле, свидетельствующим свое преклонение перед величайшей из них.

Сергей был доволен, потому что, склоняясь перед Айседорой, они падали ниц перед ним, их поэтом, их Есениным, их Сергеем. О да, уж в этом они толк понимали, а если он хотел оставаться «скандалистом» и «хулиганом», кем он, конечно, был, то почему бы и нет? У гения есть привилегии, он может делать что хочет. Как смеют простые смертные указывать, что отмеченным богом делать и как себя вести?

Суп, рыба, пожарские котлеты и прочие блюда следовали одно за другим с соответствующими винами. Несколько гостей уже начали сползать со стульев, когда Сергей встал, чтобы продекламировать одно из своих стихотворений. Когда он заговорил, похоже было, что через всех прошел электрический разряд. Сергей вскочил на стол, и хотя в то время я не знала по-русски ни слова, меня, так же как и всех, увлекли сила и пафос его голоса и стиха.

Бедный Сереженька! Бедный необузданный больной мальчик! Ему ведь было только двадцать семь лет.

После стихов Айседора с Сергеем сплясали русского, а мы хлопали им в такт. Советский представитель, сидевший во главе стола, к этому времени начал клевать носом и покачиваться. Казалось, ему было трудно сидеть на диване: и он, и диван были чересчур набиты, и каждый раз, когда представитель сползал на пол, все кидались сажать его обратно.

Все шло великолепно, хотя и шумно, до тех пор, пока Айседора не подслушала оживленный разговор между Сергеем и другим поэтом об Анне. Они произносили «она», но русский язык Айседоры был далек от совершенства, и она подумала, что говорят о какой-то новой любви Сергея, которой, как ей казалось, другой поэт дразнил Сергея. Она обругала этого поэта, сказала, что все знает об Анне. Это вызвало у Сергея жесточайший припадок ярости. Что тут началось! Действительно, если бы эти сцены не были такими губительными для них обоих, они были бы смешны.

В ход пошли вещи. Сергей всегда бросал все, что попадалось ему под руку, неважно что и в кого. К несчастью для достоинства страны, первая же тарелка с рыбой попала в голову ее представителя, который — надо же! — еще не соскользнул с дивана. Ничего серьезного, но достаточно, чтобы его раздосадовать. Лично я проявила невоспитанность и расхохоталась, что имело печальные последствия: когда я захотела сопровождать Айседору в Россию, то не получила визы.

Мое веселье быстро угасло — не успели мы оглянуться, как в комнате не осталось ни одной целой вещи. А Сергей уже начал говорить гадости Айседоре и мне, что меня мало трогало, так как я не понимала ни слова. Трое или четверо из его приятелей пытались его удерживать. С таким же успехом они могли пытаться остановить волны в океане, ибо в момент приступов Сергей становился невероятно сильным. Впоследствии я видела много подобных сцен, и все они начинались одинаково. Он сидел за столом, ел и спокойно разговаривал, как вдруг неожиданно лицо его смертельно бледнело, зрачки голубых глаз расширялись, пока весь глаз не превращался в горящий черный уголек, внушающий ужас. Если удавалось быстро отвлечь Сергея, для чего надо было проявить большую храбрость, можно было предотвратить кризис, попросив спеть. Десятки раз эта уловка

срабатывала, но успокаивался Сергей лишь ненадолго, и очень скоро приступ раздражался снова. Однако оттяжка часто давала Айседоре возможность скрыться из опасного места или уйти совсем, но подходящим моментом надо было быстро воспользоваться, потому что первым делом Сергей запирает на ключ все двери и прятал ключи в карман. Так он сделал и в вечер русского обеда, и настолько ловко, что все мы оказались в западне до того, как поняли, что случилось.

Сильных, быстрых молодых русских он расшвыривал по комнате, как мячики, или так, как шторм разбрасывает багаж на борту судна. Сначала Айседора наслаждалась этим диким зрелищем. Что нашло на нежную, застенчивую Айседору? Россия, безусловно, изменила ее, изменила ее характер. Я до сих пор верю, что, если бы Сергей не набрасывался на нее, она ничего не имела бы против этих выходок, потому что они отвечали чудовищным внутренним мукам, которые она непрерывно испытывала. Его приступы оказывали на нее такое же умиротворяющее воздействие, как сумасшедшая гонка на машине или полет в самолете, казалось, что полное пренебрежение ко всем условностям, которые на протяжении всей жизни так грубо ее ломали, дает ей передышку от вечной печали.

Управляющий и портье отеля колотили в двери номера, но никто не обращал на это ни малейшего внимания. В конце концов они ворвались к нам через ванную и открыли двери для всех. Я часто думаю, что именно униформа портье в какой-то мере привела в чувство Сергея, ясно помнившего, что люди в униформе увели его в полицию несколько недель назад в Париже.

Управляющий был вне себя, а мы пытались объяснить ему, что произошел несчастный случай. Мы постарались побыстрее выпроводить его, чтобы он не увидел, какой ущерб нанесен, но он увидел достаточно, судя по сумме предъявленного потом счета.

Никто не сделал ни малейшей попытки уйти, и Айседора с Сергеем, тихие, как ягнята, ушли к себе в комнату. Я заперлась в комнате по другую сторону салона, а остальные, насколько я знаю, ели и пили до утра. Иногда к ним присоединялся Сергей, ведь он часто не спал по ночам, а слонялся с места на место до самого утра. А утром мы получили очень вежливую записку от администрации, в которой говорилось, что номер с этого дня сдан и не будем ли мы так любезны освободить его

к полудню. Несмотря на все мои объяснения с администрацией, нам пришлось выехать из отеля, но выбрались мы только в пять часов дня, снова счастливые, в гармонии друг с другом и улыбающиеся.

Мы поехали в машине на большую прогулку, а по возвращении обосновались в другом отеле. Там уже собралась довольно большая группа русских поэтов и художников, чтобы приветствовать нас. Все были готовы начинать новый вечер. Представитель советского посольства не появился. Как-то мы поехали к нему в гости, но он был болен и не принял нас, а когда позже я попросила визу, он отказался, как я уже сказала, ее подписать.

Снова было устроено большое веселье, и милый старый учитель музыки, которого я накануне видела под столом спасающимся от летающих по комнате предметов, теперь весело играл на своей гавайской гитаре, пел и счастливо улыбался. Всем было весело, за коктейлями последовали закуски и водка. На этот раз я решила, что по три чарки выпьют без меня. Принесли роскошный обед. Не представляю, как в немецких отелях доставали русские деликатесы, свежие продукты, которые нельзя было найти даже в России. В разгар обеда Сергей начал было петь, и они с Айседорой снова сплясали русского. Вдруг он отстранил ее, сказав, что только русские могут плясать этот танец. Он схватил одного парнишку, и они пошли плясать, подпрыгивая, как дьяволы, почти до потолка. Такая пляска имела бы повсюду большой успех. И тут снова у Сергея появились симптомы приступа ярости.

Айседора прошептала мне: «Мэри, милая, не пугайся тому, что я сделаю. Я собираюсь вылечить его от всей этой ерунды. Помни, как бы странно я ни вела себя, какие бы номера ни откалывала, я притворяюсь». Сначала так оно и было, но потом ее захватил вихрь буйства, и остановиться она уже не могла, даже когда захотела. Сергей начал оскорблять ее танец. Ему было все равно, с чего начать, и все перед ним тряслись и падали ниц. Айседора давала ему сдачи сполна, хотя на его стороне было преимущество: блеск и остроумие, понятные всем. Айседора же говорила на языке, который они не понимали. Поэтому она прибегла к более простому методу: снова и снова выкрикивала все ругательства и оскорбления, которые знала по-русски. А так как их было очень мало, она упоминала животных — свинью, собаку, корову и т. п. Сначала это, благодаря забавному американскому ак-

центу Айседоры, всех очень позабавило, даже Сергей визжал от смеха, и на какое-то время удалось избежать бури. Сергей перескочил через стол, заключил Айседору в объятия, бешено целуя ее глаза, волосы, руки, даже прекрасные ноги. Но, вспомнив, что она обозвала его какой-то там собакой, начал снова дебоширить.

Шампанского было выпито много. Сергей повел себя так ужасно, что перепугались даже его лучшие друзья. Когда на него это находило, ему было все равно, друг перед ним или враг. Он сдернул скатерть со стола, и в одно мгновение весь обед и блюда разлетелись в разные стороны, попав в гостей. Все стали поднимать тарелки и блюда на стол. Айседора сказала мне: «История повторяется!» — вспомнив, как другой человек много лет назад во Франкфурте-на-Майне сбросил наш обед так же внезапно и эффектно.

«Помни, что я сказала, — продолжала она шепотом, — сегодня я его точно вылечу. Надоело мне смотреть, как все удовольствия получает он».

И она, легко подхватив тарелку со стола, запустила ее в картину на стене. Раздался страшный треск, который потряс нежную Айседору больше, чем всех остальных. На мгновение Сергей, видимо, подумал, что это сделал он, но когда разбился графин в камине — словно выстрелили из пушки, он забеспокоился.

— Ух, до чего интересно, — воскликнула Айседора. — Если бы я знала, какое это удовольствие, я бы уже давно занималась этим вместе с тобой.

И тут начался такой ураган, что в комнате не осталось ничего целого.

Я пыталась унять Айседору, но она только подмигивала мне и шептала: «Все в порядке, не пугайся. Я знаю, что делаю». Она уже ничего не соображала и была в таком же состоянии, как и Сергей. Жуткое напряжение, в котором она находилась в результате его припадков уже более двух лет, начало сказываться на ее нервах. Она впала в истерику, не понимая, что делает, и не в силах контролировать свои поступки. Снова явились управляющий и портье отеля, и вдруг Сергей, хитренько взглянув, успокоился и потребовал, чтобы позвали доктора.

— Айседора больна! Доктора! Доктора! — повторял он. В конце концов послали за врачом. Уж не собирался ли Сергей устроить так, чтобы ее увезли, как в Париже увезли его? Пришел очень милый доктор, который, несмотря на все мои протесты, сделал Айседоре укол. От

этого укола она потом очень сильно заболела. Я предложила сделать укол и Сергею, но этот хитрец вел себя в присутствии врача очень тихо и кротко.

Решительно выпроводив всех гостей, кроме двух больших приятелей Сергея, поэта и музыканта, я попыталась закрыть дверь в комнату Айседоры, чтобы Сергей не входил к ней. Но он начал так скандалить, крича, что вызовет полицию и что я отравлю Айседору, что мне пришлось открыть дверь. Он настаивал на том, чтобы разбудить ее, и будил через каждые несколько минут всю ночь, а когда я вышла в салон за водой для Айседоры, он запер дверь на ключ и засов. Какие душевные муки я пережила! Я слышала, как Айседора умоляла оставить ее в покое, не тревожить! Наконец я не выдержала и, воспользовавшись его приемом, сказала: «Если вы не откроете мне, я вызову полицию и велю взломать дверь».

Есенин открыл дверь, бросая в меня оскорбления, но не решаясь дотронуться. Остаток ночи он просидел со своими приятелями. Они пели грустные народные песни и были бы очень довольны, если бы могли заказать еще шампанского, но это им не удалось. Я заснула на кушетке в салоне, а около восьми утра Сергей бросился передо мной на колени, жалобно всхлипывая и объясняя на своем ломаном русско-английском языке, что Айседора исчезла, исчезла навсегда, видимо, покончила с собой.

Я заметалась по комнатам, коридорам, но нигде ее не было. Я пошла в свою комнату, послала за управляющим и спросила у него, не сняла ли мисс Дункан комнату на другом конце отеля, как она часто делала во время подобных сцен, боясь, что Сергей ее убьет. Мне сказали, что мисс Дункан в шесть утра уехала из отеля и велела передать мне, чтобы я не пугалась. Это сообщение меня мало успокоило, ведь я знала, в каком она состоянии.

Долгие часы бродила я, пытаюсь найти выход из создавшегося положения. Я чувствовала, что должна убедить Айседору оставить Сергея. Но я знала, что она никогда его не оставит. Часов в одиннадцать служанка тайно передала мне записку, в которой Айседора умоляла меня собрать в сумку несколько предметов ее туалета и носильных вещей, но ни в коем случае не сообщать Сергею, где она. Я сказала Сергею, чтобы он не беспокоился и перестал плакать (а плакал он непрерывно с утра), что я выйду поискать Айседору, а ему лучше всего лечь спать. После припадков он был похож на бедного ребенка, и от его вида сердце болело от жалости.

Я взяла такси и поехала в Потсдам, где нашла Айседору в одном известном ресторане. Она только что заказала ланч в надежде, что я подъеду: ведь все деньги были у меня и расплатиться бы она не смогла. После ланча мы пошли искать отель. Айседора еле передвигала ноги и, казалось, пребывала в полубессознательном состоянии. Она спросила о Сергее и рассказала, что ночью он высказался невероятно грубо о ее детях, и ей пришлось уйти. Она выбежала из отеля, как безумная. Он может делать что угодно и говорить что угодно, но касаться открытой кровоточащей раны в ее сердце — это слишком. Сам он без конца говорил о своих троих детях: одном от первой жены, родившемся, когда ему еще не было восемнадцати, и о двух других — от второй, теперь мадам Мейерхольд, жены знаменитого режиссера, которого Сергей отдал ее вместе с двумя детьми.

Я умоляла Айседору вернуться со мной в Париж и снова начать серьезно работать. Или немедленно возвратиться в Россию, в свою школу. Но Сергея она должна оставить. Она ответила, что это будет равносильно тому, что бросить больного ребенка, и она никогда этого не сделает. Она ответит Сергею на его родину, где его понимают, любят за талант и будут к нему всегда добры.

Утром Айседора не могла устоять против желания позвонить Сергею. А он так каялся, что сердце ее не устояло. Она велела ему взять такси, захватить весь багаж и приехать с двумя друзьями. И пусть с ними придет портье со счетом, который она тут же оплатит.

После оплаты этого счета денег у нас почти не осталось.

Я объяснила Сергею, что надо немедленно что-то предпринять. И когда он и его приятель-поэт заверили, что могут достать денег, сколько нужно, Айседора велела им сделать это, и, если можно, с условием, что она отдаст долг, как только вернется в Париж.

На семейном совете Айседора решила, что мы все должны поехать в Россию. Но сначала крайне необходимо съездить в Париж и сдать или продать ее дом на рю де ля Помп, распорядиться с мебелью и т. п. Затем забрать ее вещи и книги с собой в Москву, куда она решила уехать насовсем и где, несмотря на все трудности, она будет вести свою школу, а Сергей писать великолепные стихи. Мечты, прекрасные мечты!

Но как попасть в Париж, ведь Сергею въезд в него запрещен. Как получить визы по их красным русским

паспортам? Но все это не страшно, сказала Айседора, Мэри все организует.

Сергей с приятелем взяли в долг четыре тысячи франков и решили, что замечательно будет поехать в Берлинский цыганский ресторан, где выступает великолепный русский цыган-певец, который раньше всегда пел царю. Поездка эта состоялась вопреки моему совету и желанию.

Мы заранее оплатили авто, которое должно было довезти нас на следующее утро до Страсбурга. На этом настояла я, иначе я отказывалась делать что бы то ни было. У нас еще оставалась тысячефранковая банкнота и мелочь. Я имела глупость отдать деньги Айседоре. Всей этой экспедицией я была сыта по горло и заявила, что участия ни в чем принимать не буду, а буду лишь наблюдателем.

Айседора умоляла меня во имя нашей долгой дружбы не бросать ее, и я сказала: «Я провожу тебя в Париж, где обязательно должна быть тринадцатого, так как в этот день из Америки приезжает мой сын».

Мы поехали в цыганский ресторан и тихо пообедали. После закрытия ресторана, а закрывался он по полицейским правилам в 12 часов, нас пригласили в большую комнату позади зала, и весь цыганский хор собрался вокруг нас. Пели народные песни до трех утра, причем запевалой был Сергей.

Сергей говорил, что в ресторан нас пригласили, и поэтому мы были очень удивлены, когда нам вручили счет на большую сумму марок. Айседора, никогда не спорившая по поводу счетов, мягким жестом протянула тысячефранковый билет. Когда отсчитали сдачу, Сергей схватил деньги и пошел по кругу, разбрасывая сотни марок, но я сама видела, как он запихал в карман своего пиджака большую пачку денег. Когда он танцевал с одной из цыганок, я, не говоря никому ни слова, кроме Айседоры, тихо вытащила эту пачку.

НАШЕ ПОЛНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ

(1923 г.)

На следующее утро наша весьма разношерстная компания совершала автомобильное путешествие. Я и Айседора сидели на заднем сиденье, учитель музыки с Сергеем — на откидных местах, а другой поэт — с шофером впереди. Мы ехали на большой и открытой машине, и,

казалось, весь багаж мира был нагружен на нас и окружал нас. Бедный музыкант просто утонул в чемоданах. Видны были только его жидкие длинные нечесанные волосы, закрывавшие почти все его лицо.

Поэт, все еще в красном казакине, высокой, отделанной мехом кубанке (несмотря на теплую погоду), и все остальные укрылись всякими пледами, одеялами и пальто, которые у Айседоры скопились за многие годы, — зрелище хоть куда. Погода стояла великолепная, ландшафт — захватывающий. В Лейпциг мы прибыли в час ночи без происшествий и скандалов, но когда разбуженный ночной дежурный фешенебельного отеля увидел нас, похожих на банду, входящих нетвердым шагом, он заколебался, давать ли нам комнаты. Я сама не могла удержаться от смеха. Первым шел Сергей в своей огромной шубе, подбитой мехом, с меховым воротником. Вид у него был, как у медведя, с его диким взглядом; высокие сапоги, болтающийся на боку фотоаппарат и полевой бинокль, который он всегда носил с собой, — однажды он видел бинокль у англичанина. За ним шел музыкант, размахивая балалайкой, а так как ночь была холодная, он надел огромную русскую шубу Айседоры красного бархата на меху, которая тянулась за ним по полу, и из-под маленькой ермолки развевались его жиденькие волосенки. Поэт тоже облачился в одну из Айседориных огромных русских шуб, немного поношенную и обтрепанную, но все же шубу.

И для полноты этой пестрой картины — корзинка с вырезками из газет, просмотреть которые Айседора из-за отсутствия времени еще не успела после приезда из Америки, но которые всегда за собой таскала. В дороге корзинка раскрылась, и тысячи вырезок рассеялись по всему пути от Берлина до Лейпцига. Некоторые из них приклеились к нашим шляпам, обуви и верхней одежде, так что все могли ими полюбоваться. Мы оставили следы из этих вырезок на всем пути до самого Парижа.

Комнаты, которые нам в конце концов дали, были далеко не лучшие.

На следующее утро мы встали рано, и, не освободив Сергея от денег, оставшихся от нашей тысячи франков, мы бы так и не двинулись дальше. Но в тот момент, когда мы выходили из отеля, Сергей спохватился, что у него пропала пачка денег. Он заявил, что украли большую сумму, которую друзья дали ему, чтобы отдать их семьям по возвращении в Россию.

Однако вскоре мы уже снова были в пути и поздно ночью прибыли в прелестный, тихий, старомодный Веймар. Мы с Айседорой испытывали чувства, которыми она пыталась поделиться с русскими, но понял ее, по моему, лишь один музыкант. На следующий день, после еще одной ночи чудовищного скандала и неприятностей главным образом из-за «пропавших» денег — сумма к этому времени возросла, по словам Сергея до многих тысяч долларов,— мы посетили дома Гете и Листа. Я тихо сидела в саду и молила дух Листа, если он слышит меня, спасти Айседору — Айседору, так обожавшую его музыку.

Должна признать, что в тот день Сергей вел себя прекрасно. Вся обстановка благотворно действовала на него, и я уверена, что русские вели очень интересные беседы, а Айседора тихонько сидела, улыбаясь, как ангел, довольная, что ее любимый балованный Сереженька счастлив. Такая, как ее, любовь к этому двадцатисемилетнему ребенку просто необъяснима.

Мы уже подъехали к Страсбургу, когда шофер предупредил нас, что не может приблизиться к границе, потому что французы конфискуют его машину. Но не могли же мы идти пешком восемь или десять миль, ведь было уже восемь часов вечера, да к тому же мы не позаботились о визах. Поэтому шофер отвез нас назад в ближайший городок, где находились американский и французский консулы.

Сколько же пришлось нам с Айседорой приводить доказательств, чтобы нам разрешили перевезти всю компанию через границу! Однако, несмотря на все мои старания, для музыканта я ничего не смогла сделать. Мы любовно расцеловались с ним, а так как Сергей накануне, к сожалению, пребывал в одном из своих припадков и разбил его любимую балалайку, то, думаю, музыкант без большого сожаления вернулся в Германию. Сказать по правде, если бы этот милый человек оставался с нами подольше, он оказался бы свидетелем таких сцен, что умер бы от горя, несмотря на всю свою любовь к Сергею и его великолепным стихам!

Консул знал Айседору; Сергея и поэта мы оставили в машине, а консулу объяснили, что Айседора везет своего мужа во Францию, чтобы проконсультроваться у специалиста. Из-за припадков мы не могли с ним справиться, поэтому возем с собой еще одного русского в качестве санитара. Так мы получили визы.

Айседора наотрез отказалась платить шоферу (да и не могла, потому что денег у нас не осталось) в том случае, если он не отвезет нас в Страсбург, как было заранее договорено. Но вместо Страсбурга он отвез нас в полицию, где выяснилось, что он прав. Французы обязательно отобрали бы у него машину, так же как немецкая полиция отобрала бы машину у француза, если бы он подъехал близко к границе. Но и шофер не имел права нас обманывать, обещав отвезти нас в Страсбург. В конце концов нас заверили, что нам найдут машину, которая сможет пересечь границу, и мы можем на ней уехать. Багаж наш задержат, пока мы не пришлем деньги шоферу, а затем отправят его в Страсбург.

На следующий день мы с помощью портье отеля получили свой багаж. Поразительно, что могут портье! После нескольких лет работы в этой должности их следовало бы брать на дипломатическую службу.

Теперь денег у нас совсем не осталось, но мы наняли машину до Парижа.

В кредит мы могли нанять только закрытую машину. Когда наконец мы тронулись в путь, было десять часов вечера и лил дождь как из ведра. С огромным трудом нам удалось уговорить Айседору ехать в такой машине. Она терпеть не могла закрытые автомобили, и не успели мы отъехать и две мили, как Айседора заявила, что теряет сознание и должна немедленно вернуться в отель. Ни при каких обстоятельствах она не могла ехать в закрытой машине.

Я стала объяснять ей, что мне необходимо быть в Париже на следующее утро, но она была неумолима. Думаю, действительно она страдала в закрытой машине — в какой-то мере это было связано со смертью ее детей. Айседора неистово била по окнам, и нам пришлось в отчаянии вернуться в отель.

Я сказала Айседоре, что она может добираться до Парижа как угодно, но я обязательно уеду ночью на поезде, а если остальные из нашей компании согласятся ехать со мной, уверена, что смогу упросить портье купить нам билеты, а деньги пришлю ему, как только приеду в Париж. Уговорить Айседору было невозможно. Она решила ехать на автомобиле и планов своих не меняла.

Портье принес мне билет, и я попросила Айседору подождать от меня весточки и денег на дорогу.

Приехав в Париж, я тут же отправилась в «Отель дю Рин» и немедленно получила две тысячи франков. Я от-

правила их Айседоре телеграфом. Получив деньги, она решила, что было бы жаль проехать мимо великолепного собора, не показав Сергею его чудес и красот. И эти две тысячи ушли у них на трехдневное автомобильное путешествие. Об Айседоре и Есенине я услышала лишь через четыре дня, когда получила послание: «Ради Бога, приезжай и спаси нас». Они находились в отеле «Уэстминстер», администрация которого отказывалась подавать им еду и просила немедленно выехать. А накануне вечером они зарегистрировались как мистер и миссис Есенины. Ночной клерк не имел представления, что это знаменитая Айседора и ее русский муж, нагнавший своими скандалами ужас на многие отели Европы.

Приехав в отель, я застала их за отвратительным спором с шофером. Шофер угрожал, что обратится в полицию, если ему не заплатят за четырехдневную поездку. Айседора позвонила своему секретарю, и тот нашел ей две тысячи франков, чтобы заплатить за дорогу. (Этот неоплаченный счет секретаря вместе со счетом русского врача были причиной печально знаменитой продажи ее студии в Нёйи через несколько лет.)

Я попыталась объяснить управляющему, что мисс Дункан сейчас не может выехать. Она ждет большую сумму денег от ростовщика и, пока ее не получит, не может расплатиться. Ничто не могло смягчить сердце управляющего. Он знал, что будет скандал, и действительной причиной того, что скандала еще не было, был его отказ позволить заказать спиртное, а у Сергея не было денег, чтобы купить его в другом месте. Все это было крайне унижительно для божественной Айседоры. Теперь у нее было полное основание считать брак злом.

В конце концов управляющий взял кусок ценных кружев, а я обещала, что за все заплачу. Я позвонила в отель «Мадрид» на Буа де Булонь и забронировала для мисс Дункан ее обычный номер. Боясь, как бы администрация отеля, из которого Айседора выезжала и которая была, конечно, рада этому, не связалась с администрацией «Мадрида», мы погрузили весь багаж в такси и выехали часов около семи. Но человек предполагает, а Бог располагает!

Айседора была счастлива, что едет в «Мадрид», где в прежние времена она потратила целое состояние. Но в дороге она настояла, чтобы мы остановились пообедать в «Карлтоне». В нем она подписала счет, — у нее еще был там кредит. Но когда мы приехали в «Мадрид», отель оказался закрытым на ночь. С большим трудом мы

подняли ночного швейцара, который заявил, что ни одной свободной комнаты нет, и наотрез отказался позволить внести наш багаж. «По крайней мере, разрешите мне позвонить», — попросила я. Пока три наших спутника сидели в машине в отчаянном и унижительном положении, я позвонила в отель «Континенталь» и спросила, свободен ли номер, который прежде занимала мисс Дункан. Я сказала, что она приезжает в Париж, и мне ответили, что номер свободен. Затем я велела портье приготовить холодный ужин: цыплят и бутылку шампанского — и предупредила, что Айседора прибудет не позже чем через полчаса. В «Континентале» я оставила Айседору и поехала в свой отель.

Назавтра в десять часов утра мой сын подозвал меня к окну. «Посмотри, на той стороне Айседора и Сергей, они только что сели на скамейку в Тюильри». Действительно, это были они, и с ними еще один поэт. Я быстро спустилась к ним, захватив с собой сигареты, которых, как чувствовала, им очень недостает. Айседора сказала мне, что как раз собиралась отправиться за мной. (Она в любое время могла прийти ко мне в отель, но Сергея туда не пускали). Снова с ними случилось то же, что и в «Уэстминстере». Ночной швейцар, ничего не зная о скандале, предоставил им номер, а днем управляющий известил их, что номер, в котором они находились, уже сдан гостям, прибывающим в два часа.

И они ушли, оставив багаж. Бедная Айседора! Что же делать? Я понимала, что бессмысленно пытаться поселиться еще в каком-нибудь отеле. Мы взяли такси и все вместе поехали к ростовщику. Нам сказали, что его нет, но мы, нисколько не смущаясь, ответили, что будем его ждать. Это вызвало большую досаду. Нас стали убеждать, что он сам заедет к нам, когда вернется, но мы твердо решили ждать, даже всю ночь. Когда приходили другие клиенты, которых еще не подцепили на крючок, им не могли в нашем присутствии сказать, что ростовщик у себя. Пустив в ход все уловки, чтобы выпроводить нас, ростовщик в конце концов понял, что от нас не отделаться. Что же это был за негодяй! Но положение Айседоры было настолько отчаянным, что мы взяли быка за рога и сказали, что он должен сейчас же отдать оставшиеся деньги, иначе живым ему не быть. Сергей, казалось, проникся духом происходящего. По его устремляющему виду было ясно, что он может убить кого угодно. Ростовщик вынул из ящика стола заряженный

пистолет и положил его на стол. «Застрелю любого, кто осмелится ко мне прикоснуться», — сказал он. Вид револьвера лишь подзадорил Сергея, который всегда считал его детской игрушкой. Сделав неожиданное движение, он ловко схватил револьвер и направил на перепугавшегося до смерти ростовщика. В общем-то нам этого не нужно было. Мы считали, что его можно уговорить отдать Айседоре деньги, которые он задержал под предлогом, что ждет из России подтверждение о ее браке. Он выписал чек, и Сергей небрежно швырнул револьвер на стол с того места, где стоял, еще более перепугав беднягу.

От ростовщика мы поехали к торговцу картинами. Это был очаровательный человек, которому мы объяснили ситуацию: негодяй ростовщик заплатил Айседоре жалкую сумму и все еще держит у себя три ее картины кисти Каррье. Торговец, большой поклонник Айседоры, предложил купить картины и даже вернуть их ей в любое время, когда у нее будут деньги. Он сказал, что не возьмет процентов и она не понесет убытков.

Айседора была очень рада тому, что может забрать картины у ростовщика. Торговец поехал с нами к нему, отдал ему чек и деньги, которые тот давал Айседоре в долг. Ростовщик вел себя как ягненок в присутствии этого джентльмена, а тот отдал Айседоре разницу и уехал с картинами. Мы взяли такси и радостные поехали было, как вдруг Сергей велел шоферу остановиться. В тот момент мы проезжали мимо магазина, торгующего ярчайшими, безвкусными шелковыми кимоно и халатами всевозможных расцветок. Сергей стал убеждать Айседору, что немедленно должен обзавестись несколькими из этих приятных для него вещей. Айседора посмотрела на меня таким взглядом, будто говорила: «Ну, видишь, что это за милый непрактичный ребенок». Когда они вернулись в такси, из всех денег у Айседоры осталась лишь малая толика.

Мы поехали обедать в отель «Карлтон», и здесь Айседора, заплатив по счету за прошлые обеды, решила, что это единственный отель в Париже, в котором стоит останавливаться. С ней тут всегда были очень вежливы и предупредительны, поэтому она пошла к дежурному и вернулась совершенно счастливая, заявив, что сняла прекрасный номер с прелестной комнатой для меня. Я отказалась переехать, сказав, что останусь в своем отеле.

На следующий день после ланча я поехала к ним. Управляющий отелем, увидев меня, спросил, не может ли

он поговорить с мисс Дункан. Я ответила, что мисс Дункан нездорова, что поговорить с ним могу я, и не будет ли он так добр сказать мне, что хочет? Он сказал, что вечером будет большое празднество, и администрация сочла бы за честь, если бы мисс Дункан и сопровождающие ее лица присутствовали на обеде. Я возразила: «Боюсь, что нет. Мисс Дункан всегда обедает у себя в номере».

— О да,— сказал он,— это я помню, но мы объявили прессе, что будет много выдающихся гостей и что особенно мы хотели бы пригласить мисс Дункан.

Возражать было выше моих сил и я направилась в салон. Айседора, бледная, изящно возлежала на кушетке. Я передала ей приглашение, и она согласилась принять управляющего. Он был в высшей степени вежлив, красноречив и в конце концов убедил ее принять приглашение.

Она мило предупредила: «Помните, только для вас я нарушаю правило». Можете себе представить, как мы хохотали, оставшись одни: то силой вышвыривают из отеля, то администрация умоляет пообедать за ее счет — ну и дела!

Однако какой это был вечер! Какой вечер! Айседора пригласила пойти с нами нескольких художников. Когда обед приближался к концу и похоже было, что хоть на этот раз все обойдется, к нашему столу подошел профессиональный танцор и стал упрашивать Айседору протанцевать с ним танго. Сердце у меня замерло: я знала бессмысленную ревность Сергея. И даже если бы он не был ревнив, то Айседора, танцующая танго, могла возбудить ревность даже святого. Лично я всегда хотела сбежать, когда она танцевала танго, несмотря на ее необыкновенную красоту и грацию.

Когда она с триумфальным видом вернулась к столу, Сергей довольно громко крикнул: «Еще шампанского!» Все неистово аплодировали Айседоре, и она снова танцевала с партнером — на этот раз они были одни на площадке. А официант принес еще шампанского, хотя мы с Айседорой не разрешали ему этого делать.

Взгляд у Сергея стал дичать, и Айседора, надеясь, что Есенин последует за ней, попросила меня подняться с ней наверх, приглашая и других, когда захотят, выпить кофе. Но Сергей не пошел за ней. Выходя из зала, Айседора сказала метрдотелю, чтобы ее мужу не подавали больше спиртного, так как он очень нервный человек, а если

начнет себя вести несколько странно, то пусть его деликатно отведут в номер.

Примерно полчаса спустя раздался оглушительный шум — это несколько портье пытались деликатно отвести Сергея наверх. С треском открыв дверь в номер, он закричал: «Шампанского, шампанского!» Айседора распорядилась: «Дайте ему столько шампанского, сколько захочет, может, это его успокоит». И начался ужасный скандал. Сергей оскорблял ее за танец, а она, никогда спокойно не переносившая оскорблений, бросала ему ругательства. Все это звучало на их обычном очень живописном жаргоне. Наконец Сергей, взяв шляпу и пальто, ушел, заняв у швейцара денег. Айседора сказала мне: «Чтобы избежать большего скандала, я лягу спать в комнате напротив», — и попросила остаться с ней. Я действительно не могла оставить ее в этих обстоятельствах.

Но вскоре снова раздался такой шум, будто шла осада Парижа. Ни один полк не мог бы наделать столько шума, как этот беснующийся русский поэт, когда был в ударе. Сергей вернулся за деньгами, но Айседора предупредила швейцара, чтобы тот больше не давал ему денег. И тогда на голову этого бедного парня обрушилась вся ярость ада. Сергей переломал все, что ему попало под руку в его комнате, изорвал все туалеты Айседоры, висевшие в гардеробе, и разбросал лоскутья по всему номеру. Потом попытался выломать дверь в нашу комнату.

Айседора позвонила вниз и попросила прислать двух крепких молодцов, объясняя, что кто-то пытается вломиться в нашу дверь. Ей ответили, что таких портье у них нет, но если молодой человек сейчас же сам не спустится или не ляжет спать, то они найдут способ его успокоить. Айседора через дверь объяснила это Сергею, и он, со всей силы пнув дверь, в ярости ушел.

Айседора пришла в страшное волнение от страха: ведь Сергею могут причинить боль или обидеть — и вина во всем управляющего отелем. Она оделась, заявив, что пойдет искать Сергея, иначе сойдет с ума. Я никогда не видела ее в таком состоянии. Казалось, она ищет смерти только из-за того, что Сергей ее оскорбил.

Было три часа ночи, когда мы вышли из отеля. Все заведения были уже закрыты, и мы пошли на рынок, где все кутилы собирались по утрам завтракать. Айседора

заказала самый дорогой коньяк, «Наполеон», и угощала им, как будто это была вода, танцовщиц из «Пер Транк-виля» — знаменитого трактира, где подавали ранний завтрак. Рынок, когда мы возвращались, горел золотом цветов, фруктов и овощей, но Айседора ничего не замечала. Домой она вернулась в полубессознательном состоянии. Сергей спал на подушке за диваном в салоне. Оказывается, он отправился без денег в русский ночной ресторан, оскорбил хозяев, но нынешние русские рестораторы, бывшие генералы царской армии, знали, как обращаться с таким русским: отобрали у него часы и пальто, сняв ботинки, били по подошвам ног, а после выкинули на улицу. Таксист, привезший Сергея в ресторан, подобрал его и привез в отель.

Айседора рухнула в постель полумертвая, а рано утром управляющий объявил, что она должна немедленно выехать. Я возражала ему: «Это невозможно, ведь мисс Дункан тяжело заболела». На что он ответил, что это не имеет никакого значения и что в противном случае ее вынесут через специальный черный ход, откуда выносят больных и мертвых. Айседоре было так плохо, что я боялась, она умрет. Глаза остекленели, она ничего не видела и не понимала.

Сергей проявил большую нежность и заботливость и очень боялся, что за ним придет полиция. (Как я от всего этого не сошла с ума? Значит, буду жить долго.) Администрация отказалась что-либо обсуждать и требовала, чтобы мы убирались.

Я послала за Реймондом, умоляя его немедленно приехать с хорошим доктором, что он и сделал. Врач выдал свидетельство, что мисс Дункан смертельно опасно двигаться и что она отравлена. Он предупредил администрацию, чтобы она была очень осторожна. Случай отравления всерьез испугал ее: Айседора обедала в отеле и довольно громко вечером заявила, что ее отравили.

Больше нас не трогали, а на следующее утро мы переехали в отель «Резервуар» в Версале. Он располагался в прелестном маленьком павильоне. Там Айседора с Сергеем оставались несколько дней, затем вернулись в Париж, где Айседора получила возможность снова вступить во владение своим домом на рю де-ля Помп, № 103, с его великолепным Бетховенским залом, в котором прежде было проведено так много блаженных счастливых часов, лилась райская музыка, танцевали Айседора

и ее четыре прелестные ученицы! В этом зале часто собирались вся красота и остроумие Парижа.

Но денег не было, и началась ежедневная распродажа мебели, книг, картин, зеркал — словом, всего, что было в доме. Каждый день Айседора говорила с улыбкой: «Ну, что съедим сегодня — диван, книжный шкаф или это старое кресло?» И каждый день приходил торговец поддержанной мебелью и оставлял деньги на обед. Догадки, сколько дадут за ту или иную вещь, превратились в игру. Больше всего забавлял Айседору набор из гобелена: диван и четыре кресла — подарок Лоэнгрина, полученный много лет назад. Она тратила большие деньги на то, чтобы эти вещи сохраняли и хорошо заботились о них, пока сама находилась в отъезде, но когда наступила их очередь быть проданными, за них дали только триста долларов, ибо они оказались искусной подделкой. Как ни странно, Айседора ненавидела эти вещи, но сохраняла как память о человеке, подарившем их. Она часто говорила: «Не пойму, почему людям нравятся эти вещи, я возле них чувствую себя неприятно», — но ведь она вообще ненавидела мебель, и единственное, что признавала, это кушетки и несколько прекрасных столов. Письменные столы приводили ее в ужас, она всегда писала на огромных простых столах, где можно было как угодно разбрасывать книги и бумагу.

С каждым днем дом, по ее мнению, становился лучше, так как мебель постепенно исчезала, пока продавать стало нечего. И тут дела приняли весьма дурной оборот. Дикие сцены Сергея повторялись каждые три-четыре дня, пока не наступил час, когда Айседора не могла оставаться с ним одна, и тогда или Реймонд, или я, или мы оба ночевали у нее. Часто Реймонд, Айседора и я спали на кушетках в большой студии (там были десятки таких кушеток с набросанными на них подушками), а Сергей всю ночь бродил по дому и скандалил. Как-то ночью он выпрыгнул в окно, рыбой вылетев головой вперед и разбив стекло, но даже не поцарапался.

В один из вечеров Сергей и мы с Айседорой обедали в обществе княгини Голицыной (Ами Гуро). После обеда Айседора танцевала, а Ами спела несколько причудливых гавайских песен, аккомпанируя себе на народном инструменте. Этим песням научил ее старый король, когда она была на Гавайях много лет назад. Они были очень странные и грустные. Сергей и здесь, как обычно, начал одну из своих скандальных сцен, и мы быстро ушли. Не

дожидаясь машины, мы пошли домой пешком, и Сергей во всю глотку орал песни и декламировал стихи, как это принято в России, но к большому удивлению парижан, пытавшихся заснуть.

Я умоляла Айседору поехать ко мне домой и оставить Сергея одного. Говорила ей, что это единственный способ избежать скандала и опасности. Действительно, я была всем сыта по горло и не намеревалась провести еще одну ночь в ее доме. Айседора обратилась к патрулирующему полицейскому с вопросом, может ли он дежурить на таком расстоянии от ее особняка, чтобы услышать, когда мы будем звать на помощь, поскольку муж ее очень болен и иногда бывает опасен. Я наотрез отказалась войти в дом и оставила Айседору, хотя она и обвиняла меня в трусости и малодушии. А среди ночи Айседора разбудила меня, вбежав со словами, что не может больше выносить такую жизнь, что необходимо сдать или продать дом, потому что она решила немедленно отправить Сергея в Россию.

На следующий день нам очень повезло: мы нашли русского, сочувствующего до глубины души положению Айседоры, который предложил снять дом, заплатив сразу же хорошие деньги и пообещав высылать ежегодную арендную плату. К вечеру все было сделано. Он получил деньги в своем банке, и я потребовала, чтобы он пошел с нами в контору банка «Америкен экспресс» и отдал Айседоре две трети всех денег в чеках этого банка, которые Сергей и за деньги-то не считал. Он знал только, что у Айседоры 25 тысяч франков, которые она взяла деньгами. Как только мы вернулись домой, Сергей заторопился к своему портному, чтобы получить два костюма, ранее заказанные и за которые требовалось немедленно заплатить. Он сделал это, несмотря на то что у него были десятки новых костюмов, много набитых сундуков. Айседора снова сказала, что он, как ребенок, хочет все новые игрушки.

В этот же день ее очень расстроил приход полиции и вопросы о Сергее в связи с ее разговором с полицейским накануне ночью. Есенину снова приказали в двадцать четыре часа покинуть Францию. Поэтому к семи вечера он упаковал свои вещи и выехал в Берлин дожидаться там Айседору. Она обещала последовать за ним через три дня. Когда мы сели в машину, чтобы проводить его на вокзал, Айседора заметила среди его вещей небольшой чемоданчик с ее личными письмами

и бумагами, который Сергей тайно вынес из дома и спрятал в багаже.

Айседора попросила шофера незаметно для Сергея сбросить этот чемодан с машины. Наконец-то мы отправили Есенина, и по дороге домой Айседора сказала: «Слава богу, это кончилось». Впервые за много дней она спокойно спала ночь.

На следующий день мы пошли на ланч в студию Реймонда. Вдруг Айседора воскликнула: «Нервы мои, должно быть, в жутком состоянии. Мне чудится, я слышу голос Сергея». Но увы! Это была не галлюцинация. Это был сам Сергей, который, приехав к бельгийской границе, обнаружил, что у него нет визы, по крайней мере, он сказал так, но на самом деле он хватился маленького чемоданчика с личными бумагами Айседоры и тут же вернулся. Бросившись перед Айседорой на колени, он сказал, что не может жить без своей обожаемой жены и только с ней поедет в Россию или куда она захочет. И никогда с ней не расстанется.

Это так понравилось Айседоре, что на следующий день она выехала с ним в Берлин, а я обещала последовать за ними через три дня. Мы с Реймондом выручили еще четыре тысячи франков за некоторые оставшиеся вещи. Когда я приехала в Берлин, Айседора и Есенин уже растратили почти все имевшиеся у них деньги, кроме чеков «Америкен экспресс».

Я положила привезенные четыре тысячи франков в маленький мешочек и заставила Айседору обещать не показывать их Есенину. Впоследствии она рассказывала мне, что эти скудные франки спасли ей жизнь, когда он бросил ее одну в России, после того как она потратила чеки «Америкен экспресс» на свою школу. На следующий вечер после моего приезда они уехали в Россию. Я обещала Айседоре поехать с ней помочь ей восстановить ее школу, но Сергей сыграл свою роль в отношении меня с советским представителем, и мне не дали визы.

Когда поезд тронулся, лица Айседоры и Есенина были бледными, а сами они походили на две заблудившиеся души. Айседора махала мне рукой, и по лицу ее лились слезы. «Мэри, родная, обещай, что приедешь. Я договарюсь о твоей визе в Москве. Я знаю, если ты пообещаешь, то приедешь. Если ты не приедешь, то Айседору тебе больше не видать». Я вернулась в Париж и через неделю в ужасном состоянии легла в больницу.

АЙСЕДОРА И ЕСЕНИН ПРИБЫВАЮТ В МОСКВУ

(1924 г.)

Приехав в Москву, Айседора и Есенин нашли школу в жалком состоянии. К счастью, у Айседоры были чеки «Американ экспресс» примерно на 70 тысяч франков. Жизнь в России заметно изменилась: теперь все было поставлено на коммерческую ногу. Купить можно было все, что угодно, при условии, что необходимый товар имелся в наличии и что вы в состоянии заплатить за него непомерную цену. Частникам торговать было нельзя, а в государственных магазинах с вас драли, сколько хотели. Одни лишь продукты были дешевыми и в изобилии, так же как вино и водка.

Айседора потратила все, что у нее было, на школу. Это привело Сергея в ярость — он хотел владеть всем и раздавать все друзьям. Десятки своих костюмов он щедро раздавал направо и налево, так же как обувь, рубашки и т. п., не говоря уж о туалетах Айседоры, о которых она постоянно спохватывалась в Париже и считала, что их крали горничные.

Они с Сергеем пробыли в Москве лишь несколько дней, когда он исчез на несколько недель. Айседора была встревожена и думала, что с ним что-то случилось. Без конца до слуха ее доходили сплетни, будто по ночам его видели в ресторанах, обычно с женщиной. Так продолжалось несколько месяцев. Он возвращался только для того, чтобы выманить у нее деньги, с которыми можно было устраивать дебоши.

Какое это грустное, неблагоприятное дело для женщины с тонкой душой стараться спасти разнузданного пьяницу! Но Айседора никогда не чувствовала по отношению к нему ни малейшего гнева. Когда он возвращался, ему достаточно было броситься к ее ногам, как перед Мадонной, и она прижимала его златокудрую голову к груди и успокаивала его. В то время она была очень больна — подозрение на воспаление легких, но все время боролась за то, чтобы обеспечить едой своих учениц, находить для них топливо, помимо того, что ежедневно преподносила им духовную пищу — танец. Айседора хотела только одного — нести всем счастье.

Когда Айседора оставалась одна, она часами сидела, рассматривая огромный альбом с фотографиями своих детей. Он был с нею всегда, но очень редко она показывала его кому-нибудь. Как-то вечером, когда Сергей не-

ожиданно вернулся домой, он застал Айседору плачущей над фотографиями своих любимых покойных детей. В параксизме ярости он выхватил у нее альбом и, прежде чем она успела помешать, швырнул его в бушующее пламя. Айседора спасла бы его от огня, но Сергей держал ее с нечеловеческой силой и выкрикивал гадости о ее детях. В конце концов, она упала без сознания. Больше она никогда Есенина не видела.

Совершенно измученная и больная от борьбы за сохранение школы, беспокоясь о Сергее и мучаясь от очень жаркой погоды, Айседора решила поехать в деревню. Уже несколько месяцев она не имела никаких вестей от Сергея, как вдруг пришла телеграмма: «Пожалуйста, перестаньте писать и телеграфировать Сергею Есенину. Он теперь принадлежит мне и не хочет больше с вами общаться. (подпись) Толстая»¹.

Итак, это был конец всем мечтам Айседоры, ее бескорыстным честолюбивым замыслам в отношении ее молодого поэта. Право же, над ее любовью тяготело проклятие. Все ее романы кончались катастрофой.

В деревне Айседора снова попыталась продолжать свои занятия и посвятить жизнь лишь одному этому. Она подружилась с несколькими замечательными коммунистами. Она говорила:

— Если бы было известно больше об этих великих людях, отдавших всю свою жизнь, ум и душу великому делу, Россию сегодня более уважали бы. Коммунист, если он настоящий коммунист, должен жить по высочайшим законам совести. Он постоянно на глазах у всех. Он вроде священника, к которому массы обращаются за советом и с которого берут пример. Да поможет ему Бог, если он потеряет их расположение.

Многие из этих людей были преданными ее сторонниками, но помочь они ничем не могли. Денег не было, а кормить надо было весь русский народ. Тем не менее Айседора была благодарна им за сочувствие. После многочисленных попыток получить помощь от правительства она решила начать гастролировать по всей России. В это время она встретила молодого пианиста, который стал ее преданным рабом. Итак, с ним и с импресарио она отправилась зарабатывать (как она думала) миллионы рублей. Но у России на роскошь денег не было.

¹ Толстая Софья Андреевна (1900—1957) — внучка Л. Н. Толстого, третья, последняя жена С. А. Есенина.— *Прим. сост.*

Когда Айседора это поняла, она решила танцевать перед рабочими бесплатно. Успех ее был огромным. Некоторые ее письма с Кавказа были особенно забавными. Она описывала эту страну как рай, где все растет в буйной, беспорядочной красоте, где невероятное изобилие цветов и фруктов. Далее она писала, что ей, ее милому (молодому пианисту) и менеджеру пришлось провести ночь на скамейке в парке. Но это, писала она, не такая неприятность, как пребывание в гостинице, где тебя съедают заживо клопы. Местные жители почему-то ничего против них не имеют и весело хохочут, когда им жалуешься.

На обратном пути, когда они выезжали из Пскова в Ленинград, Айседора была на волосок от смерти: автомобиль, на котором они ехали, перевернулся в канаву. Великая артистка потеряла от удара сознание, а менеджер получил контузию. Машина развалилась.

Наконец они прибыли в Москву и узнали, что правительство учреждения отключило в школе за неуплату газ и электричество. Это было слишком для Айседоры. Ведь именно ради школы она приехала в эту страну. В отчаянии она приняла предложение какого-то коварного импресарио, заверившего ее, что организует гастроли в Германии.

В один из прекрасных осенних дней она расцеловала на прощание своих маленьких учениц, обещая прислать им все заработанные ею деньги, просила не бросать школу и оставила их под присмотром своей старшей ученицы Ирмы. Айседора верила, что вскоре вернется с большими деньгами и тогда заботы исчезнут — будут только счастье и танец. Самолет, в который села Айседора, пролетел над Москвой, держа курс на Германию.

АЙСЕДОРА СНОВА В БЕРЛИНЕ

(1924 г.)

И вот она в Берлине, где в свое время имела огромный успех и где ее приветствовали как святую Айседору. Действительно, когда она исполняла свои танцы на серьезные темы, то для выражения вызванных ими чувств другого слова подобрать было невозможно.

Теперь она приехала в Берлин гораздо более опытная, более одухотворенная в своем искусстве, готовая нести дух Воскрешения и Жизни. Из-за всех страданий и переживаний, выпавших на ее долю, она в то время была очень худенькой, но немецкие критики не нашли ничего

лучшего, как написать, что она толстая и старая, и выступления ее в первый и единственный раз в жизни кончились подстроенным провалом, несмотря на то что в зале было много ее старых поклонников, которые, как и раньше, неистово аплодировали.

Прекрасное тело Айседоры было и средством передачи ее великого искусства, и величайшим проклятием ее искусства — ее прелестное человеческое тело раздражалось и приходило в неистовство от всех ограничений, налагаемых на него искусством, и вечно мстило, требуя человеческих прав на радости и удовлетворения.

Не обладай Айседора телом, посвящающим себя поклонению одновременно как Венере, так и искусству, жизнь ее была бы совсем другой. Будь ее судьбой лишь движение по усыпанному цветами эстетическому пути, на котором родилось ее искусство, ее бы сегодня хранили в памяти как божество. Люди всей вселенной склонились бы перед ней, вознося молитвы. Со всех концов земли поступали бы миллионы долларов на ее школу. Родители и правительства считали бы величайшей честью отдать своих детей и сирот в школу Айседоры. Именно так были приняты сначала в Европе Айседора и ее искусство. Ее знали, и заслуженно, как святую Айседору, но увы! Любое искусство имеет дело с земным средством передачи, и этим средством в случае бедной Айседоры было ее тело. Будь она лицемерна и более скрытна в отношении своей личной жизни, все было бы хорошо, но она считала, что жизнь — вещь важная и все ее проявления должны показываться честно и открыто.

В других областях искусства, например, в живописи и скульптуре, мы принимаем искусство с огромной радостью и предоставляем художнику право делать в своей личной жизни что ему угодно и жить как ему угодно. Человеческая натура в жизни Айседоры всегда была большим препятствием на пути создания твердого фундамента для ее школы. Она жаждала обучать детей (и делать это было необходимо с очень раннего возраста, пока их тела и души не были испорчены традиционным обучением) всем принципам и основам ее великолепной теории танца и щедро отдавала им все, включая заботу о их питании, одежде и всем том, о чем могла заботиться самая любящая мать. Она ожидала, что и они в свою очередь сделают то же самое для других детей, пока все маленькие дети земли не обретут в один прекрасный день здоровые тела, способные лишь к прекраснейшим

движениям, и души, полные священного огня красоты.

Айседора хотела, чтобы ее ученики большими группами принимали участие в великих праздниках, важных для всего человечества, или в больших музыкальных представлениях, в которых они будут такой же неотъемлемой частью, как и оркестр.

Абсурдом было бы думать, что она тратила бы свою жизнь и состояние на обучение нескольких детей для профессионального выступления на сцене, где они зарабатывали бы скудные деньги. За то время, которое она тратила на их обучение, она могла бы заработать достаточно, чтобы до конца жизни содержать такую группу. Но Айседора забывала о том, что имеет дело с живыми людьми, с личностями, имеющими собственные желания, а они, преданно любя ее, чувствовали, что у них есть право на собственную жизнь, на то, чтобы прожить ее так, как они считают нужным. Они часто справедливо говорили мне: «Мы ведь не просили, чтобы нас обучали, мы не могли в возрасте четырех-пяти лет дать согласие на это. Значит, Айседоре доставляло удовольствие обучать нас, а теперь мы считаем, что имеем право использовать свой талант и образование по-своему и для собственного удовольствия».

В конце концов, кто может обвинить их? Идея Айседоры — это только прекрасная религия, приверженцы которой должны были отдать свою жизнь человечеству. Айседора никогда не учила их бояться. Они ничего не знали о наказании — их учили лишь быть счастливыми.

Но случай со школой Айседоры отнюдь не уникальный. Почти перед всеми отцами и матерями в семье стоит та же проблема. Юность требует многого, а благодарности проявляет мало. Идеал Айседоры был утопией.

После всего пережитого прием в Берлине глубоко ее опечалил. Ее, кого раньше приветствовали так восторженно, теперь встречали, как врага. Это тем более поразительно, что во время войны Айседора поровну делила сборы от благотворительных концертов между французами и немцами. Она считала, что художник стоит над границами, и раненые для нее были просто страдальцами, нуждавшимися в том, что она могла им дать. Она ненавидела немецкую военщину и ее политику, но немецкий народ она любила.

На следующий день после представления ее русский менеджер сбегал со всей выручкой и оставил ее абсолютно ни с чем. Перед представлением она на деньги менед-

жера сняла номер в гостинице «Сентрал» и, всегда желая разделить с кем-нибудь роскошь или красоту, выпавшую на ее долю, пригласила Элизабет провести с ней несколько дней. Ей была предоставлена большая прекрасная комната с ванной, а к обеду им подали отличное шампанское. Айседора была в восторге, что может дать Элизабет хоть немного счастья, потому что очень любила ее, так же как и всю свою семью.

Из-за тяжких испытаний, выпавших на ее долю в России, Айседора стала больше пить. Ей нравилось возбуждение, которое давал ей алкоголь. Он воодушевлял и согревал ее тело и душу. Она обожала общительность и раскованность, появляющиеся в компании благодаря бутылке вина. Сама мысль подавать к обеду холодную воду казалась ей варварской, и я уверена, что большая часть мира с ней согласна.

Алкоголь действовал на Айседору не так, как на большинство людей. Она расцветала, подобно цветку, изливая на весь мир любовь. Если она была счастлива, то почему же всему миру не быть таким? И все, что она имела, она делила даже с самыми низкими из ее друзей и случайных знакомых. Их всегда приглашали разделить с ней самую дорогую еду и вино. Она заказывала лишь все самое лучшее и, будучи гурманом, знала, что самое лучшее. Ничего не было жалко отдать, и только самое лучшее было достойно того, чтобы отдать друзьям.

Элизабет вернулась в свою школу, школу Элизабет Дункан, самую высокочтимую школу в Германии. Понятие ее о браке и праве женщины иметь детей были такие же, как у Айседоры, но она предпочитала жить по-своему.

Через несколько недель бедняжка Айседора, без надежд и без гроша, вынуждена была выехать из отеля. Она забрала свои пожитки и отправилась в Потсдам, где находилась школа Элизабет, ведь в таком бедственном положении было совершенно естественно, что Айседора обратилась к члену своей семьи. Мистер Мерц, близкий друг Элизабет и руководитель школы, который в свое время, много лет назад, когда школа принадлежала Айседоре, был ее секретарем, встретил ее в дверях со словами: «Элизабет уехала в Зальцбург». Он сказал, что нет возможности поселить Айседору в школе. Когда она поведала ему, что ей некуда деться, что у нее нет ни гроша на пропитание, он заорал, что она сама виновата и что оставаться здесь ей нельзя.

Сопровождавший ее молодой американский музы-

кант, занимавшийся в Берлине, услышав все это, обернулся к Айседоре и сказал: «Айседора, я ежемесячно получаю небольшую стипендию, если вы окажете мне честь разделить ее, я буду безмерно счастлив».

Итак, много месяцев прожила она жизнью бедного артиста, а затем в один прекрасный день я получила от нее телеграмму, извещавшую о ее ужасном положении. Прочитав телеграмму, Августин отдал распоряжение своему банку посылать ей каждый месяц весьма щедрую сумму денег, что продолжалось до тех пор, пока у него на счете ничего не осталось.

В конце концов до людей, оказывавших поддержку молодому музыканту, дошли слухи, что он ведет бурную, беспутную жизнь, и они прекратили посылать ему стипендию. Как часто прекрасное принимают за порок! Я помню, как когда-то, когда мы с Айседорой и Лознгрином жили в деревне, читая философов и слушая божественную музыку, Айседора сказала мне: «Мэри, бьюсь об заклад, что если ты возьмешь любую газету, то прочтешь, какой распущенный, порочный образ жизни мы ведем — Лознгрин в тенетах распутной танцовщицы».

Подшло время с грустью попрощаться с Германией. Айседора получила немного денег из Америки. Усталая, с разбитым сердцем она выехала поездом в Париж.

СНОВА В ПАРИЖЕ. СМЕРТЬ ЕСЕНИНА

(1925 г.)

Так как дом Айседоры был еще занят, ей пришлось поселиться в отеле. Она поехала в «Летицию» на бульваре Распай, где по крайней мере могла общаться с художниками. Буржуазия вызывала теперь у нее ужас.

Вскоре вокруг нее собралось много друзей, некоторые, чтобы помочь, другие — просто поесть и выпить коктейль. Прошло немного времени, и счета ее стали колоссальными. Деньги, присылаемые из Америки, обычно позволяли устроить один большой пир с друзьями. После этого жизнь снова становилась отчаянной. Так как Айседора не могла получить ни гроша арендной платы за свой дом на рю де ля Помп, она попросила свою старую приятельницу, мадам Йорскую, одолжить ей сумму трехмесячной ренты, которую та сможет получить от жильцов. И мадам Йорская с высшей щедростью дала Айседоре четыре или пять тысяч франков. Это на время поддержало Айседору.

28 декабря 1925 г. Айседора получила сообщение о трагической смерти бедного Сергея. Страшный год дебошей, большую часть которого Сергей, потускневший и обтрепавшийся, провел в низкого пошиба заведениях, окончательно подорвал его здоровье. Его поместили на несколько месяцев в санаторий. Вернувшись, Сергей оказался без денег и ни у кого их не мог достать. Он ненавидел свою бедность и решил, что смерть — лучший выход.

Есенин — один из прекраснейших русских поэтов. Он мог бы сделать великолепную карьеру, но страшная смесь, которая была в его натуре, смесь монашеской кротости и неистовства Пугачева, этого Робин Гуда России двухсотлетней давности, заставляла его быть крайне разным — от нежного до зверя. Во время своей поездки по Америке он заявил: «Америка убивает душу, она — не место для великого поэта».

В Москве над ним смеялись за любовь к шелковым цилиндрам, лаковым туфлям и яркой одежде. Он считал себя очень элегантным, но под блеском его одежды всегда чувствовался и виделся крестьянин.

Первой совместной поездкой Айседоры и Есенина была поездка в Ленинград, где они остановились в гостинице «Англетер». Как-то утром Сергей указал на большой крюк в углу комнаты и сказал: «Вот превосходное место, чтобы повеситься!» А в 1925 г. он с подорванным здоровьем и павший духом вернулся в эту комнату и повесился. Именно на этом крюке, взрезав предварительно вену и написав стихотворение.

Известие о смерти Сергея привело Айседору в состояние шока. Она писала мне: «Бедный Сереженька, я только плакала о нем, что в глазах больше нет слез».

Русские устроили Есенину грандиозные похороны. Тело его привезли в Москву и в открытом гробу пронесли от памятника одному поэту к памятнику другому. Сразу после смерти книги Есенина разошлись в тысячах экземпляров, и была выручена большая сумма денег. Установив, что Айседора с ним не разведена, советский суд присудил ей эти деньги. И хотя в день, когда Айседоре привезли в Париж эти 300 тысяч франков, ей нечем было заплатить за отель и вообще не было ни гроша, она отказалась от всех денег, сказав: «Отвезите их его матери и сестрам. Им они нужнее, чем мне».

Вскоре после отъезда в Ниццу Айседора узнала, что одна из ее шести учениц, маленькая Марго, очень серьез-

но больна. Она тут же поехала к ней, но — увы! — опоздала. Прелестный ребенок скончался.

Все эти события совершенно сломили дух Айседоры. Вернувшись в Париж, она после многомесячной борьбы не на жизнь, а на смерть попыталась перезаложить свои владения в Нёйи, так как арендной платы, которую она на протяжении многих лет за них получала, хватало лишь на уплату налогов и процентов по первой закладной. Но оказалось, что ко всем ее деловым предприятиям всю жизнь прикладывает руку дьявол. Однажды утром, когда Айседора поехала к своему нотариусу, чтобы подписать документ, вдруг выяснилось, что на ее имущество претендует какой-то человек, которому она была должна, и на следующий день оно будет продаваться с публичных торгов. Вот так новость! Айседора вспомнила, что как-то получила официальное письмо неприятного содержания, но так и не прочла его. По своему обыкновению она выбросила его в мусорную корзинку.

«Что же делать?» — спросила Айседора нотариуса. Он относился к ней с большой любовью и много лет пытался отвести от нее несчастье. Услышав о письме, он рассвирепел, что в свое время она не прислала его ему. Однако торги были назначены на следующий день, и делать было нечего, если, конечно, Айседора не достанет денег, чтобы заплатить по иску. Но даже в этом случае закон должен быть выполнен — дом должен быть продан. В распоряжении Айседоры оставалось пять дней, в течение которых она могла получить дом обратно, если бы у нее были деньги.

Айседора сообщила в газеты о своем ужасном финансовом положении и о том, что у нее собираются отобрать ее последнюю надежду — студию в Нёйи. Можно же что-то сделать, после того как она всю жизнь отдавала свое искусство и счастье другим! Должен же найтись человек, который придет ей на помощь!

Во всех газетах целые страницы были посвящены этой трагедии. Друзья откликнулись. Многие художники и скульпторы во Франции выставили свои работы на продажу, чтобы поддержать Айседору Дункан. Актеры и актрисы, певцы и исполнители в мюзик-холлах щедро посылали ей деньги. До конца дня было собрано 60 тысяч франков, и дом Айседоры был спасен.

Были создан комитет, который решил, что немедленно берет над Айседорой опеку. Соберут еще денег, и она навсегда получит свою студию. Вокруг ее огромного

сада построят студии для художников, и на арендную плату за них она сможет содержать свою школу. Ура! Ура! Айседора была спасена. Теперь никаких забот и неприятностей.

Через несколько дней после столь блестящего заседания комитета Айседора узнала, что ни гроша из собранных денег не пойдет на оплату ее счетов в отеле и на еду. Она пришла в ужас. Ей заявили, что деньги пожертвованы на спасение ее школы, а не на то, чтобы она на них жила. Существовала ли большая нелепость со дня сотворения мира? Ведя высокопарные беседы о будущей школе, Айседоре позволяли умереть от нищеты. Бедная растерявшаяся Айседора ничего не понимала, она знала лишь, что подписала какой-то документ о своих владениях стоимостью в 800 тысяч франков, а теперь не может получить по нему ни гроша, и начала действовать еще более неразумно, чем всегда,— желала жить в более дорогих отелях, есть самую изысканную пищу и т. п. А все эти прекрасные люди, образовавшие комитет в ее защиту, искренне считали, что спасли ей жизнь!

Нескольким близким друзьям Айседоры невыносима была жизнь, которую она вела, они терпеть не могли окружавших ее людей, но издали следили за ней с большой любовью и нежностью. И хотя они не принимали участия в ее диких вечеринках, немедленно оказывались около нее, когда отчаянные обстоятельства того требовали. Я говорю о трех ближайших на протяжении всей ее жизни друзьях: известном писателе Джоне Денисе, французском поэте Фернанде Дивуа (написавшем: «Если после моей смерти вспоминать меня будут только за что-то одно, пусть это будет моя любовь к Айседоре Дункан и восхищение ею») и знаменитом скульпторе Хосе Клара, не пропустившем за последние двадцать лет ни одного выступления Айседоры и обладавшем великолепной коллекцией собственных рисунков, запечатлевших каждое ее движение. После смерти Айседоры он опубликовал прекрасный альбом этих рисунков, являющийся одним из величайших памятников артистке.

Я помню вечер, когда один из членов ее комитета, Сайдс, позвонил Айседоре и сказал, что, если к следующему дню правительству не будет уплачено 12 тысяч франков, она потеряет студию, несмотря на то что часть денег уже выплачена. Бедная Айседора ответила, что у нее нет и 12 центов. Она была в отчаянии. И вдруг около полуночи приехала преданнейшая подруга Айседо-

ры Сесиль Сарторис и объявила спасительную новость, что Джон Денис, которого Айседора не видела много месяцев, считает большой честью заплатить за нее из собственного кармана. Услышав это, Айседора расплакалась как дитя.

— Боже мой, они все еще любят меня, мои три рыцаря, но почему же они ко мне не приходят? Скоро я умру, тогда они все появятся.

Вскочив, она воскликнула: «Я знаю, у Фернана Дивуа заготовлена уже речь на моих похоронах, но я нарочно не умру, чтобы не доставить ему этого удовольствия. Теперь, когда дом спасен, будем снова веселыми и счастливыми».

В этом Айседора оказалась права. Фернан Дивуа действительно произнес речь на ее похоронах, и более прекрасной услышать невозможно.

Их глубокая любовь к Айседоре держала их на расстоянии, так же как и многих других, которые видели, как она мчится к своей гибели.

Мерседес Д'Акоста, наша прелестная американка-драматург, рассказывала мне, что в возрасте 15 лет имела удовольствие встретить Айседору в доме своих друзей в Райе (штат Нью-Йорк). Танцующая Айседора произвела на Мерседес такое впечатление, что она ее никогда не забывала, хотя и видела лишь один раз.

В июне 1926 г. Мерседес оказалась в Париже, и как-то вечером в театре приятель спросил ее, знает ли она, в каком ужасном положении находится Айседора Дункан, что живет она на левом берегу реки в маленьком жалком отеле, без друзей, без денег, в большой нужде.

Мерседес вернулась домой и не могла уснуть. В половине второго она оделась, взяла такси и объехала все маленькие жалкие отели, которые смогла найти на левом берегу реки, но даже следа Айседоры нигде не было. Она собиралась было час спустя возвращаться к себе в отель, когда, проезжая мимо «Летиции», остановилась, думая: «Уж здесь-то Айседоры быть не может, но спрошу швейцара». К ее большому удивлению, он ответил: «Да, мадам Дункан здесь».

Она узнала номер ее комнаты и, не сообщая о себе, поднялась на второй этаж. Тихо постучала. Нежный голос ответил: «Войдите». И когда Мерседес вошла в комнату, она увидела картину нищеты и меланхолии. Сидя в постели, Айседора воскликнула: «О, вы, должно быть,

архангел, не знала я, что архангелы бывают женского рода!» Она сразу вспомнила девочку, которую не видела двенадцать лет.

Мерседес подбежала к Айседоре и горячо обняла ее. Айседора поведала, в каком ужасном положении она оказалась, брошенная всеми друзьями. Никто ее не навещает, она без денег и ничего не ест целыми днями. Мерседес сказала: «Я сейчас же позвоню, и что-нибудь принесут».

«Не надо звонить,— остановила ее Айседора,— администрация запретила что-либо приносить. Видите ли, я здесь уже месяцев пять или шесть и еще не платила по счету». Мерседес вышла и вскоре вернулась с официантом, принесшим бутылку шампанского и очень вкусного цыпленка. После чудесного ужина Айседора повеселела. «Теперь поедem за город»,— сказала она. Машина Мерседес стояла у дверей, и на рассвете они поехали в Сен-Жермен.

Затем они позавтракали в «Ля Кокарди». Мерседес вспоминала это потом как одно из самых счастливых событий в своей жизни. Вернувшись в отель, она заплатила по счету Айседоре, а на следующий день нашла ее друзей и рассказала им о ее грустном положении.

На следующий месяц, за несколько дней до отъезда Мерседес в Америку, Айседора получила телеграмму от своей близкой подруги Рут Митчел: «Приезжаю». Это была радостная весть — Рут не однажды появлялась как добрый ангел. Айседора была счастлива, что увидит ее, потому что очень ее любила.

С появлением Рут беды Айседоры наконец кончились. Когда стало жарко и душно, Айседора предложила Рут не оставаться в «Летиции», а купить машину и поехать путешествовать по Франции. Айседора хотела, чтобы Рут увидела все известные ей места: прелестные деревенские ресторанчики, великолепные гостиницы, спрятавшиеся в старомодных садах, и знаменитый ресторан «Вильгельм-завоеватель» в Анфлере.

Рут, представив себе эту славную картину и думая, что они смогут жить экономно, согласилась и тут же купила очень красивую серую открытую машину. Они поехали. Но как все отличалось от того, что рисовалось Рут! Маленькие сельские ресторанчики оказались дорогими, а поскольку Айседора хотела пить только самые изысканные вина (она прекрасно знала, каким из них славится тот или иной ресторан), счета превзошли все

границы. Рут решила прервать путешествие. Она просто не могла позволить себе непомерные расходы.

Я видела, как Айседора покатывалась со смеху, рассказывая об этой маленькой шутке в целях воспитания Рут. Она считала, что разрушила все ее буржуазные представления и сделала ее настоящим представителем богемы. Но дело было просто в том, что Айседора считала Рут очень богатой и несколько прижимистой, а та действительно тратила все, что могла.

Затем Айседора предложила поехать в Ниццу, где она могла бы снять студию и начать танцевать, а возможно и найти менеджера, который привез бы ее русских учениц. Это прозвучало для Рут как музыка, и они отправились в Ниццу. Однако, когда они доехали до Хуан ле Пине, Айседора отказалась ехать дальше. Несколько дней они купались в море, а чтобы Айседора полностью насладились счастьем отдыха, Рут велела подавать им ланч прямо на пляж. Море действовало на Айседору как эликсир. Она стала совершенно другим человеком, мягкой и нежной. Здесь у моря и под его воздействием родилось полное понимание ее искусства. Она серьезно захотела танцевать.

Несколько дней спустя рано утром недалеко от Ниццы, в местечке Калифорния, у самого моря они увидели объявление «Сдается студия». Пляж этот называется Сент-Августин, и Айседора сразу же вспомнила мемуары Марии Башкирцевой¹ и почувствовала, что это заколдованное место. Здесь, в этой Калифорнии, она создаст свою студию.

Пройдя по узкому проходу, они обнаружили позади маленького отеля и кафе огромную студию, скорее театр. Владелец жил рядом. Это был знаменитый скрипач, а жена его — известная певица, которая приехала сюда поправить здоровье, но так растолстела, что прекратила работать и часто сидела на балконе, глядя на море и проклиная его за свою увеличивающуюся тучность.

И Рут, и Айседора были в восторге, что нашли это огромное помещение, похожее на собор. Айседора получила немного денег (не знаю откуда), и с финансовой помощью Рут они обставили студию. Где мне взять слова, чтобы описать красоту этого места?

¹ *Башкирцева Мария Константиновна* (1860—1884) — русская художница и мемуаристка. С 1870 г. жила за границей. Автор «Дневника», в котором созданы яркие портреты современников и раскрывается сложный характер самой Башкирцевой.— *Прим. ред.*

На стенах висели голубые занавесы Айседоры, придававшие всему помещению внушительную высоту и достоинство. Огромный зеленый фетровый палас покрывал весь пол. Восемнадцать кушеток были расположены так, что составляли амфитеатр, ведущий к сцене. Они были покрыты мягким бархатом прелестного розового цвета, а сотни подушек, покрытых таким же бархатом, были разбросаны так, что всем было удобно. Сама сцена была использована как часть зрительного зала, потому что танцевала Айседора всегда в другой, более низкой части студии.

Вскоре Айседора начала давать представления. На одном из них молодой известный французский писатель Жан Кокто читал свои стихи. Выступления Айседоры имели очень большой успех, и элита, приезжавшая на Лазурный берег, с удовольствием платила по сто франков за место. В такие дни Айседора ставила в большие вазы сотни лилий, из алебастровых светильников с потолка и из двух больших бронзовых торшеров по обе стороны сцены струился приглушенный свет. Во всем этом не было ничего земного.

Когда Рут пришло время возвращаться в Америку, она и Айседора решили ехать до Парижа на машине. Но Рут не предполагала, что Айседора пригласит двух своих преданных друзей — Вальтера Шоу и Марселя Эрана и того, что Айседора намеревалась посетить по пути все виноградники.

Айседора всегда вспоминала эту поездку с огромной радостью: обожание Вальтера и Марселя, дегустация молодого вина из-под пресса были бальзамом для ее души. Какие простые вещи наполняли ее радостью!

Приехав в Париж, Рут подарила ей машину и, попрощавшись, уехала в Америку, пообещав вернуться.

Вскоре Айседора очень привязалась к молодому русскому пианисту Виду, который стал ее преданным и чудесным спутником во все последующие месяцы нужды и тревог. Айседора не могла жить без любви и музыки. Они были необходимы ей, как воздух, без них она впадала в меланхолию.

Оказавшись опять в отчаянном положении, Айседора снова обратилась к Йорской, которая весьма активно сотрудничала в комитете. Йорская направила во все газеты убедительное письмо, в котором высоко оценивалось искусство Айседоры и ее значение для всего мира.

Она простодушно предложила Айседоре жить у нее, обещая всю возможную роскошь и бутылку шампанского

к ланчу и обеду. Йорская всегда была сама щедрость. Она надеялась, что вместе с Айседорой сможет подготовить чудесные программы, в которых Айседора будет танцевать, а она выступать с художественным чтением. При этом она ставила условие: Айседора должна расстаться со своим нищим молодым русским любовником. Но сделать это Айседора отказалась.

Рут оставила немного денег, и Айседора решила вернуться в Ниццу, считая, что Париж не выражает ей никакого сочувствия. К тому же, как только у нее появилась машина, она не могла устоять против радости движения. Теперь у нее была собственная машина, расходы будут только на бензин, и они с Видой отправились в путь!

По прибытии в Ниццу им пришлось жить в маленьком отеле напротив студии по той причине, что в студии отсутствовали такие коммунальные удобства, как вода и газ. К сожалению, с ними не было Рут, которая помогала бы им, и концерты, которые они давали, не приносили ожидаемых денег. Айседора надеялась уговорить своего менеджера послать за ее русскими ученицами, и тогда она смогла бы танцевать по всему Лазурному берегу.

Напрасно писала она Ирме, умоляя ее привезти детей: у Ирмы были другие планы. Она повезла свою школу в Китай. Айседора пыталась остановить ее. Она написала Ирме, что танцевать в Китае и Индии было ее сокровенной мечтой, что она всегда оставляла это про запас и умоляет Ирму не ехать туда раньше ее или подождать, пока она сможет с ней поехать. Она обосновывала это и тем, что дети очень нуждаются и вынуждены танцевать, чтобы прокормиться, не получая помощи от Советского правительства. Ирма отказалась, и тогда Айседора в ярости написала ей, что запрещает употреблять свое имя в какой бы то ни было связи с этим путешествием. Ирма изменила свои афиши на «Ирма Дункан и ученицы». Школа имела большой успех, и, хотя большевики сделали детям много прекрасных подарков, Советскому правительству пришлось выслать им деньги на обратный путь. Все это очень отравляло жизнь Айседоры ¹.

¹ Я только что вернулась с чудесного концерта, данного в помещении Манхеттенского оперного театра московскими учениками Айседоры Дункан. Я заключила контракт с мистером Юроком, который привез их в Америку. Итак, мое обещание Айседоре выполнено и ее мечта осуществилась: ее маленькие московские ученицы — последняя и огромнейшая работа ее жизни — танцевали в ее великолепной, ее прекрасной Америке. Чтобы получить признание, ей пришлось уехать в Европу, чтобы создать школу — уехать в Россию, а чтобы увидеть

Как-то вечером к Айседоре приехала молодая американская художница по имени Алиса, живущая в Париже, давняя приятельница Виды, с очень хорошенькой, привлекательной девушкой. Английский офицер, некий капитан Паттерсон, и графиня Х., жившие в соседнем номере того же отеля, устроили веселый обед в маленьком кафе, где питались Айседора и Вида. Обед был в самом разгаре, когда вдруг эта американка, хмелеющая даже от одного бокала спиртного, почувствовала себя совсем пьяной. Айседора уговорила ее выпить еще. Вида, знавший, как на нее действует вино, возмутился настойчивостью Айседоры.

Это привело к перебранке и усилило раздражение Айседоры. Встав, она обняла Алису и сказала: «Нечего Виде указывать вам, что делать. Давайте выпьем вместе».

Вида убежал к себе и заперся. Айседора бросилась за ним, но он не откликался на ее стук и многочисленные угрозы утопиться.

В подавленном состоянии Айседора взяла свою лилую бархатную накидку и, туго обернувшись в ее тяжелые складки так, чтобы нельзя было высвободить руки, царственно вошла в море. Она рассказывала мне, что волны уже касались ее губ и следующий шаг был бы последним, когда капитан Паттерсон (он потерял на войне ногу) с большим трудом добрался до нее.

Айседора действительно собралась покончить с собой. Она устала, и жизнь ей надоела. Когда ее спасли, она была почти без сознания, а Вида в моменты этих волнений был верен себе, хотя и помог отнести Айседору в соседнюю комнату.

Через несколько дней Виде надо было ненадолго уехать в Париж, поэтому Реймонд уговорил Айседору перейти жить к нему, считая, что строгая диета на чечевице, рисе и воде будет ей очень полезна.

Айседора переехала в студию Реймонда, где все спали на деревянных скамьях, каждый ткал или раскрашивал столько шелка в день, сколько было необходимо, чтобы

танцы своих учеников в Америке — на тот свет. Не знаю, поддержит ли теперь Америка эту колоссальную работу, которую ее единственная ученица Ирма пока что выполняет и предлагает теперь Америке принять близко к сердцу наследство, оставленное Айседорой, воспользоваться им и преподать наивысшее выражение красоты и грации нашей стране. Надеюсь. Если Айседора родилась не зря, американские дети не потеряют великое наследие великой американки.

заплатить за свое питание, и все по очереди готовили еду, что очень плохо сказывалось на желудке бедного Реймонда. Айседора покорно старалась спать на твердых досках, покрытых овчиной, но однажды, когда ее старый друг Джордж Морвет спросил, не хочется ли ей иметь кровать, с живостью кивнула — и обрела бронзовую кровать с пружинным матрасом.

Через несколько дней, получив аванс от своего издателя, Айседора решила, что бедности с нее довольно. Она вызвала такси, поехала в студию, забрала свои вещи и отправилась в отель «Негреско» — один из лучших и самых дорогих отелей в мире. Вида, вернувшись из Парижа, поселился с ней, и она серьезно начала писать мемуары.

Прошло несколько месяцев. Денег больше не оставалось, и Айседора послала Виду в Париж попытаться продать его старую машину.

День шел за днем, а Вида не возвращался и не слал денег. Айседора запаниковала. Оставив в отеле в залог свою серую машину вместе со всеми вещами, она убедила портье купить ей билет в спальный вагон до Парижа. На этот раз она сняла в Париже квартиру со студией, там, где ее кредит еще не был подорван, и они с Видой на какое-то время зажили спокойно.

Я приехала из Америки как раз в середине этого тяжелого года. Как-то мне приснился сон, будто мать Айседоры появилась у меня со словами: «Мэри, Мэри, поезжай скорее к Айседоре. Ты ей нужна».

Через несколько дней один из самых любимых моих друзей оплатил мою поездку в Европу, и 23 апреля я отправилась туда, а 1 мая 1927 года появилась в Париже.

Я ПРИЕЗЖАЮ К АЙСЕДОРЕ В ПАРИЖ

(1927 г.)

Первое мая в Париже. Я прибыла поздно ночью накануне, чтобы найти Айседору, но не знала, в Париже она или нет. Париж был унылый и мрачный, совсем не похожий на обычно сверкающий и смеющийся. Но повсюду женщины и дети продавали букетики ландышей (эмблема Франции), громко расхваливая их аромат и обещая, что они принесут удачу.

Я шла по улицам, просто чтобы до конца ощутить радость возвращения в Париж. Против его очарования

невозможно устоять. Ни один город в мире, ни одна страна не имеют его тонкого, проникающего в душу, незабываемого очарования. Как говорят во Франции, оно проникает под кожу и попадает в кровь, подобно опьяняющим духам.

Я совершенно забыла, что первого мая по улицам запрещено движение такси, и тишина улиц поразила меня. Вспомнив об этом, стала думать, как мне добраться на другой конец Парижа, где, я узнала, в Латинском квартале живет Айседора. Мне показалось очень странным, что она там поселилась,— ведь я никогда не видела, чтобы она входила в общедоступный ресторан или кафе. Их она избегала. Мне повезло: я остановила частную машину, и водитель согласился отвезти меня за десятикратную цену. В четыре часа дня я приехала в отель и позвонила в номер Айседоры. Мне ответил голос, грустнее которого не слыхала, я еле его узнала.

— Говорит Айседора Дункан.

— Это Мэри,— сказала я, и мне послышалось, что она всхлипнула.

— Мэри, Мэри, где ты, где ты, о, родная, Бог послал тебя! Приезжай немедленно!

Я ответила, что стою внизу, и она велела мне подняться. Портье посадил меня в лифт, нажал кнопку второго этажа. «Вторая дверь налево»,— сказал он. Длинный, узкий коридор был плохо освещен, множество дверей вдоль него, почти как в многоквартирном доме, производили мрачное впечатление и совсем не соответствовали образу Айседоры. Но как только я вошла в студию, впечатление это полностью сменилось на противоположное. В отеле было пять или шесть квартир, состоящих из студии с ванной, а на галерею и в спальни вела лестница. Все было отделано в изысканном стиле модерн: стены, мебель и занавесы, но через некоторое время мы почувствовали, что это начинает действовать на нервы.

Не успела я позвонить в двадцатый номер, как Айседора открыла дверь и бросилась мне на шею, обливаясь слезами. Она отстранила меня и тихо сказала: «О, Мэри, ты все такая же, только чуть-чуть пополнила. Ничего, тебе очень идет». И все это для самозащиты: к своему ужасу я увидела, что Айседора очень располнела, а ее прекрасное лицо стало совсем полным. Какая-то непонятная мне припухлость. Это было не похоже на Айседору. Но когда я оглядела комнату и увидела стаканы,

лимоны, бутылки, разбросанные повсюду, душа моя ушла в пятки. Грациозная, изысканная, прелестная Айседора в этой жуткой атмосфере.

Казалось, что она прочитала мои мысли, хотя я и пыталась улыбаться. С выражением приносимого в жертву Христа она сказала: «Сегодня же первое мая, родная». И все. Я вспомнила, что первого мая был день рождения Патрика.

Айседора велела принести дров, и в камине запыхал чудесный огонь, поднявший нам настроение. Мы говорили обо всем, и Айседора часто повторяла: «Мэри, ты приехала в последний момент. Еще день — и было бы слишком поздно. Уже много месяцев я думаю о тебе и повторяю: «Если бы Мэри была здесь, она нашла бы выход. Хоть бы она приехала!»

Через много дней я рассказала ей о том, как мне во сне явилась ее мамочка.

Пока мы разговаривали, зашло несколько человек и среди них очень красивая молодая итальянская княгиня, которую мы звали Мими; вся одежда на ней, кроме юбки, была мальчишеской, но при этом она была сама элегантность. Все спрашивали о Виде, где он и лучше ли ему? Неужели мне показалось? Но правда, Айседора покраснела и, очень кокетливо поглядев на меня, промолвила: «Мэри, у меня всегда есть для тебя сюрпризы». В этот момент откуда-то с галереи раздался голос, который по-русски крикнул: «Айседора, кушать, кушать». Я подскочила чуть ли не на три фута. Ведь знала, что Сергей умер, но голос-то был его и слова те же: «Кушать, Айседора, кушать».

Айседора не могла сдержать улыбки, глядя на мое встревоженное лицо. «Да, да, Вида, минуточку. Мэри здесь. Мэри приехала из Америки».

— А, Мэри,— сказал кто-то голосом Сергея,— подожди, я спущусь.— И он спустился, завернутый в широченный халат, с обвязанным несколькими шелковыми шарфами горлом,— полная противоположность Сергею во всем. Небольшие черные глаза, грива черных кудрявых волос, ярко выраженный восточный, семитский тип наружности и самая веселая улыбка на свете. Он горячо поцеловал мне руку со словами: — Мэри, Мэри, рады видеть тебя.

— Это новый скандал? — спросила я Айседору, двигаясь поближе к двери.

— Да нет же, Мэри, это Вида, мой пианист, и, если он

понравится тебе, ты получишь редчайшее удовольствие в жизни. Он самый милый мальчик в мире, совершенно неспособный учинить скандал.

Позже я убедилась, что это так, но поразительно, что я никогда не могла звать этого двадцатидвухлетнего мальчика другим именем, кроме Сергея. Никого более непохожего на Сергея найти было нельзя. Он был сама нежность, без всех глупостей и экстравагантности бедного Есенина.

Пришли еще друзья, большей частью художники, и стало очень оживленно. Вида сыграл несколько прелестных, трогających душу русских маршей. Айседора собиралась на обед и на заседание комитета своей школы. Она пригласила меня, но мне хватало впечатлений и так.

Когда она уже собралась уходить, вошла необыкновенно красивая молодая девушка, которая пообещала Айседоре пообедать с Видой, — он болел, и оставлять его одного было нельзя. Прелестная девушка, как я позже узнала, прежде была подружкой Виды, и это из-за нее несколько месяцев назад Айседора вошла далеко в море. Виду никогда не приглашали на обеды комитета Айседоры, что отнюдь не способствовало хорошему отношению к комитету с ее стороны.

Мы ушли. После захода солнца первого мая в Париже можно было взять любое такси, поэтому я довезла Айседору до старого кирпичного дома прекрасной архитектуры на берегу Сены, где заседал ее комитет, и поехала в свой отель.

Вскоре после одиннадцати, когда я еще распаковывала вещи, раздался телефонный звонок. Это была Айседора: оказывается они с Видой уже внизу и хотели бы подняться ко мне. Айседора пришла в восторг от моих разрисованных платьев, а я сказала ей, что она может выбрать себе любое. Бедная Айседора, у нее почти не осталось туалетов. Не могу представить себе, как она могла дойти до такого состояния, разве что ей пришлось оставить свои чемоданы в Ницце для оплаты счетов отеля. Я объяснила ей, что группа русских художников — Рома Чатов, Бобрицкий и Алехелов — изобрела и разработала новый метод разрисовки шелков и что я надеялась этим поддержать ее школу.

Среди платьев, выбранных ею, было одно из блестящего китайского шелка красного цвета — именно оно было на ней в день смерти, именно его отождествляли

с ней и оно стало знаменито в Ницце, Монте-Карло и Хуан ле Пине. «Его я тебе дать не могу, Айседора,— сказала я.— Это у меня единственная модель».

Тогда она попросила: «Одолжи его мне, я отдам, когда оно тебе понадобится».

Я достала из своего чемодана пакет, завернутый в папиросную бумагу: «Айседора, вот тебе действительно подарок. Он создан специально для тебя одним из этих талантливых молодых русских, Ромой Чатовым, а вся наша студия, в том числе и я, принимали участие в его разрисовке. Посмотри, вот фотография, которую мы сделали, после того как закончили расписывать его». И я отдала Айседоре фатальную шаль, которая позже стала причиной ее смерти. А тогда Айседора была безумно рада.

— О, Мэри, это — новая жизнь, надежды, счастье. Я в жизни ничего похожего не видела. Да ты посмотри, она почти живая. Посмотри, эта складка струится, как живая. Мэри, родная, с этой шалью я никогда, никогда не расстанусь! Ее мягкие красные складки будут всегда согревать мое бедное печальное сердце».

Она надевала ее сотни раз, каждый раз по-разному, и танцевала перед зеркалом. «Эта шаль волшебная, я чувствую, как от нее идут электрические волны. Быстро надевай шляпу, ты должна поехать с нами домой. Без тебя я не поеду. Вида будет играть нам райскую музыку, а я буду танцевать для тебя в своей новой шали. Какой красный цвет! Цвет крови из сердца». И мы вернулись в студию, где Айседора до рассвета танцевала, а Вида играл, как ангел.

Другим счастливым событием в жизни Айседоры в это время был успешный прилет в Париж Линдберга. Я ничего не знаю о годах, которые произвели на Айседору очень глубокое впечатление. Казалось, что душа рвалась из нее, как будто это касалось ее лично, потому что в глубине души Айседора была самой истинной американкой из всех американцев. Всю ночь она стояла на Ле Бурже, и когда толпа начинала терять надежду, Айседора обращалась к ней со страстной речью, вселяя веру, что он прилетит, а когда он наконец приземлился, ее чуть не задушили и чуть не разорвали на части в жуткой толчее, но она триумфально прошла всю дорогу до Парижа. Ее американская кровь победила. Американец совершил одно из величайших деяний в истории. Она написала стихи и панегирики в честь этого великого

молодого американца, но мы вежливо заметили, что эти стихи не соответствуют ее высоким стандартам искусства. Поэтому я не знаю, что с ними стало. Возможно, обидевшись на нашу критику, она их уничтожила, что в общем-то жаль, потому что возникли они как ответ на порыв души. Буквально через несколько дней гибель двух французских авиаторов, Нунгессора и Коли, сбросила ее с высот эйфории в пропасть, потому что Нунгессор был ее очень близким, дорогим ей другом. Казалось, что Айседора всегда либо пребывает на высоком гребне волны, либо погружается в глубочайшую пучину.

Вскоре нас с Айседорой пригласили на ланч к графине Х., которая сняла очень красивую студию в «Импас Вагран». На ланче присутствовали только восемь человек, но было очень весело и много юмора. Там мы встретили Эдварда Шнейдера, большого друга и биографа Элеоноры Дузе. Это был один из самых блестящих и остроумных собеседников, которых я когда-либо встречала в жизни. Казалось, вся студия заряжается его магнетической жизненной силой и воспринимает его душевные импульсы.

Айседоре он понравился с первого взгляда, и она не могла наслушаться его прелестных историй о Дузе и Ницше. Восторгаясь, она ни на секунду не давала утихнуть разговору и не могла не спрашивать о том, что ее интересовало. Остальные сидели зачарованные, и никто не заметил, как со стола убрали остатки блюд и мы перешли один за другим на кресла и диваны, ни на мгновение не прерывая разговора. Только в шесть часов кто-то сказал, что пора уходить. Непрерывно подавались ликеры, кофе, фрукты, а так как свечи горели весь день, мы и не думали, что уже темнеет.

У некоторых гостей были приглашения на обед, и они собрались уходить. Айседора заявила, что не хочет нарушать очарования и Шнейдер должен поехать к нам обедать. Разговор у нее дома продолжался до глубокой ночи.

«Почему,— обратилась Айседора к Шнейдеру,— ради всего святого в искусстве, вы в книге о ней изобразили ее такой степенной, чопорной, правильной? Ведь знаете, что она была великая, живая, любящая, страстная женщина».

— Семья, дорогая моя,— ответил он,— семья.

И тогда Айседора сказала: «Вам не следовало писать ее биографию. Нельзя говорить полуправду о великом человеке. Вся ценность в том, чтобы рассказать полную

правду о всех сторонах ее характера, хороших и плохих. Все это должно составить полную картину. Даже мысли ее и эмоции, если вы могли их узнать, должны быть описаны предельно ясно. Слава Богу, у меня нет ни детей, ни семьи, которые бы диктовали, что мне писать в мемуарах, и, если после моей смерти будет проявлено достаточно интереса к тому, чтобы обо мне написали, я надеюсь, что напишут правду, невзирая на различные мнения».

Тут вступила я и сказала: «Я об этом позабочусь».

— Господи, Мэри, уверена, что ты позаботишься,— смеясь, продолжила Айседора,— разрешение я тебе даю.

Много часов говорили они о Дузе и при воспоминании о чем-то нежном оба обливались слезами от большой любви к той, кого считали величайшей актрисой всех времен.

Айседора спросила его, не возьмется ли он перевести ее мемуары, которые она только что закончила, на французский язык, и он ответил, что был бы счастлив сделать это, но его английский недостаточно хорош. Однако он обещал приехать в Ниццу и посмотреть, что они смогли бы сделать вдвоем.

Увы! Он так и не приехал, и это было большим разочарованием для Айседоры.

В то время по всему Парижу проходили демонстрации в защиту Сакко и Ванцетти. Айседора пыталась вытащить меня на улицы, но я ничего не знала ни «за», ни «против» об этом процессе и отказалась вмешиваться в него. Разъярившись на меня, она пошла на демонстрацию и вместе с другими американцами стояла перед американским посольством; в толпе было много нелепых выходов.

Она завернулась в свою красивую шаль и без шляпы с развевающимися тициановскими волосами встала в своей открытой машине и только собралась произнести речь, как в машину поднялся один из жандармов, которых вокруг посольства было с тысячу, и сказал: «Айседора, отправляйся домой».

Это показалось ей невероятно смешным. Ведь она думала, что как великая героическая фигура ведет вперед караван за спасение жизни этих двух людей, в деле которых мало что понимала, но чувствовала, что раз за них народ, значит, правда на их стороне (и вообще, она всегда была на стороне отверженных), поэтому юмористическая сторона ситуации сильно поразила ее. Горстка

американцев протестует у стен американского посольства, отделенная от него тысячей жандармов, и простая душа, часто видевшая ее на сцене, поняла, что здесь не место искусству и художнику, и сказала: «Айседора, отправляйся домой».

И Айседора вернулась в Латинский квартал, где по крайней мере можно было выразить свою симпатию и где на террасе кафе она встретилась с неким известным американским судьей, который знал все факты о Сакко и Ванцетти. Они с Айседорой проспорили до утра к большому удовольствию заинтересованной аудитории, состоявшей из всех художников квартала, многие из которых симпатизировали осужденным, а многие — наоборот.

А закончилось это тем, что Айседора привела домой к завтраку человек шесть незнакомых людей, считая, что убедила судью и всю Америку в несправедливости, проявленной по отношению к тем двоим.

Айседору всегда забавлял образ жизни американцев в Париже. Она называла это гуманизирующим влиянием Парижа на американцев, и в большей степени была права. Глупый снобизм, который пускали в ход недавно разбогатевшие американцы против других недавно разбогатевших, они быстро отбрасывали, живя за границей и видя простоту общения истинных аристократов. В Париже снобизма нет. Вы можете быть знакомы со всеми, пока вы или они обладаете чем-то стоящим, будь то искусство, ум или красота. Кто они и чем занимаются — неважно, и попробуй они там свои высокомерные штучки — их высмеют так, что больше неповадно будет. Именно эта простота и делает Париж очаровательным для американцев.

Мы провели много чудесных дней на таких приемах. День рождения миссис Фишер Айседора описывала как рай, где в центре бьют фонтаны шампанского, — и действительно, шампанское текло, будто из неисчерпаемого источника, а хозяйка была самой любезной в мире.

Затем были воскресные коктейли мистера и миссис Лоренс Вейл. Миссис Вейл — знаменитая Пегги Гуденхайм, ангел-хранитель всех бедных художников в Париже, в доме которой можно было встретить известнейших людей. Айседора любила Пегги и подолгу не хотела уходить с ее приемов.

Можно было переходить с приема на прием и быть уверенным, что всюду тебя облакают и всюду будут интересные разговоры и хорошие вина. Обычно вы при-

глашали с собой одного или нескольких приятных вам лиц посетить приемы. Часто вместе с вами в другой дом шли хозяин или хозяйка, оставляя свой дом открытым для гостей, которые прибудут позже.

Формализм — это последнее, чего можно было ожидать.

ЖИЗНЬ В ПАРИЖСКОЙ СТУДИИ

(1927 г.)

Несколько дней спустя я решила, что с моей стороны будет сумасшествием оставаться в отеле «Скриб». Айседора приходила каждый день к ланчу и обеду, находя здесь ту роскошь, которой ей так не доставало: парикмахеров, маникюрш и т. п. Но мой бюджет, к сожалению, этого не выдерживал, поэтому я стала искать менее дорогое жилье.

Я нашла прелестную меблированную квартиру на Бульваре Капуцинов, д. 20, на шестом этаже рядом с «Олимпией». Мистинге, занимавший в точности такую же квартиру на противоположной стороне, прожил в ней двадцать лет, и она ему очень нравится. Айседора по непонятной причине яростно возненавидела эту квартиру и не могла примириться с тем, чтобы я провела в ней хотя бы одну ночь. Часто они с Видой приходили ко мне в полночь, и Айседора заявляла, что не может спать, зная, что я нахожусь в этой мрачной дыре. Она не могла понять, почему я не осталась в отеле, а я не объясняла ей.

Квартира состояла из салона, спальни, ванной, маленькой кухоньки и огромного балкона. С шестого этажа, на котором она находилась, открывался вид на весь Париж — из-за балкона я ее и сняла.

У хозяйки, занимавшей остальную часть квартиры, была черненькая собачка, приводившая Айседору в ужас тем, что шелкала зубами и рычала на нее. Никогда я не видела более уродливого зверя. Он почему-то невзлюбил Айседору, и она ему от души платила тем же.

Через несколько дней после переезда я забыла о своей квартире и занялась другими делами. На Айседоре все еще была тяжелая серая меховая шуба, доходившая почти до пят, и я сделала ей красивую коричневую накидку, которую она с тех пор часто надевала, и много других нужных ей мелких вещей. Прелестная Айседора, которая всю свою жизнь осыпала всех подарками, казалось, не замечала, что у нее нет даже самого необходимого платья к ланчу или обеду с бутылкой хорошего вина.

Как я уже говорила, Айседоре пришлось оставить свой багаж в отеле «Негреско» в Ницце, где она задолжала восемь тысяч франков, и если бы не доброта швейцара этого отеля, на свои деньги купившего ей билет в спальный вагон до Парижа, один Бог знает, что ей пришлось бы перенести. Айседора никогда о таких вещах не говорила. И вообще, она никогда не говорила о прошлом. Ее боевой клич был: «Неважно, что было, думай, как прожить сегодня». Если у нее имелось сто или тысяча франков или больше, она тратила их сегодня, а завтра — пусть завтра само о себе позаботится. Она заявляла, что мир у нее в долгу и должен оплачивать все лучшее, что она может получить, да кроме того, завтра может и не наступить. Зачем же отравлять сегодняшний день из-за чего-то неопределенного?

Думаю, что именно созданные ею каждодневные трудности и делали для нее жизнь возможной, они отвлекали ее разбегающиеся мысли от единственного горя, день и ночь раздиравшего ее сердце. О, дивная, славная Айседора! Кто мог понять тебя? Понять, что это все для тебя? Как я жалею о том, что увещевала или терзала тебя, пытаюсь спасти от этих забот!

Повседневная нужда в деньгах была ужасной. Счет в отеле рос не по дням, а по часам. Ни один незванный гость (а в день их приходило десятки) не оставался без чая, или коктейля, или обеда, пока отель позволял это. Каждый день у нее было не менее трех-четырёх человек к обеду. Наконец администрация отеля решила, что пора этому положить конец, и заявила Айседоре, что студию она может занимать сколько угодно, но кухня обслуживать ее больше не будет.

Но тут возникла крайняя необходимость собирать по несколько сот франков на каждый ланч, так как Айседора отказалась питаться в дешевых заведениях, «предпочитая умереть с голоду». Очень часто ее приглашали на обед, но среди ее друзей было немного таких, кто мог позволить себе потратить двадцать или тридцать франков в день, не говоря о трехстах или четырехстах. Но как-то ей всегда удавалось достать деньги. Иногда появлялись друзья, которых она не видела годы, иногда газеты помещали ее статью или же продавалась какая-нибудь ее вещь. Много раз я дома плакала до утра от досады, что никак не могу прекратить это видимое мне скольжение в пропасть.

Все это время Айседора, вероятно, сохраняла свою

студию в Нёйи. Идея ее будущей школы была действительно прекрасной, но как Айседора ежедневно повторяла: «Мне нужны, пока я жива, пища, и вино, и место, где жить».

Дело приняло такой угрожающий оборот, что мы собрали заседание комитета, состоящего из тех друзей, которые сохраняли студию в Нёйи, и умоляли продать ее, а Айседоре выдавать каждый месяц достаточную сумму денег. Но комитет — это своеобразный организм, и никакие увещевания на него не действовали. Айседора угрожала продать студию без его согласия и сделала бы это, да студия была записана не на ее имя. Что бы там ни говорили, Айседора была беднейшей из бедняков, вдвойне беднейшей, потому что не знала, как справиться с бедностью. Но в то же время она свободно могла заработать новое состояние, если бы ей предоставили малейшую возможность. А получилось так, что она, владея домом, стоившим большие деньги, который она могла бы заложить и спокойно прожить на них год, оставалась с крупным неоплаченным долгом отелю и без необходимых ей вещей. Комитет состоял из прекрасных людей, искренне любивших Айседору и считавших, что обеспечивают ей жизнь в будущем. Это напоминало мне старинное изречение: «Живи, лошадь, и тогда получишь сено».

Айседора склонила на руку свою усталую, истомленную голову, пытаясь разобраться в финансовых вопросах. Во время заседания комитета официант по ее просьбе принес коктейли, а она, усадив Виду за рояль играть дивную музыку, погрузилась в мир, в котором не было ни денег, ни правил, ни комитетов, а были гармония и любовь.

В тот вечер после заседания комитета мы сидели подавленные и разочарованные. Я яростно ругала комитет, который не только не помогает Айседоре, но своей ложной добротой отнимает у нее единственную возможность получить деньги, заложив собственное имущество. Вдруг в дверь настойчиво позвонили, и тотчас же раздался топот множества ног. Дверь открыли, и мы увидели Еву Ле Галльен с друзьями, нагруженных сандвичами. За ними шли официанты из близлежащего кавказского ресторана. Один нес длинные вертела с шашлыками, другой множество бутылок шампанского на льду. Какая вечеринка! Какая ночь! Айседора, смеясь, произнесла: «Мэри, милая, надо только тихо сидеть и сосредоточиться — и вот тебе Божий ответ. Вот моя прекрасная духовная дочь».

Айседора всегда называла Еву Ле Галльен своей духовной дочерью. Узнав о решении комитета, Ева выругала всех его членов и убежденно сказала: «Не беспокойся, милая Айседора, стоит мне только рассказать о твоём положении мисс Д., и она тебя спасет. Что бы ты ни делала, не беспокойся».

Несколько дней спустя, когда положение стало чернее черного, Ева появилась у Айседоры, триумфально размахивая пятьюстами долларами. Бросая их ей на колени, она вымолвила: «Это все, что мне удалось достать для тебя. Проклятый комитет побывал у нее раньше меня и взял на твою школу тысячу долларов». Такова жизнь. Такая малость осчастливила бы последние дни Айседоры.

Примерно в это время в Париже появилась Ирма, и когда Айседора слышала об этом, ей стало очень грустно, ведь Ирма не дала ей знать о своем приезде. Бедняжка Ирма приехала через Германию, где накануне она похоронила мать. Вскоре Ирма пришла к Айседоре и рассказала о школе. С восторгом выслушав Ирму, Айседора стала умолять ее привезти детей во Францию, чтобы основать школу здесь, объясняя, что одной ей сделать это не хватает мужества. Я думаю, Ирма была искренна, когда сказала, что русское правительство не выпустит детей, если Айседора не найдет человека, который станет гарантом их приезда во Францию и возвращения в Москву и возьмет на себя все расходы. Но она считала, что это можно организовать только на следующий год, а не теперь.

Айседора всегда относилась к Ирме с некоторым подозрением, особенно после поездки в Китай. Она считала, что Ирма приехала в Париж, чтобы договориться с каким-нибудь менеджером о гастролях школы в Америке. Это так ее взволновало, что она пошла в советское представительство, чтобы встретиться с мадам Каменевой (сестрой Троцкого). Эта очаровательная культурная дама успокоила Айседору, повторив то, что говорила Ирма.

Вскоре Айседора встретила с Луначарским, большим своим другом, находившимся в это время в Париже, и объяснила ему свои страхи. Он дал ей честное слово, что дети никогда не выедут из России с кем-нибудь, кроме нее самой, что школа всегда будет принадлежать ей и отныне детям никогда не позволят поехать куда-либо без ее разрешения.

Вечером накануне отъезда Ирмы в Россию в дверь позвонил неизвестный молодой человек. Когда он вошел, видно было, что он очень взволнован и смущен. Он попросил разрешения поговорить с Ирмой наедине. Мы оставили их одних, но не прошло и несколько минут, как Ирма позвала Айседору и сказала, что молодой человек попросил ее отправить в Китай телеграмму и дает на это тысячу франков. Он объяснил, что обратился к ней потому, что она знакома с мадам Бородиной уже много лет, и может подтвердить, что в день, когда мадам Бородину арестовали на пароходе как шпионку, она на самом деле была там, чтобы встретиться со своей дочерью, ученицей школы Айседоры Дункан. Она танцевала со всей школой в Китае. Но Ирме надо было немедленно уезжать, и Айседора обещала сама послать телеграмму, сохранив все в большой тайне.

На следующее утро мы встали рано и поехали в китайское посольство. Посла не оказалось, и мы встретились с первым секретарем. Выслушав нас, он сказал, что по его мнению, телеграмма придет слишком поздно, чтобы принести пользу, и так как в этот момент в Китае было несколько правительств, он не совсем ясно представляет себе, кому ее адресовать. Однако он согласился поставить на ней государственную печать и написать адрес, который ему казался самым верным. Послать телеграмму он предложил нам самим. Не успели мы это сделать, как Айседору охватила страшная паника. Ей казалось, что ее втянули в ужасный заговор. А вдруг телеграмма означает что-то совсем другое? Что она знает о молодом человеке, который ее принес и обратился к ней с просьбой? Да она даже имени его не знает! Мы ринулись к советскому консулу. При нас он позвонил в русское представительство, но не нашел человека, принесшего нам сообщение. Теперь Айседора была убеждена, что здесь какой-то заговор, чтобы казнить мадам Бородину, и ее для этого использовали.

После нескольких часов мук и страданий мы наконец нашли того скромного молодого человека. Оказывается, он по собственной инициативе составил телеграмму. Он уверил нас, что беспокоиться не о чем. Через несколько месяцев, когда я встретила с мадам Бородиной в Москве, она рассказала мне, что именно эта телеграмма спасла ей жизнь. Китайский судья, выбрав ее из многих других, прочел вслух и сказал: «Это от артистки. Артисты не имеют ничего общего с политикой». Эта телеграмма

убедила его в том, что мадам Бородина приехала в Китай действительно ради того, чтобы быть возле своего ребенка, и ее отпустили.

Примерно в это же время нас с Айседорой пригласили на один из грандиозных балов сезона, который давала маркиза Казатти, известная итальянская красавица. Она только что купила один из самых прелестных замков во Франции на пути в Сен-Жермен, милях в пятнадцати от Парижа. Бал роз должен был начаться часов в одиннадцать. Мы прибыли около полуночи под проливным дождем. За много миль до замка были расставлены электрические указатели «Замок роз», и не будь их, найти замок было бы трудно. Когда мы подъехали к нему, то подумали, что перед нами сцена из современной музыкальной комедии или сказки. Все здание обрамлялось маленькими электрическими лампочками. Дорожки в саду, обсаженные тысячами розовых кустов, подсвечивались розовыми и желтыми лампочками. Зрелище было изумительным и великолепно смотрелось сквозь прозрачную завесу льющих с неба потоков воды. Повсюду в замке сновали многочисленные лакеи в красивых ливреях, вышитых золотом, атласных панталонах и шелковых чулках. На этом балу собралась вся элита Парижа, и, по-моему, единственными людьми, говорившими здесь по-английски, были Айседора, Роберт Уинтроп Чэнлер и я.

Айседора была великолепна, и все присутствовавшие, в прошлом ее друзья, не видевшие ее после поездки в Россию, были рады снова встретиться с ней. Даже великий князь Александр, родственник покойного царя, весело приветствовал ее словами: «Как хорошо я помню чай, который мы пили вместе перед вашим отъездом в мою несчастную страну».

Было много блестящих звезд из Комеди Франсез. Знаменитые писатели и поэты нашего времени столпились вокруг Айседоры, восклицая: «Как вы великолепны, а мы слышали такие ужасные истории и думали, что никогда больше вас не увидим; вы, величайшая актриса всех времен, вы, наше самое большое вдохновение». Они говорили правду, потому что в Париже всегда поклонялись Айседоре.

Этот бал предполагался как что-то сказочное. Многие были одеты звездочетами, а в одном из салонов весьма знаменитая дама гадала. Хозяйки нигде не было. Говорили, что из-за волнения и досады на дождь она потеряла

сознание, и ее унесли в постель, но вскоре она все же появилась. Надо сказать, что ничего более величественного и страшного я никогда раньше не видела.

Эта очень худенькая дама казалась шести футов росту, а чтобы выглядеть еще выше, на голову она надела очень высокий черный колпак, усеянный блестящими звездами. Середина лица была закрыта черной маской, из-под которой сверкали большие страстные глаза. На даме был костюм звездочета, на руках, шее и плечах сверкало множество драгоценностей. Самое поразительное в этой женщине было ее полное безразличие к гостям. Она скользила по комнатам, как во сне, здороваясь то с тем, то с другим, будто сама была тоже приглашенной. Повсюду царил невероятная неразбериха. Ужин был приготовлен примерно на триста пятьдесят гостей, и около половины третьего ночи слуги начали вносить один за другим полностью накрытые столы, уставленные всякими деликатесами. Но хозяйка не обращала ни малейшего внимания на то, что происходило, поэтому гости были совершенно сбиты с толку и не понимали, садиться ли за столы или это какое-то представление, так что, по-моему, поужинало не больше двадцати человек. Однако бар, оборудованный в конце огромного зала, работал вовсю. Там были всякого рода сэндвичи и бесконечно много шампанского.

Айседора, одна из совершеннейших хозяек в мире, умевшая гениально сделать так, чтобы всем было хорошо и весело, с трудом выносила эту суматоху и неудовлетворенность гостей, и мне пришлось приложить большие усилия, чтобы не дать ей взять на себя обязанности хозяйки и организовать все как следует, что она, безусловно, и сделала бы, останься мы там подольше. С ее точки зрения, это были выброшенные на ветер великолепная еда и отличные вина, раз люди не веселились, не чувствовали себя счастливыми и не получали удовольствия. Я очень хорошо знала, что, если бы Айседора выпила несколько бокалов шампанского, ничто бы ее не помешало ей веселиться от души, заразив своим весельем и остальных, и, видя, что эти люди более или менее ожидают, что она начнет вести себя безрассудно, как и подобает человеку с ее репутацией, я убедила ее уехать в самом разгаре праздника, с тем чтобы эти люди впоследствии говорили: «Какую ложь слышишь об Айседоре!»

На следующий день она думала так же, как и я, но при этом жалела, что заплатила такую ужасную цену за их доброе мнение и упустила великолепную возможность.

Как память о том знаменитом событии я до сих пор храню золотую розу, в середине которой вделан крохотный флакончик розовых духов. Такую розу при отъезде получал каждый гость.

МЕМУАРЫ АЙСЕДОРЫ

(1927 г.)

Много лет пыталась я заставить Айседору написать мемуары еще в дни, когда мы встретились у Вагнеров и начали собирать заметки и фотографии. И вот, уезжая в 1923 г. в Америку, Айседора дала мне доверенность на единоличное право продавать ее мемуары. Я до сих пор храню этот документ как драгоценность.

Однажды на обеде у мистера Роберта Уинтропа Чэнлера я начала вспоминать некоторые наши приключения. Один из гостей, мистер Т. Р. Смит, сказал: «Мадам Де-сти, мне хотелось бы, чтобы вы это для меня написали. Получится очень интересная книга».

— Я могу сделать лучше,— ответила я.— Я могу заставить Айседору написать это. Тогда эти записки будут иметь по-настоящему большую ценность.

И мы договорились встретиться на следующий день.

Он сказал, что, если в записках будут истории вроде той, что я рассказала, он их опубликует, затем назначил встречу с редактировавшим в то время журнал «Либерти мэгэзин» Джоном Уилером, которого интересовало право на публикацию заметок частями и который предложил мне за них десять тысяч долларов. Я поставила условие выплатить достаточный аванс, чтобы Айседора могла прилично жить, когда будет писать их, а затем дала Айседоре соответствующую телеграмму.

Она немедленно ответила, требуя еще несколько тысяч долларов, но в это время мистер Уилер обсудил планы с несколькими знавшими ее журналистами, и они решили, что давать ей аванс в высшей степени неразумно, ибо были уверены, что она никогда не займется этой работой всерьез. Тем не менее он согласился дать деньги, необходимые для завершения работы, при условии, что она предоставит ему четверть или треть всей рукописи. Я знала, что это невозможно из-за ее финансового положения, но написала ей все очень подробно и в дальнейшем ничего не слышала о мемуарах, приходили только отчаянные телеграммы, что нужны деньги. Она также

попросила меня встретиться с Лоэнгрином, что я и сделала, но безуспешно. Семь или восемь месяцев спустя Бони и Ливчайт закончили переговоры с ней об издании ее мемуаров, договорившись об авансе, который был достаточным для того, чтобы она могла их написать. Когда я приехала в Париж, аванс был растрачен, а мемуары не закончены.

Я сделала все, что было в силах, чтобы поддержать Айседору и поторопить ее их завершить, и думаю, что эта великая книга так бы и не была до конца написана, не окажись я рядом.

Каждый день, чем бы мы ни занимались, я настаивала, чтобы Айседора описала какой-нибудь период своей жизни. Много раз я часами напоминала ей какие-нибудь эпизоды, о многом говорила и шутила о том или ином случае из нашей жизни, только чтобы она работала. Я заявляю, что никто не написал ни единого слова в книге Айседоры Дункан «Моя жизнь», кроме нее самой, и никто ей в Париже не помогал.

Вдвоем с Джулиет Баррети Рабли мы отвезли рукопись, написанную большей частью почерком самой Айседоры и лишь в небольшой части продиктованную ее секретарю, к стенографистке, и миссис Рабли заплатила 2400 франков за перепечатку в шести экземплярах. Многие люди намекали на совместную работу или помощь, но это абсолютная неправда. Повторяю, Айседора написала сама все до единого слова.

Какое это было безнадежное предприятие пытаться привести в порядок ее дела! Айседора решила, что не может ни дня больше дышать в Париже. Ее искренний друг и большой поклонник директор «Трокадеро» предоставил в ее распоряжение студию в самом театре «Трокадеро». Но так как это был муниципальный театр и все помещения постоянно эксплуатировались, Айседора не могла пользоваться ею одна.

Она хотела повесить свои занавесы и положить свои ковры, все расположить по-своему, иначе работать ей было невозможно. Айседора намеревалась набрать группу французских детей и снова открыть свою школу танца, надеясь, что правительство благожелательно отнесется к этой идее и возьмет школу под свое покровительство.

Но использовать помещение так, как она хотела, было невозможно, и она решила уехать из Парижа; когда мы стояли у зарешеченного окна студии «Трокадеро», нам казалось, что мы в тюрьме. Ни у нее, ни у меня денег на

такси не было. Вида не приехал за нами, и мы не знали, как попасть домой.

В конце концов Айседоре пришла на ум блестящая мысль. Она позвонила портье своего отеля и, объяснив, что не может ездить на такси, спросила, не знает ли он фирму, где можно взять машину напрокат помесечно? Он ответил, что знает многих, кто сдает машину напрокат, но не знает, никого кто сделал бы это в кредит. Однако, когда она уверила его, что к первому числу у нее будет много денег, он согласился попросить своего друга дать на этих условиях напрокат свою машину. Очень скоро к дверям «Трокадеро» подъехала машина, и Айседора тут же забыла обо всех своих неприятностях и заботах.

Мы поехали в отель. Айседора собрала кое-какие вещи, и мы отправились в Сен-Жермен, маленький павильон которого Айседора любила больше всех других мест. В дороге я ворчала, что мне необходимо вернуться в Париж.

Управляющий отеля «Генрих IV» был рад снова видеть мисс Дункан, помня еще те дни, когда она была самой желанной гостьей, которой все льстили. Во время обеда я заметила в глазах Айседоры озорной блеск. Казалось, что ее что-то очень забавляет, о чем она, по-видимому, сказала Виде, потому что у него тоже был довольный вид. Я терялась в догадках, но знала, что Айседора держать секрета долго не может.

Несмотря на мои возражения, меня убедили остаться до утра, и в Париж мы вернулись все вместе на своей машине. Каждый вечер Айседора с Видой ездили в Сен-Жермен. Представьте мое удивление, когда, неделю спустя, любимая подруга Айседоры Рут, только что приехавшая из Америки, сказала мне, что оплатила наш счет в отеле «Генрих IV». И я поняла причину радости Айседоры.

Она не платила по счету, но и не отказалась от своей студии в отеле, где жила, поэтому сняла номер в Сен-Жермене на мое имя, придумав, что я пригласила ее туда. А спустя время Рут сказала мне, что все это была шутка, чтобы подразнить меня, и что оплатила она не мой счет, а Айседоры.

* * *

Я считала, что единственным спасением для Айседоры было похудеть и снова начать танцевать. Она не танцевала уже три года, если не считать нескольких вы-

ступлений в Ницце. Сначала Айседора и слышать не хотела о похудении и обижалась каждый раз, когда об этом заговаривали. «Дайте мне большую студию, где я смогу танцевать, и ты увидишь, как я растаю, подобно зажженной свече».

Я бы с удовольствием сняла ей студию, но в Париже они так же редки, как зубки у воробья. И все-таки мы добросовестно искали. Я переговорила с менеджером Айседоры мадам Сесиль Сарторис. Мы договорились, что, если Сесиль организует концерт на подходящих для Айседоры условиях, я ни на секунду не оставляю ее и гарантирую, что она будет в состоянии танцевать. У меня всегда было очень странное влияние на нее там, где дело касалось танца. По-моему, это было потому, что я всецело верила в ее великое искусство. Для меня она как артистка была сверхчеловеком, никто в мире не мог сравниться с нею, а когда дело шло о танце, я всегда могла оторвать ее от личных дел, несмотря на то что она несколько раз заявляла, будто время ее танца прошло и она никогда больше танцевать не будет. Я всегда могла сломить это настроение своей искренней верой в ее возможности, и что бы ни говорили, мы обе знали, что она может танцевать так же, как всегда, и сможет продолжать делать это много лет.

Я часто говорила с ней о танцах, искусстве, похудании, пока она не заявляла, что выбросит меня из окна. Но всегда было по-моему. Итак, каждый день в дождь или под ярким солнцем мы брели в бани Орсьера. Милый старикан Орсьер! Он не однажды приводил Айседору в надлежащий вид. Он был доволен. Еще раз он сможет показать Парижу, на что он способен.

После бани мы съедали на ланч баранью котлетку и ломтик ананаса, а Айседора обязательно выпивала один коктейль. Она говорила, что пища не лезет ей в горло, если она не выпьет. Но если было необходимо, она жила бы на одних галетах. Я ни в ком не встречала такой целеустремленности, какую проявляла она. Она была уверена, что будет танцевать хорошо! И, пребывая в состоянии одержимости, чуть было не свела с ума бедную мадам Сарторис.

Если Айседора видела афишную тумбу без своего имени, то выговаривала нам, что реклама плохая и что ее менеджер хочет, чтобы она танцевала при пустом зале. Она могла бы и при пустом зале танцевать, просто для того, чтобы убедить нас, что мы делаем большую ошиб-

ку, заставляя ее танцевать, а если мадам Сарторис не будет выдавать ей по триста франков в день, то она не сможет питаться так, как ей необходимо. Это продолжалось до тех пор, пока бедняга Сесиль Сарторис из-за волнений не начала худеть быстрее Айседоры, что очень забавляло нашу великую артистку.

Она любила, чтобы все находились на грани помешательства — возможно, таковы все великие артисты. Помню, как в поместье Вагнеров артисты заявляли, что фрау Вагнер хочет их смерти: во время репетиций она держала их в состоянии сильной тревоги и волнения до самой премьеры, и тогда их творческий взлет был подобен взлету ракеты.

Наконец наступил день дневного выступления. Мы с Айседорой поехали в театр одни. У нее уже не было служанки, и все утро она занималась тем, что собирала разные мелочи — английские булавки, резинку и пр., необходимые ей во время выступлений. Но когда мы под проливным дождем добрались до театра, оказалось, что она все оставила дома.

Спихнулись мы буквально за несколько минут до подъема занавеса. Я послала за вещами одного из служителей сцены, и тут Айседора обнаружила, что забыла свое короткое трико длиной лишь в несколько дюймов. Она сказала: «Я не могу без него обойтись, вернее, смогла бы, но публика иногда настолько пуританская, что, вместо того чтобы чувствовать дух моего танца, она смотрит, все ли у меня прикрыто. Разве ты не помнишь полицию в театре в Бостоне?»

Пока мы размышляли, как же поступить, раздался вызов на сцену. Настроение Айседоры мгновенно изменилось к лучшему: она будет танцевать без трико! Сказать по правде, она с еще большим бы удовольствием танцевала нагая. Айседора считала, что совершенно неважно, что на ней. Чистота ее искусства охватывала ее с такой силой, что ничто в ее глазах не могло ее поколебать. И действительно, никто не заметил отсутствия трико.

Невероятный эпизод чуть не погубил все. В тот день ее уборная, коридор, кулисы и вообще все, где только можно было поставить что-нибудь, было полно цветов. Негде было повернуться. Это очень радовало Айседору, хотя она и говорила: «Было бы гораздо лучше, если бы мне дарили, пока я жива, шампанское. Цветы смогут послать, когда я умру. А произойдет это скоро, если мне не найдут помещения для танцев».

Накануне вечером, когда мы, как шальные, искали достаточно большой зал, где она могла бы репетировать, позвонил приятель и сообщил, что администрация отеля «Маджестик» любезно предоставляет на вечер в распоряжение мисс Дункан свой балльный зал. Мы приехали туда и увидели, что на полу нет ковра. Ехать за ее ковром в театр было слишком поздно, а на непокрытом полу она репетировать не могла.

Расстроенные, мы стояли в вестибюле отеля и разговаривали с управляющим. Вдруг Айседора увидела своего архангела, с которым не встречалась много лет. Он получал ключ от портье. Но она не заметила его жену и тещу, стоявших позади нас. Когда он направился в нашу сторону, Айседора пошла ему навстречу, протянув руку. Он пожал и поцеловал ее, но в высшей степени странно.

Айседора спросила: «Как ты считаешь, не пора ли стать друзьями после всего, что было?»

Он ответил: «Конечно, конечно же мы друзья».

Она сказала: «Я завтра танцую, и мне хотелось, чтобы ты пришел, так что я с удовольствием пришлю тебе билеты». Он пробормотал что-то невразумительное о том, что на следующий день уезжает, поклонился и пошел к своей семье. Вид у его дам был весьма недовольный. Они пошли к лифту.

Айседора, сама нежность, была тронута тем, что увидела человека, которого всегда по-настоящему любила. Надо сказать, что если Айседора любила, то это навсегда. Она никогда не менялась, ни при каких обстоятельствах.

В день выступления, прямо перед выходом на сцену ей принесли в уборную великолепный букет белых лилий с карточкой, на которой стояло: «С нежной любовью, Архангел».

Ее лицо Мадонны, полное гармонии от музыки, под которую она приготовилась танцевать, озарилось святой любовью и всепрощением. Айседора никогда не выходила на сцену, не сосредоточившись и, как она говорила, не запустив мотор. Она считала, что все ее движения рождаются где-то около сердца, и обычно стояла совершенно неподвижно, пока ее всю не охватывало это чувство, и лишь тогда начинала танцевать.

— Какой же он прекрасный, Мэри, несмотря ни на что.

И я, сентиментальная дура, почувствовала, что по

щекам моим текут слезы. Я всегда считала, что у него чудесная душа, и никогда не обвиняла ни его, ни кого-нибудь другого в том, что он влюбился в одну из учениц Айседоры. Айседора всегда проповедовала свободу, но сама оказалась не на высоте, когда наступил кризис.

Она вышла на сцену, полная счастья, считая, что ее Архангел, великий художник, в зале и что все прекрасно и гармонично. Я быстро выбежала в зал и села в первый ряд. Зал был полон, состав зрителей великолепен: все выдающиеся деятели культуры, все поклонники ее искусства. Затаив дыхание, они снова смотрели на нее, божественную Айседору, изумительную Айседору. Некоторые пришли, чтобы написать рецензии. Медленно раскрылся занавес, и вышла Айседора — как долгий таинственный звук музыки, как сама душа и дух гармонии. На протяжении всего танца тишина стояла мертвая. Никогда в жизни не было такого успеха, такого экстаза, даже в величайшие дни юности она так не захватывала публику. В этом было что-то мистическое и святое. Когда она танцевала под «Аве Марию», публика плакала, казалось, что все: критики, танцоры, художники, музыканты, рабочие сцены — еле сдерживают рыдание. Всеобщий восторг был бешеным. Не успела она кончить, как весь зал словно один человек, поднялся, аплодируя и плача.

О Боже, как прекрасно, что ей дали возможность пережить этот последний триумф, славное прощание с Парижем, сценой, танцем! Я тут же бросилась за кулисы и нашла Айседору в слезах радости. Дирижер аккомпанировавшего ей оркестра Альберт Вульф целовал ей руку, а по лицу его бежали слезы.

Айседоре надо было очень быстро сменить костюм. К тому же в уборной у нее всегда во время выступления имелись бутылка шампанского и фляжечка брэнди и Айседора перед выходом на сцену выпивала бокал. Сердце у нее было очень больное. В середине второго отделения, когда на несколько секунд опустили занавес, я за кулисы не пошла, и в этот момент произошло несчастье.

Каким-то образом, до сих пор не знаю как, Айседора обнаружила, что лилии присланы не архангелом, а ее подругой красавицей Мерседес, которую она, как я уже говорила, называла женщиной-архангелом и которая вернулась из Америки специально к выступлению Айседоры. Из первого ряда я увидела, что она как-то не так упала в сцене смерти Изольды. К счастью, публика ничего не заметила. Я бросилась на сцену — выступление уже зако-

нчилось — и обнаружила, что Айседора очень слаба и не может выйти на вызовы зала.

У Айседоры была странная черта: она не допускала, чтобы кто-либо знал, что она обижена, поэтому, прижав букет лилий к сердцу, жалобно вымолвила: «Мэри, родная, мне не хотелось разбивать твои иллюзии насчет архангела. Мне казалось, что ты так счастлива, думая, что он не забыл меня. Но эти цветы не от Уолтера, а от самой чудесной из всех архангелов — Мерседес». Милая Айседора!

К этому времени на сцене собралось много людей. Все хотели обнять ее и сказать, как она чудесна. Но она была очень далека от нас и почти ничего не понимала.

Я отвела ее в уборную. Потом, когда мы смогли пробиться сквозь толпу, теснившуюся у выхода (не обращая ни малейшего внимания на проливной дождь), мы поехали на машине домой. Весь коридор отеля и каждый свободный дюйм ее комнаты были полны самых изумительных цветов. На много тысяч франков. К слову сказать, все билеты на ее великолепное представление были проданы, но расходы оказались настолько большими, что Айседора не получила ни гроша, даже на обед. Хорошо, что обед был заранее заказан.

Самым грустным было то, что она без конца откладывала свое выступление, пока не стало слишком поздно назначать еще одно представление, которое принесло бы ей деньги. Она винила в этом всех, кроме себя. Мне, право же, казалось, что, несмотря на конец сезона, она легко выступила бы еще несколько раз при полном зале.

Айседора тяжело переживала, что, пройдя через страшные муки ради того, чтобы похудеть и снова обрести форму, она протанцевала лишь один раз. Это разбивало ей сердце. Начав танцевать, она хотела продолжать выступать. Ведь это было единственное, что она хотела в жизни, — танцевать, танцевать и еще танцевать.

В этот вечер после обеда в доме мадам Сарторис Айседора дала полное представление. Она танцевала «Воскрешение и Жизнь». Затем решила как можно быстрее уехать в Ниццу, чтобы подготовить новую программу — «Симфонию Данте».

Перед отъездом в Ниццу, на день, который чуть не оказался драматическим, но закончился счастливо, были назначены крестины ребенка наших друзей. Естественно, Айседору не пригласили, потому что все сочувствовали ее

страданиям, которые она будет испытывать при виде ребенка. Но Айседора из-за какого-то упрямства, казалось, обижалась на это и старалась сделать все, чтобы не дать и мне пойти туда. Она пребывала в дурном настроении.

Мы вместе провели ланч, который она без конца затягивала. У меня дома, пока я переодевалась, она умоляла поехать с ней за город, повторяя, что не может остаться одна. Но я сказала: «Айседора, милая, пойдем со мной, если хочешь. Ты же знаешь, все будут счастливы видеть тебя».

Она яростно набросилась на меня. Я сказала: «Не знаю, что делать, Айседора. По-моему, ты чем-то сильно раздражена». Мы поехали в ювелирный магазин, где я заказала крестик и цепочку с именем ребенка и датой рождения. Это прекрасный русский обычай надевать их при рождении ребенка. Крестик всегда дает крестная мать, и ребенок носит его всю жизнь.

Мы ехали в направлении Нейи, несколько раз попадая в пробки. Время подходило к четырем, то есть к началу крещения, и я стала нервничать, особенно потому, что Айседора нарочно задерживала меня. Не помню, как началась ссора, но она имела отношение к тому, что накануне вечером Айседора требовала, чтобы ей подали много очень дорогого брэнди, потратив последние имевшиеся у нас гроши. Я, помнится, говорила ей вульгарные вещи вроде: «Если бы ты прекратила пить такие дорогие вина, я пошла бы за тобой на край земли». Айседора в ярости обернулась ко мне: «А, значит, этот жалкий человек, занимающийся росписью шелка, говорил мне правду. Значит, ты действительно говоришь обо мне как о пьянице!» Я, пораженная, спросила: «Айседора, как можешь ты говорить такое? Всю жизнь я говорю о тебе только как об ангеле». «Ну,— воскликнула она,— теперь я должна поверить в то, какие страшные вещи ты говорила обо мне и о том, что я пью! Можешь уходить, оставь меня сегодня!»

Когда Айседора сказала, что действительно верит, будто я рассказываю другим о ее пьянстве, я рассвирепела. Выскочив из машины, я воскликнула: «Айседора, как ты могла такому поверить?! Никогда больше я с тобой не встречусь и не буду разговаривать!»

Обливаясь слезами и поняв, как страшно меня оскорбила, Айседора сказала: «О Мэри, если ты бросишь меня после двадцати семи лет дружбы, то на свете не

останется никого, кому можно было бы верить. Конечно же я ничему не верю. Какой-то демон вселился в меня сегодня, я просто хотела обидеть тебя».

Протянув ко мне руки, она умоляла меня вернуться и сказала: «Вот почему я почти не упоминаю тебя в своей книге, хотя ты присутствуешь на каждой странице».

Мы обе заплакали и сели в машину. Мы плакали всю дорогу до Нёйи, где жили наши друзья.

— Передай мою любовь — попросила Айседора, — большую любовь ей и ее ребенку.

Когда я, опоздав на полчаса, вошла в дом с красными от слез глазами, все очень перепугались, полагая, что я попала в аварию. Я умылась, и мы поехали в церковь, где и окрестили малышку.

АЙСЕДОРА НА МЕЛИ В ДОВИЛЕ

(1927 г.)

На протяжении всех финансовых треволнений Айседора нигде не могла получить ни гроша, хотя почти ежедневно от различных периодических изданий поступали предложения купить права на ее мемуары. Некоторые предложения были достаточно хороши для тех стран, откуда они исходили, но куда им было тягаться с Америкой!

Наконец Айседора продала за 400 фунтов право печатать мемуары на английском языке лондонской газете «Санди крониклз». 100 фунтов ей должны были заплатить по получении рукописи, 300 — шесть недель спустя. Это было просто подарком небес, потому что мы, как говорится, дошли до ручки. Но то, как были использованы деньги, показало, до чего безнадежным занятием было вести дела Айседоры. Друг Айседоры Мерседес Д'Акоста опять уезжала в Америку, и Айседора повезла ее к поезду, отходившему в 10 часов вечера. По дороге она решила, что поедет с ней до Гавра и там посадит ее на пароход. Итак, она, Вида и Мерседес поехали в Гавр, оставив нанятый автомобиль у дверей студии. Взошли на борт парохода, и тут Айседора попросила Мерседес спрятать их с Видой и взять с собой в Америку.

Мерседес готова была пойти на любой риск ради Айседоры, но при чем здесь Вида? Айседора расценила как в высшей степени бессердечные возражения Мерседес и заявила, что не оставит Виду. Когда она сходила на

берег, Мерседес дала ей конверт и сказала: «Береги это. На это ты доедешь до Парижа».

Пока пароход отчаливал, Айседора, как молодой атлет, бежала до конца причала. Затем она и Вида наняли лодку, чтобы доплыть до Трувиля и провести славный денек в Довиле, а затем поездом вернуться в Париж. Айседора с Видой пошли в ресторан, но прежде чем сделать заказ, она открыла конверт и увидела в нем записку: «Милая Айседора, мне жаль, что сумма не в десять раз больше, но эта тысяча франков — последнее, что у меня есть с собой. С любовью, Мерседес». Однако тысячи франков в конверте не было.

Стали искать деньги, но так и не нашли их, видимо, они потерялись во время прогулки. Выйдя из ресторана, Айседора послала мне телеграмму, чтобы я взяла стоящую у двери студии машину и немедленно (ради Бога!) приехала их спасти. Конечно, я собрала все, какие смогла, деньги, уложила чемоданчик и выехала часа в три дня. По приезде я была на вокзале и в нескольких отелях, но нигде не было даже следов Айседоры и Виды.

Часов в восемь, когда уже начало темнеть, я увидела их, бредущих тяжелой, усталой походкой. Айседора очень обрадовалась, увидев наконец свою машину. Не надо больше тащиться по улицам пешком.

— Деньги у тебя есть? — спросила она. — Мы голодные.

— Да, достаточно, чтобы хорошо пообедать.

— О, Вида, наконец-то мы пообедаем. Мы ведь целый день держимся на одном сэндвиче и кружке пива. И даже присесть не можем, потому что не успеешь сесть, как женщины с котомкой начинают кланяться пени. Вот нам и пришлось ходить целый день, и на пляж мы не могли пойти, боясь пропустить тебя. О, как же мне хотелось поплавать в этом чудесном океане! Но даже этого нельзя было сделать без денег! Наконец-то я получила урок и начинаю понимать, что деньги — самая важная вещь на свете. Если бы я стала жить заново, я, вместо того чтобы раздавать деньги, собирала бы их, придерживала и прятала. Я говорю серьезно. Сколько добра можно сделать, когда есть деньги! И все-таки, по-моему, жалко, что люди с большими деньгами даже не представляют себе, какое счастье они могли бы доставить другим, и думают только, как бы превзойти своих соседей, покупая дорогие вещи. Никто из них не дает мне денег открыть школу, пока я жива. Это так

жестоко, что просто невозможно себе представить! Скоро меня не станет, и что тогда? Как мало денег нужно, чтобы содержать сто детей в течение нескольких лет, а какие великолепные результаты! Представляете, празднование какого-нибудь национального праздника, и дети, подобно богиням, возвращаются к величию Греции.

Я часто думаю, что, если бы я могла в Америке встретиться с мистером Фордом и объяснить ему мою идею о танце молодой Америки, он бы меня понял и субсидировал бы мою школу. Уже много лет я слежу за его карьерой и думаю, что он единственный из миллионеров, серьезно заинтересованный в детях будущего.

К этому времени мы доехали до Трувиля и вошли в прелестный ресторанчик, находящийся на пляже «Мадам Рици»,— в недавнем прошлом модном летнем курорте, собиравшем красавиц со всей Европы. Теперь красавицы переместились в Довиль и там давали возможность получать удовольствие от их общества.

Мы отлично пообедали, денег нам хватило, и мы уже было собрались в Париж, как вдруг Айседора решила остаться на несколько дней у моря. Она считала роскошью приехать к морю и уехать, не искупавшись и даже не замочив ног. Нет, поступить так она не могла, море никогда бы ее не простило! Кроме того, она очень-очень устала, а я привезла ее вещи.

«Мы можем остановиться в отеле,— сказала она,— а Вида в машине вернется в Париж, возьмет чек на сто фунтов, который уже должен к этому времени поступить, и вернется. Я умираю как хочу подышать морским воздухом!»

Мы поехали в отель «Рояль», где нам с большой скидкой сдали комнату по 300 франков за сутки. Это была прелестная комната с видом на море. Вида уехал.

Айседора мгновенно преобразилась. Она снова была защищена от проблем и счастлива. Хождение по улицам без гроша в кармане и без крыши над головой не было ее идеалом жизни. «Мы поступали так в юности,— сказала она,— а теперь настало время наслаждаться отдыхом и красотой, которые нам положены. Ненавижу жалкую, обтрепанную нищету!»

Чтобы отпраздновать наше пребывание у моря, она заказала обед, достойный короля, простой, но изысканный, и бутылку чудесного шампанского. Всегда было что

праздновать, так что при малейшей возможности жизнь начинала искриться весельем. Айседора всегда создавала атмосферу счастья для всех вокруг нее и возможность забыться для себя.

Прошел следующий день, потом другой, третий, а Вида не возвращался. Мы весьма забеспокоились, особенно потому, что безуспешно пытались связаться по телефону. Наконец на четвертый вечер мы застали Вида. Он сказал, что чек взял, но думал, что спешки никакой нет. Мы пытались объяснить ему необходимость поторопиться — ведь сидим без гроша! Была половина второго ночи, и он не мог, конечно, получить деньги по чеку, который был на имя Айседоры. Мы велели ему найти шофера и к утру быть в Довиле. Что он и сделал, прибыв в воскресенье в 8. 30 утра.

Ни один мужчина не был более желанным в жизни Айседоры, чем он. Воскресенье, море, и Айседора решила, что жаль сразу же возвращаться в Париж, не показав Виду казино и прекрасные пляжи Довиля. И вот, надев одно из моих разрисованных платьев, Айседора вместе со мной и Видой вышла на прогулку. Мы осмотрели Довиль, превосходно провели день, и только в понедельник утром наши мольбы и увещания заставили Айседору согласиться уехать в Париж.

К этому моменту предъявленный нам счет в отеле составлял 4500 франков плюс стоимость четырех поездок на машине в Париж и обратно. В Париже мы опять оказались без гроша. Целый месяц мы провели в мучительном ожидании ста фунтов, а исчезли они за четыре дня! Мы начали понемногу уставать.

После моря нам было очень жарко и душно в Париже, и так как не было причин оставаться — срок соглашения о рекламе выступлений Айседоры на данном этапе истек, — она решила схать в студию в Ницце, от которой, заявила она, я приду в восторг. «Подумай только, Мэри, прямо из дверей ты видишь море, в студии тихо и спокойно, стены увешаны голубыми занавесями, по всему помещению разбросаны розовые бархатные кушетки с сотнями подушек, алебастровые лампы освещают все мягким светом. Это маленький рай на земле! Вида будет играть нам райскую музыку — ну что еще надо? Есть только одна трудность: нам необходимо раздобыть денег, чтобы в него попасть».

Казалось, будут деньги — и исчезнут тревоги, и я обещала достать деньги, если Айседора даст слово работать

над новой программой. «Да,— согласилась она,— даю, ведь это спасение моей жизни. Это единственное место, которое я люблю. Ты с ума сойдешь от радости, когда его увидишь».

Приятельница Виды Алиса предложила отвезти нас на своей машине. Было в этом только одно маленькое но: Алиса должна была возвратиться в Париж через три дня, то есть, если она сможет довести нас до Ниццы за два дня, обратно ей придется ехать день и ночь. В этом случае Айседора должна была обещать не задерживаться по дороге. Айседора пообещала бы все, что угодно, лишь бы выехать на машине из Парижа к морю. Море всегда ее звало, счастлива она была только около него и под его влиянием.

НАША ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА В НИЦЦУ

(1927 г.)

Я встретила с хозяином отеля и сказала ему, что если он примет обязательство уплатить за три неоплаченных месяца тремястами фунтами, которые придут из Лондона, мы сразу же уедем и вернемся в октябре. Это были последние из 400 фунтов оплаты за права.

Айседора настояла, чтобы я провела ночь с ними, но со всеми визитерами, музыкой, танцами утром оказалось, что у нас ничего не упаковано, а если мы хотим воспользоваться предложением ее юной подруги, выехать нам надо было до полудня. В конце концов, выехать нам удалось лишь в пять часов, причем Айседора сильно поспорила с девушкой из-за багажа. Машина была маленькая, в ней было мало места, а Айседора хотела нагрузить ее и сидеть на багаже, но чтобы он обязательно был с ней. После долгих разговоров мы убедили ее отправить багаж, но, когда прибыли на Орлеанский вокзал, она заявила, что так как в багаже в основном были рукописи и вещи, она не может расстаться с ними. Прошел еще час, и нам все же удалось выехать; багаж громоздился высокой кучей, был распахан всюду, а девушку ждало большое нервное потрясение.

Мы провели ночь в Фонтенбло. Айседора была в ужасном состоянии, так как не приехал Вида. Мы должны были встретиться здесь, ему пришлось ехать поездом. Часов в одиннадцать несколько студентов, обедавших в том же ресторане, пригласили нас в Американс-

кую школу музыки, где в эту ночь был костюмированный бал. Мы пошли, и Айседора сочла, что их манера танцевать шокирующая и вульгарная.

На следующее утро мы весело отправились в путь. Была великолепная погода, и все шло прекрасно, пока часа в четыре не хлынул дождь. Мы остановились выпить чаю, но Айседора к этому времени была вымотана и, не привыкнув, чтобы ею командовали, решила там заночевать. Алиса отказалась, сказав, что если мы не продолжим путь, то она никак не успеет вовремя вернуться к назначенной встрече. Это была очень горькая пилюля для Айседоры, привыкшей всю жизнь определять, где она хочет остановиться, а где ехать, но тем не менее мы двинулись под проливным дождем и ехали до десяти вечера, причем девушка гнала, как сумасшедшая, чтобы наверстать упущенное время.

Мы остановились пообедать в чудесной маленькой гостинице, где хозяин был известен как превосходный повар, владевший одним из лучших винных погребов во Франции, и Айседора заявила, что дальше не сделает ни шага. Из озорства она требовала, чтобы мы попробовали всякого рода вина, что девушке, как я уже говорила, делать было нельзя, и вот теперь, находясь в сильном раздражении, она сразу почувствовала эффект этих вин, и это вместе с целым днем напряжения за рулем под слепящим дождем вызвало неожиданную истерику. Ночь прошла кошмарно. Раз шесть мне казалось, что она умирает, но Айседора, не обращая на нее внимания, мирно спала.

На следующее утро девушка, очень бледная, сказала с самым решительным видом: «Я готова выехать и беру вас, но больше мы не останавливаемся. Если мы сейчас же выедем, нам придется ехать день и ночь». Понятно, что Айседоре это не подходило, но Алиса твердо стояла на своем, и делать было нечего.

На ланч мы остановились в самом противном ресторане, который на нашу беду нам попался. Я забыла сказать, что четвертый член нашей группы боялся Алисы. Всю дорогу он сидел рядом с ней. Звали его Иван, очень красивый и очаровательный молодой русский, который снимал нас своей кинокамерой.

Почему-то Айседора не могла видеть влюбленные парочки и, кроме того, была раздражена, что Виде не разрешили ехать с ней, поскольку в машину влезало только четверо. Он поехал поездом, хотя Айседора тре-

бовала, чтобы он сидел у нее на коленях. Алиса твердо отказала. Из-за этого большая часть фильма, который Иван собирался снимать всю дорогу до самой Ниццы, снята так и не была.

Странно, но Айседора не выносила вида влюбленных. Не имело значения, состоят они в браке или нет. Я так и не могла объяснить этого, настолько это не соответствовало ее характеру. Ну а женатые пары были просто ей невыносимы. Она объясняла это тем, что брак чудовищно буржуазен и что оба супруга мешают развитию друг друга.

Когда мы вошли в ресторан, Иван спросил надутого владельца, который сам вышел к нам, есть ли у него что-нибудь съедобное. Это было достаточно хорошим началом для ресторатора, знаменитого своей кухней. Он ответил, что еда неплохая, если мы думаем, что можем себе ее позволить. Это был удачный ответ, и я только собиралась сказать что-нибудь остроумное, как вошла Айседора, улыбаясь так любезно, что хозяин склонился до земли и ввел нас в зал.

Обслуживавший нас официант посоветовал взять готовый ланч, но Айседора по своей привычке сказала, что ничего есть не будет, кроме холодного ростбифа с салатом. Официант сказал, что это можно, так как эти блюда входят в готовый ланч, но русский, который был очень голоден, сказал, что съест остальные блюда из ланча Айседоры. Начался спор с официантом, особенно еще и потому, что мы заказали масло сверх программы.

Малейший спор за столом всегда расстраивал Айседору. Она смертельно бледнела и действительно не могла его выносить, потому что желудок сразу реагировал на нервы. Она платила любые деньги, которые требовали, или уходила, но спора она не выносила. Как же хорошо все рестораны знали это и часто брали с нее деньги, которые никогда не посмели бы взять с кого-нибудь другого! Не говоря ни слова, Айседора встала и вышла из ресторана, прошла к прибрежным камням и сидела у воды, пока мы не поели. Так она и не съела ни крошки.

Я ела ланч, не обращая внимания на владельца, потому что за ланч мы уже заплатили. Мы слышали, как он по-немецки обзывал нас проклятыми американцами, что раздражало еще нескольких американцев, сидевших в зале. Алиса ввязалась в перепалку, и вскоре завязалась довольно забавная дискуссия о том, что мы делаем со

своими американскими долларами в Европе и т. д. и т. п., в то время как Европа столько времени страдает.

Мы позвали Айседору и отправились дальше, оставив немца — владельца французского ресторана в большой обиде. Айседора почти не разговаривала с нами, но немного погодя высказала желание попить чаю и отдохнуть. Алиса возразила, и тучи, собиравшиеся долгое время над ними, прорвались. Айседора совершенно потеряла голову и упрекала девушку за то, что та позволила Виде ехать одному на поезде, когда мы прекрасно могли впихнуть его между собой.

Девушка была в ярости, но сказала: «Я все еще хочу вас отвезти, а если вы только развлекаетесь за мой счет, тогда дело другое». Айседора ответила, что в жизни не слышала таких грубостей, что ее везут на смертельной скорости против ее воли. Алиса объяснила, что только так она может вернуться вовремя.

Айседоре единственно, что было важно, это чтобы ее доставили в Ниццу, а все остальное не имело ни малейшего значения. Тогда Алиса предложила Айседоре, если той не нравится автомобиль и как ее везут, спокойно выйти и взять другую машину, а если она предпочитает поезд, Алиса охотно одолжит ей денег на два билета второго класса из Лиона до Ниццы, ибо больше денег у нее с собой нет. Не упомяни она второй класс, все бы, может, и обошлось.

Айседора, побледнев от гнева, сказала, что прошло много лет с тех пор, как она ездила вторым классом, и что она не понимает, как Алиса смеет ей это предлагать. Алиса ответила, что это достаточно хорошо для нее самой, а значит, и для всех других. После того как они обменялись еще несколькими неприятными репликами, я вмешалась: «Хватит, Айседора. Мы выходим». Я умолила Алису проехать еще немного, так как мы застряли на полдороге, и довести нас быстрее до Лиона, что она и сделала на сумасшедшей скорости. Алиса подъехала к вокзалу в Лионе, вбежала в него и тут же вернулась, бросив Айседоре на колени два билета второго класса. «Вот ваши билеты до Ниццы,— сказала она.— Больше я вас не повезу ни на шаг».

Айседора величественно поднялась и вышла из машины, не обращая внимания на билеты. Алиса подобрала их, побежала на вокзал, вернула их и отдала мне пятьсот франков. И мы остались стоять с разбросанным вокруг багажом, с пятьюстами франками в руке: поезд на Ниццу

уже отходил, но это было неважно, ведь Айседора на нем все равно бы не поехала. Два носильщика подхватили наш багаж, а мы перешли площадь к привокзальному отелю, где держали военный совет.

Айседора сказалась совсем больной и велела нам найти машину, иначе умрет на месте, если ее заставят ехать на поезде. Она умоляла меня выписать чек под мои деньги, которые поступят из Америки к первому числу, уверенная, что Реймонд, безусловно, одолжит ей эту сумму, как только мы доберемся до Ниццы.

Я дала себя уговорить сделать эту довольно опасную вещь, ведь Айседора действительно выглядела, как смерть, а жара была просто невыносимой. Я ходила от машины к машине, и шоферы запрашивали всякого рода суммы: 4 тысячи, 3 тысячи, 3,5 тысячи, но в конце концов я нашла чудесного человека, который согласился отвезти нас в Ниццу за 1500 франков, и в шесть часов, после того как Айседора что-то съела, мы выехали.

Не проехали мы и мили, как вся радость неба снизошла на нее. Вот она все еще едет в Ниццу в собственной просторной великолепной машине, которую она по желанию может остановить или велеть ехать дальше, и с вежливейшим почтительным шофером. Это стоило любых денег.

Ее растущая боязнь нужды и бедности была трагична. Сейчас мы были веселы, радостны и счастливы. Айседора подбросила в воздух шляпу. «Мэри, ты единственный человек в мире, которого я переносу. Не знаю почему, но меня раздражает все, что делают другие. Они не понимают». Мы пели и смеялись, как дети на каникулах, и ей было совсем неважно, что мы едем без остановок. Она была великолепна. Ничто ее не огорчало и не раздражало. Мы провели ночь в прелестном отеле, встали в семь утра и двинулись дальше.

На следующую ночь мы остановились в Оранже, где Айседора бывала прежде совсем при других обстоятельствах. Да, теперь она счастлива, все ее успокаивало, все было гармонией и миром. И тут она обнаружила, что потеряла свою красную сумку, которую всегда носила с собой и в которой был ее паспорт, другие документы и немного денег, франков сто.

Она очень расстроилась от потери сумки, и владелец отеля, делая все, что в его силах, телеграфировал в гостиницу, где мы провели предыдущую ночь. Я позеленела, когда Айседора сказала горничным, что в сумке были все

ее драгоценности. Они бросились вниз по лестнице, чтобы сообщить владельцу, что знаменитые богатые драгоценности Дункан, все ее драгоценности, как вы понимаете, были в этой сумке.

— Ради Бога, Айседора, зачем ты это сказала? Разве ты не знаешь, что они ожидают получить большое вознаграждение за возвращение твоих драгоценностей?

— Но, Мэри, это же правда, все мои драгоценности в этой сумке. Мой мундштук, моя бабочка.— Все, кто знал Айседору, десяток раз спасали эту бабочку. Это была крохотная изысканная вещичка, стоившая самое большее сотню долларов. Она всегда пыталась продать ее или заложить, но так как давали ей за нее не больше нескольких сотен франков, тот или иной человек обычно одалживал ей эти деньги, притворяясь, что получил их под бабочку. Несколько раз я давала ей по триста франков, делая вид, что эту вещь заложила, и всегда ее потом возвращая.

Вскоре прибежала сияющая горничная сообщить, что сумку нашли. Как мы выбрались из этого отеля, и не имея денег дали на чай больше, чем положенные десять процентов, просто не знаю. Эта история о драгоценностях Айседоры сильно нас позабавила, и до конца поездки мы испытывали сплошное счастье, пока не въехали в зону лесных пожаров, охвативших весь Лазурный берег. На Айседору они действовали как личное горе. Ей невыносимо было видеть чудесный пейзаж и леса, изуродованные огнем.

Когда мы подъезжали к Ницце, она сказала, что знает прелестный маленький отель, где у нее твердый кредит, а в студию мы можем поехать на следующий день. Мы поехали в «Гранд Отель» в Хуан ле Пине. Приехали часов в шесть настолько усталые, что тут же уснули, предварительно дав знать Реймонду, чтобы он немедленно приехал по очень важному делу. Я отдала шоферу чек, который можно будет предъявить только через два дня после его возвращения в Лион, поскольку до первого числа денег на мое имя в банк не поступит.

В девять явился Реймонд в сопровождении своего секретаря Эи и только что приехавшего Види. Реймонд наотрез отказался давать деньги под чек, и Эи уверил нас, что он не в состоянии уплатить ни гроша. Случилось то, чего я ожидала. И тем не менее, даже если бы мне грозила виселица, я бы все равно сделала то же самое, чтобы увести Айседору из Лиона в Ниццу, навстречу

счастьем. Она бы не перенесла, если бы мы там задержались.

Я сразу же по телефону соединилась с Парижем и попросила одного своего друга положить в банк на мое имя необходимую сумму. Следующий день был днем сплошного мира и гармонии, но без денег. Мы с Айседорой и Видой пошли гулять. Подошли к пляжу, но так как у нас не было ни гроша, то нельзя было ни искупаться, ни даже посидеть на песке. И мы продолжали гулять под палящим солнцем, поджариваясь медленно, но верно. Плечи Айседоры сильно обгорели, ведь зонтика у нас не было и денег купить новый — тоже. Айседора весело шла вперед, говоря, что так чудесно быть у моря и что через несколько дней у нас будет куча денег, мы снимем виллу и будем весело проводить время.

— А что со студией? — спросила я. — Разве мы не едем в студию?

— А, да, студия, — сказала Айседора, и они с Видой расхохотались. — О, да, тебе, Мэри, студия очень понравится, хотя там есть некоторые неудобства. Например, там нет воды. Она же не предназначалась для жилья, но мы что-нибудь придумаем, может, снимем комнаты рядом в отеле. Но пока что нет смысла думать об этом, она ведь в двадцати пяти милях отсюда. Значит, будем веселы и счастливы. Мы здесь, вдали от Парижа, у прекрасного синего моря, в прелестном отеле с очень вкусной едой, хорошим вином и т. п. А сделать-то нам надо только следующее: взять напрокат машину, тогда мы сможем каждый день ездить в студию, чтобы репетировать, а сюда возвращаться плавать и спать.

— Ты сказала двадцать пять миль, Айседора? Это составит пятьдесят в день.

— Да, — сказала она. — Мы всегда так раньше делали. — У меня душа ушла в пятки. Вот мы опять в мышеловке. — Ничего страшного, — сказала Айседора. — Теперь мы здесь, прошлое забыто. Никогда не думай о вчерашнем дне. Надо найти деньги на сегодня. Никогда не думай о том, что тратишь, думай только о том, как достать деньги, чтобы уплатить за потраченное. Заниматься надо только доставанием денег, тратиться они будут сами.

Как раз в этот момент мы проходили мимо лавки, где продавались купальные костюмы. Айседора схватила меня за руку и втащила в нее. Маленькая старушка, владелица лавки, помнила Айседору, потому что в прежние

времена она оставила в этой лавке небольшое состояние. Айседора заказала нам обоим купальные костюмы, шапочки, накидки и купальные туфли, голубые ей и розовые мне, а также несколько вещей для Виды. «Если отель оплатит эти покупки, я завтра закажу большой зонт, тогда можно будет сидеть на пляже, плавать».

Конечно же отель оплатил покупки, и на следующий день мы во всем величии, с нашим оранжево-черным полосатым зонтом, были притчей во языцех всего пляжа, и Айседора была счастливейшим человеком на свете, потому что все это организовала.

Как мало надо было, чтобы это прекрасное создание чувствовало себя счастливой, и это она, которая в свое время тратила миллионы! Подошел конец недели, а из Америки не появились деньги за право публикации рукописи частями. Счет же отеля раздувался, как шарик. Айседора считала, что ей пришлют немного наличными, поэтому взяла напрокат машину с понедельной оплатой, и мы мотались, как шальные, из Ниццы и обратно. По правде говоря, мы ездили каждый день по два раза. Как только Айседора получила машину, она стала придумывать, куда бы еще поехать. Ни на секунду ей не хотелось отдохнуть, и не имея шофер такой несчастной привычки немного поспать, она бы не останавливалась. В студию мы попасть не могли. По какой-то причине адвокаты, которым Айседора послала чек для оплаты студии, не заплатили за нее. Они сказали, что предлагали чек, но так как он был на несколько дней просрочен, то его не приняли.

Сама мысль заниматься делами приводила Айседору в ужас. Одна лишь мысль об этом изнуряла ее. Она предложила мне повидаться с владельцем и уладить все, но я наотрез отказалась, заявив, что студия не моя и что поехать к нему я согласна только с ней, а не одна. Казалось, что Айседоре просто физически невозможно войти в магазин или контору, кроме одной маленькой забавной лавочки у моря. Приходилось по многу недель уговаривать ее зайти в магазин, чтобы померить пару туфель или перчаток. А уж серьезное дело замораживало ее до костей. В конце концов я согласилась лезть в логово к зверю. Львица, то есть владелица, была самой толстой женщиной, какую я когда-либо в жизни видела. «Я не виню мисс Дункан за то, что она не приехала сюда,— сказала она.— Посмотрите на меня, посмотрите, что этот климат со мною сделал».

Эта милая дама была оперной певицей, ставшей слишком тучной даже для вагнеровской богини. И она и ее муж рады были возвращению Айседоры, а также получению платы за студию, которую адвокаты им и не предлагали. Хозяйка сказала, что, если Айседора подпишет бумагу об отказе от студии после 1 октября, то может въезжать немедленно. Именно это и хотела Айседора, намеревавшаяся в октябре вернуться в Париж. Я захватила с собой мужа милейшей дамы, мы вытащили Айседору из машины недалеко от студии, где она пряталась, и все вместе весело отправились к адвокатам, где и договорились обо всем, что касалось студии.

ЗНАМЕНИТАЯ СТУДИЯ В НИЦЕ

(1927 г.)

Через полчаса я впервые увидела студию. Действительно, она была великолепной, похожей на старинную церковь, однако чувствовалось в ней что-то злое и недоброжелательное. Стены были задрапированы занавесами Айседоры, которые она всегда вешала на сцене, зеленый палас покрывал огромный пол целиком. К сцене Айседора пристроила большие широкие ступени, ведущие в студию. И на сцене, и на ступенях она во время своих выступлений всегда сажала публику (получалось что-то вроде амфитеатра), а танцевала в другом конце студии.

Я не могла остаться одна в этой студии ни на секунду. Если я оказывалась там одна, то немедленно выскакивала за дверь. Похоже было, что Айседора чувствует то же самое, ничто не могло убедить ее остаться там ночевать. Однако утром она обожала танцевать там часа два-три. Ведь там были ее любимые занавесы, музыка, картины — все ее имущество. И все же что-то было не то.

Мы пробыли около часа, Айседора сама открыла окна и передвинула мебель. Затем послали за женщиной вытереть пыль и привести все в порядок. После этого мы пошли в гараж отеля «Негреско», так как я в конце концов убедила ее продать машину, которая стояла там уже шесть месяцев. От этой сделки мы выручили около девяти тысяч франков, после чего рай стал казаться весьма бедным местом по сравнению с Хуан ле Пином. А тут еще подоспели мои деньги из Америки.

Снова нам улыбались боги. И тут последовали такие пиры, визиты, рестораны, ночные клубы, которые могли выдержать только миллионеры! Приехал знаменитый художник Роберт Уинтроп Чэнлер и снял прелестную виллу. Там также был мой любимый друг Клеми Рандолф, очаровательный французский художник Пикабия, один из больших поклонников Айседоры, и многие другие знаменитейшие, любезные и милые люди.

Каждый день Айседора находила несколько часов для работы в студии, а в остальное время безудержно предавалась веселью. Никогда раньше не была она так счастлива, как в это время. Всем существом она наслаждалась жизнью и верила в будущее, в себя и свое искусство. Казалось, ее окружал ореол радости. Она была как ребенок, которого выпустили из школы со строжайшей дисциплиной и дали возможность беситься и делать все, что захочется. Слава Богу за эти три последние недели радости! Они длились недолго.

На девять тысяч франков, вырученных за машину, Айседора решила снять виллу, где бы могла принимать друзей. Она заявила, что жаждет иметь постоянный дом, и только у моря. А затем, кто знает, может, она и заработает достаточно денег своими мемуарами и танцем и построит школу у моря, потому что она пришла в конце концов к убеждению, что в студии был какой-то недобрый дух.

Мы нашли прелестную небольшую розовую виллу, но хозяин в это время выставял оттуда жившую там бедную итальянку, и это сильно расстроило Айседору и вызвало отвращение к вилле. Мы вышли из нотариальной конторы, где она уже чуть было не подписала договор о найме дома на пять лет, и Айседора сказала: «Скорее, скорее, Мэри, выйдем из этого бесчеловечного дома. Ты права: вилла — это только для миллионеров и прожигателей жизни. Мы будем экономно жить в маленьком отеле около студии, и я буду упражняться и танцевать весь день. Мне бы дня не прожить в этой вилле после того, как я видела грустное лицо этой итальянки, когда она говорила с хозяином».

Мы упаковали свои вещи, причем Айседора собственноручно упаковала в чемодан все свои сценические костюмы, заплатили по счету и в сопровождении дорогого старого друга барона Х. сели в машину.

Мы летели к студии, снова крича от радости, довольные, что вовремя сбежали. Всю дорогу мы пели «Про-

щай, прощай, Синяя птица», и я уверена, что прохожие считали, что мы валяем дурака. Но в нашем новом жилище, маленьком отеле около студии, нас ждал сильнейший удар. Хозяин потребовал, чтобы мы заплатили за неделю вперед. К счастью, это был редкий случай, когда деньги у нас были, но Айседора была опечалена.

— Помнишь, Мэри? Я всегда тебе говорила не подходить к дешевому отелю. С ума можно сойти.— И она была права.

За день до нашего отъезда из Хуан ле Пина Вида уехал в Париж. Я не знаю, в чем было дело, но думаю, что он очень переживал, что не может помочь Айседоре. Она говорила мне, что, если бы не Вида, его музыка, преданность, она бы не пережила тех шести месяцев до моего приезда, когда у нее абсолютно ничего не было. Она очень остро переживала его отъезд и в общем-то была против него. Мы об этом не говорили, но я знала, о чем она думает. Вечером после его отъезда мы пошли далеко, и Айседора сказала мне, что поведет меня в забавное местечко, где бывают только рыбаки и матросы и где нам подадут совершенно необыкновенный рыбный обед. Я знала, что это просто повод, чтобы выйти и стремглав промчаться по берегу.

Много часов брели мы по совершенно темной дороге. Я уже начала сомневаться, знает ли Айседора, куда идет, но она каждый раз отвечала, что все правильно и что есть очень важная причина, почему мы идем именно там, а не в другом месте. Говорила она серьезно; я знала, что она страдает из-за отъезда Виды, и таким образом старалась забыть. Но в десять часов, когда мы все еще не дошли до места, я решила остановить проезжающую машину и попросить отвезти нас обратно. Однако никакие уговоры не помогали: мы шли и шли по камням вдоль кромки моря.

Наконец мы пришли в Порт Хуан, и там действительно стояла лачужка с пристроенной к ней кухней, которая служила рестораном. Как Айседора ухитрилась о нем узнать, просто не представляю. В жизни она там никогда не была и, как я думаю, заметила, только проезжая мимо, но это был повод для такой экскурсии. Айседора поднялась на несколько ступенек и села за стол с той стороны помещения, откуда видно было море. Я села напротив, спиной к остальным столам, она же была к ним лицом. Казалось, что она попала в место, которое видела во сне. В этот вечер она была необыкновенно

красива. Мадам Тету (имя ее мы узнали позже) приготовила и подала нам обед с чудесным красным вином.

Я заметила, что вино похоже на рубин. Айседора сказала:

— Нет. На кровь.— Она подняла бокал к свету, и когда она это сделала, глаза ее встретились с глазами молодого человека, сидевшего позади меня с тремя спутниками. Я увидела, что она улыбнулась и склонила голову, как будто пила за кого-то.

Я обернулась и воскликнула:

— Боже мой! Ты же пьешь за здоровье шофера.

— О, Мэри, до чего же ты буржуазна. Ничего он не шофер. Ты что, не видишь? Это переодетый греческий бог, а на улице его колесница.— Она указала на прелестную маленькую гоночную машину «Бугатти» с красным, белым и синим кругами на хвостовой части. Действительно, это была его машина. Несколько минут спустя компания вышла и, когда молодой человек отъезжал, она помахала ему, а он поклонился. Она с улыбкой сказала мне:

— Видишь, я все еще желанная,— и тут я поняла, как глубоко ранило ее бегство Виды.

После ухода молодого человека она спросила мадам Тету, где мы можем достать такую машину, и умнейшая мадам Тету ответила, что молодой человек приходит в ресторан почти каждый день, что он агент по сдаче этой машины внаем и находится в Ницце. Так как обратно мы никак добратся не могли, брат мадам Тету предложил подвезти нас в Хуан ле Пин на своей рыбацкой лодке. Расстояние равнялось милям пяти-шести, и я дойти обратно не могла, даже если бы меня озолотили, и Айседора тоже. На обратном пути она почти не говорила. Она была в состоянии экстаза.

На следующий день мы ели ланч у мадам Тету, на этот раз приехав к ней в своей машине (своей на этот момент). Айседора, похоже, была немного разочарована, не видя там своего греческого бога, а позже мы пошли повидаться с Фрэнсисом Пикабия ¹ в отеле «Карлтон».

Встреча была назначена в баре.

Когда мы вошли в бар, брат испанского короля подбежал к нам и тепло обнял Айседору.

— Айседора, Айседора, вы прекраснее, чем когда-либо. О, как же я рад видеть вас.

¹ Пикабия Фрэнсис — французский живописец и график, испанец по происхождению.— Прим. сост.

(На следующее утро, болтая на пляже с великим князем Борисом, Айседора сказала мне: «Видишь, как я популярна среди членов королевских семей. Как видишь, они не боятся моей репутации русской большевички».) Милый Пикабия сидел в углу и ждал нас. Он подбежал к Айседоре, которая обняла его и сказала:

— Фрэнсис, ты все еще любишь меня?

— Конечно, — ответил он, с лукавой улыбкой глядя на жену. И действительно, в тот день Айседора была неотразима. После приятного дня с кофе, чаем и коктейлями Пикабия пригласил нас остаться пообедать.

— Мы только что обнаружили оригинальнейший ресторанчик, где готовят потрясающую рыбу под белым вином. Там мы в восемь встречаемся с целой бандой друзей.

Айседора была в восторге и сказала:

— Ладно, а завтра я везу вас в одно место, которое я открыла. Уверена, что вашему до моего далеко. И кроме того, там есть юный греческий бог, которого вы захотите написать.

Представляете наше удивление, когда ресторан Пикабия оказался лачужкой мадам Тету, которую мы обнаружили. Айседора сказала:

— Это просто судьба, и все.

Там была группа их друзей, и среди них прелестная Николь Груэ, сестра Поля Пуаре, но никаких следов Айседоринова Буггатти, как мы теперь называли и машину, и молодого водителя, не было.

На следующий вечер в отеле «Резерв» в Каннах должен был состояться детский бал. Нас пригласили и сказали, что их приятель, устраивающий бал, пришлет за нами свою машину. На следующий вечер калифорнийский миллионер мистер Карпентер прислал за нами свой «роллс-ройс», самую большую машину, какую я когда-либо видела, и снова обед состоялся у мадам Тету.

Айседора попросила мадам Тету дать Буггатти, когда она его увидит, ее адрес, так как она жаждет купить такую машину. Старая дама улыбнулась той же мудрой улыбкой и сказала, что он обязательно появится на следующий день: причиной его отсутствия было то, что его машину угнали, и он преследовал похитителя до Лиона.

Обед был очень веселый. Все мы были одеты детьми, Пикабия — великолепной няней, а его очаровательная

жена и Николь Груз — его двумя подопечными детишками, одна в розовом, вторая в голубом.

Все были в восторге видеть Айседору. Она просто завернулась в кусок разрисованного шелка и казалась ангелом-хранителем детей. Я уверена, что это была одна из счастливейших ночей в ее жизни. Она была в восторженном состоянии и без конца оборачивалась ко мне со словами: «Ну почему у меня эта мания, что люди меня не любят? Видишь, как все меня любят. Я так счастлива, так счастлива». Домой мы приехали в четыре утра.

В субботу до этого Роберт Чэнлер дал ланч в честь Айседоры в старом прибрежном городке Антибе. Было около двадцати гостей, почти все американцы, широко известные художники. Ланч был в высшей степени забавный. Боб рассказал, что перед отъездом из Америки его пыталась женить на себе одна дама. Айседора сказала: «Думаю, чтобы вас спасти, мне лучше выйти за вас замуж».

Он галантно встал и, целуя ей руку, сказал, что будет в восторге. Все очень забавлялись и выпили много бокалов за их здоровье и счастье. К этому времени мы уже сидели под тентом на улице и пили кофе с ликером. На противоположной стороне улицы очаровательный старичок наносил последние мазки на яхту перед своей мастерской. Боб позвал его выпить за их здоровье, что он и сделал. Айседора сказала, что яхта, которую он строит, отвезет их в Грецию на медовый месяц.

После многочисленных ликеров мы решили, что это будет отличная новость для Нью-Йорка, и все мы, кроме Боба и Айседоры, сложились по пять франков и протелеграфировали добрую новость в нью-йоркскую газету «Миррор». По-моему, она была напечатана в понедельник, 12 сентября.

Как счастлива и весела была она в тот день, милая Айседора. Никогда за все двадцать семь лет нашей дружбы я не видела, чтобы она так радовалась всем своим существом, как на этом ланче у моря.

Возможно, потому, что она пережила жуткий период в России, а затем отчаяние и страдание в Берлине. Казалось, она обрела свою потерянную молодость и личность.

Неделя в отеле заканчивалась в воскресенье, и мы получили извещение заплатить вперед еще за неделю, а платить было нечем. Айседора умоляла меня пойти

к Лоэнгрину, который жил в это время в своем величественном замке меньше чем в пятнадцати милях от нас. Она была уверена, что он что-нибудь сделает, чтобы облегчить ее бедственное финансовое положение.

Мне ужасно не хотелось этого делать, но я не могла видеть Айседору несчастной. Итак, в одиннадцать часов утра в воскресенье я отправилась с очень, очень тяжелым сердцем. Я наняла проезжавшую машину, так как свою нам в кредит больше не давали, не зная, как заплачу шоферу, и около полудня подъехала к великолепному дому, где соединилось все, что подсказывали хороший вкус и воспитание, для создания совершенства. И все это Айседора отбросила, а теперь у нее не было даже на хлеб. А через два дня, возможно, и головы преклонить будет негде.

Вошел Лоэнгрин, сердечно поздоровался со мной и сказал:

— Ну, Мэри, надеюсь ты приехала к ланчу.

— Нет, дорогой,— ответила я,— я приехала с гораздо менее приятной миссией, хотя и имеющей отношение к ланчу.— Я никогда в жизни не умела просить денег. Сердце билось так сильно, что я думала, задохнусь, хотя Лоэнгрин относился ко мне как брат, и я была к нему очень привязана. Тем не менее я лучше умерла бы, чем попросила о помощи. Он всегда был так по-царски щедр, и я знала, что в этот момент он переживает большой финансовый кризис, означавший необходимость экономить каждый грош, чтобы избежать катастрофы. Но делать свое дело мне надо было.

Он ответил, что в сложившихся обстоятельствах ничего не может сделать. Если бы что и мог, то это все равно что бросить деньги на ветер: по его мнению, ничто не остановит падения Айседоры. Несмотря на все свои усилия сдержаться, я расплакалась, и когда он снова стал просить меня остаться на ланч, я ответила, что не могу есть, когда Айседоре есть нечего, но если он даст мне носовой платок, я буду очень признательна. Он пошел наверх и принес мне носовой платок. (Суеверные люди считают, что дарить платок — к слезам.)

Лоэнгрин проводил меня до дверей и сказал:

— Вижу, ты позволила себе машину, когда могла приехать сюда на трамвае за несколько центов.

— У меня не было нескольких центов,— крикнула я, когда машина тронулась. Когда я приехала в отель,

молодой англичанин, работавший ночным портье, одолжил мне семьдесят пять франков, чтобы заплатить шоферу. Это был чудесный парнишка, и впоследствии я помогла ему устроиться на гораздо лучшую работу.

Затем я пошла в маленький бар перед студией и попросила очень милых старичков, мужа и жену, только что купивших его, поджарить немедленно цыпленка и дать мне бутылку шампанского, за что я расплачусь с ними во вторник или среду, когда придет мое пособие из Америки.

Они в высшей степени любезно согласились. Я набралась духу и пошла к Айседоре рассказать ей все, что произошло. Никогда нельзя было сказать, что Айседора обижена, если бы не особая бледность и морщинка, образовывавшаяся у ее ноздрей. Айседора никогда не плакала и не жаловалась, как это делают многие женщины. Я и сейчас вижу выражение ее лица, когда старый лапушка вошел с шипящим на сковороде цыпленком и великолепной бутылкой шампанского в ведерке со льдом.

— Я всегда знала, что ты благородный человек, Мэри,— сказала она (это было самым большим комплиментом, который она могла сделать), и, несмотря на все, мы очень весело поели. Не успел старик выйти с подносом, как мы начали обсуждать мир Воли и Идеи Шопенгауэра.

ЛОЭНГРИН (1927 г.)

Однажды без предупреждения открылась дверь, и вошел Лоэнгрин. Разверзлись небеса, дав Айседоре взглянуть на вечную красоту, вид у нее не был бы счастливее. Лоэнгрин был похож на бога, спустившегося с небес.

Думаю, после моего ухода он пожалел обо всем, что случилось. Он всегда жалел Айседору, но выдержать ее экстравагантности было невозможно. Не было ни объяснений, ни вопросов, просто любовь и нежные приветствия. Никто никогда не узнает, что эта встреча означала для Айседоры. У нее появилось чувство, что никому она не нужна и что всем было бы лучше и спокойнее, если бы ее не стало. Она часто говорила:

— Я становлюсь большой обузой, со мной ничего не поделаешь — привычки свои мне изменить так же невозможно, как леопарду — свои пятна.

И вдруг появляется человек, которого она обожала,

и с любовью приветствует ее! Особенно еще после того, как он отказался что-нибудь для нее сделать.

— Я подумал — зайду-ка и посмотрю, кончили ли вы ланч.

— Пожалуйста, не говори о ланче,— сказала Айседора грациозно, незаметно пихнув ногой под кушеткой бутылку из-под шампанского, грозившую выкатиться оттуда.

Этот день для меня был слишком полон эмоций. Я отправилась к себе в отель. Возможно, глядя с балкона на бескрайнее синее море, я благодарила Бога за его большую доброту к моей дорогой Айседоре. Ведь ей действительно надо было что-то, что помогло бы нести непосильный груз жизни, и кто лучше, чем отец ее маленького сына, мог найти нужные слова. В жизни бывают мгновения красоты и события, которые умом не поймешь.

Земной любви и желания в этой чудесной встрече не было. Одна лишь жалость и нежность, с одной стороны, и счастье, что тебя еще любят,— с другой. Когда я вернулась в студию около шести, граммофон играл «Аве Марию», и Айседора танцевала, как никогда в жизни.

— Мэри,— спросила она,— ты чувствуешь в этой комнате жизнь? Она полна прекрасных духов. Как это чудесно! Как великолепно!

Она продолжала:

— Дорогая, зачем же ты ушла? Мне так хотелось, чтобы ты слышала все, что он говорил. Он дивный, дивный человек, и я люблю его. По-моему, он единственный, кого я по-настоящему любила.

— Как ты можешь так говорить, Айседора? Скажи мне сейчас честно, кого на самом деле ты больше всех любила? И кого бы ты выбрала?

— Ну, если говорить совсем по правде, Мэри, я не знаю. Мне кажется, я всех их любила до самозабвения, и если бы Тед, Лознгрин, Архангел и Сергей встали передо мной, я не знаю, кого бы выбрала. Я любила и до сих пор люблю их всех. Возможно, во мне заключено несколько человек, и, может, многие чувствуют так же, как и я, но не признаются даже себе. И так они и живут, обманывая себя всю жизнь, но я ни себя, ни кого другого обмануть не могла.

Попозже пришли друзья и повезли нас в казино в Хуан ле Пин. На следующее утро мы с Айседорой плавали в море перед студией. Здесь пляж очень плохой, весь

покрыт булыжниками, и по нему совершенно невозможно идти босиком. Мне пришлось надеть теннисные туфли и не снимать их даже в воде. Так как плавать в них невозможно, я сняла их и попыталась бросить на берег, но не добросила, волны подхватили их, и вскоре они пропали из виду.

Однако Айседора не могла с этим примириться и чуть было не утонула, ныряя за ними. После этого мне пришлось ползти на коленях на берег и ждать, пока Айседора принесет другие туфли, потому что идти по камням было невозможно. Поэтому я в этом месте купаться отказывалась, сколько бы Айседора ни просила.

Около половины первого за нами заехал на своей машине Лознгрин, чтобы повезти на ланч. Когда мы уже выходили, пришла мадам Жорж Аттуа, великолепная знаменитая певица, жена бывшего менеджера Айседоры, напомнить нам, что мы обедаем с ней на следующий день. За руку она вела своего златокудрого сына трех с половиной лет. Айседора лишь дотронулась до золотистой головки и бросилась в ожидавшую машину, а Лознгрин остановился и мило поговорил с ребенком. Затем мы извинились и уехали.

Айседора сказала, что знает прелестное место на самой вершине горы, называющееся «Фонарь», где можно вкусно поесть. Так как Лознгрин о нем не слыхал, он был в восторге. И мы, три сияющих счастливых существа, поехали, держась за руки и весело болтая. Когда мы добрались до места, расположенного на склоне горы с великолепным видом на весь Лазурный берег, то увидели объявление, что ресторан откроется через три дня.

— Ну что ж, приедем через три дня на ланч, — сказал Лознгрин. Айседора предложила поехать в «Резерв» в Болле и из желания противоречить выбрала готовый ланч за 25 франков, действительно, очень плохой, а ведь и Айседора, и Лознгрин были гурманами. Она всегда говорила, что, обедая с миллионерами, выбирает простые обеды, а с бедными художниками — самые дорогие и платит сама.

Мы не обращали внимания, что ланч был плохой, потому что сидели на балконе, выдающемся прямо в море. Похоже было, что мы на борту корабля. Айседора спросила:

— Меня посчитают алкоголиком, если я попрошу коктейль?

Она действительно не могла ничего проглотить, не выпив два коктейля.

Лоэнгрин сказал:

— Конечно же нет, мы все выпьем по коктейлю.

— Кроме Мэри,— сказала она.— А то она станет слишком говорлива. Да кроме того, Мэри влюблена, у нее великолепнейший молодой любовник-француз.

— О,— сказал Лоэнгрин, глядя на меня с некоторым удивлением.

Я в изумлении уставилась на нее и собралась было ответить, но она так брыкнула меня ногой под столом, что синяк держался много дней. Когда мы пошли в дамскую комнату перед отъездом, я спросила ее, зачем она придумала эту милую историю о моем французском любовнике. Она сказала, что это создает легкую, веселую атмосферу и что она не может позволить, чтобы он думал о нас как о двух одиноких дамах без любовников. Видимо, она знала психологию таких вещей.

Лоэнгрин был само очарование. Это был еще один трезвый день. На пути домой он сказал:

— Дорогая, ты не представляешь себе, как ты меня обидела своим интервью в газете, где ты сказала, что призываешь на меня проклятие и что я потеряю все, что имею. Кстати, оно почти сбылось.

— А, все это ерунда,— ответила Айседора,— но если я действительно призвала на тебя проклятие, то теперь его снимаю и уверяю тебя: с этого дня у тебя будет только удача, счастье и процветание.

Так кончился этот день. Лоэнгрин договорился с Айседорой оплатить ее расходы, включая пианиста, так что она может совершенно спокойно готовить новую программу, которая его, естественно, очень интересовала. Он сказал, что не сможет увидеться с ней на следующий день, во вторник, но в среду он придет в четыре.

Мне кажется, Айседора никогда не думала о финансовой части их встречи. Огромной радостью для нее было возобновление дружбы с этим человеком, которого она так искренне любила. Казалось, что она почему-то хочет собрать вокруг себя всех, кого она когда-то любила, всех, кого она любила сильнее всего, и даже мысли не было о прощении. Ни на кого она никогда не была в обиде или считала, что не была.

Когда мы приехали в отель, в наших почтовых ящиках лежало по уведомлению, что мы должны в двадцать четыре часа оплатить счет отеля. Нам-то было все равно, потому что в среду с нас снимут на какое-то время все финансовые заботы. Но это дало Айседоре удобную воз-

возможность изложить свою философию и попенять мне за мое стремление к экономии, из-за которой мы поселились в этом отеле.

— Видишь, как они с нами обращаются. У них абсолютно нет к нам никакого уважения. Мы в их глазах все равно что дочери консьержки. Клянусь тебе, Мэри, больше ты меня в жизни не уговоришь поселиться во второсортном отеле. Скорее я буду спать на улице.

Так как денег нанять машину и поехать куда-нибудь у нас не было, мы пошли в студию, и Айседора сказала, что нет ничего лучше упражнений, чтобы забыть голод, поскольку обедать пойти мы не могли. И мы делали упражнения, танцевали и бегали на несколько миль вокруг студии. Около одиннадцати мы вернулись в отель, но Айседора снова была в ужасно беспокойном состоянии, как всегда, когда у нее не было машины и она не могла носиться по окрестностям.

Она стояла на балконе и показывала на звезды.

— Видишь ту звезду, Мэри? Это Афродита. Она одна управляет моей жизнью. Я поднимаюсь и иду вместе с ней. Афродита и море,— вот два основных источника влияния на мою жизнь. Я их раба.

Около полуночи она заявила, что без машины или самолета жизнь невозможна и что никогда больше она не проведет ни одной ночи дома. Не может она быть в четырех стенах. Прочь, прочь, бежать куда попало, любым путем. Как она жалеет, что не знает, где найти Бугатти.

В конце концов она уговорила меня пойти погулять, на самом деле желая где-нибудь подхватить машину и мчаться, мчаться до утра, потому что спать она не могла. Померкла вся радость этого дня, и ею снова овладела старая страсть. Пытаясь отвлечь ее, я спросила:

— Айседора, какой период в твоей жизни был самым значительным и счастливым?

— Россия, Россия, только Россия,— воскликнула она.— Мои три года в России со всеми страданиями стоили всей остальной жизни. Там я достигла высшего самовыражения. Нет ничего невозможного в этой великой фантастической стране. Знаешь, Мэри, ты должна поехать со мной в Россию. Мы скоро поедем. Если мою школу поддержат, я проведу там остаток своей жизни.

— Но, Айседора, ты же не большевичка.

— Не знаю, кто я. Иногда я думаю, что я самая в мире закоренелая аристократка. Но художников не разнесешь по классам. Они всегда где-то в промежутке.

— Но ты же не одобряешь многое из того, что там делается.

— Я ничего не понимаю в политике и политических деятелях. Но идеал, во имя которого все делается,— за него я бы отдала последнюю каплю крови. Я бы с удовольствием дала себя разрезать на мелкие кусочки, если бы это хоть чуть-чуть способствовало осуществлению великого идеала человечества.

И так оно и было. Вот такой была Айседора.

В четверг утром она вошла ко мне в комнату, которая была непосредственно под ее, со словами:

— Ну, кто лентяй? Я уже давным давно занимаюсь. Ты же говорила, что я обленилась и не работаю, а я доработалась до того, что совсем сработала свои бедные ноги и за всю жизнь сделала больше настоящей изнуряющей работы, чем половина трудящихся мужчин.

Но я все не вставала и заявила, что не могу не спав всю ночь, утром легко встать. Кроме того, я себя неважно чувствовала.

— Ты должна встать, дорогая, разве ты не помнишь предупреждение отеля о двадцати четырех часах?

— Ну что ж, придется им выносить меня вместе с кроватью. Я бастую и отказываюсь даже пошевелиться.

— Но плавать ты через полчаса придешь? — просительно сказала она.

— Нет,— ответила я.— У меня болят ноги от этого пляжа, слишком сильно болят. И еще, я собираюсь заказать ланч в номер, и пусть только осмелятся отказать.

Этого Айседора вынести не могла. Жить в отеле было достаточно плохо, но есть их пищу — никогда. У меня в кармане она нашла американский доллар. Она сказала:

— Никуда не ходи, и я преподнесу тебе чудесный сюрприз.

И ушла.

Я вышла на балкон и смотрела, как она идет по улице. На ней было мое красное расписанное платье, которое можно было носить как накидку, и я следила, как она шла своей покачивающейся походкой. Ни у кого на свете не было такой походки, как у Айседоры. В простых шагах была вся поэзия движения. Она ходила так, как поют птицы,— гармонично. Мне видны были большие алые и желтые розы на платье. Как будто двигался сад. И с ее индийской шляпой и сандалиями спутать ее нельзя было ни с кем.

Вид у нее был величественный. Затем она пошла

в сторону от моря, и больше часа я ее не видела. Я начала сильно нервничать, потому что каждый день боялась, что она может что-нибудь сделать, как вдруг дверь моя раскрылась, и в ней стояла Айседора с высоким худым молодым человеком, нагруженным пакетами и бутылкой вина.

— Когда твой друг болен,— сказала Айседора,— и отказывается встать, не ругай и не упрекай его. Вместо этого будь добрым ангелом и вернись с холодной ветчиной, помидорами, инжиром, вином и красивым молодым человеком.

Она изящно расставила все на малюсеньком столике у кровати, и мы все трое весело позавтракали. Она из ничего умела сделать праздник, милая, чудесная Айседора!

Молодой человек рассказал мне, как он шел в поисках Айседоры и как они случайно встретились. У него была телеграмма от его нью-йоркской газеты узнать правду о ее обручении с Робертом Уинтропом Чэнлером. Я расхохоталась, и когда мы остались одни, рассказала Айседоре о телеграмме и умоляла ее не портить розыгрыша.

К этому времени служанка каждые несколько минут прибегала и говорила: «Еще один молодой человек к мисс Дункан». Перед отелем собралась толпа репортеров, группами по двое, по трое, которые бегали то к студии, то обратно. Наш молодой друг приветствовал их с балкона и сказал, что мисс Дункан только что улетела, дав ему великолепное интервью.

Через некоторое время мы спустились и пригласили их всех в студию. Айседора не отрицала и не подтверждала новость, заявив, что они могут сделать собственные выводы и что мистер Чэнлер дома и рвет все старые любовные письма.

Они спросили, как называется яхта, о которой упоминалось. Не задумываясь ни на секунду, Айседора ответила: «Бобадора». Она сказала: «Мистер Чэнлер сам вам об этом расскажет, вы все должны прийти пообедать с нами в четверг».

Было много музыки и танцев, а затем Айседора решила показать им, как танцуют танго в Буэнос-Айресе. Лично я просто не выносила этого ее танца, и в то время, как все мужчины содрогались от хохота, я сидела в углу и по лицу моему текли слезы.

Я часто уходила домой в ярости, заявив, что отныне не буду с ней разговаривать: она танцевала танго в такой

реалистической манере, говоря, что именно так его и следует танцевать, что танец этот лишь возбуждал самые низменные эмоции. Репортеры ушли около шести, а Айседора бросилась на кушетку и тут же уснула. Пятнадцать минут спустя раздался робкий стук в дверь. Я открыла и увидела красивого молодого человека, извинившегося за свой костюм, так как он прямо с работы, и сказавшего, что мадам Тету дала ему мой адрес, сказав, что я хочу купить «Бугатти». Я довольно резко ответила ему, что я не мисс Дункан и что если он оставит свою карточку, я ей передам. Он отвечал вежливо, держась очень скромно.

Через полчаса я разбудила Айседору, так как в 7.30 нас ожидали в Ницце к обеду месье и мадам Аттуа.

— Айседора, пока ты спала, здесь был Бугатти,— сказала я.

Она вскочила с кушетки, как тигрица.

— Я тебе не верю, Мэри. Это какая-то глупая шутка. Ты бы меня разбудила, а не отсылала его, не сказав мне.

— А я отослала,— сказала я.

— Этого я тебе никогда не прощу. Господи, Боже мой, неужели ты не понимаешь, как это важно? Я не могу объяснить почему, да ты и не поймешь. Я сама не понимаю, но мне необходимо видеть этого молодого человека.

— Пожалуйста, вот его карточка,— сказала я, но она была ужасно расстроена.

— Мэри, ну что ты наделала? Мы первым делом должны найти его утром.

— Айседора, по-моему, ты сходишь с ума. Ну что общего у этого шофера с тобой?

— Говорю тебе, он не шофер, а посланец богов. Он божествен.

Лично я этого не заметила, но я видела его в одежде простого рабочего. Ну очень красив — и все.

— Ладно, сейчас надо думать, как добраться до Ниццы,— сказала я,— возможно, мы окажемся перед запертой дверью, когда вернемся. Но, думаю, это для нас обеих несущественно: можем спать в студии.

Айседора сказала:

— Я в этом отеле после сегодняшнего не проведу ни одной ночи. Не позволю этим людям оскорблять себя. Завтра уезжаем.— Мы пошли в отель и велели приготовить нам счет к следующему дню, так как мы уезжаем, а они могли бы потрудиться узнать, кто мы такие, прежде чем прибегать к своим властным методам.

Айседора же всегда оплачивала счета в тот же или другой день. Она оделась, как всегда вечером, накинула красную шаль, и в это время к нам поднялась горничная и подала мне письмо. В нем был чек от миссис Рубели с просьбой купить Айседоре цветы.

Действительно, о нас заботился какой-то бог. Теперь у нас были деньги на несколько такси и на завтра, обещающее очень много. И мы весело отправились на обед. Эти прелестные люди сами приготовили обед именно из тех блюд, которые любила Айседора. Их театр помещается в старой церкви, и обед был сервирован в живописном старом саду.

Не успели мы сесть за стол, как хозяйка, считая почему-то, что это доставит Айседоре удовольствие, привела к столу своего очаровательного трехлетнего синишку. Айседора смертельно побледнела, стараясь изо всех сил справиться со своими чувствами, но внезапно она положила голову на плечо сидевшего рядом молодого человека, репортера, которого мы встретили по дороге и которого она захватила с собой. (Прихватить с собой четырех-пятерых друзей на обед, куда она была приглашена, было одной из особенностей Айседоры).

Хозяин быстро принес несколько коктейлей, и Айседора выпила два. Он спросил: «Как вам наш мальчик?» Она не могла говорить, глаза слепили слезы. И тут милый ребенок, указывая на Айседору, спросил: «Что с этой красивой дамой?»

Айседора дико вскрикнула и бросилась из сада, а мужчины за ней. Я попыталась сгладить впечатление и пошла за ними, но найти их нигде не могла. Я возвратилась, а примерно через час вернулась и Айседора с обоими мужчинами. Она была в кафе неподалеку. Но ко времени их возвращения ребенок лег спать.

Айседора извинилась за то, что ушла, горячо их обоих поцеловала, и больше никто этого эпизода не вспоминал. Как чудесны художники, как они все понимают! Неудивительно, что они не могут жить с другими людьми. Они говорят на языке, отличном от языка всего остального мира, и понимают только друг друга. Айседора ушла раньше меня. Я ждала машину, которой мы велели вернуться, а ее проводил репортер.

Вернувшись, я зашла к ней в комнату, но она спала крепким сном или же была без сознания, потому что не слышала, как я открывала дверь. И я вернулась к себе в комнату.

АЙСЕДОРА СНОВА ВСТРЕЧАЕТ БУГГАТТИ

(1927 г.)

На следующее утро я проснулась, когда Айседора вошла ко мне в комнату в семь часов.

— Мэри,— очень спокойно сказала она,— если ты меня хоть чуточку любишь, помоги мне покинуть этот проклятый мир. Я не могу больше жить ни одного дня в мире, полном золотоволосых детей. Это выше человеческих сил. Ни алкоголь, ни возбуждение, ни что-либо другое не могут облегчить чудовищную боль, которую я ношу с собой 13 лет. (Ее дети утонули как раз 13 лет назад.) А теперь ты говоришь мне, что собираешься бросить меня и уехать в Париж. Будь уверена, Мэри, не отъедешь ты и на десять миль, как я войду в море, и на этот раз обязательно привяжу к шее утюг.

У нее был такой жалкий, беспомощный вид, что я встала, обняла ее и сказала:

— Айседора, обещаю тебе, что бы ни случилось, никогда, никогда, никогда не покину тебя. Я просто не понимала, как ужасно ты страдаешь. Прости, если я иногда кажусь бессердечной и стараюсь не дать тебе совершать поступки, которые кажутся мне глупыми.

— Ладно, Мэри. Если ты только останешься со мной и будешь терпелива, просто будешь мне верна, я знаю, что создам свою школу. Мы поедем в Россию, заберем детей, и в конце нас еще ждет слава. Ты благородный человек, Мэри, настоящий благородный человек. Господи, да о чем я печалюсь? Поторопись, мы выберемся, продадим все из студии, все, за любую цену. Отдадим все кушетки детям в госпиталь и на чек, который мне завтра даст Лознгрин, купим машину и после чудесной поездки по виноградникам — да, я должна еще раз проехать по виноградникам: чудесно пить свежий сок из-под пресса — поедем затем в Париж — и в Россию. Подожди, Мэри, еще только два дня, и я клянусь, что поеду с тобой в Париж.

И она поехала, только в свинцовом гробу.

Мы пошли в студию, где встретились с человеком, который должен был купить всю обстановку. Он начал с того, что предложил 250 франков за печку, которая, по словам Айседоры, стоила 8 тысяч. Впоследствии я узнала, что она хотела сказать 800. Затем он предложил по 150 франков за каждую кушетку, а всего их было 18. Это Айседоре не понравилось, да кроме того, она решила

отдать их госпиталю. Так что, вместо того чтобы продать их, она выставила покупателя.

После этого мы немедленно поехали в Ниццу.

Она велела шоферу ехать в гараж «Гельвеция» по адресу, который был на визитной карточке Буггатти. Она спросила, на месте ли владелец мистер Б., и ей ответили, что он где-то работает, но после полудня вернется. Она сказала, что хочет купить машину, и попросила его прийти в студию в пять часов, потому что Лоэнгрин мы ждали в четыре. Она зашла в два кафе, а потом в шляпную мастерскую, где оставила на переделку несколько шляп. Мы купили торт и послали его в студию Реймонда для детишек, так как он вернулся в Париж, и они оставались одни. Затем она сказала:

— А теперь, Мэри, у нас будет чудесный завтрак, ты такого в жизни не пробовала, мы отпразднуем наше решение вечно работать вместе ради школы.

Заказ был довольно большой, но я была готова на все, лишь бы она забыла о событиях предыдущего вечера. В этот день она была необыкновенно хороша. Мы пошли к берегу и среди старомодных зданий испанской архитектуры нашли знаменитый ресторан.

Мы спустились на несколько ступенек на веранду прямо на улице, и нам подали самую великолепную рыбу, которую мне когда-либо пришлось есть, совершенно ни на какую другую рыбу в мире не похожую. К ней подали салат, дыню и прекрасное вино — и это завершило утро.

Айседора заявила, что хочет сегодня выглядеть как нельзя лучше, ведь предстоит встреча со старым и молодым поклонниками. После ланча она пошла в парикмахерскую, и даже причесывавший ее парикмахер не мог оторвать от нее взгляда. Это действительно был ее великий день. Волосы ее сияли, как на картинах Тициана. Она была красива необычной красотой, эта женщина почти пятидесяти лет, которую даже я считала значительно моложе. Она могла очаровать сердце любого.

Годы не имеют к жизни никакого отношения. Молодость выражается не годами: она была сама молодость и красота.

— Не знаю, в чем дело, Айседора, но ты сегодня слишком хороша, — сказала я.

— Вот видишь, что делает немножко счастья, — ответила она. — Не покидай меня, Мэри, и мы с тобой завоеваем славу, обещаю тебе.

Мы пошли обратно в студию, зайдя по дороге в банк, чтобы узнать, не пришли ли мои деньги (они пришли на следующее утро, когда мне уже было все равно и они были не нужны). Возвратившись в студию, она все переставила и закрыла все окна. Когда она была в студии, ее всегда охватывал ужас перед шумом, проникающим снаружи. В студии надо чувствовать себя оторванной от мира, и это ощущение частично создавалось небесно голубыми драпри, занавешивавшими все стены и вызывавшими чувство беспредельности, тишины и простора.

Лоэнгрин в четыре не пришел. С каждым моментом Айседора все больше сияла, как будто хранила какую-то чудесную тайну, рвавшуюся наружу, которой не могла ни с кем поделиться. «О, Мэри, Мэри!» — время от времени восклицала она и продолжала танцевать.

За несколько минут до пяти я услышала тот же робкий стук, что и накануне, и почему-то меня пробрала дрожь. Я открыла дверь и действительно, за ней стоял Буггатти с мальчишеской улыбкой на лице. (Интересно, будет ли у него когда-нибудь снова это же счастливое выражение. Боюсь, что нет.) Я попросила его войти, и поскольку всю эту затею я не одобряла, взяла свою книжку и сказала Айседоре: «Вот твой Буггатти. Я иду в отель». Она позвала меня, но я ушла.

Примерно в полседьмого я сидела в своей комнате и разговаривала с Иваном, русским пареньком, который, как считалось, работал ежедневно над фильмом об Айседоре. Он просил меня попытаться помочь уладить отношения между Айседорой и его молодой подругой Алисой, когда внезапно в комнату ворвалась Айседора, покатываясь от смеха. Она бросилась на мою постель, вскричав полуистерически, наполовину со смехом: «Я потеряла их обоих, Мэри. Я потеряла Буггатти и Лоэнгрину и чек тоже. Я в своем репертуаре. Не выношу успех и процветание, ничего тут не поделаешь. Вечно я попадаюсь».

Затем в промежутках между взрывами хохота она рассказала, что Лоэнгрин пришел в 5.30 вместо четырех, а она сидела рядом с Буггатти и рассказывала ему о своем искусстве, танцах и т. п. Оказывается, он пилот — ас. Конечно же это решило все. Наконец-то она нашла то, что всегда искала, — человека, не боящегося ничего. Она наймет самолет, и они вдвоем полетят в Америку.

Когда Лоэнгрин вошел и увидел около нее молодого механика, он сказал:

— Вижу, ты не изменилась.

— О, этот молодой человек, приехал, чтобы показать Мэри машину «Бугатти», которую она хочет купить.

Бедная Айседора! Врать она не умела. Лоэнгрин сказал, что очень удивлен моим желанием купить машину после всего того, что я сказала ему в воскресенье, и он уверен, что если у меня были деньги на машину, я бы потратила их на что-нибудь куда более необходимое.

— Ну, она такая,— сказала Айседора.— Может, она хочет только посмотреть, как это будет.— Она повернулась к растерявшемуся молодому человеку и сказала:

— Вы приезжаете сегодня в девять вечера с маленькой гоночной машиной.

Он сказал, что приедет, и, робко глядя на красивого, представительного Лоэнгрин, ушел.

Лоэнгрин сказал ей, что его задержали и что он должен немедленно уходить, но утром он придет, чтобы повезти ее на ланч и отдать обещанный чек. Он не мог заняться всеми этими вещами в этот день.

Она сказала, что мы собираемся вечером в десять на концерт пианиста, которого она намеревается пригласить аккомпаниатором. Он сказал, что с удовольствием пойдет тоже, и если будет себя прилично чувствовать, то заедет за нами. А в данную минуту его семья ждет его захватить с собой на обед в Хуан ле Пин. Он помахал ей рукой и сказал, что заглянет на обратном пути, если будет себя прилично чувствовать.

Когда он уехал, она пришла в отель. «Теперь посмотрим, что будет,— сказала она.— Я не верю, что он приедет и что Бугатти тоже».

Мы проговорили до 7.30. Айседора оделась. На ней была юбка в складку и знаменитая китайская красная шаль, которую я для нее разрисовала. Шаль была два ярда длиной и шестьдесят дюймов шириной, из тяжелого крепа, почти всю ее покрывала большая желтая птица с синими китайскими астрами и черными иероглифами — великолепная вещь, светоч жизни Айседоры. Она без нее никуда не ходила. Если она ее не надевала, то вывешивала с балкона студии в Париже, так, чтобы всегда можно было на нее посмотреть. Рисунок ее очаровывал, а из иероглифов она пыталась вычитать что-то значительное.

Она сказала: «Пошли на ту сторону к Анри и выпьем коктейль». Мы посидели перед кафе, Айседора с Иваном выпили по коктейлю, а я рюмку портвейна. Затем Иван пригласил нас с ним пообедать. Айседора согласилась при условии, что мы пообедаем в этом же кафе, но сначала мы зашли в отель, и она написала небольшую записку Буггатти.

Мы пошли в студию, она прикрепила записку булавкой к двери. Это были самые последние слова, которые она написала: «Je suis en face chez Henri» ¹. Всю дорогу до ресторана она проскакала, не в силах справиться с необъяснимой радостью. Она сказала: «Если бы ты только посмотрела на лицо Лознгрена, когда он увидел Буггатти, ты бы поняла, что он меня все еще любит. Я так счастлива. Когда приедет Буггатти, я улетаю на луну, так что не удивляйся, если меня больше не увидишь».

Когда мы кончали свой очень простой обед, создалось впечатление, что на наш стол между мною и Айседорой опустилась огромная черная туча. Я охнула: «О, Господи, Айседора, происходит что-то ужасное».

Айседора воскликнула: «Мэри, ради Бога, что случилось? Я в жизни не видела такого трагического лица. Что это? Почему ты дрожишь? Официант, принесите рюмку бренди». Я сказала, что не хочу никакого бренди и через минуту приду в себя. Официант принес бренди, и Айседора настояла, чтобы я его выпила. Было точно девять.

Айседора сказала: «Девять, нам надо поспешить». Она взяла меня под руку и спросила: «Ну, Мэри, что же случилось?».

И я ответила: — «Пожалуйста, Айседора, не ездь ты на этой машине. У меня жутко расшатались нервы: боюсь, что с тобой что-то случится».

— Дорогуша, я бы поехала сегодня, даже если бы знала, что это моя последняя поездка. В этом случае я бы еще быстрее поехала. Но не беспокойся, Буггатти не приедет.

Мы вошли в студию, она включила полный свет, пустила граммофон и начала дико танцевать. Вдруг она увидела в окно, что подъехал в своей машине Буггатти. Она подошла к двери. Я стала просить:

— Айседора, пожалуйста, надень мой черный плащ, стало совсем холодно.

— Нет, нет, дорогая, ничего, кроме моей красной расписной шали.

¹ «Я напротив у Анри» (фр.).

Я вышла первой, а Иван шел за ней и, не обращая внимания на ее протесты, накинул ей на плечи ее собственную красную шерстяную шаль. (Ту самую, в которой она всегда танцевала «Марсельезу»). Я побежала вперед и сказала Бугатти:

— По-моему, вы не понимаете, какого великого человека вы сегодня повезете. Умоляю вас быть осторожным, и если она будет просить ехать побыстрее, умоляю — не делайте этого. Я сегодня страшно нервничаю.

— Мадам, бояться вам нечего, — ответил он. — У меня в жизни не было никаких аварий.

Вышла Айседора. Увидев ее красную шаль, он предложил ей свой кожаный пиджак. Она закинула конец шали через плечо и покачала головой со словами: «*Adieu, mes amis. Je vais á la gloire*»¹.

Это были последние слова, произнесенные Айседорой Дункан. Через минуту после этого она была мертва.

СМЕРТЬ АЙСЕДОРА

Как объяснить, что произошло? Когда машина медленно двинулась и не успела еще отойти и на десять ярдов, я заметила, что бахрома ее шали тянется по земле, как текущая вниз тонкая струйка крови. Я закричала: «Айседора, твоя шаль, твоя шаль». Вдруг машина остановилась, и я сказала Ивану: «Беги быстрее к Айседоре и скажи ей, что у нее свисает шаль и что она разорвется».

Я думала, что машина остановилась, потому что я крикнула, и бросилась к ней. Остановилось еще несколько машин, и Бугатти пронзительно закричал: «*J'ai tue la Madonne, j'ai tue la Madonne*»². Я подбежала к Айседоре и увидела, что она сидит на том же месте, что и две секунды назад, когда отъезжала, но ее прекрасная голова свешивается через борт, накрепко стянутая шалью.

Эта мощная гоночная машина была двухместная и очень низкая. Сиденье шофера было чуть впереди второго, так что Бугатти, чтобы увидеть шаль, должен был повернуться. Крыльев у машины не было, и когда Айседора закинула конец шали через плечо, тяжелая бах-

¹ «Прощайте, друзья мои. Я иду навстречу славе!» (фр.).

² «Я убил Мадонну, я убил Мадонну» (фр.).

рома зацепилась за заднее колесо с ее стороны. Естественно, несколько поворотов колеса — и бедная прекрасная головка Айседоры ударилась о борт, лицо разбилось и было зажато, как в тисках. Первый же быстрый оборот колеса сломал ей шею, повредив яремную вену, и убил ее на месте, как она того всегда желала; она не мучилась ни секунды и не успела понять, что же происходит.

Не сознавая, что она мертва, и думая, что шаль ее душит, я тут же попыталась освободить ее теплую, мягкую шею. Я побежала на террасу ресторана, схватила нож и бросилась обратно. Поняв, что ножом ничего не сделаешь, я потребовала ножницы, и кто-то их тут же мне дал. Иван срезал бахрому и часть шали с колеса.

Я в трансе требовала врача, помощи, но люди, казалось, оцепенели. Около нас остановилась машина, и я стала умолять двоих или троих мужчин внести в нее Айседору, не зная, чья это машина, да и не интересуясь этим. Я села около нее на заднем сиденье и обняла ее, а водитель с женой сидели впереди.

Я непрерывно убеждала их ехать как можно быстрее, стараясь ни на мгновение не терять головы, ведь я понимала, что единственная надежда для Айседоры — мое самообладание. Мы ехали к госпиталю минут пять, когда нас остановила полиция. Я попросила не мешать нам, а ехать с нами, полицейские встали с двух сторон на подножки, и мы бешено помчались прямо в госпиталь. Все это время я делала Айседоре искусственное дыхание, но когда я увидела, что ее милые глаза ослепли от удара о борт машины и что ее прекрасный носик, которым она так гордилась, разбит сильным ударом и навеки изувечен, где-то в глубине души мне не захотелось, чтобы она пришла в себя и испытала весь этот ужас и страдания.

Лицо ее как-то изменилось. Я щупала ее пульс, но, несмотря на то что он не бился, я не допускала, не могла ни на мгновение допустить, что она мертва.

Наконец мы приехали в госпиталь, куда нас не хотели впускать, считая, что она мертва, а мертвых им принимать не разрешается.

Но я так настаивала и даже взялась сама за край койки, на которую ее положили, что служители почти машинально помогли мне, и мы ее внесли. Я умоляла их немедленно привести лучших хирургов и терапевтов, сколько бы это ни стоило, но около нее уже стоял на

коленях доктор, который сказал: «Мадам, успокойтесь. Сделать здесь ничего нельзя. Она погибла мгновенно».

О Боже! О Боже! Вот я и осталась одна, а Айседора лежит мертвая. Я так старалась быть храброй, держать в руках свои чувства, но они вырвались. Начальник полиции, взяв меня под руку, спросил, могу ли я дать ему какие-нибудь сведения о катастрофе, и одновременно приказал нести Айседору в морг. «Я сделаю все, что вы скажете, отвечу на все вопросы, если вы разрешите мне остаться рядом с Айседорой».

Он сказал, что это невозможно, ее необходимо забрать в морг. Услышав это, я обезумела и закричала: «Никогда, только через мой труп. Никогда не позволю вам забрать ее в морг. Я этого не вынесу. Забрать Айседору Дункан в морг — святотатство. Но если вы разрешите мне забрать ее обратно в студию, я сделаю все, что вы хотите. Ради Бога, разрешите. Разве вы не видите, что я совсем одна и должна быть с ней?»

Никогда в жизни не забуду доброту и любезность всех этих людей. Начальник полиции сказал: «Если хозяин студии разрешит поставить ее там, я сам позабочусь для вас обо всем».

«Значит, вы даете мне честное слово, что ее не тронут, пока я не принесу разрешение владельца студии?»

Как во сне меня подвели к машине. Сначала мы поехали в полицейский участок, где мне задали бесчисленное количество вопросов и где, слава Богу! находились наши друзья репортеры, которые были у нас накануне. Те самые милые, добрые репортеры, с которыми она несколько часов тому назад смеялась и танцевала. Они взяли на себя отправку телеграмм членам семьи и вообще помогали мне.

Мы с начальником полиции поехали в студию, где уже был владелец, который тут же дал разрешение. Начальник полиции запер все личные вещи Айседоры, а меня он отвел в отель, где запер наши комнаты со всем содержимым, опечатал их, а затем посадил меня на террасе кафе и сказал: «Ждите здесь, и я ее привезу. Положитесь на меня».

Часа через два, показавшиеся мне вечностью, я услышала цокот копыт — домой Айседору везли лошади. Ее положили на одну из прелестных кушеток, но меня, несмотря на все мои мольбы остаться с ней, вывели и заперли дверь. За дверью в одиночестве находилось все,

что осталось от величайшего существа нашего времени. Большую часть ночи я стояла у окна и смотрела в студию. Не могла я заставить себя даже подойти к отелю.

На следующее утро в девять часов я должна была идти в полицию опознавать проклятую шаль, и когда вынесли ее вместе с шерстяной, пропитанную ее бесценной кровью, мне казалось, что наступил конец света. Я тихо пошла обратно в студию, а мне уже несли телеграммы из Америки, куда весть дошла.

Среди них была телеграмма от «Белл синдикат», в которой говорилось, что заключается контракт на право печатать ее мемуары частями и что деньги переведены телеграфно на парижский банк. Какая же насмешка жизнь! Эти деньги, которые она с таким нетерпением ждала, следовали за нами около трех дней: из Хуан ле Пина в Ниццу и оттуда в студию.

Когда следователи и доктора кончили оформление, я надела на Айседору ее красное платье с вуалями, в котором она танцевала. Лежа в центре большой кушетки, окруженная бесчисленным множеством ее самых любимых цветов, она выглядела как маленькая танагра¹, возлежащая в саду. Мы осветили студию сотнями свечей, и эти свечи вместе с бесчисленными цветами делали ее похожей на голубую часовню. На ноги ей я набросила ее лиловую мантию, которая казалась отражением небес.

Люди говорили мне потом, что было так красиво, что они, затаив дыхание, останавливались на пороге. Ей бы это очень понравилось — именно это и вдохновляло меня. После того как было получено разрешение взять Айседору в Париж, ее положили в цинковый гроб. На грудь ей я положила одну красную розу — кровь моего сердца и три лилии Франции: по одной от Августина, Элизабет и Реймонда. По одному цветку от самых близких ее друзей за океаном: Мэри Фэнтон Робертс, Рут Митчелл, Евы Ле Галльен, Мерседес Д'Акоста, Престона Стерджиса, Эдварда Стейхена, Арнольда Джента, и маленький букетик роз от ее школы, ее приемных детей. Затем гроб торжественно закрыли и тщательно запаляли. Я набросила на него ее лиловую мантию. Эту мантию она всегда надевала, когда танцевала Воскрешение.

На вокзале я вошла в вагон и покрыла пол и ее

¹ *Танагры* — семейство маленьких красивых птиц, живущих главным образом в тропических лесах Центральной и Южной Америки.— *Прим. сост.*

любимыми цветами, пока весь вагон не стал цветущим садом. Лоэнгрин не отходил от меня с утра после катастрофы. Все, что делалось, делал он. Мы не разговаривали. Мы делали, как считали нужным, так, как понравилось бы ей.

Реймонд и Вида приехали из Парижа и поехали с нами обратно поездом. Когда поезд отходил, Лоэнгрин с доброй ангельской улыбкой дал мне подушку со словами: «Постарайся немного отдохнуть, Мэри».

Только поезд тронулся, как произошло что-то совершенно невероятное. Весь день лил дождь, но в то мгновение, как поезд тронулся, небо потемнело и разразился ураган, который чуть не унес людей с перрона. Говорят, что в Ницце ничего подобного никогда не бывало.

Так как в поезде спальных вагонов не было — в погребальном поезде спальных вагонов не бывает — мы с Реймондом и Видой ехали в сидячем вагоне. В Париже нас встречала Элизабет с группой друзей. Когда гроб выносили из поезда, я, помнится, задрапировала его ее лиловой накидкой, так как не могла вынести, чтобы кто-нибудь видел гроб. А мантия была частичкой Айседоры.

На следующий день, помню, кто-то спросил: «Мэри, почему ты не поехала с Айседорой?» Оказалось, что Реймонд с Элизабет поехали в карете с Айседорой, а меня оставили. Возможно, я отошла в сторонку. Не помню. Я не спала уже много часов и, должно быть, была в полузабытьи, а может, и отошла в толкотне. Приятель привез меня в такси в студию Реймонда раньше их. И снова пол покрыли голубыми танцевальными коврами Айседоры, а на стены повесили ее любимые голубые занавесы. Во всем чувствовалась атмосфера ее студии в Ницце.

После того как ее внесли, я снова задрапировала гроб ее лиловым плащом, прямо над сердцем положила большой букет красных лилий. На спадающих потоком красных лентах было написано: «От сердца России, оплакивающей Айседору». Цветы и телеграммы прибывали отовсюду. От Ирмы Дункан, единственной ученицы Айседоры, остававшейся с ней до конца, которая в этот момент гастролировала со школой по далекой России, пришла телеграмма с просьбой: «Постарайтесь подождать меня. Еду». К сожалению, сделать это было нельзя.

Все выдающиеся люди Парижа: художники, скульпторы, музыканты, актеры и актрисы, дипломаты, мини-

стры, редакторы, чьи имена были известны во всем мире,— пришли отдать Айседоре последний долг. Дорогой друг Айседоры Ральф Лотон исполнил в соседней студии музыку, под которую танцевала Айседора, а когда ее выносили — похоронный марш.

Так как в Париже был день Американского легиона, происходили большие торжества, траурному кортежу пришлось ехать окольными путями, через все таинственные французские кварталы Парижа. Как бы это нравилось Айседоре! Там были люди, знавшие и любившие ее. Тысячи людей стояли вдоль улиц, и большинство из них видели ее выступления. Население Парижа обожало ее, и по пути редко попадались сухие глаза.

Весь Париж был украшен американскими флагами. Все считали, что они предназначались солдатам, но я знала, что Америка подсознательно украсила Париж в честь одной из величайших американок. Она принесла свое американское искусство во все уголки Европы, и в то время как вся Европа склонялась в горе перед памятью великой актрисы, ее родные флаги торжественно с ней прощались.

Как раз в тот момент, когда мы проезжали мимо театра «Трокадеро», в котором Айседора каждый раз танцевала перед пятью тысячами человек, а множество не попавших в театр приветствовали ее у дверей и на самой верхушке которого развевались звезды и полосы ее родной страны, навстречу нам перед «Трокадеро» проходила воинская часть из Калифорнии. Когда солдаты увидели звездное знамя, которое Реймонд позаботился набросить на гроб в последний момент, они остановились и спросили: «Что это за американец?» Мы ответили им, что это гордость Калифорнии. Сотни лет теперь Калифорнию будут знать как место, где родилась великая танцовщица — величайшая артистка и величайшая американка всех времен.

Когда мы приехали на кладбище Пер-Лашез, там было уже более десяти тысяч человек, которые загрохотали все аллеи, так что невозможно было двигаться. Целые кордоны полиции пытались очистить дорогу кортежу. Приковыляли старики, видевшие ее двадцать лет назад. Матери поднимали детей, чтобы они запомнили похороны великой танцовщицы, великой Айседоры Дункан, все говорили шепотом о жутком несчастье, случившемся с ее детьми.

Студенты Академии художеств громко плакали. Мо-

лодые солдаты стояли с опущенными головами. Нам пришлось долго пробираться по кладбищу. В последний раз я была на нем, когда сопровождала останки чудесной матери Айседоры, а до этого — когда сопровождала Айседору на кремацию ее двух малышей и их бедной няни.

Воспоминания, воспоминания, воспоминания! Больше я живая на это кладбище не пойду.

Наконец мы добрались до ступенек, которые вели в никуда — до ступенек крематория. Полицейские с трудом сдерживали напирющую толпу, уговаривали расступиться и дать пройти родным. Элизабет шла со мной под руку, мы как-то поднялись по ступенькам и оказались в храме, алтарь которого — очищающий огонь, не оставляющий ничего, кроме горстки серебристого пепла.

Альберт Вульф, великий дирижер, аккомпанировавший Айседоре на ее последнем выступлении в Париже, обещал мне исполнить желание Айседоры, которое она часто повторяла. Она всегда говорила: «Мой дух не покинет землю, пока не услышит звуки великой арии Баха ре-минор». Эдуард Мозелин спел «Аве Марию» с такой грустью, что просто сердце разрывалось, а за стенами крематория толпа смотрела на струйку серого, а затем побелевшего дыма, рассеившегося в облаках. Во время церемонии Реймонд вышел и сказал собравшимся несколько слов.

Когда он кончил, мы с Элизабет поднялись с ним по ступенькам. И тут произошла совершенно необыкновенная церемония. За тяжелым занавесом перед нашими глазами из огня вытащили асбестовый гроб, в котором были останки Айседоры. О Боже! Как прекрасно ее пепел обрисовал контуры ее танцующего тела. Как будто это был белый рисунок. Единственное земное, остававшееся в этом рисунке, был ее маленький изящный череп. Я сразу же вспомнила, как Байрон выхватил из огня сердце Шелли, но в то же мгновение все видение распалось.

Ах, если бы я могла описать, какое впечатление на всех нас произвели оставшиеся от нее несколько пригоршней пепла. Горе отпало, как сброшенная одежда. Нельзя было оплакивать этот пепел. Мы все почувствовали ничтожность земной плоти. Айседора не была, да и никогда не могла быть заключена в этом прахе. Айседора, которая всегда была воплощением духа, теперь

обрела самое себя, и толпа снаружи, видевшая поднимающийся дым, видела больше настоящую Айседору, чем мы, державшие ее прах.

Если бы люди были настолько храбрыми, что, собравшись с духом, кремировали своих любимых, а потом смотрели, как их тела превращаются в пепел, исчез бы ужас перед смертью. Правда, ничто не может заполнить пустоту, оставшуюся в жизни, но глаза и сердца людей обратятся к небесам, вместо того чтобы содрогаться при жуткой мысли о холодной земле и червях.

Мы поместили прах Айседоры рядом с прахом ее детей и матери, но в свое время она взяла с меня слово, что я рассею ее пепел по морю.

Ушел великий бесстрашный дух, но оставленное ею послание будет жить вечно.

— Adieu, mes amis. Je vais à la gloire!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>АЙСЕДОРА ДУНКАН. МОЯ ЖИЗНЬ</i>	3
Вступление	5
Глава первая	8
Глава вторая	12
Глава третья	19
Глава четвертая	25
Глава пятая	31
Глава шестая	35
Глава седьмая	39
Глава восьмая	51
Глава девятая	57
Глава десятая	64
Глава одиннадцатая	68
Глава двенадцатая	75
Глава тринадцатая	83
Глава четырнадцатая	86
Глава пятнадцатая	91
Глава шестнадцатая	95
Глава семнадцатая	100
Глава восемнадцатая	109
Глава девятнадцатая	114
Глава двадцатая	125
Глава двадать первая	135
Глава двадцать вторая	141
Глава двадцать третья	149
Глава двадцать четвертая	152
Глава двадцать пятая	164
Глава двадцать шестая	176
Глава двадцать седьмая	178
Глава двадцать восьмая	185
Глава двадцать девятая	194
Глава тридцатая	204
Глава тридцать первая	208
<i>МЭРИ ДЕСТИ. НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ</i>	217
Вступление	219

Айседора — художник	222
Как я познакомилась с Айседорой (1901—1902 гг.)	224
Наша поездка в Байрёйт (1904 г.)	227
Гельголанд и Венеция. Мой отъезд в Америку (1905 г.)	231
Смерть детей Айседоры (1913 г.)	234
События военного времени (1914 г.)	240
Отъезд Айседоры из Америки со школой во время войны ...	243
Айседора в России (1921 г.)	246
Айседора встречается с Есениным и выходит за него замуж (1922 г.)	259
Айседора показывает Есенину мир (1922 г.)	268
Айседора возвращается из Америки. Есенин уезжает из Франции (1923 г.)	280
Наша поездка в Берлин на автомобиле (1923 г.)	287
Сумасшедшая жизнь в Берлине (1923 г.)	293
Наше полное приключений возвращение в Париж (1923 г.) ..	302
Айседора и Есенин прибывают в Москву (1924 г.)	315
Айседора снова в Берлине (1924 г.)	317
Снова в Париже. Смерть Есенина (1925 г.)	321
Я приезжаю к Айседоре в Париж (1927 г.)	331
Жизнь в парижской студии (1927 г.)	339
Мемуары Айседоры (1927 г.)	346
Айседора на мели в Довиле (1927 г.)	355
Наша последняя поездка в Ниццу (1927 г.)	359
Знаменитая студия в Ницце (1927 г.)	367
Лознгрин (1927 г.)	374
Айседора снова встречает Бугатти (1927 г.)	383
Смерть Айседоры	388

- Д83 **Дункан А.**
Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин: Воспоминания/А. Дункан. Нерассказанная история: Пер. с англ./М. Дести.— М.: Политиздат, 1992.— 397 с.: ил.

ISBN 5—250—01599—9

В книгу вошли автобиография известной американской танцовщицы Айседоры Дункан о событиях до 1921 года и воспоминания ее подруги Мэри Дести, в которых личная жизнь артистки воспроизведена вплоть до дня ее смерти в 1927 году. В книге много ярких портретов современников танцовщицы — художников, артистов, музыкантов, поэтов. Несколько глав «Нерассказанной истории» посвящены сложным отношениям между Дункан и Сергеем Есениным. Перевод «Моей жизни», изданный на русском языке в 1930 году, в настоящей книге уточнен по английскому оригиналу, пропущенный текст восстановлен. «Нерассказанная история» на русском языке ранее не публиковалась.

Адресуется массовому читателю.

На первой сторонке переплета
Айседора Дункан.
Рисунок, выполненный Х. Клара

На первом форзаце
Факсимиле стихотворения С. Есенина,
написанного 9 июля 1916 г.

На втором форзаце
«Я напротив у Анри» — последняя записка Айседоры,
написанная меньше чем за час до смерти
и прикрепленная к двери для Бугатти

**АЙСЕДОРА ДУНКАН.
МОЯ ЖИЗНЬ. МОЯ РОССИЯ. МОЙ ЕСЕНИН
ВОСПОМИНАНИЯ**

Айседора Дункан. Моя жизнь
Мэри Дести. Нерассказанная история

Заведующий редакцией А. В. Никольский
Редактор Е. Б. Салынская
Младший редактор Н. В. Ступаченко
Художник Л. Г. Бакушева
Художественный редактор Е. А. Андрусенко
Технический редактор Н. К. Капустина

ИБ № 9035

Сдано в набор 18.06.91. Подписано в печать 10.10.91. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 23,19. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 2031. С 134.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



Sun an fan
day Henry.



